ISSN 0012-6756

Дружба народов

6/2019

Дружба народов

6'2019

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.04.2019.
Подписано в печать 25.05.2019.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 2814. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Лев АННИНСКИЙ

Ирина ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сухбат АФЛАТУНИ. Новые баллады ***3***
Игорь КОРНИЕНКО. Бездомные комнаты. *Роман-круг* ***7***
Алексей САЛОМАТИН. Башня. *Стихотворение* ***114***
Илья БУЛГАКОВ. Образованные люди. *Повесть* ***116***
Наталья ПОЛЯКОВА. Вот я опять беглец, переселенец. *Стихи* ***149***
Женя ДЕКИНА. Как в сказке. *Рассказы* ***152***
Микаел АБАДЖЯНЦ. Морская ведьма. *Рассказ* ***159***
Герман ВЛАСОВ. Из цикла «Вода и ветер». *Стихи* ***166***
Евгений БАБУШКИН. Мялка, свалка и пуговица. *Рассказ* ***169***
Александр ЧАНЦЕВ. В кавычках. *Рассказ* ***179***
Ксения РОГОЖНИКОВА. Клич мой синий. *Стихи* ***189***
Леонид СКЛЯДНЕВ. «Оазис». *Рассказ* ***191***

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Павел КОНЮХОВ. Кот-полиглот и другие. *Стихи* ***200***

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Игорь КУЗНЕЦОВ. Город без невесты ***202***

НАЦИЯ И МИР

Валерий САНДЛЕР. Там, на далеком юге ***213***

ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир СМИРНОВ. Вызревание будущего. *Модель Нового Просвещения* ***225***

КРИТИКА

Георгий КУБАТЬЯН. Одна из двух ипостасей. *Армянская тема в поэзии Бориса Слуцкого* ***238***

ЖИЗНЬ В СЛОВЕ

Валерий АЙРАПЕТЯН. Образ Марата ***249***

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. О фестивалях и библиотеках ***254***

БЛОГ-ПОСТ

Ольга БРЕЙНИНГЕР. Хроники одной войны в комментариях ***257***

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Надежда АЖГИХИНА. Лестница в небо. (*М.Рыбакова. «Если есть рай»*) ***259***
Владимир ШПАКОВ. Битва за историю. (*М.Кураев. «ОТЕЦ и ДРУГИЕ плюс ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ: Исторические свидетельства»*) ***262***
Зульфия АЛЬКАЕВА. Падеж дарительный. (*Н.Ярыгина. «Если память не изменяет: Книга стихотворений»*) ***265***
Мария ЗАКРУЧЕНКО. Практическое руководство к бегству. (*О.Токарчук. «Бегуны»*) ***268***

К нашей вклейке ***271***

Summary ***272***

© «Дружба народов», 2019

Сухбат Афлатуни

Новые баллады

Баллада о неслучившейся войне

неслучившаяся война не знает убитых — она
не цепляет на сгнившую грудь медали и ордена
не наполняет детдома сыростью и запахом крыс
я не знаю что было бы
возьми она и случись

а вокруг от восторга стонет лето лето
солнце гремит в зените как духовое трио
я подпеваю валторне: всё тленно тленно
извините это не я спасибо

неслучившаяся война — продолжаю — она
от непролитой крови косолапа и непьяна
огонь в деснице горит — в глазницах синеет слизь
повторяю: не знаю что было бы
возьми она да и случись

и снова камера отъезжает — ловит лето лето
женщину на траве в позе лотоса мальвы крапивы
лягушачий джаз за оврагом где-то
все вот-вот разбегутся и ливень ливень

неслучившаяся война — заканчиваю — она
хотя что тут заканчивать — картина и так ясна
поздний Брейгель — грызуны какие-то — брысь!
всё же думаю: что было бы
возьми она возьми она и случись

а вокруг продолжается лето лето
льёт как в детстве — в ладонях горит черника
но мелькнёт оранжево-чёрная лента
и трубу отряхнув от капель трубят зарницу

Сухбат Афлатуни — поэт, прозаик, критик. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор нескольких сборников стихов, среди них — «Русский язык» (М., 2019) и книг прозы. Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Постоянный автор «ДН». Живет в Ташкенте.

Баллада о прекрасной лжи

ложь течёт отовсюду как несвятая вода
до упора раскрыты краны — глаза заливает дождь
и во рту пузырится и поблёскивает как слюда

ложь

госпожа с глазами совиными — попугай сидит на руке
ты идёшь подворотнями длинными ты идёшь
и бутыль с водой несвятою булькает в рюкзаке

ложь

тяжелы твои руки — и когти как маков цвет
как два мёртвых козлёнка качается грудь
три породистых суки бегут за тобою вслед

о причудлив твой путь

ты течёшь отовсюду — зрю зрю потёки твои
и гниют под тобой и горечавка и рожь
затопляют сознанье твои голубые нули

ложь

отгоню тебя слышишь — хлеб и зеркало суну в мешок
помолюсь и скажу тебе правду уродливую как нож
мясника — но от неё больнее и чище вдох
даже если давно под водой ну и что ж

говорю *ну и что ж* надо дальше жить-
поживать и добра наживать сквозь заморозки и дрожь
но течёт отовсюду и как нам с тобою быть

ложь

Баллада о чудесном растении

есть такое растение дурогляд
цветёт оно раз в году
говорят сильнодействующий яд
источает оно в цвету

кто-то здесь не к месту вспомнит анчар
или тополь сеющий пух
но растение это дурогляд
отлично от названных двух

как выглядит оно — не скажу
потому что в цветенья миг
даже пчёлы вокруг него не жу-жу
и птицы не чирик-чирик

и кто на него тогда бросит взгляд
в тот же миг и умрёт
вот такое растение оно — дурогляд
такое растение вот

а когда не цветёт можно вырвать но
пытались да не смогли
ведь оно давно уже занесено
в красную книгу страны

и его охраняет погранотряд
авиация и морфлот
сторожат растение дурогляд
когда оно не цветёт

а когда цветёт то оно само
защищает границы страны
потому и враги её не того
и даже птицы ни-ни

и когда совершают военный парад
то честь отдают ему
и как знамя несут его дурогляд
в масштабе три к одному

только пустынник один говорят
видел его в цвету
и остался жив и пошёл назад
восхваляя его красоту

говорил дурогляд подобен тот
неопалимой мол купине
и настолько чуден когда цветёт
что мурашки тык-тык по спине

не произвёл впечатленья его доклад
решили товарищ врёт
а как взаправду цветёт дурогляд
да важно ли как он цветёт...

Баллада о родине

ты пришла ко мне вечером
шаги твои
дышали молоком и патокой
сухим теплом
опустила ладони
на тёмные плечи мои
загадала загадку
и сама сказала ответ

я тогда разрывался
между двумя домами
двумя странами
двумя мирами

и каждый пытался сказать
«твоё место здесь»

захлопали чёрные крылья
часы пробили шесть

пошёл слепой дождь
на ощупь без поводыря
и не мог дойти до половины
седьмого — рухнул в траву
ползла квадратом по скатерти
льняная заря
и малиновым кругом
густело небо в ведре

я тогда разрывался
линия разрыва
была слабо намечена
и выходило криво

два дома глядели
мышеловки дверей приоткрыв
две страны тянули за руки
тестируя на любовь

а ты пришла ко мне вечером
было время дождя
пахло прибитой пылью
пролитым молоком
я говорил с кем-то по мобильнику
и запнулся вдруг
захлопали светлые крылья
потянуло дымком

разрыв зарастал
два дома и две страны
и два мира сливались
и поднимались огни

как в каком-то порту
когда корабль плывёт домой
его встречают сквозь темноту
дождь и голос живой

Баллада о метельщике

крещёный узбек выходит на снег
лопаты сжал рукоять
молитву творит — чистит третий рим
а четвёртому не бывать

полны облака снежного молока
а д*о*ма где тёплый туман
три его сынка — матвей марк лука
четвёртый во чреве — иван

хорошо бы дочку — помощница чтоб
как жену ему уговорить?
три дорожки — хоп — уже разгрёб
к четвёртой пора приступить

снег всё идёт превращается в лёд
по льду семенит народ
три восточных царя в снегах января
а четвёртый с лопатой вот

пылает звезда и слезятся глаза
не чует ни ног ни плеча
он свои отпахал четыре часа
на пятый — святое — пить чай...

Баллада о чебурашке

странный зверь
выходит на ночную охоту
большие уши
взгляд навевает дремоту

тёплую дверь
затворяет за собой без шума
падает ночь на него
как с вешалки шуба

он охотится на детей
ловец человечий
нет у него приманок сетей
только взгляд человечный

дверь затворяет
спускается по ступенькам
пахнет мусоропроводом ночь
и кухонной капелью

включив фонарики глаз
из малометражек
спускается каждую ночь
по несколько чебурашек

на нефтяной энергии сна
друг за другом
и тому кто не спит у окна
они станут другом

топ-топ слышишь
это он идёт
плюшевыми руками
шарит в темноте

топ-топ слышишь
ничего не поёт
это дымится страхом
маленькая постель

помахивая ушами
как орлиными крыльями
над страной поднимается
Полуночный Чебурашка

дождь
асфальт у девятиэтажки
пузырится как кальций-карбид
ничего говорит чебурашка
ничего он тебе говорит

Игорь Корниенко

Бездомные комнаты

Роман-круг

ВХОД. ОН ЖЕ ВЫХОД

Комната 30

Штрихи к автопортрету у открытой двери

Я выбрался.

Первое, что произнес художник после двух дней немого небытия.

— Я выбрался.

Рассказала сестра-сиделка, старенькая, почти прозрачная, она поправила иглу в вене на его правой руке, погладила, как родного, по голове:

— Выбрался, конечно. Выкарабкался. Почти трое суток без сознания был. Твои друзья тут в тайне все держат. Кудрявый, вон, — ночует, не уходит, серьезный такой. Я скажу, что ты очнулся, после осмотра, сейчас врач придет.

Осмотр занял почти час, врач, хоть и был знакомым хорошей знакомой, подозрительно переспрашивал, недовольно ворчал, цыкал и мотал головой, исписал пять листов с обеих сторон, художник считал.

Перед появлением друга незаметно (от самого себя?) прикоснулся к ушам.

Мешали шапки бинтов, и непонятно, болели уши или вся голова целиком?..

«Вроде на месте», — утешила мысль, успокоила на время. Впереди долгие расспросы, вопросы: что? как? зачем?

Ответы он не знал.

Не помнил?..

Память осталась там, в лабиринте, блуждать одна-одинешенька в поисках ответов — такой ответ никого не устроит. Но это было так. Почти так. Он выбрался, больной, с букетом болячек (еще предстояла беседа с доктором от психиатрии), с ощущением в районе души (там теперь пустота?), душа тоже осталась там, в лабиринте, в комнате 30 среди картин и...

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат премии В.П.Астафьева (2006), премии «Золотое перо Руси» (2005), специального приза жюри международного драматургического конкурса «Премьера 2010», лауреат литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016). Живет в Ангарске. Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Алаведерчи» (2018, № 11).

— Минотавр!

Илья привстал на локтях, попытался заглянуть в высокое окошко. Не вышло.

Чудовище лабиринта, оно сожрало его душу и память, пыталось проглотить тело — не вышло, слишком костлявый. Подавившись острыми ребрами, оно выплюнуло художника.

Выбрался, словно Иона из чрева кита, художник из кишок комнаты, где на обоях тысячи глаз, и сердце стучит под полом, и дышит потолок, и призраки оживают. И картины. Его цикл комнат. Его кошмары, ставшие реальностью...

Сны общаги?..

Он не успел придумать название, и последняя работа осталась неназванной, а значит бессмертной. То, что не названо, не имеет имени — вечно. Оно не существует, а значит, не может умереть...

Как уничтожить то, что из других миров?.. Из мира, где нет лиц? Где призраки?..

Это мир комнат...

Автопортрет — последняя неназванная картина, это автопортрет у открытой двери. Незаконченный, он ждет его там...

Савва, кудрявый друг, ввалился с матюгами в палату.

— Что все это было? — единственное цензурное, что произнес он, пока снимал куртку, подвигал стул поближе. — Ты там в этой общаге совсем с катушек слетел, мать...

— И тебе здрасьте, — криво улыбнулся. Нижняя губа опухла и кровоточила, — видимо, прикусил, потеряв сознание, несколько дней назад (сколько?) в своей мастерской, в месте, которого нет.

— Я, как не смог дозвониться — аппарат абонента выключен, — пулей взял такси...

— Ты видел картины?! — неподдельный страх натянуто-хриплыми нотами, и ужас увеличивает черноту зрачков.

— Не до картин было!.. Твою душу!.. Ты весь в кровище на полу распластался, как Христос распятый. Не понять, краски это твои или ты что с собой сделал... Меня вонизма одна добила. В охапку тебя сгреб, ты не дышишь, хорошо знаю, что делать...

Илья кашлянул, не сдерживая смешок:

— Скажи еще, что делал искусственное дыхание мне?..

Друг щелкнул пальцами:

— Как в воду....

— Рот в рот?! — Художник поперхнулся смехом.

— Мне честно, бля, не до смеха было, рот в рот, конечно.

— Теперь ты обязан на мне жениться, твою мать, Савва! — сквозь смех и кашель: — И не отвертишься.

Савва не выдержал, стены серьезности рухнули под заразительным хохотом друга:

— Тебе придется забыть тогда про художество, борщ научиться готовить и плов с фруктами — сможешь?!

Илья честно сказал «нет» и, как его подменили, шепотом, без намека на веселость мгновенье назад:

— Комнату ты запер?!

Савва, все еще улыбаясь, во все лицо:

— Так замок же сам захлопывается... А если даже не запер, там такой бардак!..

Илья откинулся на подушку.

— Открытые двери — что открытое море, космос... Бесконечность...

— Квартиранты с картин, думаешь, разбегутся?..

Художник, соглашаясь, моргнул.

— Там что-то поселилось, хорошо, если это — плод моего воображения, мой бред. Но нечто выбралось из всей этой браги...

— Браги? Нечто? У тебя срыв нервный был, гены прорвались наконец, заговорили, высвободились. Год сидел взаперти со своими картинами, вот и результат... Ты пьяный был, перегар с ацетоном — то еще амбре... Тут все что хочешь померещится и оживет...

В возникшей тишине Илья попытался вслушаться, но тишина рождала тишину. Никаких посторонних, больничных звуков, кроме урчащего желудка посетителя и дыхания.

Изоляция ему на руку. Подальше от хаоса. Хаос мог выбраться из телефонных гудков, из комочков пыли и теней...

— Какой сейчас год? Шестнадцатый?.. — тихий голос художника. Савва не успел ответить, как тот воскликнул: — Нет! Нет! Не говори! Пусть время идет своим чередом. Я насмотрелся на все его штучки. Помнишь повешенного соседа?.. Могу предположить, что рассеченная губа — его кулака дело...

Не найдя слов, Савва мотнул плечами:

— Ты еще, видно, под лекарствами, весь такой потерянный во времени и пространстве...

Минотавр прошел сквозь время вспышкой в больном мозгу.

Картинки завертелись, как в калейдоскопе, кадры из другой жизни, другого мира: раз, два, три четыре, пять — рогатое нечто, прикатившее из небытия в гробу на колесиках, выбирается из жуткого транспорта.

— Шесть, семь, восемь, девять... — дышащее чернотой, оно стоит в открытых дверях:

— Десять! Счет окончен, — рычит чудовище.

— Матери не звонил, не стал пугать, Алиска только знает. Понимаю, ты был бы против, но я решил, что ей-то надо. И да — у нее твоя группа крови, если че...

— Мы с ней помирились. Кажется, — вяло, словно засыпая, промямлил. — Ты, главное, пообещай мне, поклянись.

Савва нагнулся, чтоб лучше слышать, и услышал:

— Там живет огонь, его надо лишь разбудить.

Друг ждал. Илья закрыл глаза, тяжело задышал. Савва поднялся и тут услышал:

— Сожги их все, — вынес приговор еле слышно. — Сожги их все!

Художник уснул.

Лишь открыв глаза и убедившись, что все так же в палате с маленьким окошком, в бинтах и с капельницей, а не в тридцатой комнате у открытой двери, встречающий безумие (оно, говорят, заразное), Илья расслабился, выдохнул:

— Выбрался.

И поймал то чувство уже виденного, дежавю, — он уже говорил это вроде бы день назад, в палате была сестра-сиделка старенькая, прозрачная.

Художник улыбнулся.

Вечером, вспомнил, в очередной раз приходил Савва.

— Или я, или эти обои, — сказал тогда тихо, словно самому себе, Илья.

Савва тупо огляделся. Обоев в больничной палате без номера (ох уж эти номера) не было. Окрашенные в голубой цвет голые стены, плохо побеленный потолок, тумбочка, на ней лекарства, фрукты, блокнот с карандашом...

— Обои у тебя в общаге?.. — пробасил.

— Говорят, это были последние слова Оскара Уайльда: «Или я, или эти обои». Обои победили, о да. Вещи всегда побеждают. Неживые потому что. Хотя в случае со мной все началось с обоев как раз-таки.

Савва промолчал. Художник продолжил:

— Если это даже временное помешательство, все равно первыми ожили обои в

той комнате. Рисунок на обоях... Хотя, проехали. Все изменится, если ты сожжешь все картины в той комнате. Не задумываясь, спалишь к чертям собачьим.

Савва достал из кармана спортивных брюк смятую до неузнаваемости пачку сигарет «Винстон»:

— Ты хорошо обдумай это еще, хотя бы денек, приди в себя... Чтобы не сожалеть, ты же понимаешь... — На колени упали коричневые стружки табака.

— Мы такие слабовольные, бессильные, даже перед простой зависимостью. От всего зависим. От близких, от сигарет... Привязаны к мелочам. Мы рабы привычек, — озвучил мысли бросающего курить друга художник. — Я знаю, что эти мои комнаты, то, что я сотворил там, они стали моей болезнью. Заразили меня!

— Рабы, — задумчиво, в пустоту, себе под нос, сказал Савва и сжал кулак, бумажный комок с крошками табака убрал назад. — Ты подхватил болезнь от своих картин, так?

— Так... — Илья подмигнул. — Я напишу новые. Но чтобы сотворить новое, надо разрушить старое. Расстаться с ним безжалостно, жестоко.

Стук по раме окошка стал одобряющим знаком.

Тук-тук-тук.

— Кто там? — Поднялся, нервно задергалось левое веко. — Неужели и здесь они нашли меня, — прошептал художник, но стукача не увидел.

— По-моему, это снегирь или дятел. Дятел, точно.

Илья задрал голову, но увидел лишь кусок синего неба, голые ветки дерева.

— Хорошо не голубь, а то был там один... — Упал на подушки. — А, к черту. Птица с окровавленной грудью — хороший символ — к огню.

Птица стучит:

— Тук-тук...

Илья говорит:

— Сожги все по одной, за общагой есть пустырь, там и сожги, но по одной, чтоб наверняка.

Потом он уснул — теперь он много спит, — и снится ему всегда одно и то же. Открытая дверь с темным силуэтом на пороге.

— Решено, — снова и снова говорит в тишину Илья, готовясь к встрече с другом, репетируя ответ. Голос от таблеток или со сна изменчиво тих, вял.

В себе мы рычим львами, а выдаем — жалкий мышиный писк.

Через час пришел Савва с пакетом еды:

— Говорят, ты не ешь толком, решил вот с ложки покормить, — обдавая свежим запахом уходящей зимы.

— Покормишь хоть изо рта, но сначала сожги их все! — громко, почти рыком.

Савва сел:

— Это твое крайнее решение?

— Крайнее не бывает.

— Если это и вправду излечит тебя — я хоть всю эту твою гребаную общагу спалю, — вытащил из пакета на тумбу пластиковый контейнер с супом.

— С каждым мазком они высасывали из меня меня же. Питались мной. Кормежка — я это так называл. Думаешь, откуда эти порезы на руках? Я кормил их кровью, смешивая ее с красками...

Говорил он, закрыв глаза. За веками художник опять стоял в комнате перед открытой дверью...

— Все вы художники того, — отшучивался друг. — Я подозревал, откуда у тебя такой насыщенный красный цвет.

— Сожги их сегодня же, — открыл глаза.

Друг кивнул:

— Сегодня. Вот Алиска сменит меня, и съезжу, сожгу.

— По одной.

— Хоть вместе со всем общежитием!..

Илья решил: отлично.

Савва спрятал задрожавшие ладони в карман.

Птица с окровавленной грудью вернулась ближе к обеду.

— Тук-тук, — продолжался счет.

— Посланник из мира комнат, — отметил художник. — Они знают, что скоро им конец. Ты там поосторожней.

Друг жевал мятную конфету, промычал.

— Тук-тук...

— Странно, что не у дятлов мы спрашиваем, сколько нам жить осталось, а у кукушки. Дятлы могли бы нехило настучать...

Пришла очередь ириски — так мужчина боролся с желанием покурить.

— Тс-с-с, — неожиданно Илья вскинул руку. — Слушай.

Савва проглотил конфету. Прислушались. Дятла не слышно.

Слышно, как в соседней палате играет музыка и кто-то стучит в такт ей по спинке кровати или по тумбочке:

— Тук-тук-тук-тук...

— У тебя, походу, сосед за стенкой завелся, — забросил очередной леденец в рот. — И, походу, жесткий меломан.

Иногда они возвращаются — избитое выражение пыталось взорвать черепную коробку, чтобы быть услышанным, Илья прошептал:

— Это больше, чем знак. Сначала голубь, теперь — *это.*

— Дятел, — поправил друг.

— Это, бля, Чайковский! — с надрывом, злобно, прикусив нижнюю губу: — Дятел тебе!

Савва развел театрально руками, запел:

— Ала бала Чайковский, улица...

— Ты че, не понял?! — перебил криком художник. — Это «Щелкунчик»! Чайковского любимый балет, самоубийцы из двадцать восьмой комнаты! Миша повешенный, помнишь?! Тот, что... Они нашли меня! Они выбрались, как и я!.. Следом за мной!.. Выкарабкались!..

Илья укрылся одеялом с головой.

— Миша? Повешенный?.. — Савва выплюнул сосательную карамель в фантик. Незнакомая мелодия, приправленная постукиваниями, стала громче.

— Сожги, — глухо донеслось из-под одеяла. — Сожги их. Прошу.

Кудрявый друг встал:

— Я же обещал! И это... Я скоро вернусь.

В больничном коридоре лампочки на 60 ватт горят через одну. На стенах висят пожелтевшие, нарисованные от руки плакаты. Обо всем на свете: начиная с проблем кожи, кончая проблемным жидким стулом.

Савва смело, чего требовала мускулистая фигура качка, постучал, не дожидаясь ответа, заглянул в палату с номером 10, откуда доносилась музыка с надоедливым аккомпанементом. Тук-тук-тук-тук-тук...

— Извините.

Вместо повешенного соседа из общежития на кровати с радиоприемником в обнимку — лысый старик.

— Выключите эту дребедень, пожалуйста, или наденьте наушники, здесь вам не курорт.

Старик слепо моргает, вглядывается, в палате пахнет разложением, гнилью.

— Выключить?! — переспрашивает громко.

Кудрявый качок почти кричит:

— Да, выключите!

Старик поворачивается, нажимает кнопки на приемнике, музыка играет еще громче, еще... Старик хихикает:

— Хе-хе, не хочет убавляться, хе-хе-хе...

Два шага — и Савва у розетки, одно движение рукой — и вот уже стариковская шарманка покоится в дальнем углу подоконника вместе с кусками окровавленной ваты и стеклянными банками.

— Вот вам и хе-хе!

— Это же Чай-коф-фс-с-кый, — стонет старик.

— Чай. Кофф. Шел бы он!..

И никакой жалости к старику. Ничего внутри, лишь тупое постукивание, долбежка: тук-тук-тук...

— Дятел это, а не Чайкофскый. Его давно сжечь надо было, чтобы никого не калечил.

От безумной реплики повеселело.

Старик смотрит на незваного гостя, губы и дряблый подбородок трясутся, старик плачет. Без слез.

— Это «Щелкунчик»... Это Чайковский... Великий композитор и чародей, — старик набирает в легкие больше воздуха, с хрипом, со свистом выдает: — А вы... вы хулиган и дебил.

— Не включайте больше приемник, дедуля, иначе...

Старик замер.

— Не болейте, — Савва вышел из палаты.

В палате у друга рассмеялся:

— Ты меня заразил, походу, своей ненормальностью, сумасшествием...

На стуле девушка в больничном халате, обернулась, это Алиса.

— Развлекаетесь тут без меня, — роскошно по-голливудски улыбнулась она.

Савва улыбнулся в ответ:

— Сколько стоит старый радиоприемник?

Единогласно решили, что художника покормит супчиком Алиса. Пока Савва разберется с кое-каким неотложным делом.

— Безотлагательным и жизненно важным, — поднял указательный палец Илья и подмигнул.

Алиса посмотрела на друзей:

— Мужская солидарность, понимаю, только большинство бед именно из-за нее — так, к слову, мальчики.

Савва сказал:

— Согласен с тобой.

Илья погрозил ему пальцем:

— Спасибо за тишину.

— Мне правда надо. Я если не сегодня, то завтра с утра как штык, — пожал палец другу, погладил Алису по голове.

— Как на войну — ощущение — уходишь, — Алиса шлепнула мужчину по заду.

Илья закашлял.

— Ага, — Савва закрыл тихо дверь.

— Ощущения меня еще никогда не подводили, — повернулась к больше чем другу она. — Интуиция женская, знаешь ли...

Илья перестал кашлять:

— Знаю. Только мы всех победим, ты же знаешь.

Она сказала:

— Знаю.

Попросила:

— А теперь открывай шире рот, чтоб не пролить. Буду тебя кормить.

Илья послушно открыл рот.

В больницах чувствуешь себя больным. Савва выскочил из дверей приемного покоя и вдохнул свежесть пасмурного зимнего дня.

За забором серой пятиэтажной больницы автобусная остановка.

И природе вокруг больницы тоже поставлен страшный диагноз, как и многим ее обитателям. Редкие птички на скрюченных костлявых ветках, сморщенные, покрытые коричневыми язвами прошлогодние листья, и солнце светит бледненько, будто сквозь марлю.

Савва развернул конфету, подбросил, поймал ртом, а в голове один безобразный образ Щелкунчика и сводящее с ума «тук-тук-тук...»

Побежал, громко топая по асфальту, стараясь хоть на минуту перебить этот стук в голове.

Тук-тук-тук...

Так стучит тревожное, испуганное сердце. И этот стук убивает.

Тук...

Место, которого нет, находится на отшибе. Автобусом добираться — как пешком до Луны.

А это и есть Луна, самая настоящая. Савва шагал к двухэтажному зданию, карамели закончились, и в голове стучало его напуганное сердце. «*Напуганное* — это совсем не то слово», — думал Савва. Он с детства научился ничего не бояться, кроме одиночества и смерти близких людей. Сердце колотили чувства, лупили, как боксерскую грушу со всех сторон, — отчаяние и безвыходность...

Ему предстояло нелегкое дело — уничтожить произведения искусства.

Он ценит все, что делает друг, они знакомы целую жизнь, они столько пережили... Илья — отличный друг, верный и сумасшедший. И необыкновенный художник, это подтвердят эксперты из мира искусства... Сжечь все, что он сотворил за последние месяцы, — как-то неправильно. Не по-человечески.

Предательством же будет — если он не уничтожит картины.

И эти мысли запутывали... Пугали своей нереальностью. Это происходит не с ним, а если с ним — то где-то не здесь, не на планете Земля. На Луне.

Все стало ирреальным. Мир изменился...

Савва словно завис в невесомости где-то над лунным кратером. Шаг как во сне... Медленно... И вот ты уже паришь над землей...

Не чувствуешь себя. Своего тела. Сердце, оно больше не колотится...

Идти по воздуху легко и необыкновенно. Невыносимая легкость небытия — вот она...

И руки не его, он их совсем не чувствует... Ключ в замок, щелчок — и вплываешь в комнату с номером 30. А там девять картин глядят на тебя, полные жизни, тьмы и света.

Закрыть дверь, Илья терпеть не может открытые двери...

Савва болтается посреди комнаты среди живых картин.

На картинах комнаты.

Вот он узнает комнату 27 — на ней молодая пара. Илья, чтобы оживить полотно, украл у них что-то... С нее и надо начать. Сжечь ее первой.

Рукой в карман, а там — лишь смятая сигаретная пачка и ни крошки табака. Ни спичек, ни зажигалки.

Есть фантик с завернутым недососанным леденцом и...

Снизу на него смотрит перевернутая последняя работа друга.

Картина без названия, но самая узнаваемая из всех. Это он смотрит на себя в проеме открытой двери. Он. Вот эти надоедливые кудряшки в глаза, квадратом челюсть, сломанный в двух местах боксерский нос...

Савва узнал себя. Улыбнулся себе, помахал сверху. И что это?.. Он, написанный маслом, помахал в ответ?..

На Луне все вверх тормашками.

Решительно выбросив бумажный комок, он стремительно опустился. Собрав все силы, поборол невесомость, опустился, обрушился вниз. На себя. В себя. Влетел, попав берцем себе по лицу. Лицо с кудрями и сломанным носом треснуло, разлетелось со звоном разбитого зеркала.

Остался один пустой проем открытой двери комнаты с номером 30.

Комната 27

Пойди к муравью

Новая Библия и глушитель АнтиМеркель

Сигнал из космоса Виталий поймал через три месяца после увольнения. В ночь на девяносто четвертые сутки бессмысленного просмотра телевизора мужчина, допивая очередной баллон пива, вдруг понял, что значат эти мельтешения белых и черных точек на экране.

— Есть сигнал, — отрыгнул он и сел писать книгу.

До сокращения Виталий работал в городском управлении строительства инструктором по технике безопасности.

— А что урезали меня, — делился он с женой Викой, — так потому, что прознали, что в Высший Вселенский разум верю я больше, чем в политику. И что не знаю, кто такая Ангела Меркель.

— Канцлер Германии, — тихо подсказала жена. — Первая женщина на этом посту. — Помолчала и закончила с глубоким вздохом: — На нянечкину зарплату мы не потянем ребенка.

Он пообещал что-нибудь придумать и, выманивая у жены деньги на пиво, упорно ждал прямой трансляции с неба.

— Главное — чистый разум, — разъяснял. — Открытые каналы и чакры. Если не медитация. А в комнатке общежития какое может быть созерцание?.. Никакой трансцендентальности не постичь, ни открыть, ни выйти, разве что до толчка. Тогда альтернативой медитации может стать алкоголь. Ты же, Лунка моя, не думаешь, что я тупо напиваюсь?..

Виктория вздыхала в ответ и повторяла:

— Я помню тебя таким веселым анархистом. Изобретателем. Верю в тебя. Знаю, что ты находчивый. Мы выкрутимся... Но прошу — Лункой не называй меня, я же Космосом тебя не называю, уже сколько раз говорила, звучит как-то пошловато...

Муж обиделся:

— Это для плебеев-простолюдинов, верующих в силу власти, политику и в Ангелу Меркель «Лунка» звучит пошловато. Луна — спутник Земли. Ты — мой спутник. Мое отражение Солнца. Луна же солнечный свет отражает ночью, — уточнял. — Ласково, уменьшительно-ласкательно я зову тебя — Лункой. Луночкой.

Девушка выдыхала:

— Ну, не на людях...

— А что есть человек?.. Все эти начальники из управления, все эти президенты,

депутаты? Кто они? Разве люди? Ангела Меркель эта? Кто? Люди не могут управлять людьми! Только Высший разум. Космический...

И Виталий, принимая необходимую дозу медитативного алкоголя, слушал Космос. В белом шуме радио и телевизора. На девяносто четвертые сутки он услышал и проникся космической мыслью.

— Это будет Книга Книг, — метался по комнате, истерично расчесывая замусоленную шевелюру, посыпая вокруг себя все белыми искорками перхоти. — Я покажу вам Ангелу Меркель!

Теперь он перестал выходить даже за пивом, до киоска. Просил жену:

— Ты берешь на себя тяжелую ношу. Знаю, Луна очей моих. Жены писателей созданы для страданий, но эта великая заслуга сродни святости.

Он целовал руки, прятал в ее ладонях лицо и всхлипывал:

— Как Софья, не помню точно, Андреевна у Толстого. Как Анна, что была стенографисткой, а стала женой Достоевского. Как няня, няня, в конце концов, Пушкина!..

— Возьму литровую, на больше не хватит, — гладила мужа по голове. — Помыться бы сходил. Постричься, волосы вон по плечи...

— Давай полторашку, и я в душ сгоняю, а потом писать, писать, писать...

Весь месяц Виталий читал жене строчки будущего бестселлера. Читал с выражением, в разных интонациях и по ролям, читал, растягивая слова и долго размышляя над синтаксисом.

Виталий Храмов

КНИГА

Новая Библия

ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, ТЫ СТАНЕШЬ БОГОМ. ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ. ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ. УЖЕ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ ЭТО.

А еще была реклама в прайм-тайм: «Мировой бестселлер. Книга Книг. Дочитать придется до конца!» — заявляют с экрана ТВ самые знаменитые звезды шоу-бизнеса.

«Дочитав до 25-й страницы, я поняла, что становлюсь лучше, ощутила себя живой, настоящей, нужной!..» — визжит певица.

А на 50-й странице загораются огромные буквы разноцветным сиянием: ТЫ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ!

«Это невероятно, — восторгается политик. — Но я знаю, что такое смысл жизни. Я обрел его на 85-й странице Книги!»

С ПЕРВОЙ СТРОКИ СОТОЙ СТРАНИЦЫ ТВОЁ СЕРДЦЕ НАПОЛНИТСЯ ЛЮБОВЬЮ! ТЫ УЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ! И БУДЕШЬ ЛЮБИТЬ И РАЗДЕЛИШЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ!

Тут по привычке он прерывался смочить пересохшее горло — желательно, конечно, пивом. В лучшие дни это получалось, в дни сумрака пиво заменяла газировка из соды и уксуса.

Виталий требовал, чтобы жена не перебивала, не переспрашивала («а то снова начнешь про прайм-тайм спрашивать — когда и что»), продолжал, помня текст наизусть, закатив глаза к давно не беленному потолку:

— Бог есть любовь! Это новая Библия. Такое мог написать только Бог! — восторгается нобелевский лауреат по литературе.

«Ты должен это прочесть! — кричат таблоиды. — Книга, меняющая сознание!»

«Весь мир должен прочесть ее, и тогда наступит новая жизнь. Наступит Рай! Книга-преддверие — мы стоим у врат долгожданной жизни, где все счастливы, здоровы!..» — утверждает ученый.

А начинается книга так:

В начале сотворил Бог, теперь небо и землю творю я. Прочитай и узнай, как и тебе, друг мой, стать Богом. И начать творить. Новое небо и новую землю...

Книга эта называлась «Книга». Ее автором был неизвестный ХВ.

— Это грандиозный дебют новичка в литературном мире. Мировые премии и переводы на все возможные языки мира, — брызгают слюной от восхищения критики. — После Книги никто из писателей не отважится написать лучше! Это путеводитель в Золотое время, о котором все мечтали! И вот оно наступило!

МЕЧТА СБУДЕТСЯ — ТОЛЬКО ДОЧИТАЙ КНИГУ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТОЧКИ! — такими словами заканчивается аннотация к Книге.

Он закрывал глаза и прижимал без того измятые листки к сердцу:

— Это то, что транслировал Космос прямо в самую мою сердцевину, а я выжал уже на лист. Как кровью писал и слезами.

Вика вставала с табурета, целовала мужа:

— Нет слов. Так смело. Непривычно. Дальше что?..

А дальше заглохло — у Виталия Храмова прервалась трансляция. Замолчал Космос.

— Может, обидел чем? — спрашивал тихо себя Виталий, лежа на диване. — Тонкие миры так переменчивы... К примеру, они не переносят политику, власть в какой бы ни было форме. Та же Ангела Меркель могла стать причиной сбоя сигнала. Слишком много ее в этой комнате последние месяцы... Глушит сигнал. Ангел*а* совсем не ангел, я так скажу. Канцлер Германии — звучит как-то враждебно, по-фашистски.

Вот бы придумать заглушку против глушителя Ангелы. Говорю «Ангел*а*» — имею в виду всех политиков Земли.

Пребывая на шаткой границе сна и яви, Виталий увидел, глубоко в себе, как должен выглядеть этот прибор.

По форме похоже на радар. С мощными сенсорами, чувствительными к тонким мирам.

— Эх, жаль, не силен я в электротехнике и физике, — томно ахнул и повернулся к стене.

У него давно своя шкала положений на диване. С досконально расписанными мыслями и возможными желаниями во время принятия той или иной позиции.

Например, на спине возможно без движений лежать не более получаса. При благоприятных обстоятельствах, без влияний извне, таких как физические позывы (зачесалось под лопаткой, скрутило живот), — чуть более часа. Желания попить пиво, желательно светлое, съесть что-нибудь. Можно сладкое. Профитролей. Вспомнить, что соседу Грише из 29-й комнаты занимал пятихатку. Обматерить его, плавно перейдя к ругательствам в адрес Меркель. Надругаться над канцлером Германии всеми возможными способами (включая запрещенные), три раза без остановки на перекур в течение десяти минут.

И неправда, что мужчина думает о сексе каждые семь секунд (это получается более восьми тысяч раз в день). Восемь тысяч раз мужчина может подумать о пиве, но никак не о сексе. Про чирей, зудящий в самом интимном месте, будет думать, пока не пройдет. О долгах, которые не отдают... Обиды и обидчиков, на перечисление которых уйдет больше двух часов, — какой там секс...

И не о работе. Работа — враг свободы. Как печать в паспорте. Клеймо на жизни. О работе думать категорически не рекомендуется.

— Это делает нас рабами. Мысли о работе. Поиск работы. Денег на существование. Мы рабы работы. От этого надо избавляться. От мысли даже. Не впускать...

На правом боку лежать проще, спокойней. Мысли о невозможном и непостижимом... Желание ничего не делать и стараться тише дышать. Слушать сердце и урчащий желудок.

С левым сложней, близость сердца напоминает давящим чувством тревоги, нагнетает плохие мысли. Отгоняет желания, какие бы ни были... Помни о смерти.

Обои на стене, по обыкновению, ставшему привычкой, возвращали Виталия в реальность.

Пожелтевший рисунок — голубые розы, заключенные в геометрические фигуры, — вынуждал подниматься с дивана, недовольно бормоча миру вокруг:

— Ну что? Что тебе от меня надо?..

Виктории, если бы на месте жизни была она, от мужа нужно было одно, и она это повторяла и повторяла:

— Найди хоть какую-нибудь работу.

— Дворником?! — восклицал вместо ответа Виталий. — Тебе самой не стыдно будет, если я сортиры начну чистить, а?!

Жертва неуставных семейных отношений

Первый седой волос Вика обнаружила через месяц сожительства с Виталием.

— Знаешь где? — спросила.

Виталий угадал:

— На левой брови.

Вика бросила в него тюбиком крема для рук:

— Видел и мне ничего не говорил?!

Он мотнул плечами:

— А что такого? Тебе очень даже шло...

Еще один тюбик с тумбочки полетел:

— Мне двадцать три, если че!

— Мне двадцать семь, и ни одного седого волосика, — хихикнул, подобрал тюбики и оба швырнул в жену. — Возьмем тебе краску, в чем беда-то? Эт же все мелочи жизни...

Один крем попал в грудь, другой по носу.

Если бы Виктория вспомнила и посчитала, то сегодня ровно три года с той мелочи жизни. Только ей не до экскурсов в прошлое, перед ней вновь нелегкая задачка — краска для волос или полтора литра пива для мужа?..

Пересчитала еще раз деньги в кошельке. Сегодня в детском садике праздник, и раздобревшая после шампанского завша отпустила нянечек на час раньше.

Долго не решалась позвонить мужу — «вдруг пишет?». Виталий позвонил сам, сделал дозвон, у него, как всегда, на телефоне не было денег.

— У меня новая идея, — выпалил, когда она перезвонила. — Новый проект, он точно прибыльный. На миллион. Какой там — миллиард!

— Правда?! — вскрикнула радостно Виктория и тут же спохватилась, протараторила чуть слышно: — А не получится как в тот раз с видеофильмом? Ведь сколько денег и нервов потратили...

Виталий успокоил:

— Это знак свыше. Я задремал после обеда, и мне открылось. Я получил четкие указания и подробную инструкцию.

Выдохнув, Вика сказала:

— За комнату не платили два месяца, и компьютер починить не мешало бы...

— Все заплатим, починим. С такими деньгами мы дом купим. Дворец. Съедем из общаги к чертовой бабушке и ребенка заведем, как мечтала.

— Ой, — все, что смогла ответить она.

Муж взахлеб продолжал:

— Клянусь, это будет работать и принесет нам реальные деньги. Большие. Меня осенило, как током пронзило. Космическая мысль. Даже страшно стало от осознания.

Он говорил. Вика купила в минимаркете двухлитровую бутылку светлого пива, Виталий рассказывал, как вскочил с дивана и принялся делать зарисовки. Девушка села в автобус, муж объяснял технологию трансляции, как он ее понимает. Через три остановки речь пошла о Божественном замысле и его проявлении во всех, даже скромных, идеях:

— Значит, пока, на сегодняшний день, достаточно того, что я написал в Книге. Библию писали почти два тысячелетия, если что...

Она знала, он всегда находит всему оправдание. Себе особенно. А с увеличением числа седых волос в ней крепла вера, что при необходимости Виталий найдет оправдание их разводу.

Сама же гнала подобные мысли. Случись развод, отец не удержится позлорадствовать:

— Я же говорил. Мой глаз-рентген еще никогда не подводил. Сказал: «Ненадолго этот Витя (он нарочно всегда путал и коверкал имена непонравившихся людей, а не нравились отцу все), болезненный уж больно на вид, да и по содержанию... Слушайся папу, он твою общественную, личную и интимную жизнь наладит».

Виталий в приступе паники, которая может возникнуть из-за отсутствия в нужный момент пива в холодильнике, бросался выражениями: «Давай разведемся, если уж так невмоготу», или «Недопонимание супругов — первый шаг к раздельному жительству»...

Она и влюбилась в длинноволосого юношу за его своеобразный язык. «Такой образный, золотистый, сказочный», — наделяла она остроты Виталия высокопарными эпитетами. И боялась подумать, что этим он сильно похож на ее отца, любителя «словесных красивостей».

Намеченный, согласно очереди в загсе, день ждали, отсчитывая каждый час до заветной даты, посылая смс-сообщения: «Котик, осталось 74 дня! Это 106560 минут. Люблю!»

— ...получается, что ты выглядишь, как еще одна жертва неуставных семейных отношений, — раздраженно закончил Виталий, а Вика подошла к комнате 27 и открыла дверь ключом.

Из телефона донеслось:

— Это ты, что ли, уже ломишься? Смотри, ни для кого меня нет. Если Гришка в коридоре — он мне должен.

— Нет никого в коридоре, — отключила телефон. Прислонила пакет к стене, пивная бутыль выкатилась к босым ногам Виталия.

— Лунка моя небесная, — и недовольного голоса, раздраженных нот как не бывало, — впереди у нас розовые слоны в кружевах и зефире...

Он поднял двухлитровку. Вика разулась, выдохнула:

— Так что ты там про жертву неуставных семейных отношений?..

Нахмурился:

— Жертву?.. А, это. Я тебе про образ женщины — той же Богородицы — как олицетворение всего женского. Каждая вторая, если не каждая женщина, девушка, девочка... Как она одета? Посмотри! Во что?! Как себя преподносит... Поведение. Жесты. Аура... Все выдает в ней жертву. Семейная жизнь написана в том, во что ты одета. Все семейные склоки и неурядицы у тебя на лице: в твоей губной помаде, в румянах на щеках, в тенях... Ваши отношения с мужем как на ладони, в твоей прическе, в перчатках, сумочке с кошельком. Модели телефона. Ведь так?..

Зашипело белыми пузырями пиво, Виталий открыл бутыль, налил полную с горкой пены кружку, Вика перевела дыхание:

— Так давно не секрет, что жена — это отражение мужа.

— Вот, умничка моя, — повесив усы пены, он чмокнул жену в щеку. — Настало время преображаться.

Виктория вытерла испачканную щеку:

— Ты намекаешь, что я одета не комильфо?..

— Я про тех мокриц в серых юбках и мешковатых свитерах цвета блевоты, с пережженными перекисью волосенками, собранными в хвост. Которые на каблуках ходить не умеют, купят резиновые по колено говнодавы и чешут на полусогнутых, как лепреконы в поисках золота. Только их золото — дешевые распродажи и уцененные товары.

Сделал большой глоток и завалился на диван. Вика вышла помыть руки, вернувшись, сказала:

— Так если бы мужья работали и зарабатывали более или менее нормальные деньги, разве жены ходили бы за таким золотом лепреконами?..

Виталий добавил пива в кружку:

— Твоя правда, Лунка, и до мужей дойдем. Все по порядку. Всех же лично не будешь одергивать — это не надевай, то не носи, так глаза не красят, и не сутулься. Надо начинать с большого. Великого. Переодеть и поменять образ тех, кто значит многое для человечества, на кого все равняются, кто может диктовать моду, проще говоря.

— Встречают по одежке...

— Верно, мой лучик. А знаешь, с кого начнем преображение?..

Пиво дало о себе знать, голос завибрировал у Виталия, «распоясался», как он бы заметил.

Вика сказала наугад:

— С папы Римского.

Муж взвизгнул:

— Белиссимо! Почти попала. Ранила.

Сними Христа с креста! Платья и другие украшения Богородицы

Фантазии у Виталика хватило на шесть юбок, столько же кофт, три платья, восемь пиджаков, десяток моделей причесок и около двадцати видов сумок и кошельков. На это ушло два с половиной дня, и Виталик решил упростить задачу, копируя платья и прочие туалеты для Богородицы из женских журналов.

— «Космополитен» — для шлюх, уж простят меня невинные создания, попавшие в сети рекламных кампаний. Хотя уверен, найдутся и такие, которые решат одеть свою Богоматерь в наряд из «Плейбоя».

Вика принесла мужу пачку старых журналов моды, и первые три вечера он прилежно вырезал, клеил, раскрашивал... Готовил свою коллекцию.

— Это платья для Богородицы. К набору из всяческих нарядов и украшений должна прилагаться обнаженная фигурка Божьей Матери. Можно с младенцем, тогда бонусом пойдут распашонки, пеленки, чепчики для беби Иисуса.

Виталий загорелся новой идеей.

— Это не какая-то там эфемерная заглушка АнтиМеркель. Это реальная возможность заработать. Прославиться. И почему до этого раньше никто не додумался? — спрашивал себя, спрашивал жену.

Вика вздыхала. Виталий размышлял:

— Потому что это должны быть мы. Космос приберег это открытие для нас. Ведь ничего сложного, заменяем в наборе для девочек куклу Барби Девой Марией — и вуаля. Это больше чем игрушка теперь. Твоя персональная Богородица.

— А это не богохульство? — Виктория разглядывала вырезанные мужем из

цветного картона нимбы в розовый горошек и с надписями «Я люблю Россию», — попахивает как-то...

— Это возвращение к вере, — отвечал с легкостью Виталий. — Я еще к майкам и футболкам надписи придумаю, типа «Я выбираю Иисуса!» и «Верующий до конца спасется!».

Ночью же, долго ворочаясь, Виталий никак не мог заснуть. Когда это все-таки произошло, хотя наутро он будет рассказывать жене, что не спал, увидел Богородицу.

— Как с иконы сошла, — вспоминал он, в трусах нервно накручивая круги по комнате. — Вся в сиянии, а нимб в точности что я нарисовал, со смайликами. И она мне так по-свойски, знаешь: «Виталь, а ты про Сына моего не забывай».

Я рта открыть не могу и, как сейчас, в трусах ведь в одних перед ней, стыдно до инфаркта, отступать и прятаться некуда. Молчу, руками прикрываюсь.

Она сквозь улыбку: «Я же внутрь тебя смотрю, почему стесняешься своей наружности? Стыдиться надо за то, что внутри».

У меня голос прорезается, я в ответ: «Да-да, все верно, вы как скажете», — бурчу что-то типа того, а она снова про Сына. Я спрашиваю: «Вы про Иисуса?..» — «Сними его с креста, — отвечает Богородица. — Сына моего. Сделай так, придумай способ...»

Вспыхнула золотым светом вся вмиг, и я проснулся, а перед глазами стоит *это*.

Замерев посреди комнаты, Виталий протянул к жене правую руку и написал в воздухе указательным пальцем:

— Сними Христа с креста! — сказал и устало опустился на край дивана.

Вика протянула ему кружку дымящегося кофе.

— Я правильно поняла, это что-то вроде набора с фигуркой прибитого к кресту Иисуса и его надо будет снять с помощью каких-то инструментов? Спасти. Так?..

Муж кивнул:

— Уверен, найдутся индивидуумы, которые снова и снова будут прибивать Спасителя, распинать его вновь и вновь...

Виктория вздохнула:

— Это серьезно уже. И страшно, Виталь. Здесь точно можно схлопотать. Сейчас церковь только тронь — сама распнет любого.

— Да-да-да, — вскочил, подбежал к окну и выглянул в форточку. Снова вернулся, отпил кофе, обжег язык, подкрался к двери, прислушался. — Страшней будет, если идею эту кто-то украдет, — зашептал. — У стен есть уши. АнгелыМеркель не дремлют.

— Говорю «Меркель» — подразумеваю всех, кто против нас? — уточнила Вика.

— Идеи, к сведению, воруют и перепродают. Больших денег доходная идея стоит. У нас в России пока не шибко за идеи платят, но за границей...

Он опять подошел, приложил ухо к двери.

— Нет там никого. Гриша пьяный может только шарахаться, — успокоила Вика.

— А за стенкой? Заехал же кто-то?.. Женщина?..

— Не Меркель, точно, — засмеялась. — Куплю сегодня газету, посмотрю, может, подработку найду или еще что.

Виталий схватил жену за руку.

— Вот не начинай снова, пожалуйста, — прошипел ей в лицо. — Мне твои намеки только ауру портят. И себе ты карму этим не улучшаешь.

Вика вырвала руку.

— Совсем что ли?! Я тебе про подработку еще в том году говорила.

— Помню. Как раз я книгу начал писать, а ты с мысли сбивала своими вакансиями!

Натянул спортивное трико и футболку, исчез за дверью.

Вика застелила диван, пока убирала белье, вспомнила мать, как она терпеливо подбирала за отцом разбросанные вещи, а маленькая дочка смотрела на все это и

говорила себе, что никогда не выйдет замуж, а если все же случится, то ни за что не будет собирать за мужем его вонючие носки.

— История повторяется, — вздохнула горько повзрослевшая девочка Вика и вытащила из-под дивана носок Виталия.

Ганг, твои воды замутились

Неделю он носился с мыслью о патенте. Помылся и подравнял, как смог, волосы с целью всерьез заняться этим вопросом.

Вика сходила в библиотеку, нашла в интернете всю нужную информацию. Распечатки, которые она принесла, Виталий долго изучал. Громко потом возмущался. И наконец разорвал на мелкие кусочки:

— Я же еще и платить за свою находку должен?! Тридцать тысяч за ненужные бумажки! Обломитесь!

С горя («небо это так не оставит») упросил Вику купить полтора литра крепкого пива и уснул после третьей кружки. И приснилась ему вода.

Женщине снился отец. Он смеялся и махал молотком: «Примите заказ, — кричал сквозь хохот. — Вытащи Ленина из Мавзолея! В набор входит Ленин-китаец и Ленин-негр...» Ха-ха-ха! К нему прилагаются нимбы! И звезды! И мой глаз-рентген! Я хочу, чтобы ты это запатентовала-а-а-А! Крик разбил стекла, она слышала звон и боялась, что это бьются зеркала, как тогда, перед смертью мамы. Она была в ванной, мыла голову, когда над ней взорвалось в крошку зеркало. Мамино любимое, как считалось. Мама говорила: «Оно меня молодит».

Зеркала чувствуют тот свет, они проводники. Больше в ванной зеркало не висело. Отец брился на кухне, перед стеклянной дверцей микроволновки, а Викиного мнения никто не спрашивал. Да и не осмелилась бы она взглянуть в новое зеркало. Она и сейчас редко смотрится в зеркала. Так, на бегу, одним глазком, подкрасить губы, поправить челку...

Проснулась, звон выбрался из сна и наполнил комнату. Это Виталий барабанил пластмассовым и алюминиевым тазами.

— Не пойму, какой глубже? — вертел он их, по очереди надевая на себя.

— В трусах и с тазиком на голове, — Вика засмеялась. — И тебе доброе утро.

— «Ганг, твои воды замутились» — эта строчка просто кричит во мне, я с восьми утра уже как не в себе, — сказал Виталий и тише добавил: — Ты разговаривала во сне. Отца все своего не то звала, не то проклинала...

Вика встала, накинула халат.

— Да, кошмары всю ночь.

— А мне Ганг снился, вернее, не снился, влился в меня, забушевал во мне... Позвал...

— Это все пиво крепкое, — сказала в ответ, загрохотали об пол пустые тазы.

— Снова ты приземленно мыслишь, Вич!

Если Виталий был женой недоволен, то ласковое «Лунка» заменялось резким, страшным, трехбуквенным — «Вич». Вика это знала, а он знал, что она до дрожи ненавидела эти три буквы.

— Как диагноз ставишь, — возмущалась она. Только сегодня никак не отреагировала. И когда он в третий раз назвал ее словом из трех букв, Виктория лишь заметила вслух, что на трусах у мужа пятно:

— Приземленно-недвусмысленное пятнышко.

— Красный — это цвет праны, цвет сердца.

— Красный с натяжкой до коричневого, — поправила она.

— Анус, между прочим, обитель апаны, это субпрана.

— Давай постираю твою апану, — Вика подняла красный пластмассовый таз.

Виталий снял трусы и бросил в жену.

— Не мути и без того мутную воду, Вич. Если тебе отец всю ночь покоя не давал, не срывайся на мне. Дыши глубже.

— Ощущения у меня непроходящие, что с переездом в общежитие мы вязнем, как в трясине. И глубже с каждым днем.

— Ганг, твои воды...

— Это болото! Не Ганг!

— Предлагаешь послушать папочкин совет и переехать жить к нему? Всегда под его чутким вниманием и руководством? Так? Ты ведь поэтому начала все это?! Болото, трясина...

— Ладно, проехали, — махнула она трусами мужа. — У стиральной машинки шланг протекает, новый надо бы...

Голый мужчина не ответил, его привлекло темное отражение в эмалированном тазу. Тени двигались, жили, перемещались и трансформировались... Он слышал, как они шумят выходящей из берегов клокочущей, бурлящей водой...

Вика с работы позвонила на домашний телефон родителей. Отец как вышел на пенсию, так с весны до первых сильных морозов живет на даче. Трехкомнатная квартира наполняется пылью, паутиной и призраками в немом ожидании хозяина и редких гостей.

После первого гудка в трубке раздался грубый, недовольный голос отца:

— Что?

От неожиданности уронила трубку.

— Виктория, это ты, я знаю, — твердый, уверенный голос. — Ты мне сегодня приснилась. Сначала спутал тебя с матерью, вы ведь как две капли... Потом ты разбила зеркало, и я понял, я вспомнил... Ты в тот день, в ванной, так же...

Вика нажала рычажки отбоя — гудки в утешение не успокоили.

— Ганг, твои воды замутнели, — сказала и полоснула ногтями по лакированной поверхности стола, оставив заметные царапины.

Очищение

На лестнице, между первым и вторым этажом, ее остановила Галя-«Губа» из 33-й комнаты. Волосы обмотаны полотенцем, мокрые пятна на банном халате цвета детской неожиданности, — подметила Вика.

— Не поверишь, сработало, — схватила подвыпившая девица Викторию. — Я полчаса не могла без сигареты. А как выпью, так через каждые пять минут курю. И вот — на тебе, уже третий час. Три часа, Вик! В рот не брала!..

Женщины остановились.

Галина зашептала:

— Раньше почему не говорила, что твой наложением рук ауру корректирует?..

Виктория интуитивно ожидала чего-то подобного, поэтому ответила с улыбкой:

— О, это еще цветочки, знала бы ты, что он в постели творит, — и пошла вверх, дальше налево, в единственное жилое крыло двухэтажного общежития. Мимо комнаты 25, снова налево в приоткрытую дверь под номером 27.

Встретил Вику алюминиевый таз с водой на журнальном столике в центре. Муж, облаченный в ее банный халат, торжественно показал на подоконник, там стояли три полторашки пива:

— Вот, — вяло промямлил, — заработал.

Вика кивнула:

— Ага, скорректировал ауру, уже наслышаны.

Виталий отрыгнул:

— Это Галька принесла, у нее, у сына, что ли, день рождения... Я не мог не

взять, — оправдывался, присаживаясь на край дивана. — За такие услуги деньги не берут, если ты хочешь знать. Это дар, и он оплачивается по иному тарифу...

— Пивом, — вставила женщина.

— Ну, бабушкам, которые лечат, сахар несут, муку, печенье с конфетами...

— И вы с ней решили этот твой дар отметить? — раздраженно выпалила Вика. — Кому еще ауру подчищал?! Из 26-й, вроде, тоже нуждается в корректировке, нелюдимая какая-то, а? Или Грише помоги, наладь жизнь. Чего? Да в этой долбаной общаге всем нужна помощь! Потерянные души! Бездомные и никому не нужные! Карма здесь у всех плохая! И это заразно! ЗА-РАЗ-НО!

Вика прокричалась, разулась и поняла, почему Виталий не противоречит, как обычно, и не разбирает по полочкам состояние кармы соседей. Мужчина уснул с открытыми ртом и глазами.

В тазу, черной паутиной, волосы Гали. Вику передернуло от отвращения и больно свело пустой желудок.

— Хорошо, блевать нечем, — сказала, и ее стошнило в таз.

Она давно заметила, что глазит себя безжалостно. Подумала на днях: «Как здорово, что пломба так долго держится». Не прошло и десяти минут — пломбы не стало. Обрадовалась, что забрали у нее старшую группу ребятишек — так зарплату на пятьсот рублей убавили.

«Ни о чем плохом не думать и ничего не планировать», — зареклась Виктория. Но сглаз проявлялся в мелочах, ежесекундных мыслях-вспышках, как сейчас. Волосы соседки исчезли в молочно-белой воде, Вика вытерла губы и, напевая про себя песню скворцов из любимого мультфильма детства, вышла с тазом в коридор, к умывальникам и туалетным кабинкам. Мычанием пытаясь заглушить мысль: «Что если выпить все пиво мужа?»

Виталий разбудил во втором часу ночи:

— Чего-то пиво найти не могу...

— Я его выпила с художником, — сказала и повернулась к стене Вика.

— Как?!

— Пошла таз с твоей целебной водой выносить, встретила соседа Илью, предложила отметить, он согласился.

Мужчина схватился за голову:

— Что отметить? Боже ж ты мой...

— Развод, — зевнула Вика. — Сказала, что ты изменил мне с Галькой и что развод не за горами.

Виталик остолбенел с поднятыми над головой руками.

— Изменил?..

— Ауру ей почистил — если хочешь, так это назовем.

Трезвый он бы уловил нотки иронии в ее голосе, но выпитые с соседкой несколько бутылок крепкого пива заглушили голос разума, оборвав связь с Космосом и с самим собой.

— Но это не измена! Я только опустил ее голову три раза в таз с водой, делов-то...

— Целых три раза?! Ну, ты герой, силен...

— Вик, стой, постой, ты что, правда выпила все пиво?!

Он встал на колени у изголовья дивана.

— А ты правда спал с Галькой?..

— Да как я?.. Ну ты что?!

— Ладно, прощен. В тазу твоем пиво, алюминиевом. Хотела тебя проучить, да что-то плохо совсем ты выглядишь. Крепкое же ты с роду не пил...

— Дык... — поднялся с хрустом в коленях. — Заработал же, не выливать ж...

Шкаф с вещами отделял диван от кухонного угла, где под столом таились тазики. Шаря в полутьме, Виталик обнаружил пропажу, незамедлительно откупорил бутыль и принял на грудь, булькая и бормоча:

— Вот оно, причащение, истинное очищение. Смывает с сердца и души все путы. И, как вновь рожденный, ты снова готов к подвигам и откровениям.

Вика укрылась с головой, страшное слово «развод» застряло в ней, разрастаясь, деформируясь, мутируя...

Заколка (Голос крови)

Всю следующую неделю после коррекции ауры соседки Виталий болел.

— Почти всю энергию растратил, — не поднимая головы с подушки, говорил. — Исчерпал сосуд. Подпитаться надо... От природы. От неба...

Вика не стала говорить, что Галя закурила на следующее же утро после процедуры с тазом. Они столкнулись в дверях общежития, Вика спешила на работу, Галя с похмельным баллоном пива в свою комнату.

— Только мужу не скажи, — попросила, выбрасывая сигарету. — Это я виновата. С перепоя всегда так, всякие непотребства творю, это в крови алкоголь говорит. Кровь после бурных возлияний жидкая, голосок писклявый, вот спирт и заглушает его. Поэтому все выпившие кричат, как потерпевшие, а кровь помалкивает, — философствовала Галя.

Пообещав, что муж про сигарету не узнает, Вика оставила Галю одну в поисках ответа на вопрос о смысле жизни.

В послеобеденный сончас она набрала номер телефона родителей.

На этот раз гудкам, казалось, не будет конца. Гудки слились в один непрерывный гул, и Вика не сразу сквозь него услышала отца:

— Хочу сказать тебе, зеркала у нас так и занавешены. Я не осмелился. Никто, кроме тебя и матери, в них ведь не смотрелся...

Она только выдохнула в телефон.

Отец говорил спокойным, гипнотизирующим голосом:

— Мама твоя, помнишь, верила фанатично, что можно увидеть души умерших, близких родственников, в зеркале, если посмотреть в него после полуночи. Помнишь? Вот я и боюсь, что она окажется права... Если бы не один, а с тобою если вдвоем — не так страшно. Мы бы расчехлили, открыли зеркала. Один я не рискну. Нет.

Виктория слушала, прикусив костяшки пальцев на правой руке.

— Не поверишь, ночами, мучаясь бессонницей, я слышу шорохи в зеркале, в том, которое в спальне. Мы занавесили его простыней, на которую ты еще малышкой пролила несмывающиеся чернила, мама хранила ее, потому что пятно было в форме сердца...

Вика, не сдержавшись, всхлипнула, дала отбой и в голос заплакала.

Она звонила всю неделю в одно и то же время, отец, словно по молчаливой договоренности, снимал трубку, вспоминал прошлое. Она молча слушала, грустно вздыхала, иногда всхлипывала, иногда из губ вырывался короткий смешок.

— Нашел вчера заколку, — сразу начал рассказывать сегодня отец. — Я ведь, как съехала, закрыл твою комнату и на дверь не взглянул даже. А заколку нашел на лоджии. Полез искать дюбель панно на кухне прибить как следует. Смотрю, блестит что-то на дне ящика с инструментами. Улитка такая, золотого цвета, со сломанным зубчиком. Это же мамина?

И дочь ответила:

— Моя.

Больная неделя завершилась для Виталия новым откровением:

— Я понял, в чем секрет Христа! — прокричал жене, стоило ей появиться в дверях. — Это отвечает на самый важный вопрос веры. Верить или нет.

Вика после разговора с отцом была в отличном настроении, улыбалась и принесла мужу литровую банку пива.

— Вот это событие мы и отпразднуем, — ответила словами отца, сказанными ей несколько часов назад.

— Креститель не просто опустил Иисуса в воду реки, когда проводил обряд крещения. Чтобы родился новый человек, надо убить старого. Понимаешь?..

Она кивала, разбирая пакет с продуктами:

— Да-да, — соглашалась, не прекращая улыбаться.

— Что да-то?..

— Все верно ты говоришь. Я же никогда в тебе не сомневалась. И роман ты допишешь, знаю, и что там еще?.. Все, все у тебя получится.

— А что с Иисусом Иоанн Креститель сделал, поняла?

Вика ответила:

— Судя по всему, утопил.

Муж хлопнул в ладоши.

— Моя женщина! — воскликнул. — Браво, Лунка! Конечно, утопил! Иначе бы Иисус не был тем, кем стал. Старый Христос умер, там, в водах реки Иордан. Креститель убил его, позволил ему захлебнуться, а потом вернул к жизни — это второе рождение и было отмечено появлением голубя, что сошел с неба на новорожденного тридцатилетнего Иисуса... Вот и ответ на вопрос всей жизни. Надо умереть, чтобы родиться человеком, достойным неба.

Виктория открыла банку пива, разлила по стаканам.

— Думаю, тогда тебе придется повторить сеанс с Галей, теперь уже в ванной, хотя, наверно, можно и в тазике ее утопить, — протянула стакан, полный шипящей пены.

Муж взял стакан:

— А что с Галей не так?

Вика отхлебнула, продолжая улыбаться:

— Сорвалась Галя, вот что. Закурила.

— Как?!

Она выпила пиво, выдохнула:

— Да вот так! Наутро после тазика уже затягивалась никотином твоя подопечная.

Виталий поперхнулся, отдал стакан с пивом, прошелся по комнате.

— Не может эта схема не работать... Нет. Нет. Это с ней что-то не так... С Галей...

— Так и я про то, — выпила пиво мужа Виктория. — Надо бы ее как следует откорректировать. Галю. Чтоб навек забыла про курево.

Виталий почесал голову, разбрасывая снежинки перхоти.

— Думаешь? У Крестителя была прямая и беспрерывная связь с открытым небом. У меня же — так, через пень колоду.

— Я верю в тебя. Я с нашего знакомства, с первой встречи верила, знала, что ты необыкновенный...

Виталий исчез за шкафом, загремел тазами, вернулся с алюминиевой посудиной.

— Ты как, не желаешь? — спросил жену полушепотом. — Потренироваться мне бы...

— Не желаю — что?! Обновиться?! — Вылила пиво в свою кружку. — Вот если бы днем раньше, я, может, и согласилась. Стать новой. Но сейчас...

— А что изменилось со вчерашнего?..

— Заколка нашлась. Любимая с детства. Талисман мой. Оберег.

Виталий, не понимая, замотал головой.

— Золотая улитка, мама мне, когда я в первый класс пошла, подарила.

Не поверишь, стоило мне только надеть эту заколку — сдавала экзамен на «отлично». Дам подруге Насте — и у нее пятерка.

Виталий уже кивал, соглашаясь:

— Верю в такое, ага, бывает...

— А потом как в воду канула заколка. У нее зубчик один отломался, поэтому надевала ее в жизненно важные, решающие моменты и всегда хранила в маминой шкатулке с драгоценностями. Тут в техникум поступать, схватилась, а улитки нет. Весь дом перевернули с мамой, нет заколки. Ох и наревелась я тогда...

Допив последние капли из банки, Вика закончила:

— Не поступила я в техникум, короче говоря, потом не стало мамы, — она икнула. — И много лет спустя, сегодняшним днем, заколка нашлась.

— Супер. Теперь у нас, значит, все наладится и получится.

Вика рассмеялась:

— Может, и мне не надо будет работать, деньги улитка нам золотая в домике своем приносить будет, а?! И ребенка наконец сможем позволить. Съедем с гребаной общаги. Забудем про АнгелуМеркель и Галю... — развалившись на диване, мечтала вслух Виктория.

Виталий убрал таз назад под стол, вернулся к жене и лег рядом.

— Пусть улитка работает за нас. Работает на нас! — выкрикивала она громко. — И никаких тебе ссаных горшков и аванса в три тысячи!

— Можно и патент тогда на все мои изобретения сделать, — вставил Виталик. — С деньгами я и книгу быстрей напишу...

— И патент, и книгу... Ребенка как назовем?!

Они лежали, уставившись в потолок, касаясь друг друга голыми локтями. В комнате пахло пивом и п*о*том.

— Виталий-младший, как тебе? — спросил он и сам ответил: — Все гениальное просто. Храмов Виталий Витальевич, как продолжение...

— А девочку Викторией-младшей, так?.. Как продолжение?..

И снова они молчали. Часто голос мешает, отвлекает, путает... Муж и жена не произносили ни слова. Они слушали Космос.

Зазеркалье

Вика впервые проспала. Последний раз она опоздала на урок в восьмом классе, с тех пор ее внутренние часовые куранты срабатывали раньше заведенного будильника примерно на десять минут.

«Это знак», — подумала она и не стала спешить. Решив, что сегодня она на работу не пойдет.

Но мужу, конечно, не скажет. Соберется, как всегда, поцелует его спящего в нос и уйдет, тихо закрыв за собой дверь. Сегодня она впервые за годы совместной жизни оставила ему записку на журнальном столике.

Ушла за улиткой. Могу задержаться. Могу с ночевкой. Может, и на пару дней. Сам говорил, что расставания укрепляют узы. Не волнуйся. Делай все, что запланировал и что считаешь нужным. Пельмени бросать только после того, как вода закипит. Ви.

Виталий прочитал, отвел взгляд на обои — голубые розы в геометрических тюрьмах — снова прочитал записку. Рисунок обоев не изменился. Вслух произнесенные слова тоже не сотворили чуда. Виталик решил, что если это послание жены катастрофично, то пусть розы выберутся из вечного заключения. В десятый раз он запел:

— Ушла за улиткой...

Было время обеда, и Вика, всегда пунктуальная, подошла к двери в детство. Повернула ручку, дверь была открыта.

Вошла в коридор, полный солнечного света, блики от фотографий за стеклом ослепили, она не глядя знала, кто на этих снимках.

— Я вернулась, — сказала она. — Давай откроем зеркала.

Виталий постучал в комнату 33 во второй раз уже после обеда. В этот раз ему открыл сын Гали, школьник Миша, сказал, что мама на работе. Виталий попросил передать, чтобы она зашла к нему сразу, как придет. Мальчик ответил: «Ага».

Набрав в таз холодной воды, чуть больше половины, Виталий закрылся в комнате. Включил телевизор, шел черно-белый немой фильм.

На столе рядом с тазом — вырезки платьев, разноцветные нимбы, видавшие виды листы бумаги.

На одном виден кусок текста:

Виталий Храмов

КНИГА

Новая Библия

Там было написано: *ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, ТЫ СТАНЕШЬ БОГОМ. ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ. ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ. УЖЕ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ ЭТО.*

На втором, смятом листе, фрагмент записки:

«Ушла за улиткой. Сам говорил, что... как вода закипит».

Вспомнил историю про девушку, которая из-за нечастной любви сунула голову в кастрюлю с кипящей водой. Это был рассказ или случай из жизни? Он прочел в газете или в книге?.. Виталий не мог вспомнить, и это его злило. Расчесывая ногтями голову над тазом, он любовался, как чешуйки перхоти исчезают в воде и выдернутые волосы становятся невидимыми через пару мгновений. В воде все исчезало, кроме его отражения. Виталий смог разглядеть свои черные зрачки на дне таза. Они смотрели на него, в него бездонной пустотой небытия. Смотрели темной стороной луны. Лунки...

— Исчезнуть, чтобы вернуться, — сказал. — Вернуться новым.

Закрыл глаза и исчез в темноте.

Темнота полна жизни. Кишит просто ею... Открыл глаза, когда диктор программы «Новости» сказал:

— Ангела Меркель теряет связь с реальностью. Миграционная политика канцлера Германии привела к разобщению Европы, — заявил премьер министр...

Дальше он не слушал, он смеялся до шума, до звона в ушах.

На экране телевизора мелькали кадры с яростно жестикулирующей Меркель. Виталий закричал, задрав голову к потолку:

— А-а-а-а!.. Хайль Гитлер! — И снова смеялся, пока не рухнул вниз головой в таз с водой.

И там он смеялся — бурлила, выплескиваясь на стол и на пол вода. Пузырилась, пенилась, хохотала...

А потом закипела.

Комната 29

Под столом, или Портрет чудовища

Гриша — старожил общаги. «Бессмертный обитатель уцелевшего крыла», — называл себя он. Если Гриша не пил, значит болел после запоя, отходил минимум неделю. Это называлось у него воскрешением. Если исчезал на месяц-другой — на вахту уехал Гриша, работает. Где? Этого не знает никто, ни друзья, ни собутыльники. О прошлом Гриши известно не больше. Был в Афгане, Чечне, вроде, и Нагорный Карабах захватил. Трезвый — немногословный, а пьяного — не переговорить, не переслушать. И отделить правду от вымысла так же невозможно, как и пытаться отвязаться от Гриши. Он может закрыть комнату, а ключ спрятать, только бы ты остался с ним и дослушал его истории, которых тьма тьмущая. Он может постелить тебе на полу, несмотря на то, что у тебя через стенку удобный диван или раскладное кресло.

Гриша незлопамятный, потому как после пьяных дебошей не помнит обид, ничего не помнит. Гриша — меломан. Ему без разницы, какая музыка играет в радиоприемнике, лишь бы кроме него и его голоса в комнате еще что-то звучало, жило.

Возраст около сорока пяти. Гриша никогда не отмечает свой день рождения. Он вообще никакие праздники не отмечает.

Носит спецовки цвета хаки, солдатские ботинки, после вахты приезжает обросший и сразу бреется наголо.

И в первый же день, не дожидаясь, когда деньги придут на карточку, напивается.

Виталька-«Космос» до женитьбы — частый гость в комнатке Гриши, это его хозяин, затарившись пятью бутылками водки и пакетом сосательных конфет «Барбарис», не выпускал до шести утра, пытая байками из прошлой, военной жизни.

Виталик водку не пьет, Гриша не пьет пиво. После такой ночи у пленника две недели болел язык, расцарапанный барбарисками, и долго не выходила из головы страшная история встречи молодого Гриши с чудовищем.

Самого Гришу некоторые женщины, знающие близко, называют чудовищем.

Одно время по общежитию ходил слух, якобы Гриша под водку пытался закусить девицей, которую привел на ночь. Еще говорили, что Галю из 33-й комнаты пытался изнасиловать. Только Галя продолжает общаться с Гришей как ни в чем не бывало. И «закуску» целехонькую, слегка потрепанную, неряшливую, пару раз видели выходящей из комнаты 29.

Гриша признается: женщина ему нужна время от времени, не более того. Известно, что он платит алименты, не всегда вовремя, и тогда появляются еще одни гости — из службы судебных приставов.

Что за дети? Откуда? Где?.. В общежитии этими вопросами никто не задается, а Гриша по пьяни о детях не заикается. Говорит лишь, что не переносит запах детей, а еще больше терпеть не может запах женщины в комнате.

— Как почувствую, так водка в рот не лезет.

Второй человек, кому рассказал Гриша о страшной встрече, обитатель комнаты 6 на 4, молодой поэт и художник Илья Дубин.

Гриша переключился на него, как только к «Космосу» в комнату заселилась «костлявая фея». Илья употреблял водку, но с Гришей пить отказывался:

— Пью только в женской компании.

Гриша пробовал с ним фокус с потерянным ключом — Илья едва не вышиб дверь. Привлек лишь однажды историей про чудовище:

— Давай, творчество, я тебе чуток налью, чтоб на сухую не сидел, а ты слушай. Потом, может, нарисуешь че или сочинишь...

Илья вспомнил, как лет восемь, может, десять назад называл Гришу на «вы», а иной раз даже проскакивало «дядя»... Теперь Илье почти тридцать, и он хлопает испачканной в краске ладонью по столу и берет полную до краев рюмку.

— Если бы не дописал, хер бы ты меня уломал, — сказал и залпом влил в себя горькую. — Фу-у, — поморщился.

На закуску у Гриши как всегда сосательные конфеты.

— Есть чем запивать хоть? — покосился Илья на банку с водой тут же на столе.

— Сок березовый наливай, — пододвинул алюминиевую кружку к гостю Гриша.

Гриша любит рыбачить и просто бродить по берегу Ангары в летнее время. У него всегда в морозилке пакет замороженной рыбы, ягод, а под кроватью расфасованные по кулям кедровые шишки и орехи.

— Пельмени есть, только их же варить надо, — предложил.

— Ты страшную расскажи историю, да пойду я, уже первый час ночи, где ты раньше был?..

— А ты?..

— Я-то картину дописывал, — не растерялся Илья. — «Ежевичный Христос», видел же?..

Гриша кивнул.

— Это вот это темно-синее в пупырышках и есть Христос?.. — Он сделал руками замысловатый, описательный жест. — С квадратными глазами? Или это не глаза?..

Автор кашлянул в кулак:

— Глаза, угадал.

Гриша налил водки.

— У меня тоже особый взгляд на вещи, — промямлил. — Я тебе рассказывал, как зема мой в танке живьем сгорел?..

Не давая ответить, Гриша говорил:

— А президенты все живей живых. Ну, кроме Ельцина, конечно, тот вовремя на тот свет свинтил. Там ему сейчас кипяточек-то заливают в горлышко... Горбатого еще бы по соседству, и души моих братюх успокоились бы на маленько. Хотя какой там? Надо всех живьем закопать, тех, из верхушек, кто причастен к Афгану и Чечне, без разговора закопать. Дали бы лопату — собственноручно бы, в одного, это сделал. И яму выкопал здоровенную своими вот этими руками. Да без лопаты бы вырыл. — Закончил хозяин и выпил.

— Ты же верующий?.. — Илья слегка пригубил.

— Верующий, ага, в свое чудовище, — отрыгнул Гриша. — А знаешь, почему? Потому что видел его, вот как тебя сейчас, веришь?

Илья прошептал:

— Верю, — налил сока в кружку, отпил, терпеливо ждал продолжения, чувствуя, как хмель плавно и уверенно берет над ним верх.

Гриша пробубнил что-то невнятно, залез под стол и оттуда прокричал:

— А ты свое прочти мне, перед тем как я начну!

— Да ну... — Илья покачал головой и прокричал под стол: — Я не любитель читать стихи мужчинам!

— Брось, — появилось из угла стола бордовое лицо хозяина, — мы никому не скажем, — задыхаясь, выбрался Гриша, сел на стул, положил перед собой чистый лист бумаги и карандаш.

— У меня стихи для определенной публики...

Гриша налил полные рюмки.

— Давай дернем за творчество, и ты прочти, чтоб наглядно было, за что пили, — выпалил и быстро выпил.

Илья протараторил:

Возьми меня с собой,
А нет, так застрели.
Один распятым был,
И он тебя любил...
И кто его убил?

Выпил, громко поставил рюмку.

— Вот.

— Так? И что? — развел руками Гриша. — Я что-то не понял, это был стих?..

Илья цокнул:

— Ладно, — промочил горло соком, прокашлялся. — Только одно, и никому не скажем.

Гриша ударил себя по горлу ребром ладони.

— Могила.

Илья смотрел в ночь за окном, читал:

Пули достаем из голов
Для вас.
В нас стреляют
В который раз.
Снова пехота,
И снова в бой.
Жрите все гильзы,
Всю нашу боль.
Мамкины слёзы,
Полынь, меня...
Зной не сокроет,
Укроет земля.
Письма не знают,
Кому, куда...
И без ответов.
Война.

Поэт замолчал, в тишине Гриша громко икнул, поднялся, хлопнул в ладоши.

— Вот да, — сказал и добавил: — Это ты написал?..

Нагнулся над Ильей, обнял за шею. Илья отстранился:

— Мой дед написал, а что, все понятно?

Икнув в ответ, Гриша вернулся за стол.

— Как там?.. Пули из голов для мам... жрите, паскуды, меня, а мать не отдам?..

— Почти так, — хмыкнул автор, развернул конфету. — Твоя очередь.

— Страсти на ночь, как бабка моя говорила, — ссаться под утро. — Гриша казался на удивление трезвым. Илья поэтому спросил:

— Ты там под столом чего делал, градус сгонял?

Гриша показал пальцем на лист:

— Фоторобот с тобой составим. Ты же художник.

— Чей фоторобот? — Илья подавился барбариской.

— Чудовища, епта, — усмехнулся с довольной миной Гриша. — Запечатлеть его на всю оставшуюся жизнь. Вдруг больше не встречу. А так портрет будет.

Выпил кружку березового сока Илья, прокашлялся.

— Под руку как вовремя сказал, — прошипел: — Сосалку целиком проглотил.

— Водочкой давай смажь горло, — посоветовал со знанием дела Гриша и пододвинул ловко бумагу с карандашом к художнику.

На этот раз Илья выпил все и не запил, щелкнул костяшками пальцев, взял карандаш, скомандовал:

— Начинай.

Гриша проглотил икоту.

— Как сейчас помню, год девяносто седьмой, весна, Дудаев мертв, Ельцин сказал «война окончилась», Лебедь подписал соглашения Хасавюртовские, все и все в шоколаде, хотя всем и вся известно, что ни черта еще не конец. Мы пьем полгода, не просыхая, на хате у Витьки Кабысдоха из парашютно-десантного. Я думал, это фамилия такая, потом узнал, что кличка армейская.

— Кабысдох, — повторил, пробуя на вкус и звук, Илья. — Запомню...

— Запоминай, дядя Гриша еще не таким удивит, — поднял рюмку, не чокаясь, выпил, забросил в рот конфету. — Дело было примерно часов так за полночь. Один остался на кухне за столом, сижу примерно вот так на твоем месте, слева стена с плакатом-календарем. Природа какая-то, водопад там.

Вся честная компания давно в отрубе. Кто где дрыхнет, я самый стойкий из всех, наливаю себе стакан, самогон пили. И тут прямо из стены, перешагивая через стол, через все бутылки, тарелки, закуску — Оно. Выходит, ага, как будто так и надо и должно быть. Фигурой человеческой, волосатый весь, до потолка вышиной, это под два метра, и садится так на корточки рядом со мной. А от его шерсти запах — не вонь, нет, запах, и такой знакомый. Шерсть иссиня-черная, но на голове и клочками по груди седые волосы, — уточняет Гриша, подливая в рюмки. — Староват, понятно дело.

Илья делает быстрый набросок снежного человека.

Гриша добавляет:

— Сплошь волосы, от макушки и до конца, только лицо чистое, совсем без волос, белоснежное. Глаза голубые врезались в мозг и сердце. И голос, вроде, и страшный, и как бы знакомый, не понять — женский, вроде, и не женский. Говорит: «Не перестанешь пить, Гриха, с собой заберу». Меня от страха заколотило, я, как огурчик, трезвый махом стал. Думаю, перекреститься надо, а рука не поднимается, ни правая, никакая.

Карандашные глаза у чудовища после пары штрихов выглядели настоящими.

— Похоже?

Гриша сглотнул:

— Копия, — и исчез под столом. — Не перестану пить, с собой, значит, ага, меня заберет. — Гриша вылез с коробкой цветных карандашей. — Я клянусь, после этого случая три года в рот ни капли не брал.

Илья вытащил остро наточенный карандаш. Глаза чудовища наполнились цветом, голубой лазурью, заблестели слезами.

— Нос, как у меня, — продолжал Гриша.

— Такой же кривой?

— Это хрящ выпирает, наследственное от бати, — пробурчал, словно оправдываясь. — А губы побольше моих, толстые.

С человеческим лицом чудовище смотрелось уже не так пугающе.

— Поскуластей сделай. И брови, брови у него тоньше...

— С чего решил, что это он? — вопрос Ильи застал врасплох. Гриша привстал, нагнулся к гостю и тихо почти на ухо сказал:

— Вот. Вот и я думаю, что это не совсем он, — и вернулся на табурет.

Илья сделал тонкими линии бровей. Раскрыл губы, казалось, чудовище хочет что-то сказать.

— Точно, ни ушей, ни рогов не было? Может, хвост?

Гриша замахал руками:

— Нет, нет, нет. Ты че думаешь, допился до чертиков?! Не черт это был!

— Кто тогда? — Последние черточки, завитушки, кляксы, и готовый фоторобот чудовища в руках заказчика-очевидца, у которого нет слов, вместо них он выливает остатки водки в рюмку художника.

— Давно надо было тебя попросить его нарисовать, — в голосе дребезжание. —

Мне он часто снится, Оно. Глаза эти голубые, слова... Просыпаюсь, но не избавляюсь от всего этого. Оно поселилось во мне и живет с того самого девяносто седьмого. Иногда я улавливаю запах и начинаю искать чудовище. Думаю, может, оно скрывается в ком-то или вот-вот выглянет из какой-нибудь стены... А эти глаза, если увижу подобные, мурашки по телу. Я долго не мог переносить людей с голубыми глазами, боялся. Боялся, а меня к ним тянуло не по-человечески...

— Хорошо у меня не голубые, — пошутил Илья. — Храни тогда рисунок как зеницу ока, — зевнул широко, встал.

— Это точно, я даже знаю одно местечко, — Гриша снова начал пьянеть, будто, получив что хотел, организм вновь позволил себе расслабиться. — Может, еще по сто?

— Главное, не давай ему имя, — сказал в дверях Илья, — потом убивать труднее...

Закрылась дверь, Гриша в пустоту прошептал:

— Умерли те, кого хотелось убить.

Из-под стола вытащил ящик, из ящика альбом с фотографиями.

— Папа, мама, я, — кривя голосом, пропел, — недружная семья.

Нашел нужное фото, на снимке отец и мать, в пустой кармашек рядом с родителями аккуратно вложил рисунок чудовища.

Мать смотрела на сына печально, щурясь от солнца или вспышки. Нос отца фирменной загогулиной выпирал из фотографии.

— Я художнику не сказал, что запах — это запах из детства. Он сам еще недалеко от детства ушел. Еще не разобрался, как оно для него пахнет. Чем?.. Про мамины глаза не помню, вроде, не проболтался. Он меня спрашивает, а что пьешь так много, опять встретиться с чудовищем хочешь?.. Дурак, а ведь почти рассекретил меня. И про пол, когда поинтересовался, я подумал, а дуб совсем не дуб. Весь хмель с меня как рукой... В дверях же эта фраза его аж подкосила, ну, та, что про имя... Да, имя, — выдохнул Григорий и щелкнул отца по носу. — Портрет есть, и неплохой, я скажу, портрет. Почти что живая копия, а не портрет. Осталось одно, последнее...

Гриша замолчал. Чудовище смотрело на него с бумажного листа и вдруг подмигнуло правым глазом.

Гриша захлопнул альбом.

— Просто хочется почувствовать этот запах. Снова. Еще раз. Больше ничего. Маленько вдохнуть. Совсем чуточку...

Слезы закапали на старую обложку, схватив альбом, Гриша залез под стол.

Иногда там пахло прошлым. Под столом.

В детстве за это ему влетало от отца, а мама пугала, что Гриша больше не вырастет, если будет продолжать там играть. Гриша не слушался. Гриша рос.

И вырос.

Но иногда, как сегодня, как сейчас, Грише кажется, что из-под стола он так и не выбрался.

Комната 33

Губа в разрезе

Нагадала старая цыганка, что Галя никогда не наденет свадебного платья. Девочка толком и не поняла, что говорила горбатая провидица, мать на каждое предсказание слишком бурно и болезненно реагировала, периодически шлепая дочь по спине и по шее.

Галя терпеливо выносила удары судьбы, даже когда мать попала по уху, сорвав сережку, и в голове зазвенело, как на перемене в школе, она не пригнулась. Не шелохнулась. А разорванная мочка с тех пор кровоточила. Уже взрослая, Галина с

предсказанным ребенком прикладывала кусок ваты к окровавленному уху и возвращалась в дождливый вечер детства, когда под тиканье кухонных часов, окутанная парами собачьего варева, она с онемевшим сердцем слушала цыганские наставления.

— Будет один ребенок. Мальчик, — голос горбуньи вкрадчиво тих. — Если правильно все сделаешь, когда придет время.

Девочка любуется разноцветными перстнями на костлявых обезьяньих пальцах. Цыганка перебирает черными от старости и нюхательного табака пальцами четки, прячет лицо в пестрый платок.

— Чтоб он лег с ней, — обращается она к Галиной матери, — надо украсть его исподнее. И лучше если оно будет нестираное. Понимаешь?

Мать кивает. Понимает. Дочь пугается слова «исподнее», вжимается в табурет, кажется, что-то таинственное прячется в этом исподнем, темное, неживое...

Галя потом часто, закрывая глаза, будет видеть, как шипящее исподнее выползает из-под кровати и глядит на нее злобными, желтыми глазами без зрачков. Волосатое, дурно пахнущее...

— В церковь пусть не ходит, пока сыну двадцать не исполнится, — наказывала цыганка шепотом, косясь на календарь с Владимирской Богоматерью. — У дочери почему губа заячья, знаешь?

Мать, конечно, не знала.

— Это порча. На твою прабабку еще сделана, за то, что семью разбила. Мужа увела и на себе женила. А в той семье дети сильно болели. На весь твой женский род такое уродство теперь. По наследству и мальчикам дефект может передаться. Если хочешь, чтобы у внука ни заячья губа, ни волчья пасть не вылезли, сделай, как я скажу.

Галя боится прикасаться к губам. Во сне ей снова и снова снится толстая женщина в белом халате и с красными от крови руками. Эти руки тянутся к ней, закрывают лицо, открывают рот:

— Шире! Еще шире, — кричит в ухо толстуха. — Еще!

И Галя видит себя со стороны с разорванным от уха до уха ртом.

— Это не рот, это пасть! — слышит приговор.

Душа возвращается в тело. Галя захлебывается слезами от щемящего осознания собственного уродства.

На вторую операцию по исправлению расщелины губы мать повезла Галю в Иркутск. Девочка увидела медсестру у входа в областную больницу, пискнула, ноги подвернулись, и она шмякнулась плашмя на бетонную дорожку. Как результат — разбитый лоб, выбитые два передних зуба и невозможность исправления дефекта. Плюс панический страх людей в белых халатах.

Вывернутая, словно наизнанку, губа заживала долго. Для маленькой Гали — вечность. Она не могла нормально жевать, чистить зубы, а каким испытанием было зевнуть или чихнуть, не заплакав!

Галя боялась смотреться в зеркала. Кричала каждую ночь и просыпалась от кошмаров.

Мать решилась — повела дочь к бабке, поселковой знаменитости. Знахарка погадала на воске, поплевала в лицо девочке и дала телефон цыганки:

— Она сильней. Она с мертвыми говорит.

Цыганке мать позвонила тем же вечером.

— Жди, как собака попросит еды, заказывай машину мне, адрес сейчас скажу.

Записав все, что надиктовала гадалка, мать вышла в сад. Там, в будке у забора, спал на цепи пес Китой с полной чашкой вчерашней похлебки.

— Знать, не скоро попросит, — решила женщина.

Утром дворняга разбудил всех диким воем.

— Есть хочет, — предположила Галя.

Сказала она это едва разборчиво, да и мать не пыталась разбирать невнятное мычание дочери, догадывалась приблизительно, о чем та могла говорить, и молча кивала или говорила «ага», «ну-ну».

Ближе к обеду мать заглянула в собачью миску и взвизгнула.

В бульоне заплыла коркой жира дохлая крыса.

Поставив вариться куриные лапки для собаки, мать набрала номер такси.

— С губой девочке помогу, — цыганка смотрит левым, затянутым белой катарактой, глазом на Галю, и Галя чувствует, как по спине к ногам бегут щекотно горячие катышки пота.

— Слушай внимательно сейчас, мать. Пусть она одна сходит на могилу к деду, ты не ходи. Там, где крест встречается с землей, спит змейка медянка. Не бойся за дочь, змея не укусит, а дочь должна откусить змее хвост и помазать губы кровью змеиной. И не просто помазать, а так, чтоб рот исчез в крови и внутренностях змеи.

Галя слышит все будто сквозь воду, слова булькают, кипят, точно в кастрюле с собачьей едой. Она задремала прямо тут, на кухонном табурете, погрузившись в жаркий и липкий пар от куриных ног, которые тарахтели в кастрюле, царапали по нержавейке когтями, пытаясь выбраться из кипящего ада. И одной лапе от самой резвой и безбашенной курицы это удалось. Она выскочила, ошпаренная, опрокинув крышку, прямиком, будто видела, вцепилась в губы Гале.

— Открой свою пасть, пасть открой, — кудахтало в кастрюле. Галя закричала и слетела на пол. Тут же получив затрещину от матери.

— Пойди, помешай, давай, вон как булькает, — рявкнула на дочь и спокойней сказала гадалке: — По ночам не спит толком, вот днем и кемарит...

Горбунья хрипло сплюнула в платок, поднялась.

— Уйдут кошмары, как змеиной кровью помажется, — снова покосилась на календарь с Божьей Матерью. — Посмотри только, чтоб праздника никакого церковного не было, и посылай до могилы деда.

Задыхаясь от пара, Галя вертела ложкой густое варево, а потом увидела в кастрюле вместо птичьих ножек губы человеческие — распухшие, разваренные, кроваво-фиолетовые...

— Мои губы, — услышала свой громкий, отчетливый голос в голове. — Они сварятся, ты их съешь, и у тебя вырастут две очаровательные губы. Бантиком, как у той американской актрисы.

Галя выпрямилась, хихикнула, она видела себя с новыми губами. Втайне от матери она красит их помадой морковного цвета, а на месте, где сейчас рана, — черной кляксой родинка.

— В точности как у звезды! — следом за голосом закричала Галя, обожгла пальцы паром и потеряла ложку. Алюминиевый прибор мгновенно скрылся в пупырышках слезшей с костей кожи. А ошметки мяса, заметила Галя, так сильно похожи на ее искалеченную губу.

Изменять, преображать, так она это называла, губы знаменитостей и простых людей в журналах и газетах Галя начала с начальной школы. Нужно всего лишь провести пару линий красным фломастером от левого уголка губы к правой ноздре — и готово. Частичка Гали теперь в Мэрилин Монро, и у президента России такая же губа, у известного боксера и победительницы городского конкурса чтецов...

Вот и та самая актриса с родинкой и рассеченной губой смотрит на Галю из глянцевой страницы и кажется ей ближе, роднее... Девочка проводит по исправленным губам знаменитости, шепчет:

— Нас таких много. Очень много...

На могилу деда мать собрала дочь наутро после посещения цыганки. Галя выслушала все, что ей предстояло сделать, кивала и полная уверенности отправилась на кладбище вприпрыжку. Могилу нашла сразу и у основания железного креста побеленный камень.

— Змейка, не бойся, не кусается, — голос матери. — Возьми ее, не мешкая, и откуси хвост.

Девочка подняла камень, змея, больше похожая на дождевого червя, подняла голову. Черные капельки глаз дрожали вместе с рассеченным язычком.

— Хочу быть красивой.

Схватив змею, Галя зажмурилась и вслепую запихала почти целиком в рот. Откусила, чувствуя горячее прикосновение крови змеи на губах и в горле. Приоткрыла глаза, в ладонях покойно лежала крохотная головка с черными глазками. Стряхнув ее, девочка яростно принялась втирать в себя змеиные внутренности.

— Красивой, красивей всех, красивой, — бурчала, глотая горькую слюну. Губы пульсировали, преображались...

Галя видела, как они исправляются, пропитанные кровью змеи... Она вытирает рот — и вот они, новые губы бантиком, и ни следа от уродства.

Бежала до дома, задыхаясь от смеха, было приятно улыбаться, кривляться, высовывать язык и широко разевать рот...

— Получилось! — закричала с порога матери. Женщина по привычке кивнула, не разобрав. Дочь с измазанным, будто в шоколадной пасте, лицом, неестественно перекошенным ртом, демонстративно подставляла матери то одну, то другую щеку.

— Что?! — не понимала женщина. — Ты как из могилы вылезла, иди умойся!

— Губа, — бубнила дочка, — губа.

— Ну, вижу, что губа, и что?! Иди давай, с кладбища обмойся...

Реальность со всей жестокой непривлекательностью взглянула на нее из зеркала. Распоротым швом вздернутая к носу губа, веснушки рыжими пятнами, потухшие, бесцветные глаза.

— Бедная змейка, — брызнула в отражение горячей водой. — Змея подколодная.

В общежитие первый раз Галю загнал дождь, второй раз мать. Она сбежала, когда пожилая родительница заставила надеть ношеные мужские плавки.

— Дура, для тебя же стараюсь, — размахивала чужим исподним мать. — Все надо сделать в точности как цыганка нагадала, тупица ты.

— Так сколько лет прошло, мать?! Лет пятнадцать?! Ты что?!

С возрастом Галя приспособилась довольно разборчиво говорить и скрывать дефект под толстым слоем тонального крема и пудры.

— Надевай трусы, кому говорю! — не унималась мать. — Знаешь, чего мне стоило украсть их у Белова Артема. Я же знаю, он тебе со школы нравится.

Семнадцатилетняя девочка растерялась:

— Не верю ушам, мама, зачем?..

— За счастьем! Для тебя, дура, стараюсь, кто еще о тебе позаботится, кроме меня?! Я все, что тогда она наворожила, записала. Все, чтоб жизнь твою несуразную более или менее обустроить... Надевай, тебе сказала!

Бросила в лицо дочери плавки Белова Артема. Его Галя видела в своих снах и ему посвящала любовные записки, которые, написав, тут же рвала. Его инициалы А.Б. вырезала обломком бритвы на внутренней стороне щиколотки, подальше от материнских глаз.

— Я что, многое прошу?.. Надень, поноси денек-другой, главное — поспи эту ночь в них, а там посмотрим...

Галя подняла плавки в серо-желтую клетку, сердце, когда пальцы прикоснулись к ткани, сжалось. В горле пересохло, прикусила нижнюю губу, от волнения вспотели ладони, она отвернулась:

— Хорошо, надену.

— Давай, чтобы я видела.

Девочка подчинилась.

В нижнем белье юноши своей мечты Галя боялась шагнуть. Внизу живота будто откачали воздух, и возникшая легкость могла поднять к потолку. И выше...

Присев на корточки, Галя вцепилась в ворс ковра:

— Я сейчас улечу.

Мать закатила глаза, сложила руки в молитвенном жесте на груди:

— Святые небеса. Работает.

Мать проследила, чтобы дочь легла в ворованных плавках. И сидела в ногах на краю кровати, пока не убедилась, что Галя спит.

Она ощущала терпкий запах мужского пота, когда дочь переворачивалась и откидывала угол одеяла.

Узкое белье сковывало, резинка до крови натерла бедра... Снилось Гале, что она по пояс в земле закопана, в центре грядки с огурцами. И ей известно, кто это сделал.

— За что?! — кричит с мыслью, что сможет разбудить соседей, а мать ох как не любит выносить сор из избы.

Темнеет в саду. Нечто ползает по ногам девочки, заползает в нее.

— Черви?! — кричит.

— Исподнее, — слышно шипение из-под земли. — Самое настоящее исподнее...

Оно пронзает ее низ живота, разрывает, Галя просыпается в намокшем белье Артема Белова с твердой уверенностью, что завтра уйдет из дома.

— Даже не буду возражать, — услышав в ответ, дочь растерялась и не нашла слов, быстро захлопала глазами, а мать похлопала ее по плечу, сказала: — Я все, что должна была сделать, сделала, теперь ты давай действуй.

Галина съехала в комнату с номером 33 малосемейного общежития, прихватив с собой плавки в серо-желтую клетку.

А на ежегодном церковном календаре у Богоматери топорщилась заячья губа.

— У черта на Куличках, — звала свое местожительства Галя и поясняла: — на самом конце города в окруженье железных путей стоит двухэтажное здание. Первый этаж забит списанным товаром с закрытого керамического завода, на втором обитают списанные обществом человеки. За всех не скажу, но некоторые точно неликвид.

В общежитии и закрепилось за девушкой прозвище «Губа». Галина не обижалась. Давая объявление о знакомстве в местную газету, подписывалась: «Губа Галина».

Сначала искала отзывчивого, доброго, с минимумом вредных привычек мужчину с целью создания семьи. После четвертой неудачной встречи с ответившим на ее письмо мужчиной объявление кардинально изменилось: *Для нечастых интимных встреч ищу мужчину, можно с инвалидностью и лицевыми дефектами (заячья губа, волчья пасть). Место для встречи имеется.*

Не каждый ответивший Галине мужчина соглашался ехать на окраину в общежитие. В большинстве это были инвалиды с ДЦП и колясочники. Редкие смельчаки с вполне сносной внешностью (один из двадцати согласно подсчетам девушки), без лишних слов и подарков, выполняли по-быстрому свои обговоренные еще по телефону или в переписке обязательства, поспешно покидали комнату 33 и никогда не перезванивали.

С появлением интернета стало проще находить партнеров, но к этому времени у Галины уже был сын-первоклассник.

Маленький Миша не знал, кто его отец, впрочем, и Галя не знала. Бабушка Миши верила, что это — Белов Артем, осеменивший дочь с помощью украденных плавок и

цыганского наговора. Она и настояла, чтобы в свидетельстве о рождении отчество у внука было Артемович. Галя не спорила. Исподнее «любви всей жизни» до сих пор припрятано у нее на нижней полке бельевого шкафа.

Пока сын рос в селе (семьдесят километров от города) у бабушки, Галя смело приводила утешителей в комнату и даже забывала запирать дверь.

В общежитие Миша переехал в семь лет, перед самой школой.

— Я буду достойной матерью, — поклялась женщина, стоя перед окном. Поклялась темнеющим небом, солнцем, что спряталось за черной крышей, поклялась кривоуким тополем, ветками, упирающимися в раму, куском разбитого асфальта...

Всем, что попалось в эту минуту на глаза, Галя поклялась.

— И никаких связей с мужчинами, — обещала мутной луне, замелькавшей перед глазами. — Не на глазах сына.

Миша проснулся в раскладном кресле, потянулся, спросил:

— Ты меня звала?

Галя сидела спиной к нему, красила ногти, ответила:

— Ты за чтением правда уснул или обдурить решил?.. Книжку открыл, а сам дрыхнуть?..

Сын сощурился:

— Да не люблю я эти буквы.

У Гали завибрировал, пропиликал смартфон. Пришла эсэмэска, приятными воспоминаниями дрожь пробежала от живота по ногам. Галя ощутила ту же легкость, как будто снова надела ворованные плавки.

— Телефон, — соскочил мальчик к матери и схватил аппарат со стола раньше нее.

— Сколько могу говорить, чтоб не трогал без разрешения, — замахнулась мать. — Положил быстро на место.

Сын всхлипнул:

— Посмотреть хотел просто...

— В книгу лучше посмотри.

Смартфон вернулся на стол. Миша обиженно надулся, отвернулся к окну.

Сообщение с сайта мобильных знакомств «ЧпОк», заметила Галя и поспешно скрыла.

— Двойки сплошные и неуды за поведение, еще чего-то хочет, — возмущалась громко. — Третий класс, начальная школа! А в старших что будет?! Пиво и наркотики?!

— Тебе-то что?.. — пробурчал мальчик. — Снова заставишь в коридоре сидеть.

Галя сделала вид, что не услышала:

— Подуй лучше маме, чтоб лак быстрей засох. Дам, так уж и быть, поиграть полчаса на телефоне.

Миша попятился спиной к матери, потом развернулся, сел на корточки и принялся дуть на длинные кроваво-красные ногти:

— Это же не твои...

— Нравятся?.. — поиграла костлявыми пальцами, как по клавишам, перед носом сына. — Приклеила накладные, в киоске продаются, копейки стоят...

— Страшные, как у ведьмы.

— Много ты понимаешь. В математике лучше б разбирался, а не в ногтях.

— Все, — дунул в последний раз сын, — давай телефон, — протянул ладошку.

В кармане халата просигналила новая эсэмэска.

— Сказала же, дам, — прочла сообщение. — Только давай в коридоре, сейчас ко мне гость придет через пятнадцать минут.

Сдвинув брови, сын хмуро, исподлобья, взглянул на мать:

— Опять?!

Она обняла его осторожно, чтоб не повредить ногтей, пообещала:

— Я тебе телефон с зарплаты подарю.
— Поклянись.
— Клянусь, — поцеловала в макушку.
— Мной поклянись.
Женщина отпрянула:
— Сказала же. Клянусь всем.
Миша кивнул:
— Всем, значит, и мной, — и добавил: — а если дядя Гриша пьяный на лавке спит?
— Не спит, и если цепляться будет с вопросами, пошли его куда подальше.
— Не его собачье дело.
— Молодчина.

Галя всегда успевала выпроводить сына за несколько минут до появления гостя. Миша садился на лавку у окна и провожал незнакомцев презрительным взглядом из-под бровей.

— Ненавижу, — шевелил губами, — убил бы!

Чаще всего смотрел в темноту, на одинокое светлое пятно от фонаря. В пятне света изредка возникали и исчезали человеческие фигуры, собаки...

Прислушивался Миша к звукам общежития — громче всех в крыле был дядя Гриша, у него без умолку работало радио. Играл в смартфон без энтузиазма, отвлекаясь на дверь с номером 33 и испуганно ожидая появления приставучего дяди Гриши. Проигрывал, злился на мать, на себя, на гостя... Гости были всегда разные, но все будто на одно лицо. Миша не смотрел им в глаза. Чтобы не запомнить. Так они скорей будут уходить из его жизни, из их жизни, исчезать подобно силуэтам в свете фонаря...

Иногда прогуливался по коридору, спускался на первый этаж, где все двери закрыты, а местами из стен и на полу сквозь старый линолеум растет трава.

Он представлял себя путешественником, открывателем потерянных земель, воином, защитником всех живущих, спасителем...

Полчаса, бывало, затягивались еще на полчаса. Тогда Миша подкрадывался к закрытой на ключ двери и скулил, мяукал, рычал...

Подумывал бросить в комнату зажженную спичку, поджечь что-нибудь и выкурить незваного гостя, но никак не мог придумать, как поступить с мамой.

Вспоминал, бабушка рассказывала, как еще до его рождения прочитала специальную молитву над огнем, и этот огонь изжег все недостатки у Миши, еще не родившегося...

Вспоминал, как у мамы кровь пошла из уха, и подумал, что теперь мама умрет, и проревел без остановки весь день, пока не уснул.

Вспоминал сон, он видел его много раз: из ямы посреди комнаты выползают огромные крысы в человеческий рост. А Миша с мамой кушают за кухонным столом, и чудовища окружают их, первой откусывают голову маме. Миша вместо крика смеется, тогда и ему откусывает голову гигантская крыса, а он все равно смеется, наблюдая, как безголовые тела продолжают есть...

— А без головы можно жить? — интересовался у бабушки.
— Мать твоя живет же как-то.

Подержанный телефон «Nokia» появился у Миши через неделю, а на следующий день он снова бродил по коридорам общежития. В этот раз Галя пообещала сыну роликовые коньки.

В пятом классе, когда у Миши появился планшет с велосипедом, на парте, за которой сидел на сдвоенных уроках русского языка и литературы, кто-то нацарапал большими буквами: *МИША ГУБА СПИТ С МАТЕРЬЮ.*

— Я сплю на кресле, — оправдываясь, прошептал мальчик себе под нос. — Мама спит на диване.

Потом кто-то окликнул его в школьном дворе, громко, во все горло:

— Эй, Губа! Есть полтинник?!

— Губа, — подхватило эхо и разнесло во все стороны.

— Губа, — кричали вслед девчонки-первоклашки. — Губа, — поддерживали старшеклассники...

Миша смотрел в зеркало и ничего необыкновенного в своих губах не находил.

— Это из-за тебя меня так дразнят! — выкрикнул матери в лицо, как поставил диагноз, сын на ее просьбу сходить погулять полчасика: — Это у тебя губа уродливая! Трусиха! Бабуля говорила, что ты сама виновата, доктора испугалась! Ты во всем виновата! Ты! Ты-Ы!

Галя захлопала накладными ресницами:

— Что?.. Что ты такое говоришь?..

— И гости все твои уроды! Уроды! Все на одно лицо! С такими же пастями!

— Шире! Еще шире! — закричало в голове, Галя испуганно обернулась. Голос был реален до звона в ушах.

Увидела огромную женщину в белом халате, с окровавленными руками, она стояла перед Галей и кричала, и тянулась пальцами-сосисками к ее рту:

— Это не рот, это пасть!

И Галя ударила, залепила пощечину, оттолкнула:

— Убирайся! На х..й пошла! Проваливай!

Галю пихнули в ответ. Она стукнулась об угол шкафа, сверху на нее посыпались плюшевые игрушки.

— Сама пошла! — Хлопнула дверь, чешуйки побелки полетели с потолка.

— Миша?.. — заморгала, осмотрелась мать: — Миша, я на минуту из реальности выпала. Я не хотела.

Выбежала босиком в коридор, закричала в пустоту:

— Я врачиху прогоняла! Не тебя! Миша! Прошлое свое выгоняла! Миша! Не тебя!

— Вернусь, чтобы сжечь все раз и навсегда, — шептал, поднимаясь на второй этаж общежития. — Я Губа, великий и ужасный.

У двери комнаты 33 достал коробок спичек, свернутую косичкой картонку. Он представлял, сидя за гаражами, как огонь выбивает стекло в их комнате. Как пламя заползает на крышу, и вот уже шифер бабахает салютом. Он слышит крик. Крики. Огонь перебирается дальше в другую комнату, и в считанные минуты все общежитие — это один большой костер. Черный дым закоптил небо, солнце исчезло...

— Всех сожгу, — дверь приоткрылась, видимо, от сквозняка. Миша шагнул в комнату, пряча орудия возмездия.

Сумрачно и тихо в комнате. Над кухонным столом зажженное бра. На электроплите еще горячая кастрюля с колбасным, его любимым, супом.

Дверцы шкафа распахнуты, на полу разбросаны плюшевые игрушки, их дарят иногда гости. Мамы нет.

На телевизоре часы: вечер, полшестого. Миша разулся. Снял куртку, попил воды, посидел на диване.

Маме звонить не станет, твердо решил. Пока собирал игрушки, отгонял мысли, что с мамой случилась беда.

Но мысли возвращались, терзали, не давали сидеть на месте.

«Она могла выбежать за мной на дорогу и не увидеть машину... Новый гость мог заманить в ловушку, похитить, увезти... У нее от волнения пошла из уха кровь, и “скорая” увезла в больницу, а мама без сознания и не может позвонить, сообщить...»

Миша набрал номер матери.

Абонент недоступен.

— Мама, — пропищал, не сдерживая слезы. Залез на подоконник, выглянул в форточку. Торопливо темнело. Спрыгнул, выбежал в коридор, пустая лавочка, а за окном одинокий свет фонаря.

— Да мама же! — крикнул.

Часы показывают ровно восемь. Суп остыл. И есть ни капли не хочется Мише. Он мечется по комнате, высовывается в окно, снова и снова выбегает в коридор. Звонит...

— Мама... — Миша не плачет, все слезы выплакал час назад в мамину подушку на диване.

Ему чудится, гигантские крысы где-то рядом, близко, и мама у них, быть может, уже с откушенной головой, а виноват во всем он. Он — Губа!

Задремал, увидел маму. Она лежала на операционном столе, и над ней нависла женщина необъятных размеров, схватила маму за рот и разорвала. Мама кричит. Миша кричит.

Упал с дивана, подполз к телевизору. Начало одиннадцатого.

Встал. Уверенно посмотрел на себя в зеркало над столом. Взял из ящика нож. Провел ладонью по вечно тупому лезвию, сматерился, швырнул нож назад в ящик стола.

В коробке с мамиными принадлежностями — тампонами, баночками с кремами, бритвенным станком — отыскал пачку лезвий.

Набрал в тарелку воды из чайника, под руку, справа, положил распечатанный рулон ваты, бинт. Слева — открытый тюбик йода.

Еще раз набрал маму. Выглянул за дверь.

Подошел к зеркалу — щелки заплаканных глаз, красный нос, поджал губы, закрыл глаза и, не глядя, полоснул уголком лезвия над верхней губой, задев краешек носа. Боли не было, поэтому Миша сделал еще один глубокий надрез. Горячая кровь попала в рот, потекла по подбородку, по шее. Затекла под майку...

Миша не посмотрел в зеркало, проглотил кровь и еще раз позвал маму.

Он не успел умыться, в комнату ввалилась Галя с начатой бутылкой пива. Она сразу села на табурет, чтобы не упасть, и не сразу увидела сына.

Миша бросился к ней:

— Я знал, — пробулькал и обнял мать.

— Сынок мой, — зашмыгала носом, — я всюду тебя искала, испугалась, что потеряла тебя навсегда, поэтому в церковь пошла. Попросила Богородицу вернуть тебя мне...

Кровь сына потекла по щеке матери. Тут Галя заглянула ему в лицо и протрезвела.

— Что?! Кто?! Миша! Кто это сделал?! Скорей! «Скорую»...

Она взяла лицо сына в свои руки.

— Не надо. Это я сам. Сам. Чтоб быть похожим на тебя, — говорил сын, роняя крупные алые капли в ладони матери. — Теперь и у меня такая губа. Как у тебя. Посмотри, ведь похоже?

Галя сползла с табурета на колени перед сыном. Прижала кровоточащие раны к губам. Слезы матери смешались с кровью сына.

— Прости меня, сынок.

В кармане распахнутой куртки-ветровки ожил смартфон знакомым рингтоном эсэмэс.

Миша сильней прижался к матери, пряча лицо в ее растрепанных волосах.

— Можно я не буду больше ждать в коридоре? — Кровавая змейка скользнула по его подбородку и дальше по материной щеке и шее. — А, мам? Можно?..

Ответом пришло еще одно сообщение.

Комната 32

Внутри нуля

Будущее

Город мутантов. Здесь всегда обитали чудовища. Рождались, жили, плодились и умирали. Радиация лишь вскрыла их настоящий облик. Уродство. Обнажила истинное лицо.

Были сообщения-пророчества: «АЛЛАХ АКБАР НЕФТЬПРОМА ДЕРЖИ ВОРОТА ОТКРЫТЫМИ, СУДНЫЙ ДЕНЬ ГРЯДЕТ!». Большими буквами на трубе перед въездом в центральные ворота Комбината. И над урановым комбинатом болтались лозунги: «ЭТО ЧЕРНОБЫЛЬ №2!», «ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА — НАЧАЛО КОНЦА!», «ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ — В КАЖДЫЙ ДОМ И СЕМЬЮ!»...

Были статьи в газетах, были митинги...

Было.

Теперь, не прошло и десяти лет, город превратился в могильник. Кладбище живых мертвецов. Ночи освещены зеленым сиянием радиации. Небо умерло следом за землей и водой. Это территория огня и пепла. Урановые хвосты забрались, пролезли, как и предсказывалось, во все квартиры, впились, въелись во все, без исключения, существа...

Отходы пустили корни. Взросли. Мутировали. Поглотили. Завоевали...

Все ждали взрыва. Ядерный гриб.

А Конец пришел тихо, начался с пыли — закончился бурей.

Люди обратились не сразу, началось все с плохой крови.

Как тать, наступил Конец Света. Порошком, пыльцой, дыханьем драконовым...

Настоящее

Если долго и пристально смотреть на чистый белый лист, не моргая, он исчезнет. Без разницы — это лист бумаги или только что созданный вордовский документ на компьютере, — он исчезнет при условии, что вы будете смотреть на него, в него, долго. Очень, очень долго.

Проверено на себе. Лист сольется с окружением, станет невидимым. Если сильно постараться, и ты можешь исчезнуть. Некоторым так и стараться не надо, они родились невидимыми...

Взгляните вон на того бомжа, залезшего в мусорный бак, для большей части людей он человек-невидимка.

Я мечтал исчезнуть. Пропасть для всех, чтобы найти, обрести себя. Стать собой.

В руководстве для тех, кто хочет стать невидимым, первым пунктом — забудь свое имя и фамилию. Отучись отзываться. Не замечай.

Теперь, когда тебя никак не зовут, иди дальше... Удали контакты, расстанься с любимыми и нужными... Иди дальше, рви связи, взрывай мосты, пепел развей и иди дальше... Растворяйся. Исчезай.

Меня зовут Ник. Никак не зовут. Но соседям же необходимо как-то к тебе обращаться, вот я и сказал: «Зовите меня Ник».

Это место создано для тех, кто хочет потеряться, пропасть в безобразии жизни... Вычеркнуть себя из нее...

~~Вычеркивание~~ порой необходимо, оно как добавление наоборот. Иногда, чтобы стало понятней, надо что-то удалить.

У невидимок многое не по-людски. Наоборот...

Ник отъехал в кресле от стола, от ноутбука, потер глаза, в окне начало весны. Серое небо в черных воронах, серый снег в черных пятнах проталин.

— Обожаю весну, — поднялся, — в грязи и цветении так легко затеряться.

«Избавься от возраста, — гласит второй пункт в руководстве по исчезновению, — стань нулем, пустотой, вечностью, бессмертием...»

На вид ему за сорок.

Неухожен — так одним словом охарактеризовала его соседка напротив, из комнаты 33. А если попросить ее описать подробней, ответит: «Бородат, сутул, плешив, тих. В целом — пустое место», — вынесет окончательный вердикт.

— Снег тает на глазах, — запотевают на стекле слова: — Он больше трех месяцев был всем и повсюду, а теперь превращается в воду и пар. Я человек-снег.

Снежный человек — неуловимый, несуществующий. Капель, испарение...

На подоконник спикировал голубь, мужчина спрятался за пыльную занавеску по инерции, машинально.

В комнате полки, до потолка забитые книгами, старыми газетами, рабочий стол с ноутбуком обложен бумагами, на кровати и кресле раскрытые блокноты, рассыпанные карандаши, ручки...

— Вещи. Избавиться от всего, что держит в прошлом, привязывает к настоящему, тянет в будущее, — озвучил третий пункт руководства Ник, разглядывая окружающее его наследство. — Огонь — самый верный способ избавиться от...

Вернулся за стол и быстро напечатал:

«Здесь все думают об огне. Он третий собеседник в беседе двух соседей. Огонь временами говорит за них, вместо них. Разгорается. Мечты об огне теплятся в каждом обитателе этого места. Это место потерянного времени и загубленных надежд. Кладбище. Тут хоронят свои мечты неудачники. Тут обитают живые призраки. Люди, которые думают, что не живут, что умерли... Ходячие мертвецы.

Огонь положит конец всему. Огонь очищающий. Созидающий... Огонь, творящий новое... Но Фениксы, возвращенные из пепла, другие. Ничто не проходит бесследно, из пепла восстает тьма.

Зажги в себе огонь. Гори, но не сгорай. Из пепла ты не вернешься собой.

Невидимки не горят. Как человек-снег сгорит?.. Только в себе, самим собой, от безумного чувства, например.

В руководстве прописано — ты не исчезнешь полностью, пока будешь чувствовать.

Я никого не люблю! Писал на обоях комнаты. Писал мелкими, едва различимыми буквами, писал огромными — Я НИКОГО НЕ ЛЮБЛЮ!

Любовь приходила во сне.

Сны, вот с чем надо бороться, согласно руководству об исчезновении. Они делают тебя видимым. Выдают в тебе человека живого, мыслящего, желающего...

Надежда на огонь».

Голубь настырно пялился в окно, настойчиво тарабаня в раму.

В начале зимы Ник пожалел серую грязную птицу, высыпал хлебные крошки замерзшему голубю. И четвертый месяц не может избавиться от пернатого чудовища. Раньше солнца начинает голубь утреннюю долбежку, не получив требуемого пайка, к загаженному подоконнику добавляет новую порцию помета. Днем голубь заявляется с приятелями. Они могут до вечера вести протяжные беседы, периодически постукивая в окно. Теплой ночью попрошайка ночует тут же, набирается сил, чтобы в начале пятого утра снова броситься в атаку.

Первые дни Ника забавляло, как он борется с приставучей птицей, прогоняет газетой, высовываясь в форточку, грозит кулаком, стучит по стеклу.

Голубь раз клюнул в ладонь до крови, и с первой кровью началась война.

Гриша, сосед по этажу, посоветовал насыпать стиральный порошок на

подоконник — не помогло. Малоэффективен был и уксус, и нашатырь. Голубь, подпитываясь человеческим сопротивлением, — жирнел, становясь непробиваемо-бронированным.

— Пока не исчезну, так и будешь мучить меня?! — спросил Ник голубя, подкатывая к окну в кресле. — Ты меня видишь. Ты мой судья и палач.

Мужчина стукнул по стеклу, голубь стукнул в ответ. Ник поднялся, открыл форточку, впустил ветер с ароматами голубиного дерьма и комбинатовских выбросов. Весной не пахло.

— Или я, или ты. Кто первый из нас обратится в пустоту, а?..

Голубь улетел, на прощание стрельнув желто-зеленой кляксой в окно.

Прошлое (из блокнота внештатного корреспондента)

Февраль в городе страшен. Ветра при температуре минус двадцать пытаются сорвать кожу с лица, словно хотят заглянуть в тебя настоящего. Незащищенного. Слезы из глаз превращаются в хрусталики льда на щеках, и их приходится соскребать до царапин, до первой крови. А какой пейзаж — серость и чернота. Особенно здесь, на окраине, в поселке. Дома пугают своим ветхим видом. Двухэтажки с облупленной краской, с ранами свежей штукатурки, залатанными крышами. Корявые, скрюченные в болезненной агонии доски заброшенных огородов. Старые проржавевшие трамвайные пути, идущие в никуда. Одинокие столбы с оборванными проводами. Пугливые деревья, худые бродячие собаки, теням подобные люди. И над всем этим трубы Комбината. Дымящие, пылающие... трубы. Трубы-стражники, трубы-наблюдатели, трубы-вершители человеческих судеб.

Это городская окраина. Добраться сюда не так-то просто. Один автобус в час. Когда из-за износа трамвайных путей в поселок перестал ходить трамвай, жители собрали подписи с обращением к мэру и подумывали выйти на площадь перед городской администрацией, но прошло уже десять лет и...

Двадцать два рубля стоит дорога в ад. Ладно, не в сам ад, в его преддверье. Поселки из-за тесного соседства с Комбинатом должны были снести еще в начале шестидесятых годов. Снесли один — на месте него теперь пустырь, а три поселка оставили — забыли. Живьем похоронили. Да и куда девать людей...

Люди остались. Комбинат рос. Комбинат приближался. И однажды вдруг стало достоянием общественности, что поселки оказались в так называемой санитарной зоне, на территории которой оседают все комбинатовские выбросы.

Настоящее

Уснуть и не проснуться. С детства эта мысль живет в нем. Ворочаясь в постели, под подушкой, укрывшись с головой одеялом, в двенадцать, в двадцать пять, в тридцать семь лет... Почти невидимым. Уснуть и не проснуться.

Проснулся от привычного голубиного барабана.

Потянуло закурить. Но привычка, особенно вредная, — тормоз в процессе исчезновения.

— Разложение, — сказал первое пришедшее на ум Ник, каждое новое утро забывая по одному слову.

Он тут же записал это слово в блокнот «Исчезнувшие слова и мысли». Написал и вычеркнул. Забыл.

Разложение.

По задернутым шторам на окне мельтешила одинокая тень. Пока шумел, закипая, электрический чайник и разогревался ноутбук, Ник выглянул, противник поприветствовал, брызнув свежей порцией радости на стекло.

— Вот гад, — ответно стукнул Ник по раме, задребезжали стекла, голубь же смело прошелся по подоконнику, распушив хвост.

Щелкнул, отключился чайник. И вот Ник уже набирает полную кружку кипятка и залазит на подоконник коленями. Дымится и еще булькает вода в керамической кружке с надписью: «Все люди как люди, а я как Бог». Мужчина замер, враг косится, топчется.

— Подойди ближе, — гипнотизирует человек.

Терпение наверняка наградило бы победой, но Нику его всегда не хватало. Затекла рука, и с криком «Получай!» он выплескивает воду в птицу.

Голубь успевает исчезнуть под крышей. Мужчина стукается головой о щеколду, пораженный, с шишкой на макушке спускается в комнату.

Заваривает кофе, садится за ноутбук, и все возвращается на круги своя. Только теперь одинокая барабанная долбежка обернулась целым оркестром. Пернатые оккупанты набросились на окно, как на корку хлеба в морозное утро. Закрыв глаза, Ник видел фрагменты из «Птиц» Хичкока. Голуби стучали, царапали, пищали, рычали...

До позднего вечера не написал ни строчки в своей работе. Название — «Прозрачное завещание».

Будущее

Животные боятся людей. Новых людей с истинными лицами и желаниями. У многих слезла кожа, другие покрылись чешуей...

Уцелевшие от радиации животные бегут из города. В горах воздух не заражен и не отравлен. Люди спаслись лишь те, кто уехал. Все оставшиеся изменились. Человеческий облик остался в прошлом, как и память. Чудовища ничего не помнят. Чудовища хотят лишь одного — жрать.

Что они и делают без сна и усталости. Все, что попадается на пути, исчезает в желудках этих существ.

Птицы. Говорили, всех голубей съели китайцы. Может, и так. Только следом за голубями пропали вороны, сороки, ласточки, дятлы... Воробьи, самые стойкие, держались до первых зеленых ночей.

Прошлое (из блокнота внештатного корреспондента)

Вы, когда спускались в поселок с главного виадука, не заметили, не почувствовали, как поменялся воздух вокруг вас?.. Он становится тяжелым, становится ощутимей. Его почти что можно потрогать. Воздух давит на стекла окон, оставляя зачастую на них следы, легкий налет. Подождите, еще не вечер, вечером вы даже при закрытой форточке почувствуете этот жгучий тошнотворный запах сероводорода. Он наполнит квартиру, и ни один освежитель воздуха с ним не справится. Это газовая атака. После нее у непривыкших начинает болеть голова, тошнить... Бог его знает, какие элементы из периодической таблицы Менделеева вы проглотили.

Знаете, что беременные женщины стараются выехать из поселка на время беременности?

Самые страшные, на мой взгляд, — ночные выбросы. Если днем видишь, чем дышишь, ночью же... Нас давно, негласно, город прозвал «чертовым местом». На карте нас нет, мы помечены как городская свалка. За нас никто не заступится. Нас не спасут. Потому что на свалке жизни нет. Нас не существует. Здесь, в поселке, потому и прописывают всех мертвых душ.

В ночных выбросах присутствует что-то пострашнее...

Идут слухи, что на протяжении многих лет в этих местах чего только не нарождалось...

...однажды у Полины Геннадьевны голубые подсолнухи зацвели. Потом у деда Михаила, соседа по огороду, черви дождевые с локоть длиной повылазили, их лопатой бьешь, они кровью взрываются и кричат, пищат по-человечески как-то, жуть. Про двухголового котенка, думаю, слышали?.. А про зубастых и волосатых младенцев и вовсе не стоит вспоминать.

Здесь люди меняются. Внешне это малозаметно, у кого странные наросты, прыщи, болячки, у кого волосы вдруг поседели, что уж говорить про то, что листья на деревьях посреди лета желтеют и опадают. Люди изменяются внутри — они становятся злыми. Чокнутыми психами. Все человеческое внутри них умирает. Ни любви, ни жалости, ни понимания, ни сочувствия... Все боятся. Тупеют. Деградируют. По ночам я часто слышу крики — это кричат люди, люди, которые не могут справиться с изменениями в себе и которые скоро превратятся в животных. Если бы в животных. В чудовищ. В нечто.

Настоящее

Капюшон скрывает лицо. Быстрым шагом до магазина. Черный хлеб, пачки лапши быстрого приготовления, тушенка, вода. Список покупок он знает наизусть. Никаких излишеств.

От продуктового до общежития — 355 шагов, их Ник проходит за полторы минуты. Дворами, подальше от проезжей части.

Уличное освещение, отсутствовавшее в поселке больше десяти лет, как назло, наладили год спустя после его бегства из города. Ник подумывал разбить незаметно лампы фонарей у общежития, но в освещении, кроме минусов, был плюс. Он мог обнаружить слежку раньше, чем обнаружат его.

Конечно, если возможно в этом тощем, сутулом, обросшем бомже в поношенном драповом пальто и резиновых сапогах узнать всегда ухоженного, стильного журналиста, специализирующегося на скандальных разоблачениях...

Ник позволял себе раз в месяц звонить матери и раз в полгода разговаривать с другом детства. Мать была уверена, что сын в Германии на долгосрочной работе. Друг больше слушал, чем говорил, считая, что все, что нужно сказать, рано или поздно будет сказано и услышано.

Эти поблажки и делали его все еще видимым. Почти невидимым.

Сегодня к списку продуктов был добавлен пакет отравы от крыс и мышей.

— Меньше чем за неделю умрет грызун, — пообещала продавец, заворачивая в газету стограммовый пакетик ядовитых зерен. — Сами осторожней, были случаи, не смертельные, правда, — оценивающе осмотрела покупателя повелительница хозтоваров, хмыкнула: — От детей подальше и руки мойте.

Ник старался поменьше мозолить глаза соседям. Прежде чем выйти по нужде, долго прислушивался к звукам в коридоре и шуму воды в мойке. Посуду мыл и принимал душ после полуночи. А когда все же сталкивался с жильцами, глухо здоровался и спешил в свою комнату, не поднимая глаз. Поэтому некоторые, например Галя, считали его умственно отсталым, а кто и глухонемым.

По вечерам не включал свет, только светильник у дивана. Если стучали в дверь, никогда не открывал. Его комната была напротив комнаты Гали, и ее частые гости так же часто путали левое с правым и требовали впустить, иногда угрожали и обещали жестоко надругаться...

Гриша из 29-й тоже мог долго стучать и торчать под дверью, с мольбами

поговорить за жизнь. Ник в таких ситуациях зажимал ладонями уши, ложился на диван и представлял, что исчез.

Почти всегда засыпал и проваливался в альтернативную жизнь.

Здесь он известный журналист с бешеными гонорарами и популярностью, продолжает работать в реанимированном и раскрученном городском еженедельнике «Пульс». Только издание уже областное, а он уже и не совсем журналист, а главный редактор. У него пятикомнатная квартира в спальном районе, жена, та самая модель из рекламы духов, четверо детей, собака лабрадор...

Реальность сильней любой эфемерной альтернативы — настигала, разбивала барабанной дробью придуманный мир, вышвыривала сначала в прошлое, в тот момент, когда два человека в черном избили его у дверей редакции. Ник просыпался со вкусом крови во рту и бомбежкой в больной голове. Это голубь пробрался в нее с улицы и мстит, разнося мозг в зерна.

Усыпав весь подоконник отравой, Ник сполоснул руки над половой тряпкой у двери, с победным видом сел перед черным экраном ноутбука.

«Прострация» — слово, вычеркнутое из лексикона сегодня утром, и именно так он себя сейчас ощущал.

— Вот она, блаженная невесомость идиота, — сказал тихо. — Инфантильные маленькие победы и бессмысленное ожидание неизвестности...

Орда голубей за десять минут смела яд вместе с пометом подчистую.

Ник хлопнул в ладоши. Смело распахнул форточку. Вернулся за стол, к работе.

Тут и раздался знакомый одиночный стук по оконной раме.

Прошлое (из блокнота внештатного корреспондента)

Сумерки. В них было что-то еще. Оно мельтешило в воздухе подобно миллионам мушек и оставляло на щеках маслянично-липкий налет. Я закрыл лицо перчаткой. Возле автобусной остановки меня накрыл черный туман, видимости никакой, и спасибо простуде за заложенный нос. Режет глаза, и я вдруг понимаю, что не слышу совсем ничего. Мертвая тишина. Замолкли птицы, опустели улицы, перестали шуметь редкие машины на шоссе.

Неожиданно небо осветилось оранжевым цветом. Я взглянул вверх и в сторону — это вырвалось огромное пламя огня из трубы Комбината. Сначала из одной, потом из другой трубы, третьей. И сразу воздух наполнился жаром и гулом.

— Не хотите превратиться в чудовище?

— А вы хотите?..

Настоящее

Написал одно: «*Настало время уничтожить человека мыслящего, человека пишущего*».

Голубь, свидетель его видимого существования, не клюнувший на отраву, исчез сам по себе, не появлялся шестые сутки. Зато вместо него под окном Ника стали появляться вроде бы случайные, но до боли знакомые личности.

Два дня назад долго стояла черная иномарка, потом из нее выбрался парень в спортивном костюме с шапкой на глаза. Он узнал его своим разбитым носом и вывихнутой челюстью. Серебряные печатки болтами на трех пальцах левой руки. На одном кольце выбит крест с сердцем посредине, Ник ходил около месяца с этим отпечатком на переносице.

Те же дерганые движения, прыгающая походка, нервная жестикуляция...

Они вычислили его. Нашли.

Потом он увидел молодого папашу с коляской, только вместо ребенка, в этом Ник мог поклясться, бандюган вывез на прогулку куклу. Он делал вид, что говорит по телефону, сам не отводил взгляда от общежития.

Голубь настучал. Донес.

— Огонь, — отошел в сотый раз от наглухо зашторенного окна: — Сжечь все записи. Прошлое. Настоящее.

Проверил, как делал почти каждые несколько минут, заперта ли дверь.

Дверь была закрыта на ключ и щеколду.

— Разорвать все на мелкие кусочки, — давал себе установку. — И будущее туда же, на клочки — и огню...

Посреди комнаты в аллюминиевый таз покидал все, что было еще со времен внештатного корреспондента: записные книжки, ежедневники, тетради, блокноты...

— Теперь ноутбук, — курсор бьется в такт сердцу, в конце последнего предложения в его видимой жизни.

Настало время уничтожить человека мыслящего, человека пишущего.

— Вычеркнуто, — сказал и удалил сначала строку, потом весь документ, — нет больше «Прозрачного завещания». Нет будущего. Нет прошлого.

Ту самую злосчастную статью, из-за которой все началось, он написал на одном дыхании пять лет назад.

Статья вышла в понедельник на первой полосе с продолжением на второй, самым большим тиражом в тридцать тысяч экземпляров. Заголовок был такой: «Противогаз для мэра или для бабы Маши?» На фотографии к статье коллаж: мэр в противогазе на фоне дымящих труб Комбината.

В статье речь шла о загрязнениях, отходах и о протестующей старушке в противогазе. Она всего лишь хотела чистого воздуха для внука, а в четверг в конце рабочего дня в нее стреляли люди в черном из черного автомобиля.

И все это в преддверии выборов мэра и в городскую думу.

— Мы подомнем мэра перед самыми выборами. Мы поставим его на колени. На второй срок ему не избираться. Его песенка после твоей статьи будет спета, — брызгал слюной главный редактор «Пульса» и обещал поднять общественные массы и защитить в случае чего.

В следующий четверг его, внештатного корреспондента, окликнули: «Эй ты, бумагомарака!» Двое, у одного была шапка на глаза и печатка с распятым цветком розы на указательном пальце...

Потом посыпались в редакцию письма, бумажные и электронные, с угрозами в его адрес. Ночные звонки пугали тишиной. А когда в квартире, которую снимал, выбили стекла и на двери красной краской написали: «Ты покойник!», он решил исчезнуть.

Жизнь в страхе — не жизнь, — писал он в своем «Завещании». — *Страх сворачивает время и кровь. Рождает чудовищ. Первое, что надо каждому вычеркнуть из своей жизни, из себя — это страх. ~~Страх~~.*

Начинаем с малого — не боимся завтрашнего дня, не боимся, что о нас подумают, что скажут... Не боимся не быть.

Прозрачные крупицы надежды забрали голубиные последователи.

Ник даже насыпал свежих крошек в ожидании голубя.

Уж лучше он, чем они.

Но птица не появлялась.

— Это к лучшему, — говорил, очищая и форматируя жесткий диск. — Завещание меня тормозило, как и память о прошлом. Все теперь уничтожено, стерто. Вычеркнуто и забыто. Ноль. Полный и голый нуль.

В руководстве о совершенном исчезновении говорилось последним пунктом:

осознай, что ты ноль. Все твое существование, окружение внутри и снаружи — всего лишь пустое место. Достигнув нуля. Приняв его. Став частью его. Ты достигнешь цели.

— Почувствуй ноль в себе, — закрыл Ник глаза, — больше никаких альтернативных жизней. Никаких снов. Минимум мыслей и слов. Минимум потребностей. Ноль. Я ноль. Ноль в нуле.

Сжечь все, что написал за свою жизнь, Ник в комнате не мог, поэтому припас канистру с разбавителем. Художник из 30-й комнаты как-то сказал, что берет его из бочки, которыми забит первый этаж.

«Это просроченный товар керамического завода», — подслушал разговор Ник и той же ночью спустился вниз с трехлитровой канистрой и воронкой. Пахло содержимое жутко и резало до слез глаза.

Художник говорил, что разъедает смесь не только краску, но и кожу на пальцах моментально.

— То, что надо, — тонкая струя потекла из канистры в таз на блокнот с надписью «Прошлое». Зашипела и расползлась на глазах обложка, надулось желтыми пузырями, задымилось будущее и настоящее...

Прошлое, настоящее и будущее растворялось без сопротивления и борьбы... Исчезало.

Ник отвернулся, вновь закрыл глаза. Внутри себя, внутри нуля разгорелось голубое пламя. Он ощутил жар, капли пота побежали по вискам, под немытой шапкой волос, скатились по спине.

Огонь, долгожданный огонь вспыхнул в нем.

— Невидимки не горят.

В комнате стало невозможно дышать, Ник проскользнул к окну, выглянул, глаза щипало, сквозь радужную пленку слез разглядел пустой квадрат асфальта, куски снежных проталин. Открыл форточку. А когда обернулся, увидел снег. Он стоял в окружении белых крошек, они липли к нему, проникали под кожу.

— Да, да, лепите из меня снежного человека. Сделайте снежным. Сделайте невидимым.

Он раскрыл объятья.

За закрытыми веками бушевала огненно-снежная пурга.

Безвременье

Идет дождь, и человек-снег приспосабливается. Теперь он человек-дождь. Когда первые капли застучали в середине ночи по подоконнику, он подскочил к окну. Выглянул в темноту. Блестящие ветки тополя так похожи на птичьи крылья, на птичьи лапки...

Вычеркнутые из лексикона слова приходили во сне. Наверняка он повторял их вслух, может, даже громко. Криком.

Как в детстве. Стоп. ~~Детство~~. ~~Память~~.

Избавиться от себя не так-то просто. Забыть все невозможно, через лоботомию разве что, не иначе.

В зеркале он все еще видит себя. Отражение невидимки.

Безразличие — действующий принцип невидимости. Стань безразличным ко всему, и для всех ты исчезнешь.

Думай о нуле.

Обои изо дня в день покрывались нулями. Так легче растворяться.

Вышел как-то в коридор, и соседка прошла мимо него, не заметив, чуть ли не сквозь. Она не то чтобы не поздоровалась, не взглянула, глазом не повела.

И Гриша больше не донимал своими стуками и предложениями поговорить за жизнь...

— Я исчезаю, — говорил и реже подходил к окну.

Ночью свет фар скользил по потолку, и он его совсем не волновал.

Порой, чтобы начать чувствовать жизнь, надо от нее отказаться. Надо раствориться. Обесцениться. Пропасть. Вычеркнуть.

В одно утро по раме постучали. Сердце невидимки исчезло. Стук повторился, и невидимка на цыпочках подошел к шторе.

Стук. Тук и еще один.

Это сердце стучит по оконной раме, не более...

Отодвинул край ткани. Синичка вспорхнула желтой вспышкой перед глазами.

По тротуару катил коляску улыбчивый папаша с ребенком на руках.

Невидимка попятился, лег на диван, сполз на пол. В белом потолке можно увидеть множество интересных вещей. В каждой трещинке бурлит жизнь. В каждом кусочке побелки, паутине...

Думал о тишине. Раньше отвлекали тикающие часы, он вынул батарейку, и стрелки теперь всегда смотрят в небо.

Шум соседей, прохожих, машин стал морем. Сейчас штиль. Не слышно чаек. Ни ветерка. Движение песка, лишь оно постоянно и вечно. Песок жизни. Времени песок.

0***0***нуль0**0О**НОЛЬ.0**00000ноль*ноль*ноль**нуль***0***ноль000ООоооноль00.**0**00

Приснились похороны. Его похороны. Пустой гроб. Недоумевающие лица.

— Где тело?

На памятнике ни буквы. Притягивающая бесконечность серого мрамора.

— Он не умер. Он стал частью Вечности. Он теперь рядом с нами и в каждом из нас...

Невидимка сильно похудел. Есть с каждым днем хотелось все меньше.

Зато воду поглощал трехлитровыми баллонами. Шесть литров выпивал за утро. Пока солнце слепило в окно.

Вода растворяла, чувствовал... С каждой каплей частичка тела смывалась, становилась прозрачной...

Да здравствует человек невидимый!

Поэкспериментировал — спустился вечером на первый этаж. Побродил там. Двери в оба крыла общежития закрыты цепями, опечатаны, в коридоре бочки с вонючими жидкостями и ящики с кусками цемента...

Лицом к лицу столкнулся с мальчиком лет десяти, похоже, это сын соседки. Мальчик увлеченно комкал картонку, а когда невидимка коснулся его плеча, вздрогнул и поспешил наверх, перепрыгивая через две ступеньки, бормоча что-то про огонь.

Получилось!

Радостно закружился он, поднимая вокруг себя песок с мелким мусором. Вот и пара конфетных оберток заплясала с ним...

Хлопнула входная дверь, незнакомая женщина быстро прошла, разбив вихрь пыли. Она чихнула, а яркие фантики полетели следом...

Невидим!

Нули смотрели на него отовсюду — с книжных полок, из холодильника, таращились с обоев...

Ноль — это новая жизнь. Начало отсчета. Теперь главное — не повторить прошлых ош...

Слово «ошибка» он вычеркнул из своего лексикона месяц назад.

...погрешностей.

Невидимка не мог заснуть. Ворочался, спускался на пол, вставал, выглядывал в форточку, выходил в коридор, пил воду.

Под утро страшно потянуло писать, он искал чистый лист — не нашел. Нули. Вокруг и всюду. Нули... И на рулоне туалетной бумаги, и старых газетах...

А потом он оказался перед ноутбуком, и чистый лист с пульсирующим курсором требовал от него слов.

Хотя бы слово.

Рука зависла над клавиатурой. В нем больше не осталось слов. Вычеркнуто. Все. И ~~все~~ тоже вычеркнуто. Ноль.

Черная метка курсора пророчила беду. Он заскрипел зубами, но крик было не удержать. Курсор стал расползаться по белизне листа чернильной тьмой. Она потекла из экрана, покрыла густой слизью клавиатуру. Стол. Оказалась на пальцах...

Крикнуть не получилось, тошнотворная жижа брызнула в лицо, ослепила, заполнила рот.

Пустота имеет цвет. Ноль — черный.

Еще ощущая черноту внутри, поднялся, тяжелая голова, как в тот день уничтожения от паров растворителя, его два раза стошнило в таз, в котором исчезло его прошлое и будущее.

Невидимка бесстрашно распахнул шторы и форточку.

Трубы Комбината приветливо чадили, отчего небо было неприветливо серым и солнце катарактой смотрело недружелюбно.

— И тебе доброе, — сказал трубам.

Когда тебе известен финал, проще быть снисходительным, легче прощать, дарить улыбки, радоваться жизни, потому что знаешь...

Полегчало, но не от ветра в лицо, помогло осознание, что вот еще час на кофе, туалет, прочее, а там — свобода.

— Все с нуля, — прикрыл форточку.

Решил с этого утра, с нуля, он начинает возвращать вычеркнутые слова.

Сегодняшнее слово — «надежда».

Ноль

Вот и объяснение слову «счастье». Его он не успел изъять из своего словарного обихода. Но никогда не понимал, как в простое слово из семи букв может вместиться столько...

Он ерничал, говорил, что для кого-то сходить по большому после недельного запора уже счастье, а кому-то для полного счастья нужно унизить соседа или придушить кошку... Понятие счастья так многогранно...

Сейчас он нашел ему объяснение. Своему счастью.

Свобода. Вот оно. Без страха, заглушающего стук сердца, без хмурых бровей и упертого взгляда в асфальт. Счастье идти и знать, что этот мир только твой и для тебя. Все остальное лишь дополнение. Есть только ты. Ноль.

Надеяться, что посланники мэра его не вычислят и не отправят на дно Ангары. Надеяться, что урановые хвосты не так страшны и воздух в городе действительно не такой грязный. Надеяться, что мутанты — это фантастика. Надеяться...

«Не выходи из комнаты, не совершай (вычеркнуто)», — строчка из прошлого, из Бродского назойливо вертелась, пока он одевался, зашнуровывал кроссовки, возился с дверным замком.

Ноль, ноль, ноль, ноль...

Из комнаты напротив вышел мальчик с перебинтованным лицом. Невидимка взглянул на него, подмигнул. Мальчик не отреагировал, сел на лавочку у окна и растворился в телефоне.

Не выходи из комнаты...

— Ноль!

Дверь общежития хлопнула выстрелом из стартового пистолета перед забегом.

Марш!

— Ноль один, — шепнул себе.

Невидимка успел лишь перешагнуть лужу. Что-то промелькнуло над ним шумно. Что-то теплое шлепнулось на нос, потекло. Еще до того как смахнуть «послание» с неба, он услышал стук по подоконнику. Настойчивый стук, надсмехающийся...

Черный джип вырулил со двора, и Невидимка узнал эту шапку на глаза, кривую улыбку...

Голубиная печать сделала его видимым. Открытым, уязвимым, обнаженным.

Под аккомпанемент сигнала авто с визгом тормозов и канонаду пернатого возвращенца он развернулся, наступил в лужу сначала одной, потом другой ногой, побежал к спасительной двери общежития.

Потом холл в шесть шагов, шестнадцать ступенек на второй этаж и в конце двадцатиметрового коридора комната номер 32.

Он побежал. Побежал назад. В ноль.

Комната 28

Сын Щелкунчика

Во главе стола фотография в рамке перебинтована черной лентой.

Хмуро сдвинув к переносице брови, сжав губы, смотрит лицо с черно-белого снимка на ряд запечатанных бутылок водки.

— Тринадцать, — сосчитал Шнырь, испуганно покосившись на женщину в черном платке, молчаливо сидящую напротив.

— Его любимое число, что ли? — пробасил Глух, а не дождавшись ответа, уронил голову на грудь.

— Тры, — отрыгнул с другого конца стола Петрович, успевший до похорон влить в себя литровый графин самогонки, — тры и еще тры.

— Тридцать три, — сказал за Петровича сосед по столу, Пушкин. — Разливай уже, Шнырь, помянем. Салаты, вон, с колбасой кто-то заранее оформил, — мотнул головой в сторону женщины, — салфеточки разложил, вилочки...

Несмотря на то что все — одногодки из одного выпускного 8 «А» класса средней образовательной школы № 42, Шнырь считался за младшего.

— Наш меньший, — шутили друзья.

Шнырь разлил в пять рюмок водку, сел и тут же подскочил.

— Маргарину ж, — шепнул.

Шестую рюмку с куском хлеба поставил к фотографии и снова покосился на женщину. Потом осторожно пододвинул к ней ее рюмку.

— Трезвенником Рино последнее время был, — ожил Глух. — Ни капли в рот не брал.

— Помянем друга нашего стоя, давайте, — поднялся Пушкин, он как всегда руководил, тамада-заводила по крови и призванию. — Маргарин, мы тебя не забудем.

Встал Шнырь, Петровичу помог Глух. Незнакомка подняла рюмку.

Пушкин выдохнул:

— Земля тебе пухом, дорогой друг, нам тебя будет не хватать, — и залпом выпил.

Когда снова сели, Глух повторил:

— Рино, говорю, трезвенником был.

Петрович, заглатывая целиком малосольный огурец:

— Хрена ли?! Пил еще как, за милый мой, хоть оттаскивай, — ожил Петрович, прожевал и продолжил: — Мы с ним месяца три назад в «Сударушке» встретились, сперва взяли перцовки, у него, типа, простуда была, потом сообразили, скинулись на литр водяры, пошли к Чесноку, вот Чеснок в завязке был. Ему полжелудка удалили, и он как спиртное что выпьет, ссыт кровью.

Глух яростно замотал головой:

— Не, не, не, путаешь ты все. Не три месяца, а три года назад это было.

Петрович икнул, почесал плешь на макушке:

— Три года?.. Да гонишь. Пара-тройка месяцев, не больше... Он потому и это, — схватился за горло Петрович и высунул язык, — что с бодунища был и потерял себя.

Глух и Шнырь посмотрели на женщину, женщина смотрела в никуда.

— У меня такое бывает после длительного загула, — разоткровенничался Петрович. — Это хуже клинической смерти, я так скажу. Там только свет в конце тоннеля, а тут ни хрена. И если вовремя не принять грамм двести-триста, капец. Можно и не успеть руки на себя наложить, сгоришь к еб...

Пушкин живо поднялся:

— С Рино я давно не общался и не видел больше трех лет, поэтому не знаю всех подробностей, да и какая уже разница...

— Не скажи, — перебил Глух. — Мертвым не нравится, когда их зазря оговаривают, а уж алкашом когда, это никуда не годится.

Шнырь быстро разлил. Таинственная молчунья, когда он наполнял ее рюмку, всхлипнула и еще глубже спрятала в черный платок костлявые скулы.

— Я вам салата с колбасой положил, — накладывая еду в блюдце, прошептал Шнырь. Женщина в ответ шмыгнула носом.

— Тем более, когда столько не пьешь, годы ни капли в рот, а тебя все еще алкашом называют, это по себе знаю, просто крышу сносит. — Глух взял свою рюмку. — И вот еще что скажу, покончить собой на трезвую голову — это поступок. По пьяни с дури можно затянуть шутки ради шнур на шее и так по-дебильному и отшвырнуть коньки, на чистую голову же... Это, братцы, — сила.

— Он на ремне, — сказал Шнырь чуть слышно. — Не было никакого шнура, — и подцепил вилкой куст салата.

Пушкин пихнул друга под столом ногой, Шнырь покраснел и затараторил:

— Я верю в жизнь после смерти и уверен, что Рино сейчас с нами.

— Как на ремне?! На своем?! От брюк, что ли?! — поставил рюмку на стол Глух, и Петрович тут же шлепнул его звонко по лбу.

— Куда ты ставишь, мать твою!

Глух схватил испуганно рюмку, выпил.

— Ёпть, еще лучше! — замахнулся Петрович. — Ты еще давай ниже стола опусти посуду — точно в трезвенники пропишем сходу.

Непонимающе Глух посмотрел на Пушкина, развел руками.

— Так-так, — вступился Пушкин. — Ты, Петрович, не начинай свои эти ритуалы. Если на то пошло, то надо было на край стола налить умершему, если все правила собрался соблюсти. Глух с тобой сколько, лет пять точно за одним столом не сидел и твои заморочки уже не помнит.

Взгляд Глуха метался от Петровича к Пушкину, он никак не мог понять, за что получил затрещину.

Петрович крякнул, попытался дотянуться до Глуха, чтобы обнять, Глух отодвинулся:

— Сперва обоснуй.

— Да, Глух, не заводись, — Пушкин взял водку, налил ему. — Ниже стола рюмку не опускать, если поднял, то пей, назад не возвращай... Обычаи застольные, у Петровича пунктик, особенно когда до кондиции доходит.

— Так, а ремень тут при чем?! Или что, Рино все-таки на шнуре?.. — Пушкин всунул в ладонь Глуху рюмку, взял свою. — Давайте помянем, — и тише уже шепнул на ухо однокласснику: — На ремне он повесился.

Петрович демонстративно накапал водки на край стола, перекрестился.

Помянули сидя, выпили, закусывали молча.

— А мать Маргарина где? — спросил Шнырь у тишины, все посмотрели на женщину.

Никакой реакции.

— Мачеха у него, — потер лоб Глух, искоса поглядывая на Петровича. — Матери не было. Она на кладбище была, сказала, что водки и закуски оставила кому-то из общаги и что с нами не поедет, не переваривает она это место.

— Общагу не переваривает? — Шнырь обвел глазами комнату. — Конечно, он же тут это сотворил, я сам как на иголках, особенно на дверь как взгляну, мурашки по коже.

— Он что на-а-а?.. — Пушкин оглянулся на покрашенную голубой краской деревянную дверь в свежих зарубках-ранах от ножа. — Узнаю почерк Рино: любимое занятие — бросать ножи.

— На двери, ага, — ответил за Шныря Глух, — на ручке.

— Не на ручке только, — возразил Петрович, разворачиваясь вместе со стулом к двери. — Скорей, он один конец ремня, тот, что с бляшкой, просунул наверх и закрыл. Так точно не сорвется, пока никто не зайдет...

— Тогда оба конца надо закрывать, чтоб петля получилась, — изобразил наглядно в воздухе пальцем Пушкин.

— Так и удобней, — согласился Шнырь. — На ручке придется на колени вставать, ложиться, как-то изгибаться, а так почти в полный рост, колени поджал — и все.

Петрович вернулся к столу.

Глух открыл новую бутылку.

— Это у него в третий раз получилось. Два раза ремень срывался, то мешал кто...

— Получается, что он чуть ли не каждый раз, как с вахты приезжал, так вешался? Ну дела... — предположил Пушкин, опасливо посмотрев на сидящую слева.

Когда они вчетвером вернулись с похорон, она была тут, прошло почти два часа, женщина не сказала ни слова, он спросил потихонечку у каждого про гостью. Никто ничего о ней не знал.

— Третью Рино неизменно пил за любовь, — разливал Глух. — Может, и причина его ухода кроется в этом, кто знает...

Пушкин кашлянул в кулак, прочистил горло, сказал:

— Любовь — это отговорка. Сколько несчастий из-за этой любви. И ни одного счастливого. Получается, любовь даже не наказание, а самый настоящий ад. Муки и огонь. Страданья и слезы. Боль, и все ради чего?..

Он замолчал, может, в ожидании ответа, или в горле пересохло.

Шнырь решил, что тишину надо заполнить, и вставил свои три копейки:

— Вешаться из-за того, что баба не дала или бросила, это как-то не по-мужски. По-дурацки даже как-то, я вот никогда бы...

Петрович громко икнул.

Пушкин снова закашлял.

— Любовь толкает на ножи, Шнырь, или тебе просто повезло — и ты еще не любил.

Глух подал голос:

— При чем тут любовь, не врублюсь?! Маргарин что, полез в петлю из-за бабы?! Кто сказал?!

В стекло постучали. Шнырь тонко вскрикнул, вскочил:

— Второй этаж же!

Стук повторился.

Тук-тук-тудук.

— Так Рино стучал всегда, это его стук, — прошептал Шнырь, пятясь от окна.

— Да посмотри уже, занавеску отодвинь, — рявкнул Пушкин. — Рино в дверь бы постучал, если пришел.

— Птица это, голубь какой, — жевал и говорил Петрович. — Давайте за любовь выпьем, а то закипела уже водка, того гляди выкипит вся.

Шнырь нехотя шагнул к подоконнику, щурясь, как делал всегда, когда надувал воздушные шары или видел кровавую сцену в фильме, потянул на себя занавеску.

За окном никого.

— Говорю же, Маргарин, — отбросил занавеску Шнырь. — Это его позывной. — Сел и схватился за рюмку. — Может, и правда все от любви?.. Ведь как за любовь стали говорить, так и постучал...

Петрович поднял рюмку:

— Ну, за любовь с левой руки и стоя надо, но раз такое дело, можно сидя, но с левой, — выпил Петрович, занюхал хлебом. — А если честно, из-за любви дети должны быть, а не трупы.

Потревоженная занавеска в сине-желтый горох пропустила полоску света, лучи солнца превратили фотографию покойника в пылающий портал, — так подумал Пушкин, поежился и сказал:

— Я верю, что души мертвых могут приходить и вступать в контакт с живыми.

Шнырь отодвинул стул подальше от окна.

— У меня по детству история была, — зашептал, наклоняясь к столу. — Я ночевал на даче, неделя как деда похоронили, и там часы настенные так громко тикали, спать не давали. Вдруг посреди ночи тишина гробовая и вместо часов стук такой по потолку, туп-туп. — Шнырь посмотрел на окно, сглотнул. — С потолка по стене, туп-туп, потом хлопок такой, будто кто спрыгнул и по полу теперь идет к моей кровати. Туп-туп.

— Туп! — стукнул Петрович по столу и вздрогнул вместе со всеми от грохота зазвеневших нержавеек и стекла. — Ёк макарек, пойду до туалета, однако, — поднялся Петрович, держась за ширинку. — Что-то не пошла, малой, твоя история, — поковылял он, оставив дверь нараспашку.

— Фуф, напугал, придурок, — вздохнул Шнырь.

Глух разливал. Пушкин первый заметил, как в дверном проеме мелькнула тень, и через мгновенье в комнату ввалился пьяный мужик.

— Эй, эй, — Пушкин привстал, чтобы не дать незнакомцу загреметь на стол, но тот удержался на ногах, выпрямился и, раскланявшись, исчез, словно не было.

— Сосед явно, — озвучил Пушкин.

— Может, надо было налить ему помянуть? — спросил Глух и сам ответил: — Хотя он уже налит по горлышко.

Женщина встала, Шнырь следил за ней с открытым ртом. Нарезала в опустевшую тарелку колбасы, треугольником хлеб, а когда повернулась к сидящему Пушкину, он поднялся, пропустил ее к холодильнику.

Из кастрюли, что достала из тарахтящего старого ЗИЛа, выложила остатки салата, поставила в центр стола трехлитровую ополовиненную банку огурцов. Поправила занавеску, на фотокарточке пригладила черную ленточку, сдунула невидимую пыль. Села, и только тогда Шнырь закрыл рот, но выражение «что это было?» еще долго не сходило с лица.

— Все общаги похожи, — закрыл за собой дверь Петрович. — Крендель тут один, в хлам убитый, просил передать Маргарину привет. Живет напротив, говорит, у них музыкальные вкусы схожие.

— Рино музыку терпеть не мог, если че, — со знанием дела сказал Глух. — Даже «Сектор газа» не слушал по молодости, и на «Мальчишник» ему было, мягко говоря...

Петрович сел. Пушкин с облегчением отметил, что солнечный портал исчез, поднял рюмку:

— С музыкой, значит, сосед прогнал.

— А может, мы не так уж и хорошо, как думаем, знали Рино, а? — Шнырь не отводил глаз от женщины и говорил словно лишь ей: — Виделись раз в пятилетку, напивались и говорили о пустом. Кто душой его интересовался? Кто из нас хоть раз

спросил: «Маргарин, о чем ты думаешь? Мечтаешь? Чем живет твое сердце, кем занято?..» Мы и про баб его ничего не знали... У него что, последнее время не было никого, что ли? Может, он просто с нами не делился? Да и где мы все были? Кто где. Всегда так. Когда надо, никого рядом, даже друзей!.. Ты вот, Глух, про музыку говоришь, а я знаю, что Рино классику слушал.

Промычал вместо ответа Глух.

Петрович замычал следом. Пушкин пожал плечами.

Шнырь хлюпнул носом:

— Да, классику слушал, стеснялся просто, что не так поймут. — Глаза заблестели слезами: — Типа, мужикам не может нравиться скрипка и балет... Думал, что на смех поднимут, затравят... А я с ним ходил, да, на балет ходил! — Шнырь почти кричал, друзья, свесив головы, слушали с поднятыми рюмками. Женщина, казалось, исчезла, на стуле сидела лишь одежда, в которую завернулась пустота.

— На балет это он предложил пойти, позвонил и попросил, только не хотел, чтобы вы об этом знали. Особенно вы! Петрович с пошляцкими шутками, Глух, вечно недопонимающий, и ты, Пушкин, думающий только о себе. Я тоже не лучше, мне все до фени. Я, честно, и не хотел с ним идти, все думал, как бы кто из знакомых нас не увидел на балете, не подумал бы чего... Эх, мы!..

Шнырь выпил. Одинокая слеза торопливо скатилась по щеке и шлепнулась в пустую рюмку.

Выпила незнакомка. Следом Пушкин и Петрович с Глухом. Молчали.

В общежитии где-то тихо играла музыка.

— А мы ему порнуху, помню, на днюху подарили, — виновато пробасил Глух. — Я бы и не подумал никогда про балет. Там же голубцы в колготках скачут, и что в этом интересного, не пойму...

— Не порно, это точно, — хмыкнул Пушкин. — Ты, Шнырь, все вроде четко сказал, одно упустил — у нас у всех семьи, а у вас с Рино чер-те что, ни бабы, ни мужика.

Петрович расплылся в пьяно-довольной улыбке.

— Про мужика отпад шутка. Или не шутка, — отрыгнул.

— Семьи, скажешь тоже, — ответил Шнырь. — Это кто тут у нас такой семейный? Ты что ли, Пушкин?

Пушкин отвел взгляд в потолок.

— Ни для кого не секрет, что ты от любой юбки слюной истекаешь, а трижды разведенный Петрович — это у него-то семья?

— Третьего развода, мож, и не будет, — вставил Петрович. — Я пообещал закодироваться.

— Глух, а ты как? С детьми уже разрешили видеться? — Басы в голосе Шныря снизились до нуля, он ожидал атаки, отрицания, а не пассивного согласия. — Собутыльники мы, а не друзья, — оборвал речь Шнырь. Распечатал новую бутылку, налил всем.

— Что за балет был? — Пушкин поднялся.

Шнырь молчал.

— Без подвоха, Шнырь, хочу сказать пару слов в память о Рино, потому спрашиваю.

— «Щелкунчик», — ответил и добавил: — Только вот попробуй что-нибудь ляпнуть.

Пушкин поднес рюмку к фотографии друга, словно чокаясь:

— Надеюсь, там, где ты сейчас, есть балет и ты сможешь им насладиться, не стесняясь и не боясь. За Щелкунчика! Это посерьезней съеденных тобой на спор трех пачек маргарина.

— За «Щелкунчика»! — подхватил Петрович. — Мне этот зубастый с детства нравился.

— За Щелкунчика так за Щелкунчика, — пробубнил Глух.

Шнырь выпил молча.

Курить вышли на улицу, некурящий Шнырь подышать воздухом.

— Может, она его родственница какая? — строили догадки. — Невеста, соседка или знакомая хорошая?..

Выкурив по две сигареты, решили, что женщина немая, и хорошо, что есть кому после поминок убрать со стола.

Комната встретила мужчин тем же хмурым взглядом хозяина с фотографии и полными рюмками.

— Немая налила, — шепнул Пушкин. — Любовница, интересно все же, или нет?..

Выпили без речей, закусили. И вроде бы за двадцать лет дружбы не раз спорили и ругались, сегодня было иначе, через каждого прошла трещина, отделив друг от друга.

«Это все из-за водки», — думал Глух.

«Иду кодироваться», — решил Петрович, выжимая из рюмки на язык горькие капли. Его все еще тревожили сорок капель, которые якобы можно раздобыть из каждой пустой бутылки.

«Шнырь прав, я чертов эгоист и бабник, но не я один такой. Он, что ли, лучше?!» — Пушкин негодовал, то и дело ерзая на стуле.

«Смерть, она виной всему. Она травмирует и искажает. Кто прав, кто виноват...» — Шнырь открыл еще бутылку.

— Пустые бутылки под столом, — непонятно, спросил или подтвердил Петрович безразлично пьяным голосом.

— Не по ритуалу, что ли? — поставил Шнырь бутылку перед носом Петровича.

— Помню, как с Маргарином бутылки ходили сдавать, — перевел разговор Глух. — Помните, за аптекой прием стеклотары был?

— Такое забудешь разве? — Пушкин обнял Глуха за плечи. — Нам по сколько лет тогда было? Двенадцать? Меньше?..

— Ага, не забудешь, точно, у меня до сих пор ощущение под ногтями от сдирания этикеток, — повеселел Шнырь. — Поэтому, видать, я бутылочному пиву баночное предпочитаю, а лучше разливное.

— Пиво, — оживился и Петрович, — да, про пиво не подумали, может, с ним быстрее торкнуло бы, а то пьем и не вштыривает. Одни базары и распри.

Петровича не слушали, говорили, перебивая друг друга, вспоминали, пока по стеклу не раздался знакомый позывной — тук-тук-тудук.

— Да к черту! — вскочил и распахнул занавески Шнырь, зажмурившись.

— Ебда, — все, что сказал Петрович.

— Странно, — это был Пушкин, и Шнырь открыл глаза. За пыльным стеклом предвечернее яркое солнце, и на фоне ровного, ни облачка, бледно-голубого неба дымящие трубы Комбината и деревья шапками птичьих гнезд на костлявых макушках.

— Тут так много злых птиц, воронье одно, как на кладбище, — тихо сказал Шнырь. — Если это душа Рино, то она не может быть в вороне или в воробье...

— Тут гиблое место, — Петрович потянулся за бутылкой. — Люди тут звереют, с ума сходят, в точности как наш Рино, кончают самым изощренным способом, — булькала водка по рюмкам, он говорил: — Это негласная правда, здесь все оседает, что Комбинат сбрасывает из своих труб. Черная дыра города эти поселки. Тут мертвые души свой век доживают. Мне еще батя про их свалку рассказывал, там целое государство... И как сюда нормальные люди попадают, каким их ветром заносит?.. Подай рюмку мадам, — попросил Шныря и тут же спросил: — Так кто там стучал у тебя в детстве?..

К концу дня Петрович посвежел, это в нем открылось второе дыхание, как он объяснял, и добавлял: — Тут главное, во-первых, лавировать, во-вторых, вылавировать.

Второе у него редко получалось.

Шнырь отмахнулся:

— Проехали.

— А все-таки?.. — Это уже был Пушкин.

— До той ночи я не был таким трусишкой, темноты не боялся, закрытых помещений... — вздохнул тихо Шнырь, возвращаясь в прошлое. — Встал я тогда с кровати, нащупал выключатель и, когда стук приблизился и заскрипела панцирная сетка, включил свет.

Петрович пролил водку и даже не матюгнулся досадно, как раньше.

— Рино попросил, — сказал.

Шнырь вздохнул еще глубже:

— Оно сидело на краю кровати, длинное, голова свисала под потолком, тощее, безрукое, и кожа, как кора дерева, серая в черных плешах. Я бы, может, закричал, если бы не лицо деда. Оно зажмурилось от света, открыло рот, и я оглох от неведомого звука — это был плач и вой, и что-то железное. Оно бросилось бежать и сшибло меня с ног. Я очнулся уже в зале, с шишкой на лбу, меня туда бабушка приволокла, как потом узнал.

— Ну не, — прогудел Глух, — если мертвецы и приходят, то призраками невидимыми, в это я еще с натяжкой могу поверить.

— Дед твой по ходу в дерево реинкарнировал, — серьезно сказал Пушкин. — Давайте тогда помянем всех тех, кого с нами нет, наших умерших дедушек, бабушек...

Выпили, и Петрович спросил:

— Может, приснилось? Или перекурил?.. Очкую я что-то, если такое дело. Мои враги еще живы, поэтому не могут достать меня, а умру, так и припрутся ночью... Я вот зуб даю, мужики, я всегда знал, что умру не от печени и алкоголя, а вот от чего-то подобного. Проснусь ночью, а надо мной хрень такая из загробного стоит, тут и отброшу я сандали.

— Не курю же я, да и не спал. Шишка через неделю прошла, но на левое ухо я стал плохо слышать, а иной раз слышу то, чего как бы не слышно. Звуки всякие.

— Типа след остался, — поежился Пушкин, хотел рассказать про привидевшийся портал, передумал. — Следы, всюду мы оставляем следы.

— Рино только вот никакого следа после себя не оставил, — хрипел Глух. — Ни ребеночка. Ни деревца, записки предсмертной и то не оставил.

— Да-а-а, — загудел Петрович, — это плохо. Когда жил-жил, а помер, так и ни черта от тебя, лишь место на кладбище занял.

— Где-нибудь, мож, есть частичка нашего Рино, бегает дите, Шнырь, разлей-ка, будь другом, выпьем за след, — скомандовал Пушкин. — Чтоб у каждого после его ухода осталась хоть черточка, хоть пятнышко...

Поднялись все, как сговорились, и женщина встала.

— Какими бы мы ни были, но мы были у него и старались быть, — философски закончил Пушкин.

Сели, сумерки заползали в окно, фотография в рамке потускнела, да и лица у всех за столом стали мягче, расплывчатыми...

— Так мы и не повторили, как мечтали, собраться впятером у костра, — напомнил с грустью Шнырь. — А ведь поклялись, что через двадцать лет так же махнем в лес с палатками на ночную рыбалку... Эх...

— Так двадцать лет у нас когда? Нам было по шестнадцать? — Пушкин хлопнул по столу. — Так это ж в этом году!

— Ну и? — пришла очередь Петровича разливать.

— Я хотел предложить, не знаю, как вам такая идея, — Шнырь затеребил скатерть, взгляд его скакал от друга к другу. — Вы, конечно, подумайте, сразу не нападайте. Значит, раз такое дело и нам впятером уже не собраться, в честь памяти Рино, может, сходим все вместе на «Щелкунчика»?..

Кусок колбасы выпал изо рта Петровича в рюмку, Глух не нашел подходящего слова, Пушкин поднял рюмку:

— В точку! — Ыыпил, вытер кулаком губы. — Это охрененно ты придумал.

Подал голос Глух:

— Балет, что ли?..

— Любимый балет Рино, — подобрал колбасу Петрович. — Рино же у нас тайный Щелкунчик был, не в обиду. Я не против. Ему же нравилось. Мы, значит, посмотрим, нет — так потерпим.

— Здорово как, ребзя, — просиял Шнырь. — А я подумал, посмеетесь и пошлете куда подальше.

За это и выпили.

— А ведь мы правда многое друг о друге не знаем. — Пушкин смотрел на снимок мертвого друга. — Но Рино, Щелкунчик нас исправил. Да. Своим уходом он открыл нам глаза на нас самих и на такое понятие, как друг. Дружба.

— Верно все говоришь, — показал большой палец Петрович. — Как положено.

— Теперь нас четверо, и мы еще тесней стали, так давайте выпьем в память о друге и за нашу дружбу. И чтобы кольцо наших объятий ничто не смогло разорвать.

Выпить не успели, в дверь постучали.

Тук-тук-тудук.

Пушкин сел. Шнырь закрыл глаза. Глух с Петровичем обернулись и уставились на дверь стеклянными глазами.

В тишине протяжно скрипнули дверные петли.

— Кто там? — спросил, не открывая глаз, Шнырь.

Из-за двери показалась кудрявая мальчишечья голова. Мальчик улыбнулся, обнажив два передних кроличьих зуба, позвал:

— Мама.

Шнырь открыл глаза.

Мальчик повторил громче:

— Мама!

Женщина ойкнула, подскочила, едва не уронив рюмку с потянувшейся за ней вслед скатерти.

— Миша, сынок, — проскользнула позади Пушкина и Петровича тенью, обняла мальчика, поцеловала в макушку. — Пойдем, — и они исчезли. Дверь закрылась коротким взвизгом.

Шнырь посмотрел на фотографию с черной лентой как в первый раз.

— Мы все это видели? — спросил друзей, с которыми дружит третий десяток.

— Как будто в детство вернулся, — шепотом ответил Пушкин.

Глух, хлопая губами, выдавил:

— Э-э-э, копия живая.

— Ай да щучий сын, — ударил по столу Петрович. — Вот тихоня! Ну, за это грех не выпить. Сам бог велел.

— Не, ну вы видели? — повторил Шнырь, рукой будто меряя расстояние от двери до фотографии. — Видели?..

— Реинкарнировал, думаешь? Или...

— Или, или, — перебил Пушкина Петрович. — Давай, ты еще сегодня на разливе не был, — сунул в руку другу новую бутылку водки.

— Глаза и нос, — бубнил Глух, — вылитый...

— Видели, да?! — не унимался Шнырь. — Видели?..

— Наливай!

— Тук-тук-тудук, — раздалось из-за занавески.

Комната 31

История с табуретом

Глава первая (небольшая), в которой бабу Полю навестил ночной гость, и как баба Поля с сестрой пообщалась

Первый раз он пришел перед Пасхой. Вошел молча в дверь так, что вечно скрипучие петли не пискнули. Прошел между шкафом с одеждой и вешалкой к книжному стеллажу, там, в углу, завсегда стоял табурет для гостей. Гость взял его, два шага, и он присаживается прямо у изголовья кровати. Смотрит, и как наяву кажется бабе Поле, осмелься и протяни руку, она коснется его бороды. Хмуро пришелец глядит, словно в самую душу пробирается... Худые скулы, широкий лоб. Молча смотрит, слегка согнувшись над ней. И не дышит вроде.

— Вот она, смерть моя, — решила баба Поля. Этот бородатый мужчина в обтягивающем кости пальто.

И тогда она заскрипела панцирной сеткой, заохала и как ни в чем не бывало перевернулась на другой бок к стене.

Может, сам уйдет, откуда пришел. Сразу напряжение спало, вдыхая запах старого, но помладше нее, ковра, обратилась она оленем, что на рисунке тканом пасется, а дальше по известному маршруту вприпрыжку сквозь страшные годы взрослой жизни в невинное фиалковое детство.

Только не вечно оно, и возвращение полно слез и открытых ран, что никогда в этой жизни не заживут.

С натертыми о ворс красными коленками проснулась баба Поля в маленькой, три на шесть, комнате в общежитии, в богом забытом месте. Взялась бубнить молитву, тут и вспомнила про гостя. Да и пахло непривычно. Душно в комнате от сумасшедшей палящей батареи. Муторно.

Не поворачиваясь, начала монотонно вполголоса молитву читать и медленно, в такт голоса, растирать руками больные колени:

— Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией рабой Полиной. Укроти врагов, утоли мои боли, отведи от меня всякие хвори.

Эту молитву заучила в детстве на спор с сестрой младшей, просила разбудить ее среди ночи и заставить рассказать.

— Освободи от опухоли: от женской, от мужской, от насаженной и от любой. С рук, с ног, с живота, со всего тела, от вражьего поддела. От ночной подчитки, от дневной подчитки, от утренней подчитки, от упокойной отчитки.

На потолке солнце заиграло зайчиками, да и в Святой Великий праздник грех бояться. Обернулась баба Поля, табурет у кровати стоит пустой, без намека на ночного пришельца. Закончила молитву, уселась в кровати в любимой ночной рубашке, спросила табурет:

— Сама, видно, тебя поставила вчера да со сна забыла. А по ночи кажется всякое, или сон был это. Приснится же такое.

Но больно знакомым показался незнакомец.

Разговелась пасхальным яичком, позвонила сестре, только ее номер и был у бабы Поли на сотике. Похристосовались, и сразу к делу. Ближе к телу, пошутила бы баба Поля, как в молодости, но это время и вспоминать — только до инсульта себя довести. Прошлое забыто, с корнем выдрано.

Рассказала все, до запаха и ощущений. Сестра младшая терпеливо выслушала, не

перебивая, что непривычно, так как любит она это дело, обрубать собеседника на полуслове, с детства любит, с горшка.

Баба Поля начала говорить про яичко и батарею, тут сестра и обрела голос:

— Вот ты говоришь, сон вещий на Пасху и мужик знакомый... Так наверняка Христос это и был!.. Иисус воскрес же сегодня, вот и к тебе по ночи на табуретку пришел посидеть. Христос в пальто! Ты же у нас теперь правильная вся такая стала!

Голос сестры из тявканья перерос в лай и спугнул солнечных зайчиков с потолка. Потемнело в комнате.

Сестра не унималась:

— Я одна у тебя осталась! Дети тебя в богадельню только из-за меня не упекли, комнату тебе нашли! А ты, значит, теперь белая и пушистая?! Кто старое помянет... А от прошлого, баба Поля, не убежишь! Иисус к ней приходил, как же!.. Уснула и храпела во все дыры, и снился тебе мужик какой из твоей бурной жизни! Ты и у меня, вспомни, мужика чуть не увела!..

— Пасха же. Нельзя сегодня, — зажегся голосок бабы Поли и тут же погас.

— Да знаем мы таких верующих! Вся Россия такая! Притворы чертовы!

Гудки не вернули солнце, пасмурно за окном, ветер колышет стираную занавеску. Серые тени по потолку. Словно прячась от них, украдкой перекрестилась баба Поля у холодильника, кусок кулича в рот не лез. Зачем про гостя ей рассказала? — терла шишки колен. — Но знакомый до боли уж больно. Будто родственник, сосед, мож?.. Подскажет, думала... Но не Христос, — гнала вслед за тенями мысль. Хотя взгляд печальный, полный жертвы...

Это ее юбилейная, пятая Пасха. На прошлое Светлое Христово Воскресение из соседей к ней Гриша-страдалец только и зашел, да и то спросить, есть ли чем разговеться. Яичком не захотел, горючки жаждал.

По голосу — сестра, однако, с утра приняла уже хорошо. Водка всегда разговорчива. Водка требовательна. Прошлое ей подавай, подавай водке месть и жертву.

Растерла колени до жженья, опомнилась баба Поля, по сторонам смотрит, будто не в своей комнате. Такое с ней бывало уже, терялась на миг: кто она? где? почему? И быстро все вставало по своим полкам — книги, посуда, она за столом, и тогда баба Поля заговаривала сама с собой, спрашивала громко:

— А ты ли это та Поля, которая там-то, там-то и то-то, то-то делала?..

Если отвечала на вопрос, улыбалась — она, все еще она. Просто временами, особенно в дождь или метель, чудилось — подменили ее. Что это не она живет в комнатушке с номером 31, где соседи не здороваются, знать друг друга не хотят, живут, как катятся, доживают... А Поля настоящая, та самая, из фиалкового детства, так и живет припеваючи где-то на другом конце города и по-прежнему в окруженье любимых цветов.

Отдышалась баба Поля. Дождалась, когда нытье в коленях пройдет, сказала приказным тоном:

— Сама сегодня пойду всех навещу. За столько лет можно.

Глава вторая (большая), о том как баба Поля по соседям с пасхальными яйцами ходила

Надела самый красивый халат, надушилась, седые волосы под гребень не стала прятать, косынку надела с золотыми кистями, очки сменные с резными дужками. Собирается, а сама на табурет все посматривает. Не выгонишь же никак из памяти бородатого визитера с глазами-ранами... А в гостях невольно забудется.

В карманы набрала яиц пасхальных, по пять в каждый. В крыле общежития

девять комнат, но не во всех одиночки живут, знала она. Хотя все как одиночки, и в семье каждый сам по себе...

Многих баба Поля не знает. Кто-то приходит, поживет чуток и исчезает бесследно, как и не было. Вешаются часто, от водки гибнут, всхлипывает баба Поля. И еще одно яйцо про запас взяла.

В зеркало взглянула, перекрестилась и открыла скрипучую дверь.

Смазывай не смазывай, все равно, как потерпевшая, орет.

В коридоре мрачно, ни одной лампы не горит, а ей не привыкать, бывало так и шутит, мол, научилась я в темноте жить, слепотой не испугаешь.

Музыка слышна откуда-то, празднуют. Потеплело на душе, воспоминания пушинками защекотали в носу и намочили глаза. Слезы делают нас чище.

Баба Поля вгляделась, а в конце коридора лавка для курильщиков у окна, на ней мальчик сидит, экран телефона голубым светом лицо страшным делает. Тут и налетает сосед, что через стенку живет, тот самый Гриша-страдалец, и опять еле на ногах, и заплетающимся языком:

— Баба Полечка, — мямлит, а перегар, аж отсюда окна вспотели, что еще темней стало, — Христос воскресе, пардон муа.

И руку, в которой запасное яйцо, берет и целует.

— Воистину воскресе, — тихо отвечает баба Поля.

— Яйцами, чур, не биться, — вставляет страдалец, — и так все безголовые и безъяйцовые. Вся Россия сплошняком.

— Праздник же, ну а ты вон как Спасителя встречаешь, — вырывает руку баба Поля. — Возьми яичка, закусишь хоть.

— Закусить-то я возьму, кто бы налил, — отрыгивает. — Пардон муа, баба Полечка.

А когда баба Поля поворачивается, хочет постучать в дверь, что напротив ее, отдергивает руку старушки.

— Тсс. Ни-ни-ни. Там смертельно больной.

— Да все мы смертельно больные, — заступается за соседа баба Поля. Видела она этого юношу с печальным взглядом, еще тогда подумала, что он-то тут забыл, ангелоподобный.

— Он насмерть болен, — икнул и пошел по коридору. — Да и нет его, по больничкам все. А чем болен, кто знает, вдруг заразно. Но, сука, рисовал как бог, — взмахнул руками Гриша, яйцо выскочило и покатилось, прицокивая, по грязному полу: — Стой, стой, стой...

Исчез на лестнице Гриша-страдалец, баба Поля постучала в комнату молодого художника. Даже на деревянной двери были радужные кляксы, отпечатки его пальцев, мазки... Как-то в мойке баба Поля испугалась: парнишка мыл руки, и вся раковина вдруг забурлила алым, вот тогда он и сказал, что пишет. Так и сказал: «Пишу я, бабуль, не пугайтесь, рисую, с красным цветом перебрал».

За дверью тихо, слышно, как ветер воет. Жутко холодно стало от слов «смертельно болен», баба Поля поежилась. «Помолюсь за него», — решила.

Мальчик все играл в телефоне, и когда она подошла к нему, сказала:

— Христос воскресе.

Играл, серьезный и беспощадный. Баба Поля достала яичко, красное попалось.

— Давай тогда биться будем с тобой. Сможешь расколоть или бабульке сдашься?

Мальчик, нахмурившись, взглянул, нажал пару кнопок на телефоне, экран побелел, потух.

— Яичками стукаться? Тогда я бью, — взял свое орудие боя, сжал в кулачок, баба Поля сделала то же самое, мальчик ударил и тут же вскрикнул: — Йоу! Я всегда побеждаю, давайте сюда яичко и не боритесь со мной больше.

Погладила победителя по голове баба Поля и сейчас заметила, что у мальчонки с верхней губой беда, — словно заячья.

— До свадьбы заживет, — сказала, в ответ услышала, как лопаются один за другим ее пасхальные подношения.

— Не! — Первое шмякнулось об пол. — Заживет! — разбилось второе. — И не стучите в тридцать третью, у мамы гость, — рявкнул.

Дверь открыл горбун, тенью проскочил мимо напуганной, растерянной и обиженной бабы Поли, следом появилась женщина, на ходу накидывая на пеньюар длинную вязаную кофту:

— Баба Валя, Христос воскрес же, — полезла обниматься, а от самой несет всем, что не сосчитать: тут и пиво, и пахучий лак для волос, плюс дезодорант, добавьте пот, перемешайте с табаком и лучной закуской. Баба Поля стерпела, виду не подала, затаив дыхание, протянула голубое яичко.

— Воистину воскресе, Галя, — ответила.

— Ой, и у меня яичко есть, в клеенки сейчас модно заворачивать, что с краской мучиться.

Не любила баба Поля в клеенки эти, как сказала соседка, яйца пасхальные рядить. Суррогатом называла, мертвыми яйца смотрелись, искусственными, деревянными.

— Вот, баба Валя.

Баба Поля не стала поправлять, Валя так Валя, забрала яичко, мысленно она уже сорвала с него тесную рубашку, поклонилась.

— А что, может, по стаканчику за Рождество, ась? — и расплылась корявой улыбкой из-за неудачной операции в детстве на заячьей губе. — Пиво крепкое.

— Некогда ей! — раздалось с лавочки. — Сейчас к Космосу пойдет, потому что журналист не откроет, может, уже и свинтил куда, пока я ссакать ходил, а больше и некого.

— Такой грубиян, без отца растет, — обволокло безысходностью перегарное дыхание женщины, и баба Поля отступила и снова потерялась на мгновенье — кто я? Что происходит?.. Вовремя девица голос подала: — Баба Валя, может, денюжку мне занять сможете, а?..

— Ты мне скутер обещала!

Баба Поля лишь прошептала:

— Нет, извини, нет...

Колени как в песке хрустели и щелкали, пока баба Поля шла к комнате журналиста, где ей никто не открыл, а потом шаркала дальше, под язвительный смех дрянного мальчишки, мимо своей комнатки, потом комнаты Гриши, мимо пустующей комнаты повешенного, к 27-му номеру. Видит Бог, хотела как лучше. Спицами вязальными обида в сердце и давай заматывать кишки в клубок. Ведь лишний раз на глаза им не попадалась, соседям этим, в комнате на ведро ходила, чтоб не помешать, в тазу мылась... и получи — «бабка Валька», ладно я, яички-то за что ирод разбил?! Крутится, запутывается клубок из мыслей, переживаний...

Вечность по песку шуршала баба Поля, а приблизилась — силы откуда взялись, и не поняла сразу. Да это зайчики солнца забегали по крашеным в серо-буро-малиновый цвет стенам. И возле нее кружат, будто одобряют — все верно делаешь, бабушка Поля.

А дверь в 27-й комнате приоткрыта, и видно, как мечется в одном спортивном трико тощий и обросший, как бабай иль леший какой, мужичишка, если б ростом повыше был, — в точности ночной гость с табурета.

Кашлянула разок баба Поля, мужичишка отпрыгнул, как кошка ошпаренная, и к двери — шнырь.

— Баба Поля, нельзя так подкрадываться и шпионить, — прошипел, а глаза так и зыркают туда-сюда.

— Дверь открыта же. Сквозняком, мож?..

В комнате у него, мама дорогая, одни бутыли пластиковые пивные и конструкция какая-то посреди. Почему конструкция? Виталий, сосед в трико с пузырями на коленях до пола, сам так ее назвал и добавил таинственным голосом:

— Это точно сработает, баб Поль, только тссс, — приложил палец к губам, не стесняясь почесал в промежности. Отхлебнул из зеленого баллона жидкость вонючую, протянул:

— Если не побрезгуете. Оно, правда, выдохлось, с ночи забыл закрыть крышкой.

— Не пью же я, а к тебе похристосоваться зашла, праздник же сегодня Великий.

Побледнел и без того бледнолицый сосед, попятился, за грудь тощую с клочками волос схватился:

— Неуж, неуж Меркель Ангела умерла?

Опешила баба Поля, стоит в дверях с желтым, как солнце, яичком в руках:

— Она тут при чем?.. Жива вроде.

— Черт, — хлопнул по впалому животу себя Виталий, — из-за нее же Лунка моя ушла, жена ненаглядная. И с работы погнали поганой метлой, когда узнали, что не знаю я, кто это такая и с чем едят ее, эту Меркель.

— Оюшки, не знала, что женат был, и про работу...

Мужичишка козлом подскочил к бабе Поле:

— Вот это она все — Ангела Меркель. Говорю «Меркель» — подразумеваю всю политику, всю власть. Уползла моя улиточка от меня, когда Ангелы этой в семье нашей стало больше, чем надо.

Затуманилось в голове бабы Поли. Окна у Виталия заклеены газетами, ни капли света. Паутина с гардин вместо занавесок, в углах черная плесень поселилась неистребимая. И голос Виталия безумием звучит. Дергаются по очереди веки глаз его, ногтями пиво свое дрянное закусывает, до мяса изгрызены пальцы.

— А это, — тычет он в свою перемотанную проводами конструкцию из стульев и трубок алюминиевых, — это заглушит всех Меркелей на свете и вернет мне Лунку мою, Вику-Викторию. Сама улиточкой приползет. И будем, как прежде, жить-поживать и Меркель не знать.

Отхлебнул гадости, отрыгнул.

— Так не лучше тебе самому к Лунке сходить с цветами и подарком? Поцелуешь, обниметесь, и все наладится без этой, — баба Поля показала на чуду-юду-конструкцию. — Любовь, она людьми притягивается, душами, сердцами. Не машинами любовь завоевывается.

Запрыгал Виталий, замотал длиннющими, ниже плеч, волосами, перхотью сыпет, ногами стучит.

— Да нет же! Нет! Баба Поля! Нет! Пока власть держащие волнам космическим препятствуют свободно в нас проникать, нет места любви в мире нашем!

Рука с яичком так и опустилась:

— Ох, родненький, отдохнуть тебе надо. В праздник такой не работай уж. Ляг, полежи.

Подала яичко, притянула к себе, обняла. Сердце мужичишки надрывом бьет, рыдает. Выскочить до любимого сердца хочет, того гляди и выстрелит.

Заплакала баба Поля, слезы сами побежали и на костлявые плечи Виталия закапали. Не сдержался и он, навзрыд выплеснул все годы одиночества и тоски. Черной желчью потекла из него боль, сполз на пол, уткнулся в больные колени бабы Поли, и вдруг сквозь всхлипы и завыванье услышала баба Поля голос Виталия:

— Хрис-тос вос-кресе, — выдавил он и отдался целиком неиссякаемому горю своему.

— Воистину воскресе! — гладит по сальным волосам Виталия баба Поля, — воистину воскресе!

Уложила горемыку на диван, укрыла, перекрестила. Расчистила место на заваленном, залитом, загаженном журнальном столике, оставила яичко пасхальное, капельку солнца в мире разбитой мечты, морока и паутины, про себя прочитала молитву, свою любимую, которую помнила наизусть с детства, а Виталий спит беспокойно, ворочается, всем телом брыкается, Лунку без конца все зовет. И зовет, и зовет...

Ушла, придавленная, выпотрошенная, без души будто ушла баба Поля в свою комнатенку. В коридоре пьяный Гриша пророчествовал скорый конец света, смеялся и плясал мальчишка с израненной губой и сердцем... Баба Поля крестила их и на ходу засыпала. Сонная рыба в мутной воде медленно опустилась на скользкое дно, скрывшись в темноте ила, одно лишь произнесла баба Поля, сама не зная почему: «Ганг, твои воды замутились». И был сон.

Глава третья (очень большая), в ней бабу Полю снова посещает ночной визитер, и она находит ответ на книжной полке

Баба Поля не помнила, открывала глаза или нет. Но вот он, гость ночной, сидит, как и в первый раз, на табурете у изголовья кровати, и смотрят глаза его, страданья исполненные, тоскою заполненные, в душу ее. Нагибается он к бабе Поле еще ниже и молчит, а может, и говорит, да страх уши заложил, не пискнуть. Борода вот-вот лица ее коснется, но баба Поля только смотрит во все глаза, запоминает каждую морщинку худого лица. Широкий открытый лоб, запавшие щеки, обрей да побрей, кажется, голова на яйцо похожая будет, острием вниз, если яйцо поставить, да к шее с плечами.

И чем больше вглядывается баба Поля в него, чем глубже взгляд проникает на дно ее души, тем меньше, даже совсем не страшен незваный знакомец. А в том, что она его знает, баба Поля уверена, как в силе молитвы своей. Знает и вспомнит. Духота гонит из-под одеяла, баба Поля тихонечко так руку высовывает, дай потрогаю, наяву ли он, аль все ж во сне. Пальчиком, хоть мизинчиком прикоснуться к пальто его, повезет, так за бородку ухвачу да и дерну. А как дотронулась до сухой бороды гостя, так и охнула всей грудью, громко, почти вскриком, и с головой укрылась баба Поля, а сама вслушивается, что там, на табурете, творится. Творилось же только с ее животом неладное, фуги такие издавал, что стыдно перед гостем стало, неудобно. Обхватила ворчуна руками баба Поля и молитву взяла. Последние слова вслух произнесла:

— Как я жила без опухоли, так чтоб и дальше без опухоли жить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

И живота не слышно, вокруг только ночь разговаривает собачьим лаем и гуденьем огня из труб комбинатовских.

Духота правит этим миром бездушных. Духота и перегар.

Смело скинула одеяло баба Поля, поднялась, что в спине хрустнуло.

И вот он, пустой табурет, в углу книжного стеллажа, но на подушечках пальцев еще пульсирует воспоминанием ощущение жесткого волоса.

Села в кровати баба Поля в ожидании, когда коленки заломит соль до жгучих слез, — не было боли, и живот перестал фуги выводить, и колокольчиком зазвенело в голове: ты его знаешь, ты его знаешь.

— На писателя нашего, русского классика похож, — заверила баба Поля. — Некрасов?.. Островский?.. Не Толстой точно — у, бородачи! — погрозила кулаком

книгам на полках. Книги, ковер и так по мелочевке, все, что она получила в наследство от прошлого.

— Не Тургенев, тот упитанный, какой-то белобородый. Чехов, мож?! — подскочило сердце и вернулось: — Тот бы в пенсне был.

Баба Поля вернулась в еще теплые внутренности кровати.

Может, и не классик? Может, ученый какой? На кой ему ко мне приходить? Я кроме книжек ничего и не читала, и не помню ни математики, ни физики. Нет, писатель, как пить дать писатель. Зачем я понадобилась ему?..

Так с думами о визитере баба Поля опять пробралась в фиалковое детство, которое ни одному самому мастеровому сочинителю не сочинить.

Тревога подняла на ноги, неспокойно на душе. В термосе травяной чай настаивался больше суток, но и он не помог, съела кусок кулича баба Поля, в окошко долго смотрела, как низко бежали облака, а вслед за ними не поспевали местные пропойцы за дозой отравы. В хозяйственном магазине настойка боярышника стоила копейки. Этим и жили поселковые страдальцы. Нет-нет, а кое-кому все-таки удавалось обогнать облака — так горела душа и трубили трубы.

Сотик, баба Поля его еще «погремушкой» звала, связал-таки узор — за сестру изболелось сердце. Пьет та чересчур много, года два уже пьет как не в себя. Будто жажда какая-то мучает. Алкоголь кровь разбавит, злость из нее так и попрет. И не помнит потом, что говорила такое, отвечает, не могла я и все, тема закрыта. Наговорит же столько гадостей, это от отца у нее, тот тоже, как напьется, всех из помойного ведра поливает.

Держит телефон в руках баба Поля, и от нерешительности слезы текут полосками-антенками, будто связь устанавливают невидимую.

Всегда первой на примирение шла старшая сестра, баба Поля извинялась, даже если не была виноватой. Порой ругала себя за слабость, клятвенно обещала больше никогда, ни за что не сделает первый шаг...

Палец, не повинуясь, нажал цифру один — горячая клавиша вызова сестры. Баба Поля сощурилась в ожидании гудков и нервного, как всегда недовольного, голоса сестры, но в телефоне тишина, и наконец механический голос сообщает, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

Выдохнула баба Поля, сказала себе в утешение:

— Спит наверняка после вчерашнего, так бы первая позвонила, знает же, что переживаю...

Табурет притягивал пустотой бермудского квадрата. Сядь — и исчезнешь. Выпадешь из этого мира в мир Летучих голландцев и Марии Селесты...

Оттуда приходят призраки и туда уходят живые...

Отложив телефон, баба Поля присела на жесткое сиденье. Непривычно под ней затрещал табурет. Будто гость подчинил его себе за эти ночи. А может, он давно приходит? Просто не замечала?.. — проскользнула мысль. Поежилась баба Поля. Тени заходили по комнате, заметались, вот и их раньше не замечала она. Как серые, из света и пыли сотканные, силуэты, шарят по комнате в поиске. Ее ищут они. Ветер гудел в щелях окна, иной раз дверные петли подпевали протяжно, так печально, словно оплакивая. И опять потерялась на мгновенье баба Поля, призрачный мир невидимок захватил и, может, утянул бы в себя навсегда, только пихнул кто-то бабу Полю, сильно так под правую бочину. Едва не загремев на пол, вскочила, смотрит на табурет, как будто он ожил и взбрыкнул, и запах незнакомый, а в носу щиплет, словно пыль с книжных полок смахнул кто неосторожно.

— Ишь ты, — громко, возмущенно начала баба Поля, — хоть и гостевой табурет, но и я на нем нет-нет да посиживаю.

А на пустом табурете, из ночи выбравшись, пришелец бородатый сидит и показывает на книжные переплеты.

Ни капли страха, одно любопытство. Поморгала баба Поля, кофе крепкий решила заварить, чтобы не засыпалось на ногах, обвела глазами ряды старых книг. Взяла наугад первую, с печатями библиотечными, уже и не помнила, почему не вернула книгу, скорей не ее эта книга, детей или внучки. Тургенев «Накануне», «Отцы и дети». Не взглянула на портрет, вернула на полку. Следующий был Максим Горький, томик Ахматовой не раскрывала, попались под руку Хемингуэй и Голсуорси, но заграничным классикам явно нет дела до старушки из заброшенного общежития на краю Вселенной. Твардовский, Крылов, Гумилёв, Бунин...

Не находился ночной визави. Знакомые черты мелькали во многих русских мастерах слова, не было того режущего душу до крови взгляда, того внутреннего мученического света. Долго всматривалась в Салтыкова-Щедрина. Присела вновь на табуретку. Но нет, не он, не Щедрин вторую ночь подряд заглядывает внутрь сердечных чувств и мыслей бабы Поли.

— Не Щедрин, — убрала растрепанный томик и лишь теперь только вспомнила про шишки на коленях. Ни намека на боль, и ветер на улице, того гляди, тучи нагонит, а перед непогодой по обыкновению артрит дает о себе знать, завывая наперекор ветру.

— Видно, гость разделил с тобой болезнь, ему не привыкать, вот и пожалел старуху, — по привычке потирая коленки, сказала баба Поля и сняла с полки последнюю, перед тем как заняться обедом, книгу. Шестой том из тридцатитомного собрания сочинений Фёдора Михайловича Достоевского. Еще до того, как открыть книгу, кольнуло под сердцем у бабы Поли — он! Конечно же, он и никто другой сидел у нее на табурете несколько часов назад. Защитник всех униженных и оскорбленных...

«Гравюра на дереве В.А.Фаворского». Подпись под черно-белой картинкой, а на картинке те же глаза, та же сутулая фигура в пальто и борода в точности как та, за которую ухватилась баба Поля в предрассветный час.

На гравюре Достоевский склонился над столом с кипой рукописных листов, взгляд сквозь время и в самое нутро бабы Поли. Закрыла шлепком книгу. Схватилась за грудь баба Поля — и вздохнуть хочет, а не может, замерло дыханье в районе души и сердца. Тут опять, будто сам Достоевский ее кулаком под правый бок, тюк — мол, не расслабляйся, баба Поля. Дыши.

Перевела дыхание, раскрыла толстенную книгу.

«Преступление и наказание» — и помнит же, что читала еще в молодости, по школе, а хоть убей, не может вспомнить, в чем там закавыка. Истина в чем? Сюжет?..

— И ко мне какое отношение имеет? — спросила вслух, снова поглядела на рисунок классика. Перелистала на начало романа.

Пуг*а*ло название, и объем пугал. Читать не перечитать, за год, а то и больше, роман не осилить, в шести частях, да еще и с эпилогом.

Сестре позвонить, она, бесспорно, расскажет, что там за тайна в романе, что за идея, и, быть может, станет ясно, почему Фёдор Михайлович наведывается по ночам...

К литературе баба Поля имела косвенное отношение, читателем была запойным. Работая в торговле, приходилось много читать в ожидании покупателя или в долгих поездках за товаром, когда в хорошие времена работала на саму себя, возила из Китая обувь, держала палатку на центральном рынке. Тогда она и могла прочесть это «Преступление и наказание». Еще в киоске в ночные смены читала залпом все, что попадется, как-то Ленин попался, один из его бесчисленных трудов, ничего, читала, чтобы скоротать сонливые часы.

Пока закипал чайник, баба Поля надела очки для чтения и, не отвлекаясь на кружащие тени и канитель мыслей, стала читать. Увлекаясь, читала в голос. Заварила кофе, садилась на табурет, ложилась на кровать, пила кофе, подходила к окну, не отрываясь от повествования.

Каморка героя Раскольникова стала ее коморкой под номером 31, отвращение к старухе-процентщице захватило бабу Полю буквально на физическом уровне,

до зубного скрежета, титулярный советник Мармеладов наполнял жалостью и состраданием, каждое слово отпечатывалось и ранило. Баба Поля ждала подсказки с каждой перевернутой страницей.

Почему Достоевский? В чем тайна? Где ответ? Она не расслышала трель сотика, только кода он заголосил на последних нотах, баба Поля отыскала погремушку, ответила.

— Ты что там, дрыхнешь?! — раздраженный голос сестры. — Второй раз набираю, думаю, мож, бабай этот твой, что под Иисуса косит, уволок тебя куда.

— Фу-ф, — баба Поля не нашла сразу нужных слов.

Сестра говорила:

— Голова из-за погоды разламывается прям, купила тебе сахар тростниковый, полезный который, но, боюсь, не дойду.

А баба Поля никак не решится, не знает, с чего начать рассказывать, выдыхает и охает лишь.

— Ты еще со своими снами. Мне вон приснилось, будто на нас черные псы напали. Скорей, волки, думаю, это были, а мы с тобой за огородом, а калитка изнутри заперта, и эти чудища нас окружили, ты и вышла вперед, типа меня закрыла и больше ничего не помню. Лишь кровь, много крови было, а потом, как будто не кровь это, оказалось.

— А что? — прорезался голос у бабы Поли.

— Краска.

— Вот-вот, краска, точно, я второе утро запах подобный ощущаю.

— Не смеши, под тобой чего только не хоронится с ликвидированных цехов керамического... Там бочки всяких лаков и растворителей, испаряется вся эта хрень, тебе и мерещатся Иисусы Христы.

— Достоевский это, — твердо вставила баба Поля с обидой в голосе за классика и гордостью за себя. Надо же, на восьмом десятке к ней великий человек пожаловал...

— Писатель, что ли?.. Достоевский?..

— Писатель, писатель. Я на сто рядов проверила.

Ожидая привычной издевки, баба Поля напряглась, готовя про себя целую речь в защиту гостя, но сестра сказала:

— И как думаешь, зачем он к тебе стал вдруг приходить?..

Баба Поля не ответила.

— Предупредить явно о чем-то хочет, я уверена. Помнишь, у меня подруга по техникуму была, Мирка-певичка. Так вот к ней во сне ни с того ни сего начала Анна Герман приходить, уже покойница. У Мирки песни из репертуара Герман были, всякие там «сады цветут», «надежда». Мирка думала, гадала, к чему бы это, вышла, словом, на каком-то смотре художественной самодеятельности, спела «один раз в год сады цветут» и больше не поет. Пропал голос. Даже в душе не поет и за столом под водочку, только мычит. А не спела бы про сады, может, и сохранился голос.

— Ну, — вставила баба Поля, а сестра продолжала:

— К тому я, что все неспроста, эти его посещения, хочет что-то от тебя или сказать что. Может, за старое что вспоминает тебя. Когда ты у нас фестивалила налево и направо...

Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией рабой Полиной, — начала читать молитву баба Поля, чтоб заглушить звон сестринских оскорблений. Сестра за пару минут припомнила все проступки старшей сестры от и до, начиная с детского сада и заканчивая историей с Достоевским, и как результат — громкий истеричный вердикт:

— Короче! Ты во всем виновата! И Бог не поможет! Это он послал писателя тебе на табурет, намекая, чтобы ты думала, а то табуретка по тебе плачет!..

Впервые за десятки лет слова сестры нисколечко не пошатнули душевный мир

бабы Поли, не всколыхнули. Она сама нажала кнопку отбоя, села на табурет, предварительно проверив, не сидит ли на нем известная личность, раскрыла книгу. Раскольников дочитывал письмо матери. Баба Поля перевернула страницу.

Прервалась по зову желудка и живота, болезненно заурчал организм, потянул от чтения к холодильнику. Суп-звездочки в пачках варила в крайнем случае, сейчас как раз такой случай. Двадцать минут, и обед, ароматный благодаря лавровому листу — его баба Поля предусмотрительно кладет во все полуфабрикатные супы, — остывает на передвижном столике у дивана.

Вместо Родиона Раскольникова баба Поля прошла ворота, прошла квадратный двор, поднялась на лестницу, до квартиры старухи оставалось совсем чуть-чуть, сердце бьется об топор, спрятанный в петле за пазухой. Второй этаж, третий, четвертый, вот и нужная квартира. Прислушивается баба Поля, тихо на лестнице, и из квартиры процентщицы ни звука, одно лишь сердце стучит в ушах и эхом разносится по этажам.

Позвонила раз, другой, чувства обострились, стали различимы шорохи, скрипы... После третьего звонка за дверью послышались жизнь и звук отпираемого затвора.

Седьмую главу баба Поля не дочитала. В комнате давно тени слились в полумрак, и остывший суп она выпила прямо из тарелки.

Книга вернулась на полку.

— Надо же. Получается, Достоевский пришел предостеречь, — размышляла вслух. Смотрела в окно, как темнота побеждает свет и свет сдается без сопротивления. — А Раскольников очень даже похож на Фёдора Михайловича.

Прошлась по комнате от окна к двери, заложив руки за спину. Каждый раз, проходя мимо табурета, останавливалась и смотрела на пустой квадрат сиденья:

— Задачку ты загадал, — скажет баба Поля. Мотнет головой с распущенными седенькими волосами и опять ходить... А в голове и на сердце путанный узлами и петлями клубок ни в жизнь не размотать.

Приготовила чай на травах, съела кулича, об одном лишь не прекращая думать — что дальше? Может, Достоевский сегодня снова придет и подскажет, а то так от дум можно и рассудка лишиться. Молитва спасала. Пораньше легла баба Поля. В темноте прислушивалась, хотя знала, что он приходит бесшумно, даже вечно скрипучие петли не пискнут.

Глава четвертая (маленькая), в ней баба Поля спускается на первый этаж

Сон сошел, только закрыла глаза. Прошлое воскресло черно-белыми кадрами. Заворочалась, заметалась в кровати, отгоняя кошмар, силилась проснуться, а открыла глаза — не в своей кровати она лежит, а в гробу заколоченном. Давят узкие стенки деревянного ящика, крышка прижимает, не вздохнуть. На груди руки крестом сложены, цветы искусственные землей пахнут. И схоронили-то в одной ночнушке с заплатами, и неудобно бабе Поле перед народом, что на похороны пришел, до слез обидно, что вот так не по-людски, не в платье, с растрепанными волосами. Повернулась переполненная обидой и стыдом набок баба Поля, тут и увидела Достоевского на табурете.

— Вот, — пропищала слезливо, — как в ваших романах почти что беда со мной случилась... Детям ненужная, внучке и подавно, все им отдала: и квартиру, и сбережения, а меня в общагу на конце света вселили, а потом и в гроб, как дворнягу, в чем была, заколотили.

Всхлипнула баба Поля, а Достоевский от нее отклоняется вместе с табуретом, и видит баба Поля — на коленях у Федора Михайловича топор лежит. Ахнула старушка всем существом своим, писатель взял обеими руками топор и протянул ей. Молча,

лишь глаза говорящие душу бередят. Во рту сухо, будто в рот могильная земля попала, и перцем в носу щиплет. Потянуться надо бы, вертится мысль, взять топор, коль дает, значит нужен. Пригодится. Вытянула правую руку, ухватилась за сухое дерево, оно и бабахнуло громом.

Будто не спала, села в кровати баба Поля, а грохот еще звенит в ушах и в коридоре общежития. А у кровати перевернутый набок табурет.

Подняла табурет с едва уловимым запахом из другого мира, слезы потекли, закапали. Достоевский сделал свое дело, больше не явится посидеть у нее в изголовье. Тоскливо защемило внутри у бабы Поли, словно провожала лучшего друга всей жизни, и тихие слезы отпечатались капельками-точками на пустом квадрате табурета.

Кофе горчил, солнечный зайчик промелькнул лишь раз, и тучи снова спрятали светило. Моросило за окном, но в комнате духота и уныние.

— Где взять топор? — спросила баба Поля себя.

У Гришки-страдальца скорей всего есть, но он потребует горячительного взамен, да и вопросами засыплет.

Проверила в шкафу коробки со старой посудой, нашла молоток с пассатижами и пару отверток.

Как вариант, купить топор в хозяйственном, только будет ли он там?.. Сестре заказать, так тоже чревато — вопросами, подозрениями, обвинениями...

Присела на табурет баба Поля, слушает дождь, как он по молодой листве стрекочет и по подоконнику, слушает сердца скромное тарахтенье, и вдруг словно солнца лучик пронзил.

Вспомнила, взмахнула руками баба Поля. Поднялась. Заметалась по комнате. Халат надела просторный. Очки для чтения, волосы под гребень собрала. Вышла торопливо, дверь не стала закрывать, спустилась по темной лестнице вниз на первый этаж, там возле закрытой комнаты вахтера щит пожарный.

Коробка на стене выкрашена в красный цвет, а в ней топор такой же броский, пугающий. Сняла с крючков инструмент баба Поля, взяла осторожно за деревянную рукоятку, взвесила, ух и тяжелый, спрятала на груди под халатом в фиалковый цветочек.

На первом, нежилом этаже, заставленном бочками и бракованным товаром с керамического завода, сильно пахло смесью из лакокрасочных веществ. Закружилась голова как во хмелю, затошнило; баба Поля, прижимая топор к сердцу, прошаркала по своим следам назад в комнату, про себя повторяя строчки любимой молитвы.

Сначала положила топор в шкаф к зимним вещам, но тут же достала, убрала под кровать. Красное топорище светилось в темноте, и баба Поля могла поклясться, на ощупь оно было горячим. Дерево и лезвие напряглись в ожидании, топор готовился к битве.

Глава пятая, последняя (большая), из которой становится ясно, с какой целью приходил Достоевский, и кое-что еще

После плотного обеда, манной каши с оставшимся куличом, баба Поля прилегла под тяжестью мыслей и натиском непогоды. Ветер бился с жаром батареи, гоняя пыльные шарики по верхним полкам книжного стеллажа. Перед Пасхой пыталась достать с помощью табурета и тряпки на швабре неподступные места, да чуть не загремела под фанфары с табурета, хорошо — успела на швабру опереться. Смела веником, где достала, паутину, окошко вымыла, полы, и лишь настойчивый ветер сгонял притаившуюся пыль, и баба Поля снова мучительно искала способ добраться доверху...

С кровати смотрела, как под потолком дышит другая жизнь, сотканная из паутины и пыли. Крохотные миры всюду. Она тоже один из таких незаметных, непримечательных, невидимых мирков.

Общежитие, уцелевшее в схватке за выживание крыло на втором этаже, — мир без цели и истории. Тут у каждого своя маленькая история. В комнатах живут не люди — истории... Истории невидимых жизней, потерянных душ... Истории обновляются, обнуляются, меняются, стареют, умирают... Комнаты остаются... Бездомные комнаты...

Баба Поля задремала. Баба Поля боится снов из прошлого, боится своей истории, что проста, как три копейки. Проста в своей дикой предсказуемости. Дети вырастают, дети не прощают своего одинокого взросления, дети забирают все и списывают родителя со счетов в приют на край земли и жизни.

На тонкой нити сна и яви табурет громадных размеров, и если вглядеться, можно увидеть, что по всему периметру сиденья, на краю, свесив ноги, сидят маленькие человечки. Приглядись — узнаешь всех, кто шел с бабой Полей по жизни, кто рука об руку, кто спиной, поодаль, кто с закрытыми глазами...

Вот сяду сейчас на всех них и раздавлю, думает баба Поля, и от мысли разгорается в ней пламя мести за все пролитые слезы, тумаки и оскорбленья. Или одним щелбаном посбиваю всех. Тут и свекор со свекровкой, и детки веселятся, будто снова мать квартиру с дачей на них переписывает, и сестренка младшая сидит, ножками болтает, с бутылки, прямо из горла водку хлещет... Сдуну их, как ветер пыль со шкафов, и дело с концом. Решилась баба Поля, набрала в легкие воздуха и дунула что есть мочи, и закашлялась, никак слюной подавилась, согнулась пополам баба Поля, а разогнулась уже в реальности, на кровати. За окном растеклись сумерки, уплотнились тени. Комната в это время похожа на склеп, гроб, вспомнила сон баба Поля и осторожно спустилась на колени. Заглянула под кровать. Топор с красным топорищем был на месте. Баба Поля потрогала его, убедилась, что он настоящий и теплый, будто живой. Встала, захрустело в коленях, безболезненно, но по привычке схватилась за ноги баба Поля, ойкнула по привычке. На табурете пятно света, это за окном фонарь загорелся, странное дело, эти поселковые уличные фонари — горят, когда им вздумается. Иной раз перемигиваются, разговаривают друг с дружкой да с припозднившимися прохожими.

Улыбнулась, как солнечному зайчику, баба Поля, вспомнила первый визит бородатого незнакомца, которого за Иисуса приняла, и тихо рассмеялась.

— Теперь ты самое дорогое, что у меня есть, — сказала она табурету. — На тебе самый из самых великих писателей сидел.

Подвязала халат, включила бра над кроватью и электрический чайник. Ох, и шумел порой чайник, как и фонари, живущий своей жизнью. Пока баба Поля делала бутерброды, чайник щелкнул, отключился. Щелкнуло и сразу бабахнуло за окном, баба Поля терпеть не могла эту детскую забаву — круглогодично взрывать новогодние петарды. Вздрагивала, пугалась, как сейчас, до мурашек по всему телу. Шагнула к окну баба Поля, остановилась, достала из-под кровати топор. В комнате запахло потусторонним присутствием. На табурете никого, но баба Поля чувствовала душой, она не одна. Рукоятка топора вспотела в ладони, заскользила, ожила, нагреваясь, как и поднималось давление в крови бабы Поли, зашумело в голове. Запульсировало в висках и перед глазами. Топор, комната подстроились под удары сердца.

Баба Поля сказала громко:

— Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией рабой Полиной. Укроти врагов.

Тут дверь и вышиб одним ударом кирзового сапога худой мужчина в пластмассовой помятой маске Белоснежки, следом за ним в комнату заскочил кривоногий коротышка с черным чулком в сеточку на голове.

Баба Поля не успела испугаться. Подняла топор и шагнула к воришкам навстречу.

В полиции позже они будут рассказывать, что испугались не столько старухи с топором, хотя она их с порога ошарашила, сколько того, кто стоял за ее спиной.

— Черт, высокий, бородатый, с глазами, как блюдца, — брызгал слюной Чулок в сеточку.

— Какие блюдца?! — возражал зло Белоснежка. — Глаза как щели в пропасти и красным внутри огнем горят.

— Горят, только не красным, а зеленым, ты дальтоник просто, — возражал Чулок. — Еще скажи, что рогов у него не было!

Белоснежка стучал по своей бритой голове:

— Ты с боярышником перебрал, не было у него рогов! Это у тебя рога, тупая ты башка.

— Ага, тогда табурет ты сам себе под ноги поставил?..

Грабители-неудачники спорили, пока их не закрыли в камеру, и там продолжили спор.

Капала ли с топора бабульки кровь? Двигалась табуретка по полу сама или ее нечто хвостом пододвинуло? Спорили, пока не разодрались, поставив друг дружке по синяку, утихомирились, Чулок пообещал в церковь сходить и вообще теперь он в Бога уверовал, Белоснежка еще не разобрался в своих чувствах. Но что-то в комнате 31 бесспорно было из области фантастики.

Почему решили ограбить старушку? Пацаненок какой-то нашептал, что у старухи в комнате золото-брильянты, вот и повелись безработные дуралеи. Приняли для храбрости настойку боярышника неразведенную и поднялись на второй этаж к комнате 31, а их тут уже ждали. Баба Поля с топором и кто-то за ее спиной. Кто-то и подсунул табурет под ноги Белоснежке, воришка споткнулся, спиной полетел на своего напарника, который сам еле на ногах стоял, так они кубарем и выкатились из комнаты. Прямо в ноженьки полиции. Тот самый пацаненок стражей порядка вызвал. Раскаялся. Плакал.

Баба Поля стояла с топором в руках, пока не приехала сестра. В комнате больше не пахло присутствием чуда. Да, баба Поля для себя схоронила, затесью, что с ней произошло чудо, и его запах останется в ней до самой смерти. Сладковато-мятный, теплый. Фиалковый.

Сестра приехала в первом часу ночи, растрепанная, ненакрашенная. Вошла в полуоткрытую дверь, не замечая молодого полицейского, строго косившего на нее в коридоре.

Баба Поля сидела на кровати в обнимку с топором, она впервые не могла вспомнить, как правильно заканчивалась молитва, что зазубрила с детства.

Вот те нате, сетовала про себя баба Поля, и ведь не испугалась, чтоб со страху забыть самое важное на свете.

Перед приходом сестры увидела, как по табурету — его подняли полицейские, он странным образом попал под ноги воришкам — проскакал радужный зайчик, какие бывают, когда случайный луч солнца отражается от очков для чтения. Очки лежали на столе, а вместо солнца лампочка над головой в сто ватт. Зайчик спрыгнул с табурета, запрыгнул к ней на колени, промчался по топору, и баба Поля едва успела увидеть, как он исчез в ковровом лесу за ручьем, где пасутся олени и таится дверь в фиалковое детство бабы Поли.

Улыбнулась баба Поля, если бы не милиционеры, она бы легла на бочок лицом к ковру и помчалась бы следом за чудо-зайчиком туда, где все бы только начиналось...

Сестра села в ногах бабы Поли, погладила ее руки, сказала:

— Прости, сестра. За все прости меня, дуру! За родительский дом, что потеряли,

прости. За племянников, которым позволила так с тобой поступить. За все эти годы тут, в этой кунсткамере, прости. Прости за мои слова, за каждое слово, хочешь, я буду просить у тебя прощения на коленях за каждое слово! Букву!

Встав на колени, сестра заплакала в голос. Молодой полицейский заглянул в дверь и тут же скрылся.

— Я же на самом деле люблю тебя. Ты же это знаешь, ведь правда, знаешь? Веришь?

Баба Поля убрала топор, положила на кровать за спиной, пригладила растрепанные волосы сестры. Поцеловала в макушку.

— Конечно, знаю.

— Ты ничего отсюда не бери, только если самое необходимое, — всхлипывая, икая, говорила сестра. — Будем жить вместе, как в детстве, помнишь?! В одной комнате... Я пить брошу, я ведь не какая-то там алкашка... Просто мне тебя не хватало, а я не знала, как признаться самой себе, что я без тебя не целая, половинчатая. Стыдно, и сейчас стыдно, что целых пять лет мучили тебя...

Гладит голову сестры баба Поля, и исчезают в ней все годы, сотканные из слез и тревоги, из страха и потерь... А волосы сестры пахнут детским шампунем и яйцом, она знала, сестра для пышности шевелюры втирает сырые яйца в корни жидких волос. Засмеялась баба Поля. Сестра оторвала голову от ее колен, посмотрела в глаза:

— Не говори только, что не поедешь жить ко мне! Это ведь и твоя квартира. Все, что мое, — твое!..

— Яичко я для тебя специально покрасила одно в золото. Думала похристосоваться...

Сестра встала.

— Так и у меня для тебя в холодильнике яичко и сахар тростниковый... Собирайся, хотя на такси поедем, можешь и так, в халате. Потом за вещами приедем. Хочешь если, топор возьми.

Баба Поля запахнула халат, подмигнула сестре:

— Топор назад надо вернуть. Не мой он, снизу... Я возьму вот, — баба Поля подняла табурет, про себя она будет называть его табурет Достоевского, прижала к груди и на секунду потерялась в мирках большого мира. Секунды хватило, чтобы отыскать себя, ту счастливую, живущую в фиалковом вечном лете, и взять ее за руку, притянуть к себе, обнять. Обрести.

— Так у меня табуреток куча, и все новые, — услышала баба Поля и вернулась, переполненная запахом фиалок, к сестре, в комнату, в которой ей больше не жить.

— Это особенный табурет...

— На нем Достоевский сидел, — уверенно предположила сестра.

Не ответила баба Поля, сердце не могло насытиться любовью и прощением. Баба Поля простила всех. Простила себя.

Молодой полицейский спросил еще раз, будет ли она писать заявление о вторжении? Баба Поля попросила его отпустить бедолаг.

— Отпустят, — выдохнул полицейский, — если такое дело.

Был час ночи, сестры закрыли дверь комнаты 31, и баба Поля в последний раз оглядела коридор, где сегодня на удивление горели все лампочки. Соседский мальчик ждал ее на лавочке у окна. Увидев бабу Полю, подошел почти на цыпочках, молча сунул ей что-то в карман куртки-ветровки.

— Чего не спишь? — спросила сестра.

Мальчик промолчал, заскочил в свою комнату, и ответом стал щелчок замка.

— Дикушные тут все какие-то, — сказала сестра. — Давай я табурет твой понесу.

— Сама. — Баба Поля взяла для удобства табуретку за ножку, правой рукой залезла в карман.

— Что там?

Они спустились по темной лестнице, справа вахта и пожарный щит. Топор молоденький полицейский вернул на прежнее место.

Вышли на улицу, такси ждало у входа.

Сестра села с водителем, баба Поля с табуретом разместились на заднем сиденье.

Когда поехали, сестра снова спросила:

— Так что там он тебе положил?.. Не бомбу же?.. От таких зверьков всякое можно ожидать.

— Да какой он зверек, — голос бабы Поли дрожал от накатившихся слез. — Птичка, как есть птичка-невеличка.

На ладони у бабы Поли, вздрагивая и подпрыгивая на каждой кочке, в темноте салона поблескивало, радужно переливаясь, пасхальное яйцо с золотистыми буквами ХВ.

— Воистину воскресе, — прошептала баба Поля и вспомнила вылетевшие из головы слова молитвы.

Водитель прибавил газ, и скоро такси выехало на главную дорогу к городу. В другой мир.

Комната 26

Царапины и новый Адам

Он и Она

Это она нашла комнату.

— На окраине города, жизни и верности, — описала место, где им предстоит встречаться в обговоренное время, ни минутой позже, ни минутой раньше, два дня в неделю: — Среда и пятница для начала, — предложила.

Ева. Так она попросила ее называть.

Он спросил: Ева — твое настоящее имя?

Она словно задумалась, закатила глаза цвета зеленого перламутра.

— Мы же вроде договорились, минимум вопросов, — поправила иссиня-черную челку, нежно прикоснулась к ресницам на правом глазу. — Вопросы рождают подозрения.

Он кивнул, не понимая толком, о чем она.

— Загадочное имя. Мне оно с детства казалось каким-то запретным что ли...

— Первая женщина, соблазнившая Адама, водившая дружбу со Змеем и все такое?.. — Алые губы приоткрылись в интимной улыбке. — Понимаю. Мужчины, должно быть, подсознательно испытывают страх к такому виду женщин. Их к ним смертельно влечет, потому что власть и сила притягательны, сексуальны до безумия...

Он только и делал, что кивал, и не знал, куда деть глаза, они то непослушно забирались в открытый вырез платья на груди Евы, то впивались в мякоть ее пухлых губ.

— Да, Ева была сильной женщиной, — сглотнул слюну, спросил. — Тогда, может, я буду Адамом?..

Она сдвинула к переносице паутинки бровей.

— Оставайся лучше Сергеем, — и провела языком по белым, ровным зубам. — Адам, честно сказать, — слабак.

Сергей не смог не улыбнуться:

— Ради таких Ев я бы стал самым слабым мужчиной на Земле. С условием, что Ева будет вся, целиком и полностью моей. Моей и точка.

Ева щелкнула пальцами перед его носом:

— Ответ неверный.

Мужчина заметно растерялся, задергалось левое веко, покраснели щеки, Сергей нервно потер взмокшие ладони:

— Я-а-а, — начал заикаясь, — я только чтоб тебе...

Она перебила:

— Я говорила — нет? — что не люблю презервативы?..

Сергей раскрыл рот, но не выдавил из себя ни звука.

— Нам в жизни очень часто приходится делать то, чего мы не любим, — рассмеялась.

Ее смех, отметил про себя мужчина, заразительный. Напряжение вмиг поменяло полярности. И новое напряжение росло, наливалось соком и кровью. Сергей нервничал уже по этому поводу.

— Вы с моей женой такие противоположности, — заговорил с придыханием. — Она не умеет шутить и шуток не понимает. Юмор ей противопоказан. Из области фантастики. Будет что-то, если она рассмеется над моей остротой.

Оценивающий взгляд Евы был нагло откровенен.

— Вот чего я точно не люблю, остряк, так это когда мужья обсуждают своих жен. Осуждают особенно!

— Я-а, — поперхнулся Сергей, — нет, нет, я просто хочу показать, что доверяю тебе как никому. С первых наших мимолетных встреч я ощущал это. Меня тянуло к тебе, не поверишь, но я храню твой волосок. Я снял его с твоего плеча и спрятал в книгу.

Ева, нисколько не удивившись, хмыкнула:

— Что за книга?..

И вновь Сергей завис в неловкой паузе.

— Лю-у-лю-у-у, — вспоминал, — любовник, любовник леди...

— Чаттерлей, — закончила Ева.

— Точно, да! Она самая.

— Знаково, — коснулась она золотой цепочки, провела по шее ногтем, оставляя розовый, возбуждающий след. — Читал?..

— Ой, да что ты, нет! — отмахнулся Сергей. — Я такое не читаю. Открыл случайно, а там на всю страницу про это... Ладно бы просто о сексе, не вопрос, там все про член, да член...

— Ха, и поэтому ты спрятал мой волос там?.. Где про член?..

Большими ладонями он закрыл лицо.

— Боже, ты просто убийственна! — Взмолился: — Просто наповал, я теряюсь, как школяр какой. Ты богиня! А я-а-а... Я хочу быть с тобой!

И она сказала:

— Будешь.

Он

Ему стали сниться эротические сны сразу после регистрации брака.

На изломе детства не было ничего подобного. А здесь каждую ночь — яркие, фонтанирующие, запоминающиеся сны. Порой ставившие его в неудобное положение перед женой.

Сергей стеснялся снов. Обнаженным, обезоруженным, высосанным — таким он чувствовал себя утром после невероятной эквилибристики с неизвестными молодыми женщинами без запоминающихся лиц.

Лиц не было, только рты. Губы с разным цветом помады.

Черты лица прояснились после встречи с ней.

До того как он узнал ее имя, Сергей звал ее «журналистка». Он приезжал в редакцию газеты «Вечерняя среда», менял картриджи, проверял работу принтеров, тут и зацепился глазами, сердцем, душой, которая, по его ощущениям, перебралась в низ

живота и зашевелилась, ожила, потянулась к женщине с фантастическими данными, такое определение дал он журналистке, встретившей его в дверях.

Он вспоминал, как растерялся от взгляда ее глаз и запаха духов или это был запах ее силы, страсти, женственности...

— Я-а-а, — искал поддержки в лице знакомой секретарши или кого из техников, в редакции словно все вымерли.

— Я вас помню, вы из сервисного обслуживания, картридж привезли.

Сергей выдохнул:

— Так точно.

И специально забыл оставить бланк заявки, чтобы вернуться за ним в редакцию на следующий день.

Сны за границей штатной эротики прекратились после первой встречи в комнате 26, на окраине города, жизни и верности.

Она

Евгения с детства не любила свое имя и не могла объяснить почему. Подростком подозревала, что все дело в близняшковости с мужским именем.

Потом терпеть не могла, когда одергивали грубо — Женька!

Так в институте, на факультете журналистики, появилась Ева. Соблазнительная и неприступная.

В «Среде» проработала меньше полугода, в планах — а цели у Евы были с размахом — «Областная газета» и редакторство.

В «Областной газете» сразу попала на должность ответственного секретаря, через месяц после увольнения из городского еженедельника, а через два года — кожаное кресло редактора ощутило на себе все изгибы и тонкости фантастического тела Евы.

Пока же она смотрит в оленьи глаза стесняющегося мужчины с испачканными в черном порошке ладонями, говорит:

— Туалетная комната дальше по коридору.

Она замечает обручальное кольцо, раннюю седину на висках, очаровательный шрам на выбритом до пепельного цвета подбородке, мягкую картавость и огромную неудовлетворенность. Ее Ева научилась распознавать в мужчинах с одного взгляда. Достаточно пары минут, нескольких слов, телодвижений, жестов, и она знает, что этому мужчине нужно, чего не хватает и как ему в этом помочь.

Сергей, она все о нем узнала от секретарши Марины, живет в браке одиннадцатый год. Ему сорок два, у них дочь Маша, учится в начальной школе. Жена Алёна старше его на два года, преподаватель черчения и рисования.

Секретарша подвела итог, эротично вздыхая:

— Верный муж, повезло Мымре.

Верный — выстрелом шарахнуло в крохотной приемной редакции до звона в ушах. Ева сощурилась.

— Я не верю в мужскую верность, — чуть ли не криком. — Верные только лебеди.

Марина красила ногти черным лаком.

— Этот — исключение, я пыталась, безрезультатно, а с женой его в школе учились, такая гонза.

Ева не стала больше ничего говорить, спрашивать. Она знала, завтра он снова придет, потому что увидела его жадный взгляд и как он нехотя уходил, сжимая кулаки...

Назавтра она пришла в редакцию в кофте с глубоким вырезом.

Он и Она

Ей нравятся слова «влечение», «вожделение», «похоть». Терпеть не может словосочетание «заниматься любовью».

Ему нравится, что она экспериментирует в постели, и не нравится, когда молчит.

— Боюсь твоей тишины, — курит у окна в форточку, пару минут назад она заставила его надеть трусы, а теперь молча смотрит в потолок, укрывшись простыней по горло.

Затушил сигарету в пустой сигаретной пачке, пролез к ней под простыню, поцеловал в плечо:

— Не молчи, ну...

Лег на спину, и вместе они смотрели в давно не беленный серый потолок в трещинках и трещинах.

— Почему двадцать шесть? — спросил вдруг. — Число какое-то никакое, ни туда, ни сюда...

Ева молчала.

— Комнат других не было, да?.. Мне число семь нравится, оно многим нравится, наверное, оттого что считается божественным.

Женщина рядом не дышала.

Сергей говорил:

— Ты вот все обо мне знаешь, а я о тебе ничего, даже не знаю, твое это имя или так... Это у тебя, видно, профессиональное, вы, журналисты, всегда не договариваете, да и вообще любители пудрить мозги таким вот лохам, как я.

Он просунул руку под ее голову.

— Моргни хоть...

Она не моргнула.

— Хотя два плюс шесть дает восемь. Восемь напополам две четверки. Как раз по четверке на нас двоих... Но тебя же четверка не устроит, да?.. Только пять. Все должно быть на отлично. По высшему разряду. На пять с плюсом.

Другой рукой нашел ее ладонь, сжал.

— Чувствую твой пульс, сердце колотится, будто ты бежишь. Ты бежишь куда-то? — Привстал и спросил громче, с испуганными нотками в голосе: — Убегаешь? От кого? От меня?..

Ее улыбка уложила его обратно в кровать, на спину. На лопатки.

— Уже лучше, люблю, когда так улыбаешься. Не люблю, когда молчишь, вот так, ни с того ни с сего...

Молчали вдвоем недолго, минут пять, не больше, потом Сергей спросил про ключи:

— У тебя и у меня, больше ни у кого нет ключа от комнаты? Это ведь наша, только наша комната?!

Она моргнула.

— Два ключа, обычно их три в связке, третий, что, у хозяина?.. Он же не заявится негаданно?.. Без предупреждения?! Или что, это твоя комната?.. Ну, Ева. — Он повернул нежно ее голову к себе, посмотрел в глаза: — Я что, много говорю лишнего?..

Ева снова моргнула, но ответить он не успел, слова утонули во влажности ее губ.

Он

Они встречались восемь месяцев, когда Сергей во сне впервые произнес ее имя. Утром жена спросила про Еву. Муж в этот раз не растерялся, ответил:

— У меня и знакомых-то с таким именем нет.

Жена налила себе кофе.

— Ты, задыхаясь, прямо молил эту Еву продолжать, — хохотнула.

— Что продолжать? — Сергей протянул Алёне кружку. — Плесни мне.

Она ответила:

— Ты у нее спроси — что.

— Про кого это ты?

— Мне на работу пора, — отстранила руку с пустой кружкой жена, — некогда.

— Ты что, реально злишься из-за того, что я во сне там наговорил?! Тем более я вчера выпил на работе, сама знаешь, премию дали. Что за Ева?.. Откуда?..

— От верблюда! Я же всяких Адамов не прошу перестать по ночам во сне?!

«Адам» из уст Алёны напугал, Сергею показалось в эту секунду, что перед ним Ева в обличии жены. Что они как-то чем-то связаны. Такие непохожие и такие целостные. Объединенные жаждой мести неверному мужу, мужчине.

— Точно! Это из фильма. Актриса это, точно! Ева Грин или как, с такими цветными линзами... «Город грехов-2» вот, фильм, вспомни!.. — протянул ей кружку. — Там она играла, полфильма голышом проходила, Ева Грин!..

Алёна забрала кружку.

— Мы договаривались быть честными друг с другом, и если что-то пойдет не так, обсудим это открыто.

Сергей подошел к жене, обнял.

— И мне не нравится имя Ева, какое-то оно не наше. — Поцеловал в голову.

— Хорошее имя, «дающая жизнь» означает, — ответила жена, ушла, оставив пустую кружку на краю стола.

Он и Она

До общежития из города добирались разными путями.

В поселок ездил один автобус, поэтому Сергей приобрел расписание маршрута и уходил с работы строго согласно ему.

Ева приезжала на редакционной машине.

— Это общежитие давно снести собирались, читал, чуть ли не в твоей газете, — серьезно говорил Сергей.

— Оно еще город и всех нас переживет, — отшучивалась Ева

— Мрачное жилище, пристанище.

— Сердце города грехов.

Ударом под дых дежавю. Сергей выбрался из кровати, натянул, не застегивая, джинсы, прикурил у окна.

— Почему город грехов вдруг? — глубоко затягиваясь.

— Скажем так, все мы не без греха.

Струйка дыма отправилась в форточку, в сумерки. За окном трубы комбината — стража города грехов. Посмотрел на любовницу: в тусклом желтом свете бра Ева тем, как она сейчас лежала, заломив голову, напомнила жену. В редкие моменты близости Алёна запрокидывала голову назад и вбок, волосы падали на лицо, она закрывала глаза.

На тумбочке у кровати бутылка вина, два стакана, блюдо с дольками фруктов.

Сергей стрельнул бычком, звездочка в синеве вечера, вернулся, разлил остатки белого сухого, Ева пила только такое вино, подал ей стакан.

— Сегодня звал тебя во сне по имени, — звякнули встретившиеся стаканы, — просил продолжать.

Ева выпила первая.

— Так продолжай.

Она

То, что она у него первая любовница, Ева знала, он мог ей и не говорить. Она знала больше — что она у него и последняя.

Он у нее не первый, и это он знал, хотя она этого не говорила.

— Я не замужем, и это главное, — как всегда шутила. — Может, лет в пятьдесят и решусь.

Он считал, демонстративно, на пальцах:

— Ого, мне тогда будет пятьдесят шесть.

Ева смеялась:

— Я не боюсь старости.

В двухкомнатной квартире, доставшейся ей от бабушки, портреты женщин всех возрастов — все близкие родственницы.

Ева обожает бабушку. У нее на могиле не успевают вянуть живые цветы.

А по словам бабушки, внучка просто копия прабабки Серафимы.

— Та была неописуемой красавицей. Все мужики по ней с ума сходили, в монастырь уходили, да, и такое было, стрелялись на дуэлях, а двое покончили с собой, отвергнутые прабабкой.

Мужских фотографий не было.

Бабушка рассказывала, одинокими жили и умирали в одиночестве женщины в их роду, из поколения в поколение передавалось это проклятье за их красоту.

— Красивое всегда неверное, непостоянное... Есть такая красота, губительная. Все разрушающая...

Внучка разглядывала лица прапрабабок, восхищалась сходством, общими чертами, нисколечко не задумываясь, не переживая о всеединой несчастной судьбе.

Он и Она

— Приснилось, я обнаженная позирую твоей жене. — Закуталась в простыню, взяла у Сергея из губ сигарету, затянулась.

Любовник поднялся на локтях,

— Как позировала?

— Рисовала она меня, с натуры, — всунула обратно сигарету в губы Сергея. — Вроде как у вас в квартире, похоже, что на огромной, без краев, постели.

— Блин, что за сон, — встал, голый подошел к форточке.

— Она привлекательная, скажу тебе.

Он поперхнулся, закашлял.

— Ты где ее видела-то?

— Во сне, не тупи, Серый.

— Откуда узнала, что это она?..

— Оттуда! Во сне ты просто знаешь, и все. И наяву так бывает: вот знаешь ты это из ниоткуда. Знаешь, и точка. И надень трусы!

Отвернулась к стене в желтых обоях с непонятным геометрическим рисунком, замолчала.

Сергей докурил, присел у изголовья.

— И как портрет? Или она тебя всю рисовала. Ах, точно, ты же разделась...

Ева не отозвалась.

— Лесбийский какой-то сон, скажу тебе.

— У твоей жены есть размытое, нечеткое родимое пятно под левой ягодицей? — повернулась Ева. — Как у Горбачева, только не на голове, а намного, намного ниже, — сверкнули белые зубы.

Сергей смог выдавить:

— Да ладно...

Она

Конечно, не мечта всей жизни, но Ева хотела, чтобы ее запечатлела кисть художника. Этим и объяснила она свое сновидение. Сергей никак не мог упокоиться:

— Родимое пятно?! Как?! Догадаться?.. Быть такого не может. Случайное совпадение?..

Ева обрывала его догадки:

— Вещий сон, успокойся, жизнь такая веселая штука, никогда не знаешь, что преподнесет завтра.

Мать Ева не застала, «умерла сразу же после родов, бедняжка, от старой болячки», — рассказала бабушка, заменившая родительницу.

На память о матери осталось одно лишь ненавистное имя — Евгения.

Отца, как и все женщины рода, Ева не знала. Рожали детей для себя, без обязательств со стороны осеменителя и уз связующих...

— Мужчина в дополнение, не более.

Ева слушала бабушку, спрашивала:

— И я, получается, не выйду замуж?..

Бросала на картах бабушка: что было, что будет, что на сердце, что под сердцем, чем сердце успокоится.

Девочка терпеливо ждала результатов, вслушиваясь в дыхание бабушки и тиканье секундной стрелки настенных часов.

— Ищи, — получала ответ, — как и все мы, ищи. Найдешь — почувствуешь. Узнаешь. Это как проснуться.

В институте шутила с одногруппницами:

— Мне на роду написано блядью быть. А против судьбы и природы не попрешь...

Бабушка разгадывала сны, расшифровывала до мелочей.

— Она бы объяснила, к чему такая страсть приснилась.

Сергей ответил:

— Может, Алёна подозревает?.. Так-то она недалекая...

Ева стрельнула перламутром глаз:

— Не при мне. Близкий ты наш.

— А если скажу, что хочу развестись и сделать тебе предложение?

Любовница ответила, не задумываясь:

— Попробуй.

И вспомнился скрытый от любовника кусочек сна.

— Попробуй, — шепчет она на ухо художнице.

Краски приходят в движение, текут, смешиваются, капают с холста. Воск свечей стекает с подсвечников...

Он

О разводе думал после каждой встречи в комнате 26. Приходил, возвращался с темнотой в квартиру к жене и дочери, шел в ванную, там под струями горячей воды пытался разложить будущую жизнь по полочкам.

Начинать жизнь с нуля, в сорок три, с женщиной тайной? — на первой полке. Продолжать обманывать и отравлять семью выхлопами неверности? — занята вторая полка.

На третьей полке — признаться жене, молить о прощении?

И последняя полочка — оставить Еву?

Обжигала мысль похлеще кипятка.

— Я не смогу без нее, — говорит в шуме воды: — Она моя болезнь.

Мужчина заболевает женщиной, когда ощущает в ней свое продолжение. Когда запахи приятны только в компоненте друг с другом и можно молча понимать все о желаниях и не хотеть большего... Если эта болезнь обоюдна, на двоих, вот вам и настоящая любовь, и крепкий союз до гроба.

Болезни вылечиваются, проходят... Раны затягиваются, заживают... Остаются следы...

— Не хочу, чтобы ты стала следом, — прошептал на ухо Еве, все еще оставаясь в ней. — Хочу слиться с тобой в целое. Неразрывное...

Она ответит ему несколько дней спустя, на этом же месте под легкой простыней, в той же позе. Ева скажет:

— Мы уже наследили. Не сотрешь. Разве что только стерев одного из нас с лица земли.

Сергей не понял, о чем она. У Евы не было настроения вдаваться в подробности.

Мелочи нам говорят намного больше целого.

Он и Она

На их юбилей — год отношениям — в комнату впервые постучали.

Сергей инстинктивно бросил взгляд на окно.

Ева подмигнула.

— Муж пришел, — прошептала. — Со второго этажа сможешь спрыгнуть?..

Зрачки любовника увеличились.

— Пойти открыть? — спросил тихо, заговорщически.

— Вдруг жена, — отбила охоту Ева.

Еще один неуверенный стук и голос:

— Соседи! Будьте соседями! Займите чирик до получки!

Она громко, несдержанно рассмеялась.

— Возьми у меня в кошельке, — велела. — По голосу слышно — угорит соседушка.

Сергей недовольно заворчал:

— Может, вина ему налить еще? — съязвил. — Ты что, его знаешь что ли?..

— Дурак.

За дверью голос возвестил:

— Блаженнее давать!.. Может, полтинник найдется?..

Сергей приоткрыл дверь, просунул соседу пятидесятирублевую купюру.

— Меня Гришей зовут, с двадцать девятой я, — пробурчал, забирая трясущимися руками драгоценную бумажку.

— Адам с двадцать шестой, — закрыл дверь Сергей.

Она

Человек живет множествами жизней. На работе — одной, в компании друзей — второй, с семьей — третьей...

Ева не позволяла стираться границам жизней. Все четко расчерчено, разделено. Шаг влево, вправо — расстрел. Никаких поблажек, исключений. Крохотные отступления, вот основная причина бедствий всех уровней и катастроф человеческого существования.

Случай — двигатель жизни. Ева жила по принципу: «все что ни делается, для чего-то нужно и важно». Даже подножка может стать пьедесталом к новому и бо́льшему.

Отношения, любые, самые невыносимые и неприятные, открывают в тебе другого тебя.

Любовь возможна, пока ее ищешь.

Верность должна быть проверена. Лебедь разбивается оземь, теряя любимую.

Все мы носим свое наказание в себе.

Сны никогда не врут. Они раскрывают нам нас.

Он

О встрече договорились, как и всегда, заранее. Очередное свидание в пятницу, ровно, ни минутой раньше, в шесть вечера. Сегодня четверг, время — начало пятого, Сергей отпросился с работы, едва не опоздал на автобус до поселка, выкурил на лавочке у общежития три сигареты, разглядывая редких прохожих, потом не спеша поднялся в комнату 26.

— Зачем? — спрашивал себя. — Чтобы проверить, не изменяет ли она тебе?

Воображение рисовало короткометражки: непристойные, мерзкие, болезненные...

— Почему именно в эти дни? В это время? Что за секрет?

Заранее приготовил ключ, еще на улице. На ключе нацарапаны номер 26 и сердечко.

— Хотела что попохабней, но похабней не придумала, — объяснила она появление сердца на ключе.

Дверь окрашена белой краской, номер написан красным.

Щелкнул замок, раз и два, на третьем повороте ключа вошел.

— Дебил, — поставил диагноз.

В комнате застыли в ожидании любовников вещи и предметы.

Застеленная, убранная кровать манила воспоминаниями. На подоконнике импровизированная пепельница — банка из-под пива...

— Ева, — позвал.

Подошел к кровати, сел на край постели, погладил прохладное покрывало, лег на живот, вдохнул легкий запах их тел. Ее духов, его одеколона...

— Ты меня убиваешь, — прогудел в подушку, — сука.

Она

Сергей спрашивал, любит она его? Ева всегда отшучивалась, не отвечала ничего конкретного.

— Бабушку люблю, это наверняка и неизменно.

Любовь — слово не из любимых. Не из ее обиходного лексикона.

— Узнаешь, — говорила бабушка, — найдешь — почувствуешь. Это как проснуться.

Ева ждала, искала. Каждая командировка в столицу, за границу — как новый виток в поиске любви...

Она не любила, чтобы ее провожали, любила встречи. Сергей обижался, надувал по-детски щеки:

— Не хочешь, чтобы нас вдвоем видели, так и скажи.

Ева не отступила.

— Встречай через три дня с цветами. Встречи важней прощаний.

Сергей подозрительно оглядывал ее:

— Точно командировка?.. У меня последние месяцы какие-то чувства ненормальные, картинки всякие...

Она чмокнула его в щеку.

— Не повторяй ошибку Адама, — прошептала в ухо.

— При чем тут Адам?! Ты же не изменяешь мне?..

Спасением стал голос, объявивший о начале посадки на рейс до Москвы.

В самолете, устроившись у иллюминатора, достала из сумочки ключ, с выцарапанном номером 26 и сердечком.

— Я уже скучаю, — держал он ее руку и не отпускал. — Ты, знаю, не скучаешь по мне, я же слабак. Ты права, Адам был слабаком. Все мы, Адамы, такие.

Она хотела сказать, что не все. Не сказала. Не успела.

Сергей заплакал.

Он и Она

Постельные диалоги, так она прозвала их беседы после пары маленьких смертей. La petite mort.

— Мужчины тоже имитируют оргазм, знаешь? — спросила как-то.

Он поперхнулся кусочком мандарина.

— Точно не я.

Ева смотрела в потолок,

— Трещины, сколько их ни замазывай, закрашивай, они все равно проступают... Со временем, но трещина проступит...

— Это ты к тому, что мы трещины друг друга?..

Она перевела взгляд с потолка на обнаженную спину любовника. Сергей прикуривал.

— Скорей, царапины, — ответила, — царапины, как те, что на ключах. Я их гвоздем делала, ржавый такой гвоздь, не знаю, как он, откуда в руки мне попался. Выцарапала, чтоб не забыли.

— Ты и на сердце у меня нацарапала. Хочешь, покажу?..

— Сердце?..

— Да, оцарапанное?! Выцарапанное...

— Давай.

Она

В Москве снова приснилась его жена.

Если не хочешь долгих отношений с человеком, не узнавай его имени, не открывай своего. Трудней убивать, когда знаешь имя.

Они в комнате 26.

Ева, обнаженная, на разобранной постели, среди цветов и подушек. Вместо привычного торса Сергея — белоснежная податливая грудь его жены.

— Попробуй, — стекает с губ Евы.

— Ева — твое настоящее имя? — вкрадчивый, томный голос жены. Алёны.

— Евгения, — говорит Ева и просыпается с именем во рту.

А внутри продолжается сон, в котором она видит мать в точности как на старых, пожелтевших фотографиях.

— Мама? Почему ты меня так назвала? Дала такое имя? Почему?..

Мать говорит, не открывая рта. Ее слова звучат в голове Евы.

— Так звали твоего отца, — растворяется в дочери голос матери. — Ты — это память о нем.

Он

Алёна заметно изменилась. Повеселела, шутила.

— Бог мой, ты шутишь?!

Сергей не сразу заметил новую стрижку, не обратил внимания на французский маникюр и нижнее белье, откровенно-прозрачное.

— Она знает, — разговаривал как всегда под душем. — Она готовит атаку. Отмщение.

На всякий случай удалил эсэмэски от Главного, их он любил перечитывать в такие одинокие дни командировок Главного и вспоминать.

Мы все пленники воспоминаний. Рабы памяти. Фантазий. Хорошая фантазия — лучший друг мужчины, особенно в одинокие дни...

Алёна стала задерживаться на работе, и Машу приходилось забирать ему.

— У мамы допэээ? — интересовалась дочь.

— Что еще за допэээ?..

Девочка стукала отца по руке.

— Па! Ну, ты даешь. Мама же всегда так говорит. Дополнительные задания.

После допэээ жена приходила в приподнятом настроении, смеялась, рассказывала анекдоты.

— Она тебе изменяет, — нашептывал мерзкий, писклявый внутренний голос. — Точно у нее кто-то появился. Посмотри, как она счастлива. Ты не мог научить ее смеяться, и вот пожалуйста, нашелся тот, кто нарисовал улыбку на ее лице. Кто разбудил ее? Научил сверкать! Сергей не решался спросить у жены о переменах. Язык онемеет, попытайся он сказать ей: «Ты мне изменяешь?!»

Звонил среди ночи Еве, чтобы рассказать, спросить совета, поддержки:

— Как поступить?..

Номер телефона Евы был недоступен.

А через день все разрешилось само. Как часто и бывает.

Она

Мысли закрадывались еще с института — разыскать отца. Реальность побеждала. Найти родителя не удастся. Но она попробует, решила. Она ведь всегда добивается своего.

У стойки ресепшна гостиницы толкотня, приехала команда школьников на олимпиаду по истории.

Администраторы загружены оформлением новых гостей.

— Мне номер сдать, — пытается перекричать какофонию детства, непосредственности, задора и громкого счастья.

— Оставьте ключ на стойке, я заберу, — кричит в ответ крашеная блондинка.

Евгения так и сделала.

Переполняясь сладостным ощущением уже виденного, прожитого...

Ключ с выцарапанным номером и сердечком остался навсегда в пяти тысячах километров от замк*а* комнаты 26.

Он

Точно такой же ключ нашел Сергей, осмелившийся проверить сумку жены. Она вернулась с очередного допэзэ, сразу проскочила в ванную, и теперь он слышал, как она там напевает и, о небеса, насвистывает.

Ключ лежал в кармашке с другими ключами. Этот он не мог не узнать.

Сначала подумал, это его ключ, что Алёна нашла его и теперь предстоят долгие, выматывающие беседы, море лжи и, конечно, слез...

Бросился к своей барсетке, в потайном отделении обнаружил близнеца.

Сравнил ключи, на обоих номер 26 и сердечко — чтобы не забыли — сделанные ржавым гвоздем.

В ванной — самый настоящий концерт, с барабанами, хлопаньем в ладоши. Вскриками «о-у-е!» и «давай-давай!».

Он, с одинаковыми (проверил каждый изгиб) ключами в большой мозолистой ладони, посреди спальни. Стоит у аккуратно застеленного белоснежным, как чистый холст, покрывалом супружеского ложа.

Растерянный, потерянный, ничего не понимающий, заблудившийся...

В точности как первый человек на земле.

Комната 25

Побег

Мать? Он никогда так ее не называл. Мама, мамочка, мамуля.

Нина Николаевна не могла вспомнить ни одного случая, когда бы сын нагрубил ей.

Как-то, сразу после своего восемнадцатилетия, пришел домой поздно ночью, пьяный, еле на ногах стоял, перепачканный в грязи и блевоте. Нина Николаевна молча сняла тапочку и хлестнула сына несколько раз по спине. Он не уворачивался, кивал, обещал, что больше таким она его ни в жизнь не увидит. И мать была уверена, сын сдержит слово.

В поезде вспомнился вдруг этот случай, а потом она услышала кукушку.

Сначала подумала, может, у кого на телефоне такой звонок... Осмотрелась, плацкартный вагон тревожно спит.

Да и какая кукушка в поезде?! Но Нина Николаевна слышит ее тоскливое кукование. Издалека, из прошлого...

У нее нижнее боковое место, думала, что ночь потерпит, не заснет, но не успели отъехать от станции, как Нину Николаевну сморили размеренный стук и колыбельное укачивание поезда.

Облокотившись на пыльное окно с проносящимся однообразием полей, закрыла глаза. Кукушкин плач, а Нина Николаевна всегда считала, что не от веселой жизни серая птица горло до хрипа надрывает, унес ее назад, лет на десять, во времена цветения.

Сын рос, расцветал интеллигентным мальчиком. Так считали учителя в начальной школе, и соседи, и все знакомые, — твердили, как сговорились:

— Такой маленький интеллигент, скромный, аккуратный во всем, воспитанный, всегда улыбнется, поздоровается...

— Не матерится, — добавляла классный руководитель Тамара Иннокентьевна.

— Сумку поможет донести, — нахваливала баба Шура из двадцатой квартиры. — Мои внуки сроду сами не предложат, а Илюша чуть ли с рук не вырывает...

Нину Николаевну переполняла гордость за сына. Она ведь и не прикладывала чрезмерных усилий в воспитании. Читала на ночь добрые сказки, за столом просила не чавкать, желать здоровья тому, кто чихнул, говорить правду, даже если за нее попадет, и никогда не забывать маму.

Отца Илья не знал. Точнее, отец не захотел ничего знать об Илье. Бросил мимоходом Нине Николаевне — откуда мне знать, что этот ублюдок мой? Хлопнул дверью и растворился в Вечности. А маленький Илюша, Илья-подросток, ни разу не заикнется об отце. В саду и в школе с твердой уверенностью в голосе и в сердце будет заявлять: «Мой папа — космонавт». И каждую ночь, заметив летящую звездочку-спутник, грустно и глубоко вздыхать:

— Папа летит.

Нина Николаевна сама удивлялась поведению сына, видно, в точку попали с интеллигентностью, людям на расстоянии виднее. Только в кого он такой правильный, примерный?..

— От Бога это все, — смотрит мать на спящего сына, на сонные пузырьки в уголках губ, а душу давит беспокойство, сжимает в кулак, закручивает канатом непонятная тоска и страх. Скоро это закончится, шепчет, заползая в окно, темнота ночи, в тихом омуте черти...

Грохот встречного скорого вытолкнул Нину Николаевну из дремоты в душную плацкарту. Протерла залипшие глаза, свет притушен до минимума, в окне редкие огоньки, в голове тихое кукование.

— От стресса, недосыпания, от волнения, — успокаивает себя Нина Николаевна. — Ночью кукушки спят.

Только сердце ноет, и кажется это оно, сердце, кукует. Стук как ку. Ку-ку, ку-ку... Нина Николаевна приложила ладонь к груди. Кукование перебралось вверх по горлу в голову. Сердце стучало. Кукушка поселилась в голове.

Разбирать столик и ложиться требовал организм, ноги гудели похлеще поезда, спина затекла от шеи до копчика, во рту сухо... Нина Николаевна нащупала под столом бутылку воды, выпила почти всю, поджала ноги, уткнувшись головой в край стола, постаралась ни о чем не думать.

Не получилось.

Мысли страшные, будто не ее, перебивали голос разума, голос кукушки, сдирали свежие коросты... Эти раны не заживут никогда, кровоточащие, глубокие до самой души, пронзившие сердце насквозь раны.

Она дала имя каждой ране. Сын — самая бездонная и болезненная рана. Убийство — название второй раны, темной, черно-алой. Смертельной. Третья рана — место, название которого она не может, боится произнести.

Первый час в вагоне казалось, все знают, куда она едет. К кому, зачем, с какой целью...

Проводница взглянула как-то осуждающе, хмыкнула, глянув на фотографию в паспорте. Нина Николаевна, конечно, не похожа на ту сияющую, полную жизни и

смысла сорокапятилетнюю женщину. Тогда она еще не знала, что меньше чем через год жизнь остановится. Прервется. Кончится.

— В половине пятого утра Ангарск? — тихо, незащищенно спросила худая уставшая женщина с седой до корней волос головой.

Проводница испугалась, потом она расскажет своей напарнице, что ее словно ледяной водой окатил взгляд пассажирки с 51-го места.

— Как из потустороннего мира, и голос, и образ, кос*ы* в руках не хватает. Я спецом посмотрела дату рождения, она же еще не на пенсии даже, и в сорок пять на фотке огонь-баба, а тут передо мной скелет живой. Мертвец и ужас ходячий.

— Горе, видать, сломило, надорвало, — напарница пойдет будить единственного выходящего на станции Ангарск пассажира и не удивится, застав женщину глядящей, не моргнет, в ночь за окном.

— Через полчаса, — голос проводницы дребезжит жалостью и слезами. — Вы что, не ложились?..

Женщина покачала головой.

— Не до сна, — сказала.

Проводница забрала нераспакованный комплект белья, закрылась у себя в каморке и проревела до самой станции от нахлынувшего чувства одиночества. Утром при свете солнца она скажет:

— Женщина с 51-го сделает что-то непоправимое. Ужасное. Я тебе говорю, я прям внутренностями почувствовала это.

Нина Николаевна спустилась с поезда, и серость проглотила ее. Перрон, лес, здание вокзала, все, что между небом и землей, растворилось, обесцветилось, сравнялось в туманной пастели.

Шаги громким эхом разбивали стены подземного перехода, но нисколечко не напугали кукушку. Нина Николаевна ловила себя на мысли, что жила всю жизнь с этим кукованием, просто не было времени расслышать его в себе...

До первого автобуса больше часа, в зале ожидания молодой солдатик мерит расстояние от окна до закрытого окошка касс дальнего следования.

У матерей особое чутье, Нина Николаевна в этом уверена, они знают, когда ребенок запутался, когда оступился и ему нужна помощь. Вот сейчас она смотрит на солдатика и по-матерински ощущает его волнение, натянутое на разрыв напряжение.

«Да, — говорит про себя Нина Николаевна, — чужих детей понимаешь, распознаешь их беды, а своего не услышала, не сберегла! Проглядела!»

Вспомнила, что не курила целых двенадцать часов в поезде, а еще вспомнила, что год назад дым сигаретный не переносила и представить не могла себя дымящей...

Нервно достала помятую пачку легких сигарет. Осмотрелась, всюду наклейки, запрещающие курение. Пришлось надевать рюкзак, выходить на улицу. В серость.

Курила быстрыми, короткими затяжками и никогда не докуривала. Илья был бы в шоке, увидев такую картину: мама с растрепанными волосами, ненакрашенная, с сигаретой, в окружении мусорных бачков в туманной дымке рассвета.

Солдатик спал, свернувшись на жестком железном сиденье, накрывшись с головой пятнистой формой. Нина Николаевна тихо села в углу, материнское сердце, преодолев десяток километров, отыскало родное сердечко. Сердцем увидела сына. Илья спал, и она осторожно, украдкой, одним глазком заглянула в его сон.

Кровь попала в глаза, обожгла, крик вытолкнул, оглушил.

Сердце вернулось, едва не расколотив грудную клетку. Слезы забурлили, вспенились, полились через край.

Кошмарные сны им снятся теперь всегда.

— Мама, мамочка, мамуля, — Нина Николаевна проговаривала с интонациями сына вместо молитвы.

Она не слышала голоса сына больше года. С суда. Позвонил раз, говорила только

она, сын молчал, даже не вздохнул. И Нина Николаевна после каждой фразы спрашивала: сынок, ты меня слышишь? Ты еще здесь?..

И это *здесь* как з*а*говор, приговор. Нина Николаевна поверить не могла, что сына с ней по-настоящему не было. Все было неискренне, не по правде. Когда это началось?.. Как давно?.. Может, это было всегда?..

Нет, в последнее не верила, она помнила их прогулки, взгляды, разговоры о вечном и неподдельном... Прикосновения. Объятия.

Сын целовал без всякого стеснения маму до *последнего. Последним* был день, а точнее вечер, под желтым кухонным абажуром. Звонок, сначала телефона, и сразу в дверь. Нина Николаевна не поняла толком, что произошло. Сын появился перед ней, поцеловал в щеку, сказал:

— Я не хотел.

И его вывели под руки двое полицейских.

— Прямо кино какое-то, — говорила растерянно, хватая руками пустоту вместо сына, — кино...

Прошла следом в коридор, дверь перед носом захлопнул сквозняк.

Почему-то долго не могла открыть замок. Заклинило или это все трясущиеся руки виноваты...

Босиком в подъезд, по лестнице, не чувствуя холода, выбежала в морозный февраль. Тихо падает снег, скрывая следы...

— Тетя Нина, а куда Люху увезли? Милиция была, — слышит она писклявый голос, а глаза впиваются в черные полосы шин. Сотни отпечатков подошв, она ищет следы кроссовок сына. Она помнит их узор елочкой, вместе выбирали на зиму, Илья никак не мог определиться, что лучше: ботинки или же кроссовки на меху.

Отыскала еле видимый след елочкой, опустилась перед ним на корточки, прикоснулась, снег под пальцами быстро начал таять. Вот и следа не осталось — слетела горячая слеза, следом вторая...

Она не заметила, что поседела за одну ночь, соседка сказала и успокоила:

— У нас в Сибири каждый второй сидел. Чего уж там, вся Россия из зэков и осужденных. И так переживать — себе вредить, сначала волосы, потом сердце в один прекрасный день не выдержит, или кукушка улетит и до конца жизни умалишенная, если в дурку не закроют.

— Не спать! — вытряхнул из сна Нину Николаевну толстый полицейский. — Вы прибыли или убываете?

Нина Николаевна заметила, что солдатика нет, растерянно сказала:

— Убываю, — и добавила: — А солдат тут был, не видели?.. Уехал?..

Усмехнулся толстый полицейский:

— Уедет он, как же... Третьи сутки тут ошивается. Ждет, когда ему кто денег привезет, мать там или сестра, не знаю, ограбили служивого...

— Как ограбили?

Пожал плечами полицейский.

— Цыгане, говорит, если сегодня не найдет денег, пусть на улице ночует, у нас тут не благотворительность.

Белое пятно солнца встретило Нину Николаевну в дверях вокзала. Первые автобусы чадили выхлопными газами. Солдатик стоял у закрытого киоска «МОРОЖЕНОЕ», рассматривая яркие разноцветные этикетки.

Она на ходу достала из кошелька, сколько попалось в щепотку, бумажные купюры.

— Тебе домой надо? — напугала громким голосом солдата. Он вздрогнул, обернулся, поднял, защищаясь, руки.

Нина Николаевна взяла его руку, вложила в ладонь деньги.

— Вот. Возьми. У меня сын твоего возраста.

Солдатик моргал длинными ресницами, кивал, мотал головой. Нина Николаевна замолчала, и он спросил:

— А где служит ваш сын?

Она сказала:

— У Ильи зрение плохое, — пожала холодный кулак с комканными бумажками, пошла к автобусной остановке.

Солдатик догнал.

— Вы много дали, извините, мне две тысячи на билет надо, а тут...

Нина Николаевна спешила на автобус.

— Спасибо вам! Я попрошу бабушку, она помолится за вас и вашего сына, — прокричал он и еще раз пересчитал деньги. Проводил синий автобус взглядом, вернулся к киоску.

Пломбир с фисташковым наполнителем в шоколадной глазури он выкупит весь, что будет в киоске. Все восемь рожков.

Общежитие долгое время принадлежало Исправительной колонии №21 ГУФСИН по Иркутской области, в нем жили в основном сотрудники зоны, две комнаты, так называемые гостиные, сдавались посуточно родственникам заключенных, приехавшим на свидания издалека.

Общежитие сначала выкупил Керамический завод, потом город, но по негласной договоренности одна комната оставалась гостиной, ключ от нее был у бывшего коменданта общежития, он и отдал его тощей, измученной женщине с рюкзаком за спиной, встретив ее на автобусной остановке холодным утром в середине июня.

Вздыхать устаешь, как устаешь думать, плакать... Слезы заканчиваются, ей ли этого не знать. Слез не стало через месяц после ареста сына.

Одна кукушка безустанно напоминает о себе в голове, перебивая рев двигателя и тарахтенье автобуса.

Ехали долго. Петляли по узким улицам с мрачными постройками, выезжали на пустырь, поднимались на виадук, рассекали лесной массив.

Нина Николаевна уже была здесь полгода назад, тогда свидание отменили из-за проведения противоэпидемиологических мероприятий. Так ей объяснили на контрольно-пропускном пункте.

Сегодня, как и шесть месяцев назад, шла вдоль бетонного забора с кольцами-лентами колючей проволоки, шла, по инерции переставляя ноги, шла как во сне. Смотрела, но не видела. Все вокруг стало бессмысленным, ограниченным все тем же забором и проволокой. Во сне колючая спираль оживала, сползала змеей, шипела, разрывала на части безликие тела, сон окрашивался в кроваво-красный цвет. Нина Николаевна видела сны сына, просыпалась и не верила себе, руки в мелких кровоточащих ссадинах, в порезах...

Она хватала стальную змею, она пыталась ее остановить, придавить хотя бы ногой... Змея резала, кромсала, рассекала...

Всю дорогу, до ворот колонии, чувствовала колючий неживой взгляд, пронзающий спину, внутренности, душу.

От черных мыслей спасала кукушка.

— Вы слышите? — спросила она мужчину с ключами на обочине дороги.

Ключник прислушался нехотя, зевнул.

— Кукушку что ли? Так немудрено, лето ж...

Кукушка куковала на самом деле, это успокоило, и Нина Николаевна всю дорогу спрашивала печальную птицу обо всем, что приходило на ум, и птица ей отвечала.

На обратном пути рассказывала кукушке тихим голосом, как не могла решиться написать в заявлении строку — *прошу предоставить мне длительное свидание с осужденным*,

и дальше нужно было написать фамилию, имя и отчество сына: пальцы не слушались, крюками онемели костлявыми, что ручка выпала.

Буквы выдавливала из себя, из сердца с болью, кровью писала.

Дальше были предупреждения. Предупреждены о запрете, предупреждены об ответственности, предупреждены о содержании, предупреждены, что факт обнаружения и изъятия, предупреждены, что в случае нарушения, предупреждены...

Не могла вспомнить число, чтобы указать в конце заявления, подсказал молодой человек в форме, она не знала, какой сейчас год, и он, не удивившись, сказал — год две тысячи шестнадцатый.

Кукушка куковала.

До общежития тихим шагом дошла за полчаса. Территория вокруг колонии сплошь мусор и искореженные металлические сооружения. Горы песка, спрессованного угля, рулоны стекловаты в человеческий рост. Молчаливые, напуганные вороны.

— Здесь все неправильно, искаженно, перевернуто, — шептала. — Рельсы с пустыми тележками из-под угля, и те заканчиваются тупиком. Из тупика в тупик.

Комната номер 25 была на втором этаже двухэтажного горбатого домика, выкрашенного в грязно-желтый цвет. На асфальте разноцветными мелками надпись: «*Добро пожаловать в ад, двуногое животное!*»

Деревянная дверь залатана кусками фанеры, в коридоре — бочки, пласты плитки, разбитые унитазы... Дверь с надписью «вахта» закрыта на замок. По лестнице со следами жесткой метлы наверх, потом налево и снова налево, первая дверь — место ее прибытия.

Не хотела попадаться никому из жильцов на глаза, резво повернула ключ в замке и скрылась за дверью раньше, чем из соседней комнаты 27 выбежала, недовольно ворча, обесцвеченная девушка.

Отдышалась, сняла рюкзак, достала помятую пачку сигарет.

Комната с одной кроватью, шкафом, тумбочкой, электрической плиткой и парой стульев похожа на камеру-одиночку.

Она боялась таких замкнутых пространств, ограниченности. Несвободы. Сын пошел в маму. Говорил, что не позволит запереть себя в четырех стенах, не сможет быть заключенным и зависеть от кого-либо.

— Лучше смерть, — говорил. — Вены зубами перегрызу, но буду свободным...

Пахло чем-то наподобие ацетона, растворителем. Нина Николаевна открыла форточку. Июнь нынче холодный, снег шел в первые дни лета.

Прикурила, не докурив и половины, затушила, бычок сигареты аккуратно положила на подоконник.

Кукование проникло в комнату и поселилось вместе с женщиной. Нина Николаевна села на кровать. Желто-коричневые обои с геометрическими фигурами угнетали.

«Попались, попались, попались», — заползали решетки с обоев в глубину ее души. Она закрыла глаза, уронила голову на колени и только сделала хуже — в темноте, перебивая кукование и шипение, взорвался крик. Крик был нечеловеческим. Боль и ужас ломает голос, превращает человека в нечто...

Открыла глаза, поднялась, вернулась к окну и докурила бычок.

Солнце над крышей превратило дворик перед общежитием в ровный белый квадрат — безлюдный, выжженный...

Солнечная камера, тюрьма. Все мы заключенные, осужденные, загнаны в свои зоны, исправительные колонии...

— Побег невозможен, — услышала свой голос и не поверила, — это не ее голос. Сухой, затравленно тихий. Прокашлялась, повторила: — Побег невозможен.

Нет, точно не ее голос.

Мысль вспыхнула, и она тут же ей подчинилась, Нина Николаевна тихо прокуковала, подставив лицо под случайные лучи солнца:

— Ку-ку.

Побег невозможен.

Цыганка появилась из ниоткуда и ушла туда же. Горбатая, полуслепая, закутанная в яркий платок, она подошла к ней у здания областного суда и на хорошем русском сказала:

— Вижу, сердце твое кровью захлебывается. Вижу, сны твои полны крови, той, что на руках сына твоего. Был хороший мальчик, стал убийца. Себя винишь и гадаешь, как такое могло случиться. Не ищи ответа. Сам он выбрал дорогу к концу. Нагнись, шепну то, что вслух нельзя говорить, о чем лучше не знать, а коли знаешь, молчи и похорони в себе.

Нина Николаевна на дух не переносила цыганское племя, но старуха притягивала откровенностью. Да и нечего больше терять Нине Николаевне. Нагнулась к гадалке и услышала лишь щелканье цыганских четок, так ей показалось. Ночью же слова, что нашептала цыганка, приснятся, разбудят. Поднимут с кровати, выгонят в ночь на улицу. Вынудят купить в круглосуточном киоске пачку «Винстона» и курить одну за другой сигарету.

Цыганка спросила:

— Что ты хочешь для сына?

Она ответила:

— Свободы.

— Ни ты, ни твой сын больше никогда не будете свободными, — сплюнула в ладонь ворожея и закончила: — Кукушка уже начала отсчет.

И тогда Нина Николаевна нагнулась к уху цыганки и прошептала что нельзя произнести вслух:

— Побег. Если так, я хочу побег. Буду скитаться, скрываться с ним вместе. Только бы рядом. Только не тюрьма.

Последнюю сигарету в пачке и в жизни, как решила, Нина Николаевна оставила на вечер.

Прислушалась. Кукушка куковала со стороны зоны. Нина Николаевна достала из рюкзака черный целлофановый пакет, резиновые перчатки, все делала в точности по указке цыганки.

Заперла на ключ временное пристанище и вышла из дверей общежития до того, как в них едва вписался пьяный обитатель 29-й комнаты.

— Под суком, на котором найдешь кукушку, найдешь поляну с ягодами, — запомнила слово в слово наставление цыганки. — Надень перчатки, чтоб не повредить ягодам и себе, собери их все в темный непрозрачный пакет, дальше замеси тесто и настряпай пирожки, ягоды будут начинкой.

Сразу напротив общежития железная дорога, дальше заброшенное картофельное поле и лесок — туда и заманивала женщину кукушка.

Пахло травой в рощице, запах рождал воспоминания.

Двенадцать лет назад в летний жаркий день они с сыном уже ходили на поиски кукушки.

— Точно, точно, — шептала под нос Нина Николаевна, пробираясь через колючие кусты шиповника. — Это было перед твоим первым классом. Ты так жаждал пойти в школу. Мы решили устроить пикник у речки, ты услышал кукушку, спросил у нее: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» И кукушка начала куковать. Я смеялась, и ты сбился со счета. Кричал — ну мамуля, теперь я не знаю, сколько проживу. Я обнимала тебя, щекотала, говорила, что сто лет проживешь и еще сто раз по сто. Тут ты и предложил отыскать птицу:

— Глянуть глазком, как она это делает, — скакал вокруг меня и снял майку с себя и бросал ее в небо, кричал: — Кукушка, кукушка, мы тебя найдем!

А я боялась, что ты обгоришь на солнце, согласилась, чтобы скорей уйти с тобой в тень леса.

Кукушка начала отсчет.

Ощущение дежавю не покидало. Словно это те же лес и кукушка.

Нина Николаевна осмотрелась, вот сейчас из-за той березы появится Илья, выпрыгнет с визгом, она сделает вид, что напугалась, прижмет к себе, и они вернутся домой. И никаких ягод. Никакого общежития с комнатой 25. Никаких колоний строгого режима с приговором заключения на срок в полчетверти жизни...

Подыграла себе Нина Николаевна, закрыла глаза и громко сказала:

— Ку-ку, кто не спрятался, я не виновата. Считаю до пяти, иду искать. Раз.

Притаился ветер в деревьях.

— Два.

Замолчала кукушка.

— Три.

Хрустнула ветка, вздрогнуло сердце.

— Четыре.

Она не одна, рядом еще кто-то, слышно его прерывистое дыхание.

— Четыре с половиной.

Еще один хруст, со стороны березы, и ощущение движения. Присутствия.

— Пять, — заканчивает радостно она, открывает глаза.

Черно-белая псина смотрит просящим взглядом, высунув язык, доверчиво виляя хвостом-обрубком.

Глаза не верят увиденному, глаза ищут мальчика в шортах с веснушчатой спиной... Сердце ищет.

Кукушка прокуковала совсем близко. Псина, услышав далекий собачий лай, сорвалась с места, оставив Нину Николаевну одну.

Тогда, в прошлом, кукушку они так и не нашли. Бродили долго, до самого вечера, до сумерек, вдоль берега.

— Откуда она знает, кто сколько проживет? — интересовался Илья. — У нее что, счеты специальные, калькулятор?.. Или дар?..

— Вырастешь — и сам мне разъяснишь, что у нее там, я, честно, не знаю.

Сын все-таки обгорел, и весь вечер Нина Николаевна мазала ему спину кефиром и подсолнечным маслом.

— Помнишь? — спросила тишину.

Ответила кукушка.

Мать была уверена, сегодня она найдет птицу, чего бы ей это ни стоило.

— Сердце свое вынешь и отдашь, да вот не нужно сыну сердце твое. Есть такие дети — кукушонки. И у достойных матерей они зачастую и родятся. Ты хорошая мать. Это твой высокий грех — любовь к сыну. Кукушонки, они себе на уме. И ты никогда не узнаешь, что на душе и под сердцем у него.

Не стала возражать словам горбуньи Нина Николаевна. В чем-то цыганка права. Мы не знаем своих детей. Поверхностно, снаружи, то, что они хотят нам показать, видим, знаем... А что у них там, в глубине?..

Сначала увидела ягоды — белесо-прозрачные, похожие на капли слез, следом над головой дважды подала голос кукушка.

Серая птаха молча глядела сверху, с молодого березового сука, как женщина надела перчатки и быстро собрала ягоды в пакет.

— Как в кино.

Казалось Нине Николаевне, что она крепко спит и все это ей снится. Цвета чересчур яркие, запах острый, отдает мятой и перцем. Движения вялые, заторможенные. Ягоды не живые — искусственные. Сожми одну — она брызнет неестественной мякотью, человеческой горячей кровью.

Или того гляди запищит, застонет, закукует...

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? — спросила в соответствии с жанром кинодрамы (все это ведь сон, кино) Нина Николаевна, завязывая пакет с ягодами. Повторила вопрос громче, отыскивая вещунью в зеленой кроне березы.

Птицы не было.

Со стороны колонии непрестанный лай сторожевых собак. Выбравшись из рощи, снова увидела знакомую псину. Мокрая, смешная, она бежала с веревкой-петлей на шее в сторону мусорного бака.

Как есть кино. Вспомнила старые фильмы: «Белый Бим — черное ухо» и почему-то пса из «Сталкера» Тарковского...

У общежития напомнила снова о себе кукушка, тоскливый голос доносился эхом издалека, из другого мира, потустороннего.

Незаметно вернулась в гостиничную комнату.

Из рюкзака достала все, что велела взять цыганка. Это пластиковые чашки, кастрюлю, сковородку, пакет муки, дрожжи, масло, яйца...

Сходила к мойке, промыла, в перчатках, ягоды. Набрала чайник воды. Замесила тесто для пирожков. Укутала кастрюлю шерстяной кофтой, оставила на столе, чтобы забродило.

С кружкой чая села на кровать, по-человечьи вздохнула кровать, тоскливо. Специально купила зеленый чай с яблоком, в пакетиках, Илья предпочитал пить такой, говорил, черный чай тяжелые мысли нагнетает, этот расслабляет. Посылку сыну собрала через месяц, как перевели из карантина в колонию. Но сердце знало, не притронется сын к передаче, разделят между собой зэки сладкое и носки теплые. Молчит сын и питается через силу, за полгода заключения пять раз в больнице при колонии лежал.

— Сыночек, с тобой вместе и меня посадили, — плачет она в трубку телефона. — Я же не живу без тебя, не сплю, не ем.

Тишина отвечает Нине Николаевне шумом в ушах и тихим кукованием.

— Я сделаю все, чтобы исправить это! — заканчивает каждый звонок она и плачет, снова и снова перебирает вещи сына. Прикасается к каждой вещице на полках в его комнате. Надела его рубашку и спит теперь в ней на кровати Ильи, постепенно замечая, как редеет, исчезая, запах сына.

В рюкзаке туалетная вода Ильи, подарок на 23 февраля. Отложила чай Нина Николаевна, достала золотистый флакон с черным драконом, брызнула бережливо себе на грудь, принюхалась.

И вот он, ее мальчик с облезлыми плечиками, просит ободрать отшелушившуюся на солнце кожу.

Нина Николаевна жуть как не любит это, но сын настойчив и обещает пропылесосить всю квартиру, а не только свою комнату:

— Целую неделю, — увеличивает ставку.

Она сдается, он ложится животом к ней на колени и закрывает глаза.

— Вот бы и жизнь, как кожу, поменять можно было, — говорит.

— А что тебе в этой жизни не нравится? — улыбается Нина Николаевна, снимая белую полоску кожи с шеи сына.

— На будущее, — отвечает мальчик, — вдруг что-то пойдет не так и захочется все изменить, возьмешь и сбросишь старую жизнь и снова жизнь начнешь, по-новому уже, без ошибок.

«Защекотала я тебя тогда, помнишь?.. — убрала туалетную воду с драконом назад в рюкзак Нина Николаевна. — А ты вырывался и кричал, что отныне ты змея и сможешь запросто сбросить кожу и заново отрастить новую».

Кусочки кожи сына она спрятала в шкатулку рядом с биркой из роддома, его первыми состриженными волосиками и кусочком пуповины с еще заметными следами

зеленки. Там же хранила рисунок — портрет мамы, маленький Илья нарисовал его в детском саду, пропись с отметкой классной руководительницы красной пастой — *Молодец!* Несколько молочных зубов...

Тесто поднялось, Нина Николаевна замяла его, снова накрыла. В коридоре пьяный мужской голос громко, с надрывом и всхлипыванием пел:

— Голуби летят над нашей зоной,
Голубям нигде преграды нет.
Как бы мне хотелось с голубями
На свободу к маме улететь.
О-о-о!
Как бы мне хотелось с голубями
На свободу к маме улететь.

Закрыла уши, но протяжное «о» зацепилось, застряло, осталось гудеть, разрастаясь до головной боли.

Кукушка не спасала, Нина Николаевна принялась мычать. Не помогло.

«О» прогнала последняя сигарета, выкуренная в открытую форточку. Никотин притупил пульсирующую боль в висках. Певец сменил репертуар и теперь подпевал орущему на все общежитие радио.

Солнце сместилось за крышу соседней двухэтажки, и квадрат дворика (слово «тюремного» назойливо лезло в голову), сбросив кожу, окрасился в мрачные, асфальтные тона.

Илья, в классе втором, выкрасил себя с макушки и до пяток черной акварелью.

Нина Николаевна в дверях увидела темные следы босых ног на линолеуме, а чумазый негритенок поджидал ее на кухне с перьями на голове и веником в руках.

— У меня новая кожа! Новая кожа — новая жизнь! — кричал, прыгая вокруг мамы. — Я теперь другой. И все, что было до этого, несчитово.

— Пятки мог бы не красить, — обняла мама сына, и больше часа они отмывались в ванной, смеялись до колик и были самыми счастливыми на планете.

— В следующий раз выкрашусь в красный цвет, — обещал Илья. — Чего в жизни не бывает, вдруг двойку получу или разобью что-нибудь...

Десять лет спустя он разбил ее сердце.

Тесто едва не убежало, вздулось шапкой, свесилось с краев кастрюли.

Скалка перебралась из рюкзака на стол, заранее посыпанный мукой.

Ягоды-слезы побурели.

— Как кровью нальется ягода, начинка готова, по горсточке в каждый пирожок. Получится десять сдоб, — слышала гадалку, раскатывая податливое тесто, заворачивая алые слезинки в сердцевину лепешек.

На электроплитке докрасна раскалилась спираль, запахло старым, прожженным маслом.

— Сколько я должна? — спросила опасливо Нина Николаевна.

Цыганка посмотрела внутрь ее души заплывшим катарактой глазом, сказала:

— С тобой до смерти и после смерти остается навеки то, что ты отдал.

Нина Николаевна испугалась этих слов, задрожала всем телом.

— Если решила делать — делай смело. Спасение бывает разное. Сын должен нести свой крест, и ты с ним его не разделишь. Хочешь взять на себя его ношу?! Делай, как рассказала. Когда спросят тебя, кто виноват, ты знаешь ответ, он в сердце твоем кукушкой кукует.

Затрещало масло в сковороде, уложила под щелканье и фейерверк брызг на чугунное дно первые три пирожка.

— От справедливости нельзя убежать. Побег чаще всего — возвращение к истине. К наказанию должному, на небе прописанному... Божьему!

Не стала спрашивать цыганку, где был Бог, когда сын в нем нуждался. Когда творил то, что вслух произнести страшно. Она спрашивала это не раз у Бога. Кричала, молила, требовала ответа...

Все как по шаблону, заурядно и не ново — виним во всем Бога, и в своей неудавшейся жизни, и в сломанном ногте... во всем виноват Он! А надо говорить спасибо Богу за неудавшуюся жизнь, за сломанный ноготь...

«За осужденного сына, — перевернула румяный пирожок Нина Николаевна. — Спасибо, Бог, за мужа-космонавта, за кукушку настоящую и сердечную, за ягоды и пирожки... Спасибо, что завтра все закончится».

Ягод хватило, как и предсказывалось, на десять пирожков. Оставшийся комочек теста оставила птицам за окном.

Облачившись в черную кожу, дворик исчез с лица земли, ни огонька, ни звездочки. Темнота проползла в комнату, Нина Николаевна зажгла бра над столом, центральный свет включать не стала. А если б попробовала, не получилось бы — лампочка тут давно перегорела.

Пирожки сложила в чашку, поставила рядом на прикроватную тумбу.

Ночь изменяла, стирала границы реальности. Все казалось поправимым и возможным.

— Как в кино, — шепотом, а за окном собачий лай, беспокойный, как сон зэков.

Кукушка ночью звучала эхом в сердце. Напоминанием.

«Утро вечера мудренее, — успокаивала себя Нина Николаевна. — Все, что ни делается, к лучшему, — как заклинания, как установка, мотивация: — Слезами горю не поможешь, что решилась делать, делай!..»

Запах жареных пирожков убаюкивал, темнота овладела. Нина Николаевна со дня ареста сына не видит свои сны, поэтому, открыв глаза, не удивилась, что лежит на шконке под грязно-зеленым шерстяным одеялом и боится повернуть голову. Грудь саднит от ударов и слез. Мыслей нет, одно желание помочиться, но внизу живота огненный шар. Страх парализовал голосовые связки, и он не знает, сможет ли теперь когда-нибудь заговорить. Когда это когда-нибудь наступит? Никогда?! Воняет грязным телом, мочой, гноем. Это его запах. Так пахнет беспомощность. Страх. Потеря.

Завтра длительное свидание, и мама пообещала, что спасет. Мама, мамочка, мамуля... Слезы красные по щекам, и крик, застрявший в горле, окаменевший. И беспощадное ночное кукование невидимой кукушки, сводящее с ума, как поступь необратимого. Неисправимого. Молотком по черепу — ку-ку, и в мозг — ку-ку.

Ку-ку, — вздрогнула от сна Нина Николаевна, поднялась. Позвала сына, уверенная, что слышит он ее. Попросила потерпеть до утра:

— И пусть всего не исправлю, но помогу тебе. Спасу тебя! Спасу нас!

Выдохнула кровать, отпуская человека, Нина Николаевна встала, прошлась по комнате, ноет душа, тело ноет.

Все движения как во сне. Вся жизнь — сновидение. Может, она спит и никак не проснется. Это сон. Да, всего лишь сон, отсюда и ощущение, что все происходящее — как в кино. Вот ответ.

Это же во сне ты пытаешься бежать, а не можешь: шаг, как в замедленном кино, вязок и тянется вечность. Один шаг в сто лет.

Внутри затеплилась радость. Нина Николаевна захотела ущипнуть себя, но передумала, вдруг проснется — и кино кончится, а так она может перемотать пленку вперед и посмотреть, что будет...

Она рассмеялась про себя, плюхнулась на кровать, закрыла глаза, представила, как перематывается пленка, мелькают кадры. Кадр за кадром...

...И ночь разорвал рассвет, вместе с солнцем на улицу вышла она. Нина Николаевна направилась знакомой до щемящей тоски тропинкой к колонии строгого режима. Вот и псина с веревкой на шее бежит следом, и кукушка тут как тут, и

коптившая черным труба котельной на территории поселения. До ворот зоны добежала на перемотке, потом до комнаты, где они будут жить с сыном, все просмотрела одним кадром. Пауза. Комната меньше той, что в общежитии. Две кровати, раковина с ведром, стол с двумя стульями. Сын в дверях слушает толстого мужчину в форме, тот яростно жестикулирует, плюется. Илюша худой, бледный, так сильно на нее похожий, молча кивает.

Она отсюда слышит хриплое дыхание сына, чувствует жар его больного тела.

Мужчина в форме договорил, ушел. Сын шагнул в комнату, прикрыл дверь.

— Я не буду плакать, я пообещала же тебе, — слезится, дрожит голос Нины Николаевны. — Я принесла пирожки со специальной волшебной начинкой, ты должен съесть их — и через три дня мы будем далеко отсюда...

Следующий кадр — Илья сидит за столом перед чашкой с пирожками. Ест и улыбается.

— Ты умрешь, сердце твое остановится ровно на три дня, — шепчет Нина Николаевна.

Кадр поменялся — мертвое тело Ильи увозят за ворота колонии. А в следующем кадре видим тело под простыней в морге городской больницы.

— Будем хоронить из дома, — говорит мать врачу, и через пару кадров — Илья в своей комнате на кровати. Еще кадр — и он приходит в себя, улыбается, и мама, мамочка, мамуля его плачет, хотя обещала не плакать, они обнимаются, а на столе кухонном два билета на самолет и собранные пузатые дорожные сумки в коридоре.

— Присядем на дорожку, — в последнем кадре говорит Илья.

Камера стремительно вздымает в голубые небеса, и на ярко-белом солнце надпись красным: «Конец».

Взлетела вместе с камерой Нина Николаевна, сердце взлетело, и стало больше солнца. Места не находила Нина Николаевна, металась по комнате, выглядывала в окно, сама же уже бежала, перепрыгивая через ржавые рельсы и кучи угля к воротам, к дверям контрольно-пропускного пункта.

В четыре утра небо начало светлеть. Квадрат перед окном, дом, все приобретало внятные черты, натягивало кожу нового дня. Кукушка — свидетельница и судья — прокуковала устало и нерешительно. Решительней солнца и птицы была лишь мать.

Собрала пирожки в пакет, посуду сложила в рюкзак. Время, когда его торопишь, назло опаздывает, секундные стрелки становятся минутными. Минуты тянутся часами. И небо, и квадрат двора — все застыло в одном кадре. Ни движения.

Невыносимо было наблюдать нерасторопность природы, Нина Николаевна прилегла.

— Надо набраться сил, — сказала, — и во сне незаметно пройдет время.

До девяти утра осталось ждать четыре часа.

Время в кино, как во сне, незаметно, и жизнь может длиться бесконечно, а может пролететь за пару мгновений.

Утро пахло намоченной росой, травой, и кукушку перебивали другие птичьи трели: радостные, задорные.

Комнату закрыла, ключ оставила в замке — так договорились с бывшим комендантом. Он зайдет за ним через несколько минут.

На общежитие не взглянула, не обернулась. Больше она его никогда не увидит. *Добро жало ад— у-е!* — радужные буквы на асфальте.

Псина, словно караулила, подбежала, принюхиваясь к пакету с пирожками. Заскулила.

— Это для сыночки, — ответила попрошайке Нина Николаевна.

Развязала петлю, псина сопротивлялась, вертела мордой, гавкала, веревку выбросила.

— Теперь ты целиком и полностью свободна.

Тявкнула недовольная псина, отыскала в траве веревку, зажала ее в пасти и мгновенно скрылась в кустах.

Привычки творят чудеса. Тюрьмы не всегда ограничивают. Иногда ограничения и есть свобода. С веревкой на шее, на привязи, жить легче...

Прошла мимо вчерашней рощи, там снова истерила кукушка, продолжая свой отсчет.

Остановилась Нина Николаевна. Замерла. И сердце остановилось. И время...

Как в кино.

Кукушкин плач стал голосом сына.

Они сидели за столом, в комнате для свиданий, друг напротив друга перед плошкой жареных пирожков. Сын сказал, и его слова стали командой к действию, приказом, точкой отсчета:

— Пусть кукушка замолчит, мама. — Он это сказал тихо, но для них двоих слова прогремели громче всех бомб!

— Пусть кукушка замолчит!

Она кивнула, она улыбнулась, она протянула ему пирожок.

— Поджаристый, как ты любишь, — сказала.

Сын съел, проглотил целиком.

Взял второй, протянул маме, мамочке, мамуле.

Она взяла из рук сына пирог со специальной волшебной начинкой, откусила.

— Обещала тебе, что съездим на море, помнишь?..

Сын жевал, кивал, помнил.

— Вдвоем, только ты и я. Найдем место, где нас никто не отыщет, и это будет нашим местом. Тайным. Только надо съесть все пирожки. Они с ягодами, которые похожи на слезы...

Взяла еще пирожок Нина Николаевна.

— Закрой глаза, сынок, и представь. Закрой, закрой. Слышишь шум моря? Иди на звук. С закрытыми глазами иди... Под ногами песок, теплый, мягкий. Чувствуешь, как припекает солнце на твоих щеках? Не бойся обгореть. Это другое солнце, как и другие мы. Мы новые! Здесь все новое, и все дышит жизнью, искрит красками. Это рай. Это как во сне. Как в кино!

Иди. Вот я уже вижу, вижу тебя. Тебя нового. Ты весь золотистый. Сияющий. Мой, мой сын. Открой глаза, не бойся. Открывай.

Сын открыл глаза.

Камера показывает пустую пластиковую чашку с масляными разводами на стенках и кусочками сдобы. Камера ныряет в пустоту, на самое дно чаши, все окрашивается в бело-золотистый цвет.

Это еще не конец.

Глаза сына привыкают к яростному свету солнца, и вот он уже различает берег моря: полоса сине-зеленого цвета, желтый песок, бирюзовые скалы и золотистый силуэт, бегущий навстречу.

— Мама, мамочка, мамуля!..

Мать? Он никогда так ее не называл.

ВЫХОД. ОН ЖЕ ВХОД

Комната 30

Девятая картина

Время камней и снов

Греха не существует! В грешном мире все не без греха, значит, все что угодно есть грех и не грех одновременно. Греха нет, когда он — все! Мы безгрешны и смело можем бросать камни в Магдалену. В Иисуса. Шумного соседа по лестничной площадке. Предавшего друга. Неверную жену. Друг в друга. В себя. Брось в меня камень!

(Из аннотации к выставке)

«Выставка "Брошенные камни" была уникальной и успешной», — писала городская газета «Вечерняя среда».

Тридцатилетний художник Илья Дубин, автор семи работ в жанре, который он определяет как «нервный метафизический реализм», стал событием в мире красок. Открытием года. Запоминающиеся образы, шокирующие и притягивающие. Ярость цветов и необыкновенная техника. Оголенные нервы, политые кровью, — такое блюдо преподнес смелый автор. Критика встретила самобытного художника с распростертыми объятиями. Все работы, как стало известно редакции, были куплены частным коллекционером и по окончании выставки покинут город и даже страну.

Через полгода в еженедельнике появится заметка:

«Время собирать брошенные камни».

По словам директора «Художественного центра» Ольги Ивашко, известный в области художник Илья Дубин готовит новую, не менее скандальную, выставку-эксперимент, которую планирует показать не раньше осени 2017 года.

— Илья ушел в добровольное, так сказать, отшельничество, — поделилась с нами Ольга Игоревна. — Название выставки пока неизвестно. Илья работает на вырученные от продажи картин деньги, он независимый, талантливый многообещающий художник. И я могу ответить его словами: пришло время собирать брошенные камни. Этот эксперимент коснется каждого сердца, затронет каждую душу... Это будет наша простая и такая сложная жизнь. Обыкновенная и полная мистики. Заурядная и такая удивительно индивидуальная. Непостижимая. Невозможная...

Илья не читает газет.

Комнату в общежитии решил превратить в мастерскую после очередного кошмара.

— Нормальные сны мне давно не снятся, — это он не раз говорил своему единственному настоящему другу. Всем остальным, сотням так называемых друзей он такое не скажет никогда и под пытками. Он и друзьями никого, кроме Саввы, не называет: знакомые, поклонники, завистники, банные хвосты, проходящие...

— Сколько тебя знаю, они всегда тебе снились.

— Это сколько? Лет двадцать?..

Савва развел руками:

— Да всю жизнь.

— Сны кажутся вторичными, на самом деле они наша первооснова. Сначала сон, потом уже реальность, наша каждодневная жизнь. Но вначале был сон.

Илья говорит это на автобусной остановке, метровыми шагами прохаживаясь перед сидящим на лавочке другом. Савва поможет загрузить две спортивные сумки с красками и вещами в автобус.

— Может, с тобой доехать? — спрашивает в десятый раз и в десятый раз слышит:

— С тобой я буду слабым. Картины это чувствуют, они сломают меня... И ты же знаешь, когда работаю, я злее Сатаны. Попадись кто под руку, живым не уйдет...

Савва может подтвердить истину слов художника:

— Тот еще маньяк.

Илья подсел к другу:

— Сны общаги.

— Мне нравится, — ответил друг.

В тишине ощутимее напряжение, в неожиданном молчании, неоконченном монологе, прерванном разговоре...

— Я видел коридор с открытыми дверями, — шепотом, прикрыв рот ладонью, начал Илья, наклонившись к уху друга: — Коридор общежития, все как в жизни. Заглянул в первую комнату, номер не помню, где-то в центре, а там пусто, но пустота живая, я ее ощутил. Это как душа, ты ее не видишь, но зато прекрасно ощущаешь. Невидимое не значит несуществующее. И оно втянуло меня воронкой в себя, и я понял, что становлюсь невидимым, а потом увидел себя со стороны частью интерьера комнаты. В комнате какие-то стеллажи с книгами, кровать, стол, табуретка... Я был табуретом. Я закричал, как может кричать деревянный предмет, и проснулся с мыслью, что я уже никогда не буду человеком. Что я табурет, и с этим как-то придется смириться и жить.

Савва достал пачку сигарет.

— Табуретом не так уж и плохо, не стульчаком унитазным хоть, — утешил, покрутил пачку в ладонях, помял, убрал назад в карман. — Курить бросаю, — выдохнул. — Пробую.

Илья сказал:

— Ага, — встал. — Вчера вот приснился голос. А сегодня я решился...

— Голос велел, что ли, в общаге поселиться?!

— Рисовать там сказал.

Кудрявый, черноволосый, с выдающейся мощной челюстью и бесстрашным взглядом, Савва посмотрел на друга:

— Шизофренией, слушай, попахивает, Люх?..

Илья скривил страшно лицо:

— Так давно уже, ты просто не замечал...

Показался автобус.

Савва взял сумки, на всякий случай еще раз предложил помощь. Илья пожал в ответ руку. Хлопнул по выпирающей, накаченной груди:

— Телохранитель нам понадобится на выставке — от поклонниц чтоб отбивал.

Друг улыбнулся:

— Ты аккуратней там. С голосом и с табуретками смотри шашни не крути.

Водитель просигналил. Илья скрылся в темном салоне.

Савва вынул сигарету, зажигалку, дождался, пока автобус завернет к площади, прикурил.

Место, которого нет, не это ли мое место?! — написал в блокноте художник. И дальше: *— Сны общаги все те же кошмары. В каждой комнате свои. Здесь живут не люди, комнаты живут людьми! Вопрос: кто видит сны? Люди или комнаты?..*

Комнатам снятся люди. Люди — плоды создания комнат. Несуществующие, порождение кошмарных снов...

Кто знает, что комнатам приснится завтра?..

— Пока я конкретно в ней не поселился, *это* не ощущалось. Чтобы проникнуться, стать своим для этого мира, надо засыпать и просыпаться в нем, в его внутренностях, кишках, сердце. В сознании...

— Кишки комнаты, — хихикнул Савва, — отличное название. У моей квартиры точно мозг отсутствует. Она у меня полоумная...

Пили пиво в павильоне между домом Саввы и автобусной остановкой. Илья приехал заказать листы ДВП для новых работ.

— Мама твоя звонила, спрашивала новый номер.

Илья отхлебнул из большого пластикового стакана.

— Я сам позвоню ей, говорил, забыла, видно, что звонить буду редко, от работы все это жутко отвлекает. Да и говорить не о чем...

Савва помял пачку сигарет на столе, покрутил зажигалку в пальцах.

— Сосед что твой? — спросил.

— Эт который?

— Тот, что вечно убитый.

— Вечно убитый, — Илья улыбнулся. — Из двадцать девятой Гриша. Он у меня в планах на вторую картину...

— Сколько там вообще народу?.. Помню, пустота, ни живой души. Вымершая общага.

Кивнул Илья.

— Почти. Вот я и придумываю жильцов комнат. Гриша-страдалец — тоже моя выдумка. Пустота никогда не бывает полностью пустой. Она самозаполняется.

— Кошмарами?

Кивок.

— Ими в первую очередь.

Порыв ветра легко сбросил измятую сигаретную пачку с пластикового столика.

— Холодное лето, — нагнулся за сигаретами Савва. — Такое ощущение, что осень.

— Точняк, осень, надо Ивашко звякнуть, как минимум к следующей осени смогу картины у нее выставить.

Савва вылез из-под стола.

— Что так долго?.. — Выудил из пачки сигарету, сломал.

— Думаешь, легко это, быть богом?.. — допивая пиво. — На первой пока сижу. Застрять не застрял, не пойму просто, чего она от меня хочет. Смешанную технику думаю попробовать.

Савва достал вторую сигарету.

— Это как?

Дружба — это непохожесть. Савва далек от живописи, как Илья от слесарно-токарных работ. И в картинах друга пытается найти отголоски реальной жизни.

— О! Вот вижу лампочку и окно, это на бабочку похоже, а тут мужик — копия моего соседа сверху, сука, достал уже топить меня каждые полгода. Что, угадал?

Илья говорил, угадал.

Раньше он долго вдавался в рассуждения о понимании картины, что нужно ее чувствовать сердцем, душой:

— Кто-то понимает зубами. Да, да, не смейся, проникается настолько, что начинают ныть зубы. До сумасшествия доводит глубинное, идущее не от разума наложение мазков. Цвет может убить. Сочетание красок в определенной пропорции при нужной форме — вуаля, ты мертвец.

Друг понимающе сочувствовал:

— Да я буду лучше в толчках ковыряться...

— Можно не понимать, что написал автор, но ощущать энергию цвета. Ярость, грусть...

— Но это ведь точно лампочка?! — переспрашивал Савва. Он и сейчас переспросил:

— Чего смешивать, говорю, будешь?

Художник ответил:

— Да все подряд. Я стащил уже из двадцать седьмой, там пара молодая живет, несколько безделушек, впишу их в картину.

— Украл?! — Сломал напополам сигарету, крошки табака сдула новая волна ветра.

— Скажем так, — в голосе резкость и злость, — не украл, а позаимствовал для Вечности. Я вписываю их в историю, блядь! Даю вечную жизнь!

— Оу, оу, оу, — следующую сигарету Савва решил помиловать и убрал пачку. — Чего завелся-то?!

— Они, узнай, что я делаю их бессмертными, увековечиваю, уверен, отдали бы все что ни попрошу. И волосы, и кожу с кровью, и...

Савва смял стаканчик:

— Не пугай. Что, еще по пиву и в школу не пойдем?..

Пива Илья не захотел:

— Картины не любят, — ответил коротко.

— Ой, — возразил друг, — да знаем мы. Все эти Вангоги, Пикассо, кто под абсентом, кто по накурке творили...

— Не в моем случае, — снова раздражаясь и злясь: — Я к своим работам отношусь иначе. Даже в трусах перед картиной не появляюсь. Тем более не работаю. Уважаю, и они это ценят. Поэтому не мое. В трезвом уме и твердой памяти. Только так. Это же как священнодействие. Катарсис...

— Потрахаться тебе надо, — сделал вывод Савва. — Алиска явно будет не против, если ты хотя бы ей кисточку свою дашь пополоскать...

— Алиса — неудачная работа, — перебил. — Я такие холсты закрашиваю. Пишу на них новую картину. И, Савва, эта новая работа, подмечено, всегда получается. Доволен я, в восторге зрители.

— У нее так-то к тебе чувство, — тихие слова унес ветер.

Илья поднялся.

— Пойдем что ли, нить Ариадны...

— Чего это я нить, еще и Ариадны?..

Художник вытащил пару сотенных купюр:

— Ну, а кто меня еще связывает с этим миром? Миром живых.

Подошел пожилой узбек, забрал деньги, пригласил приходить еще.

Савва переспросил:

— С чего Ариадны-то?..

— Потому что я в лабиринте, а там Минотавр!.. — прошептал на ухо друг.

Время комнат (Взгляд из гроба)

Летом краски бледнеют, теряют яркость. Не люблю лето. Лето — это маленькая смерть. Комната в полдень делится на две равные части. В распахнутом окне зелень тополей, гнезда сорок, трубы Комбината. Небо. Никогда не писал небо. Голубая полоса вверху картины не обязательно небо, полоса синяя, черная с вкраплениями белых клякс — это еще не небо. И облака не делают небо небом. Небо может увидеть не каждый. Не глазами...

666. Шестое число, шестого месяца, шестнадцатого года. Холодный день. Дьявольская отметина. Здесь мудрость...

В существовании зла никто не сомневается. С добром — сложней. Умники рассуждают, считают, что в моих картинах темная сторона жизни и личности. Может, перебарщиваю с темными, холодными тонами, цветом, но пишу я отнюдь не темноту. Обратную сторону тьмы. Я пишу — рассветы. Рассвет Человека! Пробуждение. Спасение от кошмаров. Но сначала кошмар. Чтобы просыпаться, надо заснуть. Для спасения необходимо пленение. Необходим ужас, страх, беда, горе... Все мы на привязи... Рабы привычек и желаний... Рабы времени, любимых людей, тел, вещей, комнат...

Комната ловит тебя не сразу, потихоньку затягивая в лабиринт к Минотавру. С каждой ночью, в самую глубь, на дно...

Первыми оживают обои.

Сначала подумал — померещилось, потом — может, все дело в шестом дне шестого месяца?..

В такие моменты вспоминаю урок рисования в школе, в классе пятом было дело. Задали нарисовать «что видите на картинке».

Все нарисовали фрагмент стола с книгой, свечой и чернильницей. Я заглянул внутрь картинки, глубже, еще глубже — увидел того, кому принадлежали эти предметы. Он ожил передо мной, старик со шрамом, рассекающим лицо. У старика было имя, оно написано в книге... Только это не книга, это его дневник, он допишет сейчас последнюю запись в своей жизни, прикурит от свечи и оставит все так. Старик болен, одинок и несчастен. Старик — бывший офицер — застрелится здесь же за столом, и капли крови станут подписью на листе под его последним посланием...

Я нарисовал его, как смог, с раной вместо правого глаза и кровью на раскрытой книге. Нарисовал карандашом и разукрасил фломастерами, терпеть не могу фломастеры, они были водянистыми, их перезаправили вонючим одеколоном, и лицо старика-самоубийцы, без того страшное, растеклось в кровавую кашу.

Стоит ли говорить, училка была в ужасе. Спрятала лист из альбома до прихода родителей. Отец тогда уже лежал в больнице, лечился от алкогольной зависимости, мать пришла под таблетками успокоительного. Рисунок подвергли прилюдно экзекуции, в кабинете были еще психолог и физрук, как оказалось, спец по детским психотравмам, получше школьного психолога. Я, я клятвенно пообещал больше не рисовать что взбредет в голову. Мама пила таблетки и держалась за сердце. Физрук подмигивал, мол, все хорошо, парень, дополнительный урок физ-ры тебе, дохляку, пойдет на пользу. Я поклялся, в кармане сложив пальцы крестиком. Я не сдержал клятвы.

И не перестал смотреть сквозь, внутрь и глубже.

Вот и увидел, как рисунок на обоях ожил. Геометрические фигуры стали клеткой, розы голубо-грязные превратились в глаза.

Жутко, да, когда за тобой наблюдает сотня тысяч глаз из стен со всех сторон. Но это лишь поначалу, потом привыкаешь. Человек может привыкнуть ко всему, даже к боли и своему сумасшествию...

Я заказал девять листов ДВП разных размеров. Ими частично закрыл глазеющие стены.

Каждый лист — комната в левом крыле общежития.

Первая комната 26. Выставив лист 1,5 метра на 2 так, чтобы солнце не целилось прямиком, выдавил на палец желтую краску, нарисовал спираль. Спираль превратилась в улитку. Улитка оставила след. Из этой серебряной нити выросли фигуры. Мужчина с алюминиевым тазом в руках и девушка, поймавшая улитку за яркий золотистый хвост.

И все-таки чего-то не хватало, чтобы они ожили.

Кричали глаза с обоев, косясь на работу.

И в первую ночь с написанной работой, засыпая, одурманенный запахом масляных красок и растворителя, услышал голос:

— Вещи живут дольше, вещи переживут человека. Человека не будет, останется то, что он носил, к чему прикасался...

Я повторял за голосом, и с каждым словом, вздохом исчезал. Стал невидим, стал голосом.

Сквозь стены проходить оказалось не так-то просто. Особенно когда они сплошь в глазах. Липкие и холодные прикосновения, чмокающие, словно поцелуи взасос... Я шел сквозь стены за голосом, вместе с голосом, черт возьми, я был этим голосом.

В комнате молодой пары бардак, это мужская половина, Виталик по кличке «Космос» заразился безумной идеей.

Здесь многие подвержены безумию, сумасшествию. Это все энергия места. Души комнат...

Мне нужно забрать у них что-то, что оживит полотно. Платок Виктории с отпечатком губной помады и слез. Она плачет теперь часто, особенно в обеденный перерыв на работе после разговора с отцом. Говорит отец, она плачет и слушает, и видно, как блестят зерна слез...

Носок Виталия, у него привычка терять носки, дырка на месте большого пальца. Виталий недоумевал, откуда они берутся, эти дырки?..

Обесцвеченная прядь волос Вики, засохшая капля рвоты, что нашел за ухом Виталия, станут отличными штрихами в картине. Подчинят их ей, привяжут, оживят.

Вдохнуть жизнь — как говорила та самая училка по рисованию, разорвавшая в мелкие клочья мой первый настоящий, живой рисунок.

— Ты какой-то не бледный даже, а синий. — Савва встретил друга, как договаривались, на остановке. На встрече настоял Савва и сразу протянул телефон художнику:

— Я набрал уже, поговори с матерью.

— Боже! Ради всего!.. — рявкнул, а из сотового громко донеслось:

— Что, я плохой матерью была, вот скажи мне, Саввушка, ты как никто нас знаешь! Что отец пил, так что, я виновата?.. Или в том, что у меня такая психика нездоровая?.. Скажи, Саввушка!

— Здравствуй мама, — сказал сын.

Отцу нравились, как он выражался, каракули сына. Отец не просыхал, и трезвым Илья его никогда не видел. Даже в гробу, куда он угодил, по словам матери, благодаря пьянке, от него несло перегаром.

Мать с не выявленным ни одним невропатологом (потому что все они тупицы и неучи) душевным расстройством считала рисование не мужским занятием, и вообще не занятием, а увлечением, временным детским хобби.

Илья рисовал и потому считался непослушным ребенком, и пару раз матери удалось затащить его в кабинет к психиатру. Все заканчивалось ее слезами и таблетками. Сын, как об стену горох, считал, что рисовать — это его призвание и он будет продолжать в том же духе.

Комната в общежитии нашла его сама, как Илья будет говорить потом другу, она позвала. Сначала жил в ней время от времени, отходил после бурных загулов, мог по полгода не появляться, пока не превратил в свою мастерскую. Пока не оживил комнату с номером 30.

— Ты меня не слушаешь, Илья Дмитриевич! — Убрал от уха кричащий мобильник. — Ты опять игнорируешь меня! Живешь в придуманном, в своем рисованном мире и думаешь, что все, кто не вхож в твой мир, не жильцы?! Мертвецы?! Так получается! Так вот, знай, мертвец — один лишь твой отец, а на нас всех нечего крест ставить! Савва тоже долго таскаться с тобой не будет. Убежит, не обернется. Добьешь и его, вот увидишь!.. А Алиса — прекрасная девушка, ты ей мало того что жизнь сломал, ты насильно ее аборт заставил сделать. Убил моего внука! Ты! Ты убийца, слышишь! Убийца! И меня ты хочешь убить! Свою мать родную! Да?! Давай! Убивай!

Сын запрокинул голову и смотрел в небо.

По сути неба не существует, — размышлял, — оно продолжение нас. Мы — это небо. В продолжение... Небо всюду, чем оно выше и подальше от нас, людей, тем чище... Прозрачней.

— Думаешь, я забыла, какой ты меня изобразил в своей мазне?! Ладно, отец у тебя в гробу с бутылкой в зубах лежит... Ты меня сделал без глаз, без ушей, с какой-то собачьей пастью вместо рта... Это ты меня такой видишь, я так понимаю?! Так почему не убьешь?! В гроб уже положил бы лучше с отцом вместе!..

Пока мать переводила дыхание, сын успел сказать:

— Ты забыла, ты такая безучастная, ничего не желающая ни видеть, ни слышать, ты тоже в гробу лежишь, почти рядом с отцом.

Мать не слышала сына, продолжала:

— Савва — положительный молодой человек, спорт любит, работает на нормальной работе, семью завел. А ты что делаешь? Изображаешь его какой-то девочкой с бантиками и шарами воздушными! Это что, по-дружески, хочешь сказать? Сделал из него какого-то трансвера!

— Трансвестита, — поправил тихо Илья и подмигнул другу. Савва терзал в руках пачку сигарет:

— И мне досталось, — подмигнул.

— Я бы на его месте тебе морду набила.

— Так набил, — и добавил: — Он, не забывай, как и все, в гробу, и леденец еще во рту, помнишь?..

— Ничего я не помню!

— То было время гробов. «Взгляд из гроба» все это называлось, — говорил сын.

— И помнить ничего не хочу! Не желаю! — всхлипывала мать. — Снова таблетки пить из-за тебя. Всегда все из-за тебя! Сделал из меня...

— Прости меня, мама, — перебил сын. — Честно, я постараюсь больше так не делать. В гробах точно никого не нарисую. Клянусь. Только скажи, что прощаешь.

Савва уронил пачку. Мать, заикаясь:

— Я, я, у теб... у тебя все, все хорошо?..

Илья ждал ответа.

— Не думай ничего такого. Я всегда тебя прощаю. Ты что там такое подумал? Я прощаю, и рисуй ты чего хочешь. Хоть снова меня в гроб уложи...

— Спасибо, мама.

«Взгляд из гроба» — серия работ формата А4 — хранилась у Саввы в дипломате под ключом подальше от многих глаз. Лиц, жаждущих кровавой расплаты с картинами и автором.

На кусках фанеры общие знакомые, еще живые, смотрят на мир из собственно созданных своей жизнью гробов. Илье нравилась серия. Все остальным — нет. Савва долго смеялся до слез над своим гробом:

— Что-то в этом есть.

Алиса, увидев себя, сказала коротко художнику:

— Застрелись.

— Мы создаем гробы для самих себя своими делами, поступками, — объяснял автор. — Словами своими, желаниями, мыслями, мечтами... Так и живем в гробах. От гроба до гроба...

Алиса лежала в гробу, обмотанная пуповиной ребенка, которого держала на груди, между ног рос куст колючек...

— Это я себя нарисовал на самом деле, — услышал как-то Савва. — Если приглядеться, пальцы испачканы в красках, и кадык, у Алиски его нет. Но почему-то такие заметные мелочи никто не увидел. Мы видим то, что льстит нашему глазу. Я и не тебя одел девочкой — себя. И родители — вглядись, там всюду я. Кругом, везде и всюду один я!.. Мелочи выдают истину...

Илья этого не знал, но Савва в тот же вечер достал из укрытия картины и с ужасом и восторгом разглядел в себе с бантами и леденцом Илью. Как он сразу не увидел этот печальный взгляд исподлобья?..

«Под столом, или Портрет чудовища» — назвал комнату 29.

Гриша во мраке под столом не один, с ним его родители. С ним его детство — единственное ценное, что есть в его жизни. За столом сидит нечто — то самое

чудовище. Оно сломало жизнь мужчине. Чудовище — его спутник по жизни. Его мать, партнер, детство, судьба, смерть...

Клок волос со своей волосатой груди дал мне сам — для кисточки. Пьяный, он способен еще не на такие поступки...

Я прихватил у него для своей работы старую семейную фотографию.

Гриша в том году пошел в первый класс, он в школьной форме и с заметным синяком под правым глазом. Подрался в первый же день. Отец дал ремня, поставил в угол, мама принесла втихаря кусок творожной запеканки, поцеловала, шепнула что-то утешающее...

Гришино детство — золотистая лужица, раздавленная когтистыми, мохнатыми лапами чудовища. У монстра нет лица, морды, назовите как хотите, рожи... Потому что портрет, портрет с лицом чудовища, что я нарисовал, Гриша прячет от всех и от себя...

Стены в моей комнате ожили, следом за обоями — потолок. Они дышали, пульсировали, в самый неподходящий момент могли сузиться до размера коробки (черепной?). Все в комнате тогда уменьшалось. Сердце комнаты (или это не оно бьется в темных каменных внутренностях?) не дает уснуть. Стучит, кричит на разрыв ушных перепонок и сердца человеческого.

Не сплю третью ночь.

На четвертую заметил, что с готовыми работами что-то не так.

Время кормежки (Брага из человечины)

Ивашко договорилась о встрече в «Шоколадном рае», утром напомнив эсэмэской: «*В 11 жду в раю:)*».

Илья опоздал на полчаса. Ольга Игоревна — женщина пунктуальная и ответственная, выпила три стакана молочного коктейля, поэтому, когда появился художник, она торопливо поздоровалась, исчезла в туалетной комнате. Появилась минут через пятнадцать.

— Коктейль «Метель» не заказывай, — процедила сквозь зубы. — Это не метель, это пурга какая-то.

Илья нашел на сотовом сфотографированные работы, положил на стол.

— Вправо листайте.

Ольга Игоревна смотрела на фотографии и не дышала. Просмотрев на третий раз, сказала хрипло из-за пересохшего горла:

— Как живые. Ей-богу. Натуральные... Особенно мальчик с разрезанным ртом. Кровь настоящая, и кажется, что еще идет... Течет...

Художник перегнулся через столик.

— Настоящая. Угадали.

Директор Художественного центра, не отрываясь от разглядывания мальчика с перебинтованным лицом и кровавой розой вместо рта, сглотнула:

— Превосходно.

Бинты, насквозь пропитанные кровью, — ими был под завязку забит целлофановый пакет и выставлен за дверь комнаты 33, так часто делали соседи, чтобы не забыть вынести мусор поутру. Илья по-соседски вынес пакет...

На картине мальчик с лезвием в руке и разрезанной пополам губой, кровавые ленты обратились кровоточащими розами. Капли крови на бинтах, на руках и груди матери. У матери заячья губа, сильно похожая на воспаленные, возбужденные женские гениталии.

— Название как?

— Пойди к муравью?.. — не задумываясь, отчеканил.

— Да нет, с настоящей кровью, мне она прям в сердце забралась. До мурашек, вот взгляни, — протянула белую руку с гусиной кожей. — До дрожи и за душу.

— А, эта комната. Губа в разрезе.

— Превосходно, превос... У них тут крепкое не подают, поэтому я с собой коньяк принесла, сейчас кофе закажем черный, отметим.

Илья согласился. Коньяк расслабит, коньяк поможет забыться хмельным сном. Пьяные сны не так страшны.

Из «рая» отправились в кабинет Ольги Игоревны, где в тумбочке стола пылился французский коньяк, туда и приехал Савелий за другом.

Илья обнимал Ольгу, Оленьку и обращался на «ты», как бывало каждый раз в момент разгула веселья на встречах-фуршетах. Потом развеется дым алкогольной эйфории, она снова станет для него Ольгой Игоревной.

Решили, что объявлять точную дату выставки не будут.

— Не будем! Не будем! — махала руками Ольга и в сотый раз напоминала: — Но Губа моя, ты должен мне ее подарить.

Илья не отвечал.

Савва появился в самый нужный момент, решающий, бежать еще за бутылкой или расходиться.

Победил разум. Ольга осталась ждать мужа. Савва повел друга к остановке автобуса.

— Они растащат меня по кусочку, — ворочал языком Илья, — им мало всего, что даю. Им нужен буду я. Часть меня, в каждой из них и так часть меня. Но им мало, им необходимо больше меня. Моя боль, мои слезы, мои сны... Кровь. Им нужна моя кровь!..

Савва уговаривал остаться переночевать у него на диване, напрашивался проводить Илью до общежития.

— Нет, нет, только не ты. Они и тебя сожрут!

Посадив художника в автобус до окраины, Савва успел крикнуть в закрывающиеся двери:

— Позвоню через час, не отключай телефон, или приеду нахрен!

Илья, сложив руки в приветственном жесте, потряс ими над головой.

Савва достал мятую пачку «Винстон», обсыпав себя крошками табака.

Утро пахло кровью, — запишет художник следующим вечером. Похмелье разрывало голову, путаница из реального и приснившегося впивалась в сердце и мозг острыми иглами страха, безысходности, стыда...

Метания, — написал Илья. Да, были метания, он помнит, тело помнит синяками, ноющими на боках и коленях, синяками... Порезами.

На ладони левой руки две глубокие, воспаленные, покрытые коростой раны. Полосами. На ноже — засохшие кляксы крови, на полу... Кровь на картинах.

Он метался по комнате — загнанный, пойманный, обезумевший, а отыскав нож, резал ладонь и кормил кровью жадные рты картин-комнат.

Да, он помнит, как вгрызлась в ладонь пьяная от похоти и жажды Галя-Губа, как высасывала вместе с кровью его легкие и печень...

Невидимка из 32-й комнаты, он поселился на четвертом листе ДВП. Это журналист, вернее, бывший журналист, после смелой статьи теперь прячется от бандитов. На картине его нет, он достиг состояния полного нуля, и теперь он — пустое место. Ему не нужна была моя кровь, ему нужно было тело. Это он пытался содрать с меня кожу, даже не содрать, забраться под нее. Хотел стать мной?

Его помощник мерзкий голубь вонзал клюв, целясь мне в глаза.

— Лучше выклюй мою печень! — кричал я, распятый подобно Прометею на полу комнаты. Картины нависли надо мной с ожившими жильцами — пленники комнат, они не ведают, что творят, — это все дух комнат. Душа единого зверя зверей. Минотавра.

К ладони по очереди приложились все, даже соседка-старушка, божий одуванчик,

баба Поля. Конечно, это не она, это все комната — зло, с которым она борется силой молитвы и верой...

Покончивший самоубийством висельник накинул мне на шею ремень и, в точности как на картине, что еще не дописал, вздернул меня на двери, как тряпичную куклу. Я просунул руки под обжигающую ленту ремня и последнее, что увидел, как Виталий-Космос нагнулся ко мне с молотком в руках и гвоздями.

— Ты, главное, когда ноги буду прибивать, вниз не смотри, — прошипел он, — а то мало ли что...

Художник написал: «*Они разбили меня. Я не целое. И больше не буду целым никогда*».

Начало осени.

«Поминки по Маргарину» переименовал, назвал «Сын Щелкунчика». Название — основа. Отправная часть в путешествии по произведению. Точка отсчета. Как корабль назови...

Никогда не признавал работы без названия. Неполноценность, незавершенность, безликость. Имя делает тебя одушевленным, существующим, конкретным...

Все, что имеет имя, нельзя просто взять и безнаказанно уничтожить. За убийство имени придется расплачиваться.

Поэтому я никогда не давал имена и клички рыбкам, хомякам, попугаям...

У случайных партнерш не спрашивал, как их звать, называл синичкой, волшебницей, радостью...

Скоро зима.

Дописал «Историю с табуретом» — говорящее название, не правда ли?.. Оно все рассказало и без меня. На картине, конечно же, главный герой — табурет. Табурет Достоевского. Да, можно добавить — история с табуретом Достоевского. Надо подумать... Баба Поля с топором здесь уже на добавку...

Это она шепнула мне: «Ты болен...» — и топор опустился аккурат на мой затылок.

— Болен, болен! — подхватили картинные обитатели комнат.

— Отдай мне свою кожу, тело отдай! — визжала пустота комнаты 32.

— Нам нужна кровь. Много, много крови, — мать и сын с разрезанными ртами.

— Ты будешь моим новым экспериментом — мы попробуем тебя распять и посмотрим, что получится. Воскреснешь?.. Знаешь, сколько гвоздей нужно для распятия? — квартирант из комнаты 27.

За Гришу просило чудовище, оно хотело, чтобы я отдал свое лицо. А Гриша хотел лишь немного выпить:

— Из человечины получается неплохая брага...

В зеркало не смотрюсь. С Саввой не вижусь второй месяц. Он приезжал на той неделе, стучал, обещал, если не открою, выбьет дверь. Пообещал клятвенно, что позвоню и скажу, когда встреча.

Встреча сегодня, а я боюсь, что ветер разорвет меня, как та училка мой первый рисунок, в клочья, меня, и без того растерзанного на куски... Меня — оболочку.

Бежать. Надо бежать отсюда!

Побег. Моя новая работа будет называться «Побег».

Останется совсем ничего — две с половиной комнаты. И я свободен. Эксперимент закончится выставкой и моей победой. Пишу, а сам не верю в победу. Со мной это впервые. Я всегда знаю, что первый. Или лучший — или никак. Второе не для меня...

Я боюсь — напишу это сейчас, но потом зачеркну. Я не должен бояться. Страх питает тьму. Их...

Я говорил, что мне больше не снятся кошмары? Они теперь реальность. Сны общаги. Сны комнат. Сны минотавров. Почему минотавр вдруг во множественном числе? Потому что их много!..

Врач, хороший знакомый Ольги Игоревны, пообещал, что все будет лишь между ними, в строжайшей тайне, если Илья пообещает, что ляжет на обследование до конца года.

Илья пообещал, скрестив на всякий случай пальцы на правой руке и на левой, он с детства не знает, на какой руке правильней...

Пока он будет принимать кучу таблеток и сдавать кровь на анализ два раза в неделю.

— Сифилис? — Савва перебирал названия болезней, запивая каждое темным пивом из горла бутылки.

— СПИД?!

Илья мотал головой:

— Нервное истощение, еще раз говорю.

Мать бы начала с других болезней, яркой картиной — истеричные выкрики за кухонным столом в их квартире:

— Рак! Это рак, я всегда знала, — хватаясь за таблетки. — Опухоль мозга!

А Савва предполагает:

— Триппер, хламидиоз, простатит...

— Побег — это не просто побег из зоны заключенного там по справедливости убийцы. Это побег от жизни. Метафизический. От наказания не сбежишь ведь, правда?..

— Правда — то, что ты дохлый, как моя смерть! Тебя они там правда едят, что ли?.. Сжирают прямо.

— Я же когда работаю...

— Да, да, не ем, не сплю, не сру... У тебя щеки впали, глаза одни вон... Ребра скоро вылезут наружу, продырявят любимый свитер...

Художник повторил:

— Еще две картины. Сейчас с «Побегом» разберусь, я две комнаты пишу сразу, еще «Нового Адама» творю... Твоя любимая тема, кстати, любовь и измена, — сменил тему Илья.

Савва попался на удочку.

— С чего это моя любимая тема? — отставил пиво.

Сидели все в том же павильоне, что и полгода назад, только пиво пили темное, Савва все так же мучил очередную пачку сигарет.

— Ты же у нас веришь в любовь? А значит, и можешь, как вариант, предположить измену...

— Я для измен не создан, не так заточен, ты же знаешь. Я в этом плане как три рубля.

— Лох для измены, — улыбнулся друг. — Это вот и есть новый Адам. Не обижайся.

— Так ты прав, тебе ли не знать, что не для меня вся эта киношная любовь со всякими страстями-мордастями. В жизни все же не так ярко и пышно. Может, у вас, у богемы, все так, но у большинства, у простых таких вот токарей, сантехников... Моя любовь тихая, домашняя... Без страсти, рока, измен тем более...

— Я расскажу свою историю об измене, — хихикнул и потер довольно ладони. — Веселая история получится с комнатой 26.

— Ты вообще думаешь об Алисе? — Вопрос Саввы завис в перегарном воздухе пивного павильона. Илья разглядывал дыру в пластмассовом столике. На младенца в утробе похожа была дыра, Илья заговорил:

— Я не заставлял ее идти на аборт. Это было ее, и только ее решение. Я думаю, роди она, ребенок мог бы много что исправить. Изменить.

Савва облегченно выдохнул:

— Я так и знал, знал, что ты хотел ребенка.

Илья ничего не сказал в ответ, продолжая разглядывать дыру.

Его короткие, часовые бегства от комнаты, от картин всегда заканчивались кровью.

Кормежка, — отмечал каждый раз после дезертирства в блокноте художник, — *очередная кормежка в наказание.*

— Если придется, буду кормить силой, — угрожал друг, складывая в пакет колбасную нарезку, кусок ветчины, сыр, два хлебных батона, консервы и супы быстрого приготовления. Илья не сопротивлялся — может, он научит своих жильцов питаться не человеками, а человеческой едой?..

— Да, и обязательно передай мои слова своим там обитателям, квартирантам, что если ты еще хоть на грамм похудеешь, я порву их, как Тузик грелку. Или волос хоть один поседеет... Это же не дело, бля, — половина башки седая!..

Мы твоя болезнь! — вопили с картин жильцы комнат. — Врачи ничего не найдут! Тысяча диагнозов и предположений, и ни одного верного! Тысяча таблеток и литры крови...

Затыкать уши берушами, надевать наушники с громкой музыкой — дохлый номер. Они кричали в голове.

От любовников после каждого свидания оставалось много интимных сувениров, следов...

Оживить нового Адама, подобрав использованный презерватив, было проще простого. Теперь он пялился на меня с удивлением и непониманием, точно такое же выражение лица будет у него, когда он найдет третий ключ, и измена, а любовники всегда кому-то, пусть даже самим себе, изменяют, перейдет на новый уровень, станет отрезвляющей. Погибелью. Он изменял жене. Жена ответила той же монетой. И от этого он уже не сбежит. Придется с этим жить, хоть как-то жить...

Все мы беглецы от жизни. Легче придумывать жизнь, выдумывать счастье, строить позитив, изображать радость, доброжелательность... Убегать от себя настоящего, от истинной личины жизни.

Брага на человечине. Гриха прав. Вот определение жизни человеческой — брага!

И хоть заубегайся. Это бег по кругу. Все циклично. И комнаты знают, что будут новые жильцы всегда. Одни уходят, приходят другие. Кормежка не должна прекращаться...

Время считать (Отдай свое сердце)

Зима нового года.

Опять клятва. Поклялся мамой, что, как только допишу последнюю картину, лягу в больницу к доктору, хорошему знакомому Ольги Игоревны.

— Клянусь мамой, — так и сказал седому крепко сложенному мужчине в кабинете с табличкой «заведующий отделением». Врач ответил:

— На этот раз я вам верю, Илья. Мама — это серьезно. Это святое...

Я не стал складывать пальцы крестиком, я болен, и с каждым штрихом последней комнаты, моей комнаты, я растворяюсь все заметней...

Это не слабость из-за переутомления, не нервное истощение и не авитаминоз... Они поглощают мой кислород. Дышат моим воздухом, моим дыханием. Дышат мной.

— Ты что, себя рисуешь, получается?! — спрашивал сотик голосом друга. Я отвечал:

— Ну, а кто в тридцатой комнате живет? Последняя картина. Автопортрет в интерьере.

Шутить не было ни сил, ни желания.

Они украли мой смех?

Свыкся с болью внутри черепной коробки, привык к кровавым сгусткам после продолжительного кашля, к резкой смене температур: может морозить до ноющих зубов, как вдруг начинаю истекать потом...

Повернул готовые работы к стенам, пусть любуются...

Осталась комната номер 30.

Главное, не потерять нить Ариадны, не заплутать, не сгинуть... Минотавры выбрались из кошмаров и притворяются живыми в мире человеческой браги. Притворяются нами. Мной?..

Странное дело, становлюсь забывчивым. Не помню снов. Ни капельки не помню...

Звонила Алиса (или это мне приснилось?), долго молча слушали друг друга. Я сказал первым (всегда должен быть первым, о да!):

— Привет.

Она плакала, голос тонко дрожал:

— Виделась с твоей мамой, сказала, что виновата. Что ты никакой не, ну ты понял...

Думаю, что понял.

Она говорила:

— Если бы можно было все переписать заново, я бы переписала не задумываясь. Мы можем попробовать снова, еще раз... Пообещала твоей маме, что скажу это тебе. Она просила передать, что видит плохие сны с тобой. Чтобы ты берег себя и не сотворил ничего. Она сильно переживает за тебя. Таблетки горстями глотает.

— Постараюсь, — все, что смог сказать, — постараюсь.

— Может быть, постараемся и мы?.. Постараемся снова быть вместе?..

Слезы, женские в особенности слезы, творят чудеса. Алиса в голос заплакала после вопроса, а я не смог сказать ничего, кроме:

— Мы постараемся.

Я никогда не научусь отказывать и говорить «нет».

Она больше не плакала, «позвоню» сказала, сказала «спасибо», отключилась. Поэтому, когда тут же раздался новый звонок, я даже не посмотрел на номер, уверенный, что это Алиса. Номер скрыт, это я проверил потом, а тяжелое дыхание в микрофон наполняло тревогой, страхом перед неизвестностью, безумием.

— Это ты! — говорю, стараясь сохранить твердость в голосе. — Ты, я знаю! Выбрался! Теперь идешь за мной?! Что ж, я готов, давай!

Сначала исчезли все звуки, исчез шум в ушах. Минута безмолвия — пугающего, разрывающего, и наконец я услышал ответ. Рев разъяренного животного, рев Минотавра оглушил, я убрал телефон от уха.

Звериный клич подхватили мои квартиранты.

В какой-то альтернативной реальности я позвонил Савве, кричал, что чудовище из лабиринта, из картин выбралось и придет со дня на день за мной. Друг примчался тут же, мы собрали мои вещи и убрались подальше от комнаты 30, от картин, минотавров...

Все в той же псевдореальности мы сошлись с Алисой и через месяц расписались, Алиса забеременела, моя мать была, по ее выражению, на седьмом небе от счастья и забыла про таблетки.

Савва был свидетелем на свадьбе, с неизменной скомканной сигаретной пачкой.

Ольга Игоревна выставила восемь работ, их забрали из 30-й комнаты сотрудники Художественного центра. Выставка «Бесконечные комнаты» стала новой сенсацией, так, по крайней мере, напишут в газете...

Не секрет, мы живем в нескольких реальностях. Многих. Сложно порой определить, какая из реальностей реальна...

Жизнь тоже всего лишь продолжение сна.

Минотавр звонил с наступлением темноты еще шесть раз и страшно дышал. Потом неживой голос из небытия начал считать:

— Раз. Гроб на колесиках выехал из могилы и едет к воротам кладбища. Он ищет твою улицу.

Обрывалось соединение гудками. Не менее зловещими. Сигналами SOS.

Первое желание — свалить из комнаты и забыть про все, что тут происходило, начать писать заново, только не эти бездушные, бездомные комнаты...

Победила мысль — я доведу начатое до конца.

До смерти?..

Если это проверка на прочность — я не спасую. Пусть будет сражение. Минотавры всегда проигрывают. Ариадны, принимая всевозможные облики, спасают своих Тесеев вот уже тысячи тысяч лет...

Минотавр должен умереть, и в этот раз от моей руки. От моих кистей и красок! Это мое оружие!

00:01

— Три. Гроб на колесиках нашел твою улицу. Он едет по дороге, ищет твой дом.

Я сказал:

— Да, да, это мы уже проходили.

Страшилка из детства была не страшней истории про черную руку, но более цветастой, что ли, яркой... Лакированный гроб на колесиках выбирался из могилы и, сияя бездонной чернотой безысходности, мчался через весь город к непослушной девочке. Находили потом девочку бездыханной с колесиком во рту.

— Откуда колесико?.. — спрашивал кто-нибудь по обыкновению, и тогда следовало напугать невнимательного маленького слушателя, прокричав что-то наподобие:

— Гроб на колесиках нашел тебя!

Но мне всегда больше нравился, был ближе своей вычурностью и кровожадностью выкрик:

— Отдай свое сердце!

— Тебе нужно мое сердце! — закричал на четвертую ночь, после того как неживой монотонный голос объявил, что гроб на колесиках нашел-таки мою улицу и ищет дом.

— Не дом, а общагу, тупое животное, скотина, — продолжал я орать в телефон. — Все знают, если помешать мне работать, можно конкретно огрести по полной! Понял, мразь? Можно пострадать!

Гудки смеялись надо мной. Невидимые квартиранты смеялись. Смеялась девятая картина без названия. Все, что я сделал, — закрасил весь лист ДВП черной сажей. Задумывал, что сверху белой краской напишу впервые автопортрет. И я писал с выключенным светом, после полуночи в кромешной темноте, в лабиринте ожидания развязки...

Лабиринты внутри нас. Выбираются немногие... Одни блуждают мрачными коридорами до конца жизни в поисках выхода... Другие, смирившись, обживаются в укромном уголке лабиринта. Третьих сжирает Минотавр. Лишь единицы находят нить спасения, выбираются к свету...

— Семь. Гроб на колесиках нашел твою квартиру и едет по лестнице.

— Нашел комнату, — поправил я Минотавра. — Здесь у нас комнаты...

Сходил до дальнего магазина, купил бутылку водки, закуски... Через два дня, на третью ночь, по моим подсчетам, Минотавр должен найти меня в моей комнате перед картиной с кистью в руках...

— Встречу тебя как полагается. Хлебом и солью... Водкой и перцем, взял острое лечо. Наверное, правильней будет зажечь свечи, чтобы рандеву не проходило в полной темноте, купил две восковые свечи.

По дороге назад встретил Михаила из 28-й. Кивнули молча друг другу, разошлись.

Стоп. Ты же повесился, — обернулся я, спина живого висельника казалась живой и реальной. В забеленном зимнем пейзаже.

— Миша, — окликнул я, — ты... на автобус?

Миша кивнул.

— На балет, — сказал. — «Щелкунчик», с детства мечтал...

И он пошел дальше. По растоптанному в слякоть снегу...

А я пошел назад, побежал, в точности, как журналист Ник, побежал назад, в ноль.

Время. В лабиринте времени легко потеряться, забыться... Прошлое запросто становится твоим настоящим, и будущее может стать прошлым... Мертвые оживают или еще не умерли... Живые смотрят из гробов и не хотят из них выбираться... Время может остановиться, тогда вечная остановка и вечная жизнь, бессмертие нам обеспечено...

Позвонил матери, стараясь не вслушиваться в гудки, за гудками скрывалась темнота. Мать без приветствия сразу же рассказала сон:

— Ты отрезал себе уши и пришил их к своей картине, вытащил глаза и тоже туда, на картину, тут я и проснулась вся в слезах, ну и расстроилась вся. Пришлось таблетку выпить... На воду сон рассказала, потом отпустило...

— Дурацкий сон, — сказал, но подумал другое: сон казался пророческим...

— Ты береги там себя, не заставляй меня нервничать, и так, знаешь, нервы ни к черту... Все отец твой напортачил своей пьянкой. Пообещай, что будешь осторожным и не злоупотреблять!..

Илья пообещал. Снова пообещал.

Савва испугался звонка.

— Что случилось?! Я сам сейчас хотел звонить, — в голосе нескрытое волнение. — Ты мне сегодня приснился, весь в крови такой, и пахло, как у вас в общаге...

— Это растворителем пахнет, ацетоном, лаками всякими.

— Но кровь...

— Скорей, это краска была.

— Это уже получше, потому что потом я увидел, как из шкафа твоего, что напротив двери, вылезает что-то непонятное, знаешь, черт такой с рогами, весь в шерсти, с глазами зелеными, и язык, как у змеи...

— И ты его хлопнул, конечно же?

— Проснулся я, слава тебе...

Савва не договаривал, во сне черт из шкафа вырывал сердце у художника: — Отдай свое сердце!

— Я аж закурил, сука, а ведь почти год уже...

— Зря, — сказал Илья.

— Что зря? Что закурил? Конечно, такое не каждую ночь снится...

— Что не досмотрел сон до конца, зря. А я вчера повешенного соседа видел. — Решительность и уверенность в голосе, как и в том, что видел. — Даже поговорил с ним. Он на балет ехал...

Друг в трех километрах от комнаты 30 спросил:

— Во сне видел, что ли?..

Илья не знал.

Друг повторил, пришлось отвечать:

— Толком не скажу. Не совсем во сне.

— Это как, не совсем?..

Художник посмотрел на закрытую клеенкой в фиалковый цветочек девятую картину:

— Скоро узнаю.

Скоро наступило не скоро.

К полуночи накрыл стол-тумбу на двоих, зажег свечи, последний раз он подобное делал в другой жизни, в первую ночь с Алисой. Вместо водки было полусладкое вино, и в вазе, где сейчас лечо, оттаивали, покрываясь каплями влаги, крупные виноградины из морозилки.

Ровно в ноль часов ноль минут сотовый вспыхнул зловещим, радиационным сиянием:

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Илья обернулся. За спиной была клеенка в цветочек, за ней недописанная картина, дальше стена...

Минотавра не было.

— Десять, — налил водку и выпил Илья. Налил во вторую рюмку и выпил.

Так он сидел всю ночь, попивая водку за себя и не пришедшего гостя в молчаливом ожидании. И уснул с первыми лучами рассвета, упав на матрац, без сновидений.

Он не пришел.

Минотавр сдался?..

К следующей полуночи снова купил водку, выложил остатки лечо.

В этот раз, возвращаясь из магазина, с уверенностью высматривал Мишу-самоубийцу. Висельник не появился. В полночь сотик ожил:

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Обернулся. Никого. Все те же фиалковые цветочки.

— Где ты?! — закричал и остаток ночи прикладывался к бутылке прямо из горла. Не закусывая. В ожидании своего Минотавра...

Наутро голова раскалывалась от колокольного звона и рвало кровью. К вечеру отпустило, сходил за бутылкой и новой банкой лечо...

Стоит ли говорить, что и в эту полночь все повторилось.

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

И в следующую полночь.

Посчитал полночи бутылками — девять бутылок. По ходу, девять — роковое для меня число.

Сейчас, в ожидании десятой полуночи пришел к осознанию.

Возвращаясь сегодня в девятый раз, встретил живого мертвеца. Спросил его:

— На балет собрался?

Миша, как живой, покраснел, что удивительно, покрутил у виска пальцем.

— На «Щелкунчика» же, балет?.. — заикался и чувствовал, как от меня во все стороны шарашут токи перегарной вони.

— Протрезвей.

Не обращая внимания, продолжил настаивать:

— С детства ты мечтал сходить на балет и тайно ходишь, давай уже признайся хотя бы самому себе!

— На вахту я, — процедил сквозь зубы покойник и заехал мне кулаком промеж глаз.

В общаге сразу прошел к мойке, смыл кровь, она пошла носом — и вновь издевка времени, или это я пошел по уже пройденной дорожке лабиринта, запетлял?..

Сын Гали-Губы с еще не изрезанной губой набирал воду в пластиковую чашку.

— Сегодня важный вечер, — подмигнул ему.

Он не ответил. А я знал, что через час он будет стоять перед зеркалом с лезвием в руках... Через час он будет похож на маму...

Весь вечер даже с закрытой форточкой слышал кукование.

Кукушка начала свой отсчет.

А в той же альтернативной жизни я отрезал уши и приклеил их на суперклей к себе, написанному маслом.

Остались глаза. Мамин сон в параллельном измерении стал реальностью. Автопортрет с частями моего тела завизжал, кровавая полоса губ расползлась чернотой:

— Отдай свое сердце!

Я сказал:

— Это будет сложно, — и на помощь пришел Самоделкин из 27-й комнаты.

Виталий-Космос всегда был мастер на эксперименты, у него для такого случая имелись инструменты собственного изготовления из кухонных ножей, лезвий бритвы и лески.

— Сердцевырезатель, — хвастался чудовищным прибором. — В три нажатия удаляет сердце без лишних движений. На раз — вскрываем грудную клетку, на два — вырезаем моторчик, на три — все готово, можно зашивать.

— А кто будет зашивать? — пытался оттянуть смертельную процедуру, казнь.

— Имеется и такая штуковина, — расплылся в улыбке Космос. — Сшиватель Храмова...

Автопортрет с ушами противно застонал, заскулил в предвкушении кровавой кормежки...

— На раз, — подмигнул Космос.

И я услышал свой голос:

— Раз, — произнес не своими губами.

Холодное лето, теплая зима. В комнате жарко, душно, испарение от масла дурманит.

Все. Картины, матрац, стол-тумба, шкаф, я... Все плавает в вязкой субстанции, маслянистой, дурно пахнущей... Бульон? Брага?..

Водка — спасение от реальности бульона/браги. Налил очередную рюмку. Цифры на сотике поменялись на 00:00.

Выпил. Телефон требовал ответа.

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Услышал в очередной (тысячный?) раз, и сотовый отправился прямиком в стену.

— Десять! — закричал. — Десять!

Повернулся.

Считается, что в последние мгновенья перед смертью, за миг, перед глазами пролетает вся прошедшая жизнь. Так и передо мной перелистывалось все давно забытое, прошедшее, сладостное и ужасное...

Клеенка с незаконченной девятой картины сползла (или я сдернул?), и вместо автопортрета на меня взглянул Он, тот, кого так жду. Ждал.

Рогатый монстр оскалился. Краски (или это не краски?) ожили, задвигались живой, дышащей плотью...

Я заметил у него свои глаза, правда, с дьявольски-зеленым, почти перламутровым отливом. Свои торчащие уши.

И мой рот, без сомнения, с моими губами, открылся:

— Попался, — сказал я, — попался!..

Параллели сошлись в параллельном мире.

Меня нашли с развороченной грудью, о, как она кроваво чернела клумбой чайных роз посреди бесшабашности размазанных по линолеуму красок. Сердце, по словам полицейских, стучало, приделанное к картинному полотну. «На картине изображено масляными красками человекоподобное существо с фрагментами человеческих органов», — будет записано в протоколе осмотра места преступления.

Боги бессмертны. Художник вечен в своих творениях. Надо подождать, когда он созреет, наберется сил, смелости, чувств... и выберется из мира, лабиринта своих

картин в реальность жизни. Из рамок, застывших (застывших ли?) полотен в мир дышащих...

Я выбрался.

Время новостей

Из криминальной хроники еженедельника «Вечерняя среда» и программы «Местное время» телекомпании «АТВ»:

...Взрывов было больше тридцати! — утверждают очевидцы пожара в поселке на окраине.

...Также на территории общежития были замечены посторонние личности, ночами в окнах нежилого здания, по словам жильцов соседних домов, был виден зажженный свет, и в комнатах перемещались тени людей...

...Известный в городе экстрасенс:

— В общежитии обитали души неупокоенных, и с пожаром они наконец обрели покой.

...Городская администрация пожар никак не прокомментировала.

Исполняющий обязанности директора жилищного коммунального управления «Трест», в ведении которого было общежитие, заявил, что могло иметь место незаконное заселение.

...Возгорание произошло на первом этаже общежития, где в закрытых комнатах и коридорах долгое время хранились летучие и легко воспламеняющиеся жидкости: краски, лаки, растворители. Принадлежавшие, по предварительным данным, закрытому керамическому заводу. По факту халатного и незаконного хранения горючих веществ, умышленного причинения вреда государственному учреждению возбуждены уголовные дела.

Из неофициального источника нам стало известно, что на втором этаже закрытого из-за аварийного состояния общежития находилась мастерская художника-самоучки Ильи Дубина, известного своими провокационными и скандальными выставками. Местонахождение художника пока неизвестно, как и судьба новых картин, которые планировалось выставить в Художественном центре искусств осенью 2017 года.

Напомним, что во время пожара предположительно в здании общежития никого не было. Ведутся поисковые работы.

Человеческих жертв при пожаре в общежитии нет — таковы последние данные пресс-службы МЧС города.

Найдены чудом уцелевшие работы художника. Представители СМИ смогут увидеть спасенные полотна.

«Бессмертные комнаты» — таково предполагаемое название цикла из восьми картин, — рассказала директор Художественного центра Ольга Ивашко, — будут выставлены сразу после устранения незначительных повреждений.

— Это будет убийственно, — добавила она. И с ней нельзя не согласиться. Достаточно лишь взглянуть на одну из работ (смотрите фото 1), чтобы понять это.

Картина без названия, но всей редакцией единогласно окрестили работу «Ангарский Минотавр».

И да, кто не спрятался, он не виноват.

ВХОД. ОН ЖЕ ВЫХОД

Алексей Саломатин

Башня

Современный Лѣтописецъ НѢмецкій, Дитмаръ, говоритъ, что Святополкъ, Правитель Туровской области, женатый на дочери Польскаго Короля Болеслава, хотѣлъ, по наущенію своего тестя, отложиться отъ Россіи, и что Великій Князь, узнавъ о томъ, заключилъ въ темницу сего неблагодарнаго племянника...

Исторія государства Россійскаго

— В тесном остроге тужу-тужу,
трудную думу тружу-тружу,
надвое дума: при двух дворах,
да без приюта, о двух отцах,
да сирота — не тебе понять,
ты-то силён на мечи поднять,
ты-то хозяин своим столам,
да за отцов отвечать сынам,
мягко ты спишь, да щекотно я —
дума моя перемётная —
сам-то, скажи! — ни варяг, ни грек,
зубы в аршины — да как на грех
цепь с локоток, а раскинь чуток —
карты и в руки — простор широк,
башня крепка, да засов проел
шашель, ищи дурака — сымел
шашни туземные, стиснет грязь —
вытянет блажь, не удержишь, князь,
Ирода в башне! — тужу-тружу,
в долгую тьму я гляжу-гляжу —
тени с тенями сливаются,
пилам топор откликается —
плаху там ладят ли, валят лес,
окна наводят ли, под навес —

Алексей Саломатин — литературный критик, поэт, переводчик. Родился и живет в Казани. Кандидат филологических наук, преподает в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Участник Форумов молодых писателей РФ и стран СНГ.

стены — за тьмою не разберёшь,
месяц проточный, рябая дрожь,
тайное слово молчу-молчу,
Святый Хранитель припал к плечу,
страж чертыхается на дворе,
что ни выходит — всё надвое —
край мой, удел мой, трава в копьё,
посолонь славь ли имя твое,
вспять ли черти на халдейский лад,
венчик твой белый, твой чёрный плат,
росная плоть, лубяная кость,
кто я — хозяин твой или гость,
кто — без вины ли палач, скажи,
кровь неугодная ли, скажи,
вечный ли пасынок для битья,
камень ли на сердце у тебя? —
время бежит, спотыкается,
что, окаянный, икается?
что, неприкаянный, почём зря
бедствующий, в треть календаря
бодрствующий, не с того плеча
рубящий, надвое сгоряча
думающий, да не в глаз, а в бровь? —
ох, отольётся варяжья кровь! —
эх, ш-широта, привечай-встречай!
слушай загадку, да примечай:
как по росе колесо без спиц
котицца, да как у двух столиц —
ой, да страна без царя, да как
шёл бел-жених, да попал впросак:
вышел ни к городу, ни к селу —
быти ли пусту месту сему
или не быти? — один, один,
спасу-то нет от родных осин —
колют глаза — да не привыкать
век по чужим на своих искать
правды-управы, но стыд, не страх —
и в наступающих соловьях
слышать не славы любви — мольбы
о воздаянии, если бы
вовсе не знать, на худой — забыть,
ну а судить-то — что гвоздь забить —
град, непрозримый в чаду болот,
стен серебро да резных ворот
золото, эх, привечай-встречай!
всем твоих кровель достанет, чай,
чай, киселя твово хватит всем! —
али дороги не одолем,
али ворота не по щиту?..

Стылые воды несут щепу.

Илья Булгаков

Образованные люди

Повесть

Часть 1. Восьмой день

Женя

Допустим, мы знаем, что женщине сорок лет и она разведена. А вот как проверить, есть ли у нее ребенок? Если просто спросить по каким-то причинам не удается (например, женщина эта вымышленная, и мы читаем про нее художественное произведение), то самый верный способ — это украдкой взглянуть на рабочий стол ее компьютера. Ребенок, если таковой имеется, обязательно улыбнется вам с фотографии на экране. А то и подмигнет.

У Жени Яновской — вымышленной сорокалетней разведенной женщины — ребенок еще как имелся. Когда она, в очередной раз благополучно вернувшись домой с работы около семи вечера, открыла свой обшарпанный годами и не всегда аккуратным отношением Асус, с экрана ей подмигнула смеющаяся физиономия ее семилетнего сына. Физиономию она запечатлела ровно четыре года тому назад, летом две тысячи тринадцатого, на отдыхе в Турции. Тогда Артёмка впервые увидел море. А Женя впервые за девять лет как будто вполне счастливой семейной жизни почувствовала, что что-то не так. На изначальной версии этого фото еще присутствовал Женин муж Олег. Но вот уже года два как она его обрезала. Будто бы море поглотило в себя Олега и продолжало шуметь прибоем как ни в чем не бывало на радость смеющемуся Артёмке. И песок пляжа был настолько реальным, что ощущалось его поскрипывание на зубах.

Прогулявшись немного по всем этим воспоминаниям, Женя-таки успела забыть, для чего она сразу, как пришла домой, буквально едва разувшись, села за компьютер. Ах да! Возвращаясь сегодня с работы, она, как всегда в маршрутке, бегло пролистывала ленту новостей «В контакте» на своем не менее обшарпанном, чем Асус, Самсунге и наткнулась на фразу:

«Если ты не можешь сделать счастливым человека, которого знаешь лучше всех, — себя саму, то с чего решила, что сможешь подарить счастье кому-то другому?»

Приведенная сентенция была якобы из книги «Восьмой день» некоего Вадима Дольфина. Дома она, собственно, и полезла в интернет, дабы скачать с какого-нибудь сайта это произведение в электронном виде. Не то чтобы высказывание про счастье произвело на нее такое уж прям сильное впечатление... Просто, как говорится,

---

Илья Булгаков родился в 1982 году в Новосибирске. Окончил отделение филологии гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Как автор начинал с поэзии и драматургии. В 2016 году опубликовал сборник пьес «Дамы». Это его первая публикация в «толстом» литературном журнале.

совпало. Женин сын — тот самый Артёмка с фотографии, только уже повзрослевший до одиннадцати лет — со своими одноклассниками укатил в спортивный лагерь на целый месяц, и у нее снова появились свободные вечера, чтобы предаваться размышлениям о жизни. И буквально не далее как вчера вечером за бокалом белого полусладкого она одна в своей ипотечной двушке, погрузившись в мысли о женском счастье, сама пришла к какому-то подобному риторическому вопросу.

Формулировала она его в своей голове все же несколько иначе. Скажем, не «с чего ты взяла», а скорее «почему»... Почему в какой-то момент своей жизни она вдруг ни с того ни с сего решила, что может (а главное — хочет) подарить счастье какому-то постороннему человеку? Мужчине. Сделать его счастливым. Откуда она в двадцать пять лет в принципе могла знать, что такое это самое счастье? Что значит быть счастливым именно для этого конкретного человека? Как это осуществить? И надо ли это ему самому, так-то, вообще-то, на минуточку? Просто юная девушка в какой-то момент берет и вдруг решает, что именно в этом и есть смысл ее жизни. Нет, ну а что? Она встретила парня, который, по ее тогдашнему мнению, однозначно заслуживал быть счастливым. Хороший человек, умный и красивый, интересно рассказывает. Шутит смешно, опять же. Разве не заслуживает он счастья? Ну ладно, понятно, что все люди заслуживают... Но один из таких заслуживающих нравится персонально ей! Значит... Сначала подарим этому мужчине счастье в плане страстного секса и интересного общения. Потом наилучшим образом обустроим быт, чтобы ему было хорошо дома, ведь здесь все прибрано, рубашки поглажены, еда на столе. Еще можно делать его счастливее и счастливее, придумывая, как оригинально отпраздновать день его рождения или вместе провести выходные, отпуск. А уже затем счастье стоит усилить, подарив ему в итоге и целого маленького человека.

Отличный план. Так она и делала. Только вот ни хрена не получилось. С их первой встречи с интересным молодым человеком прошло пятнадцать лет. Тринадцать лет — с их свадьбы. Одиннадцать лет назад у них родился чудный малыш. Четыре года назад они впервые после рождения ребенка съездили всей семьей в отпуск за границу. И вот уже пару лет как муж живет отдельно в съемной комнате, продолжая, правда, выплачивать ипотеку за квартиру, в которой остались Женя с сыном. Сама же она как работала бухгалтером в разных захудалых конторках, так и продолжает эту благородную миссию. Теперь вот сводит балансы небольшого местечкового издательства «Сны». Сделала она в итоге по прошествии этих пятнадцати лет интересного молодого человека по имени Олег счастливым? Принесло ли это счастье ей самой? Нет и нет. Ответ отрицательный по обоим пунктам.

Продолжая за всеми этими мыслями поиск книги «Восьмой день» в интернете, Женя обнаружила ее на двух сайтах. Странно, что по одной ссылке файл «епаб» весил полтора мегабайта, а по другой — аж четыре. Женя скачала легкий, логично предположив, что там, скорее всего, ознакомительный фрагмент. Ну что ж, прочтет пока его, а там видно будет. Может, и вообще не понадобится качать полную версию. Наверняка и эта книга ничем особо не отличается от кучи уже прочитанных Женей ранее всевозможных пособий и практических руководств по тому, как женщине стать счастливой.

Начиналась книга со своеобразной притчи примерно следующего содержания:

«Она любила овощи. А он любил мясо.

Они познакомились. Стали встречаться. Она готовила ему мясо, потому что знала, что он любит мясо.

Они стали жить вместе. Он спрашивал:

— Что будем готовить на ужин?

Она отвечала:

— То, что ты хочешь.

И они готовили мясо. Потому что он любил мясо.

А она любила овощи. Но его она любила больше. Ну и что с того, что он не кормит ее овощами? Зато он счастлив, потому что она каждый день готовит ему его любимое мясо. А что может быть приятнее, чем дарить счастье любимому человеку?

Иногда она все-таки предлагала:

— Может, сегодня для разнообразия поедим овощи?

Но он не поддерживал. Потому что он любил мясо.

Однажды он уехал. Ненадолго. И пока его не было, она ела овощи. Свои любимые овощи.

Вскоре он вернулся. Они снова ели мясо. Но она уже не могла жить так, как раньше...

Она встретила другого. Но он тоже любил мясо.

Они стали жить вместе.

— Что будем готовить на ужин? — спросил он ее.

— Не знаю, — ответила она. — Ты любишь мясо, а я люблю овощи.

Тогда он сказал:

— Хорошо. Будем готовить мясо с овощами.

И жили они долго и счастливо».

Дальше, наверное, шло толкование этой притчи, но Женя остановилась. Ей все было понятно и так.

Такие люди, как она, в молодости обязательно и всенепременно хотят пожертвовать чем-то ради любимого человека. Если выясняется, что их возлюбленный не любит, к примеру, детективные сериалы, они с большим рвением отказываются от их просмотра. Но получается, что такая позиция не делает счастливым никого. Потому что в конце концов выясняется, что тебе, как ни крути, хочется детективных сериалов. И зря ты вообще ими пожертвовала, потому что и второй твоей половине, как выясняется, жертва эта была на фиг не нужна. Он-то всю свою жизнь думал, что тебе и правда нравится эта его научная фантастика, и вы родственные души. А оказывается, ты мучилась специально ради него, и он, сам того не желая, стал причиной твоего дискомфорта.

Однако концовка мясо-овощной истории была совсем не про нее. В ее жизни все произошло не так красиво, а гораздо приземленнее и прозаичнее. Поняв в какой-то момент, что сама она несчастна из-за того, что то и дело пытается подарить счастье кому-то, но не себе, Женя не нашла ничего лучше, чем просто в какой-то момент взять и перестать есть с мужем мясо, выражаясь языком этой странной притчи. Оказалось, что два не особо-то и похожих человека с разными интересами почему-то живут вместе несколько лет да еще и ребенка воспитывают. Как так вышло?

Сначала ведь ей все нравилось. Потом родился ребенок, и стало тупо некогда. Некогда подумать, нравится ли тебе твоя жизнь, счастлива ли ты. Но вот ребенок подрос, стал более самостоятельным, стал больше времени проводить или сам, или с друзьями, или в спортивной секции. На работе как-то стабилизировалось: спокойный рабочий день, делаешь что всегда, что хорошо умеешь, получаешь за это... Ну нормально, в общем, хватает. Не надо постоянно что-то решать: выходить на работу, не выходить, выходить на полставки, искать подработки — словом, вот это все. Короче, появилось время, появились деньги. Да вот хотя бы чтобы в Турцию слетать. Именно тогда и стало понятно, что отдых этот в Турции не принес удовлетворения, а высвободившееся время по вечерам просто непонятно как проводить. Ирония заключалась в том, что вроде бы и появилось время на себя, а кто эта «себя» и что ей вообще надо, Женя не знала. Почему, например, она работает бухгалтером? Потому что после вуза знакомые предложили. Почему бы и не пойти? Нужны были какие-то минимальные деньги, чтобы жить отдельно от родителей, развлекаться с друзьями, встречаться с парнями. Она усиленно пыталась вспомнить, чего она сама-то хотела раньше. Просто заканчивала школу, потому что так надо, и поступала на экономический, потому что это хорошее образование, можно потом найти хорошую работу. Какую работу она тогда считала хорошей — память отказывалась возвращать эти мысли. Быть может, потому что их попросту и не было. Чем же она занималась в старших классах школы и в вузе? Да особо ничем: читала книги, смотрела кино, слушала музыку... Встречалась с друзьями и все это с ними обсуждала. Влюблялась в парней, вступала в какие-то отношения с разной степенью успешности. Пока не встретила Олега, которому, наконец, захотела подарить счастье.

Муж ушел от нее без обид и скандалов. Сначала как будто устал долго ездить на работу, поэтому снял комнату неподалеку, чтобы периодически там ночевать. Затем стал оставаться там все чаще и чаще. Пока плавно не перестал возвращаться домой совсем.

И вот теперь наша Женя стояла перед выбором. То ли продолжить старую стратегию и отдать себя всю ребенку, то ли наконец заняться собственным счастьем, предполагая, что только счастливый человек может сам дарить счастье другим, но никак не несчастный. Именно так она поняла для себя эту цитату из книги. Как пресловутой кислородной маской нужно обеспечить сначала себя и только потом ребенка, так и счастливой надо стать сначала ей самой.

Дабы подтвердить свои мысли, Женя все же дочитала книгу до конца. Мысли-то она подтвердила, но с удивлением обнаружила, что это не был ознакомительный фрагмент. Это была вся книга целиком. Как полагается, с оглавлением в конце.

«Что же там такого в четырехмегабайтной версии? Картинки, что ли?» — Женю разобрало любопытство, какими такими картинками автор проиллюстрировал свое незатейливое произведение.

Она решила скачать и тяжелый файл тоже. Каково же было ее изумление, когда она, загрузив файл с ноута в свой Покетбук, обнаружила, что новая версия книги никоим образом не отличается от уже установленной.

Женя кинула электронную читалку в сумку, чтобы на работе показать файлы той самой Светке Замкнутовой, что была молодой, продвинутой и отвечала в их издательстве за выпуск именно электронных книг.

«Что-то здесь не так, — закралось у Жени подозрение. — Почему книга называется «Восьмой день»? Нет там в тексте ничего ни про какой счет дней».

Вадик

Есть ли у двадцатипятилетнего неженатого парня девушка, легко проверить, опять-таки бросив взгляд невзначай на рабочий стол его компьютера. Девушка непременно перехватит ваш взгляд.

В случае с Вадиком это правило работало с одним существенным отклонением. На рабочем столе его ноутбука действительно было фото девушки, в которую он был влюблен. Только она не была его девушкой. Он даже не знал, была ли она в принципе девушкой кого-либо. Это было фото его одноклассницы с выпускного, на котором они с ней танцевали первый и единственный раз. Одноклассницу он любил, как ему казалось, до сих пор, о чем, понятно, никогда никому не рассказывал, тем более ей.

Выпускница снова посмотрела на него своим пронзительным и немного напуганным взглядом, когда он открыл компьютер, сидя в приемной издательства с интригующим названием «Сны» в ожидании встречи с директором, чтобы набросать пока план презентации проекта для защиты на кафедре. Но взгляд одноклассницы, как часто бывало, унес его прочь от мыслей о своей аспирантуре. Вадик представил, как издаст он свою первую книгу... Народ начнет читать, делиться в соцсетях... Книга-то необычная! Уникальная по форме, содержит в себе загадку... Пойдет обсуждение, и она увидит какой-нибудь репост с рецензией. Обратит внимание на фамилию Дольфин и такая:

«Это же Вадик, одноклассник, мы с ним на выпускном танцевали! Это был лучший танец в моей жизни! Так Вадик стал писателем? Никогда в нем не сомневалась! Он всегда умел выдумывать... Вот и сейчас наверняка сидит и выдумывает, как я прочитала его книгу и думаю о нем».

Дверь кабинета директора открылась, и молодая сотрудница «Снов» Светка Замкнутова пригласила Вадика внутрь.

— Вадим, нас заинтересовала ваша идея издать у нас книгу в электронном виде, — начал беседу с молодым автором директор издательства Арсений Карлович Иноголовцев. — Мы только начинаем работать с электронным форматом. Для меня

это дело новое, но весьма перспективное. Поэтому я позвал присоединиться к нашей беседе Светлану, начинающего специалиста по электронным книгам. Пока что она у нас одна, но если дело пойдет, будем формировать целый отдел. Две тысячи пятнадцатый на дворе, надо соответствовать времени.

На Вадика смотрела милая девушка лет двадцати трех, не больше. Он сразу подумал, что это ее первая работа после вуза, а может, она еще и продолжает учиться. Лицо у Светки было загорелое, как после отпуска в Турции. Вадик тут же представил себе ее в купальнике и заключил, что представленное ему понравилось.

Директор тем временем продолжал:

— У нас уже есть небольшой опыт издания электронных книг, можете не беспокоиться, в плане технологии схема отлаженная. Мы предложили нашим постоянно печатающимся авторам издать их уже вышедшие книги в электронном виде, разместить в интернет-магазинах. Продажи идут хорошо, потому что авторов знают благодаря успешной политике нашего издательства по выпуску печатных книг. Но у нас впервые клиент, который хочет сразу выпустить электронную книгу, причем только ее. Почему?

— Не хотел бы раскрывать всего замысла... Мы же в любом случае подпишем с вами что-то по поводу конфиденциальности?

— Безусловно.

— Пока могу сказать только, что книга уникальна. Есть определенная задумка. Текст многомерен: есть уровень поверхностный, а есть уровень глубокий. И вот он изначально скрыт от читателя. Причем скрыт физически: чтобы его увидеть, нужно произвести некоторые манипуляции. Реализовать это можно только в электронном виде.

Иноголовцев со своей молодой сотрудницей переглянулись. Вадик поймал их взгляд, но так и не смог его расшифровать. То ли он значил «ого, это что-то новое, запахло деньгами», то ли «опять очередной псих, из этих». Вадик понимал, что это две принципиально разные реакции, и ему как писателю неплохо бы разбираться в людях настолько, чтобы различать их. Но нет. Ему было непонятно, и это его бесило.

Директор спросил:

— То есть вы хотите быть не как все?

Вадик пожал плечами:

— Это не самоцель. Быть как все даже сложнее.

Тут подала голос Светка:

— На самом деле — одинаково. И в том и в другом случае сначала нужно узнать, какие все.

Внезапно Арсений Карлович перевел разговор на другое:

— Как ваша книга называется? «Восьмой день»? Почему?

— В шесть дней творения создавались новые сущности. В седьмой день, который продолжается по настоящее время, ничего не создается. Все как есть, из пустого в порожнее. Создай новую сущность, и начнется восьмой день. Это если коротко, в двух словах.

— Сами придумали?

Вадик кивнул.

— Ну, мы же с вами образованные люди. Давайте загуглим.

Арсений Карлович что-то открыл в своем компьютере и стал читать цитаты:

— «Восьмой день — как бы октава первого дня, но в более возвышенной степени...» Раввин Шимшон Рафаэль Гирш. «Мировой процесс — восьмой день творения, продолжающееся творение...» Николай Бердяев. «Святые отцы церкви считают седьмой день мира продолжающимся и поныне, а затем, по воскресении мертвых, настанет вечный восьмой день, то есть вечная будущая жизнь...» Протоиерей Серафим Слободской. Продолжать? — спросил директор с доброй отеческой ухмылкой, будто поймал сынишку на маленьком таком глупеньком вранье.

— Я не говорил, что выдумал саму идею. Только ее новую интерпретацию. Даже не так. Я открыл ее новое практическое применение. Видите ли, моя книга — это не

философия, не теология, не религиоведение. Это скорее инструкция. Она показывает просто и доступно, как человек может сам изменить свою жизнь.

— Не понимаю, при чем тут восьмой день, — Иноголовцев посмотрел на Светку, мол, правда ведь? Светка кивнула — она тоже не понимала.

— Чтобы жизнь человека изменилась, ему и нужно-то всего-навсего выдумать новую сущность, нового себя, новую жизнь для себя. Тогда для него и наступит восьмой день. То есть конкретный, отдельно взятый человек возьмет и переступит эту грань и перейдет из седьмого дня в день восьмой. А мы даже не узнаем об этом, потому что останемся здесь, в седьмом дне. Он же будет продолжать жить себе там, в восьмом дне, в жизни, которую сам себе выдумал.

— Все это очень любопытно, молодой человек, но поверьте моему опыту: хоть мы и образованные, но мы люди. Мы с вами ничего не можем придумать.

— Я не сказал «придумать», если вы заметили. Я сказал «выдумать».

— Зачем же цепляться к приставкам?

— Вы не понимаете. Здесь же принципиальная разница. Люди могут как *при*думывать, так и *вы*думывать. Мы каждый день что-то *при*думываем, тем самым *при*вносим что-то в нашу уже существующую жизнь. Что-то к ней *при*соединяем, то есть добавляем. Например, я придумал, что моему издательству необходим отдел электронных книг. В жизни уже существует издательство, существуют электронные книги, существуют отделы. И я в этот уже существующий порядок вещей привнес что-то, добавил. А *вы*думать — это *вы*йти за рамки. Именно выдумать то, чего еще нет.

— Я понял вашу игру слов. Это достаточно умно, и я понимаю, что вам как писателю нравится придумывать... Выдумывать... В общем, сочинять подобные вещи. Но это не меняет моей позиции. Люди ничего не выдумывают.

— Немного странно это слышать от издателя. Зачем же вы издаете книги современных авторов, если все уже давно выдумано?

Иноголовцев за разговором продолжал параллельно заниматься какими-то бумагами у себя на столе. Часть из них он передал сидевшей в углу Светке и попросил унести в бухгалтерию. Дождавшись, когда она уйдет, он спросил своего собеседника:

— Какой вопрос в Библии самый важный?

— Ну... Их много...

— Один заслуживает особого внимания. «Крещение Иоанново откуда было: с небес или от человеков?» Евангелие от Матфея, глава двадцать первая, стих двадцать пятый.

— Почему именно этот?

— Христос проговорился. Он Бог, и Ему ведомо многое, что не ведомо людям. В этой фразе Он намекнул, осознанно или нет, что есть дела Божии, а есть — человеческие.

— К чему вы это?

— Я издатель. Я занимаюсь сугубо человеческими делами. Говоря языком Евангелия: издание книг — от Бога или от человеков? Конечно, от человеков. Но вот, выражаясь вашей терминологией, выдумывание книг... Здесь людям отдана совсем незначительная роль. Бог — творец. И все, что касается творчества, подчинено Ему. Мы никак не можем на это повлиять. Если у Бога есть сюжет — Он его творит, как сотворил этот мир. Но сейчас, как вы справедливо заметили, седьмой день: Бог ничего не творит. Однако это не значит, что процесс творчества остановлен. Нет, он не может быть остановлен. Бог по-прежнему творит, но по-другому... — Арсений Карлович явно входил в раж. — Зачем он создал человека? Чтобы продолжать творить через него. Он выбирает проводников. Он выдумывает сюжеты. И вот какой-то ничем не примечательный, скажем даже, никчемный, человек идет себе по улице за помидорами, и тут в его голове вроде как бы совершенно из ниоткуда возникает сюжет. Он приходит домой, записывает его... И все. На этом Бог сделал свое дело. Это уже существует в вечности. Есть куча Божественных текстов, актов Его творчества, которые рассеяны по Земле, так как закинуты в случайном порядке в головы никак не связанных с этим людей. Улавливаете?

Вадик не улавливал. Ему становилось страшно за психическое здоровье директора. Он даже открыл рот, чтобы сменить тему, но Иноголовцев не дал ему слова:

— По-хорошему, с этим и работают издатели. Мы менеджеры Божьи. Находим людей, в чьих текстах нам видится Божья искра. Издаем их, продвигаем на широкую публику. Но мы не понимаем цели. Мы делаем это, типа, для людей. Есть хороший текст — он должен понравиться. Люди будут его читать, а мы можем заработать. Поэтому мы его издаем и продвигаем. И тут я понял, что у Господа есть цель! Все эти разрозненные тексты не могут быть не связаны. У Него есть одно большое важное послание. Он нам его транслирует по частям через разных проводников. Мне открылась моя задача как менеджера и издателя — собрать их воедино. Найти всех проводников. Собрать их тексты, расставить в нужном порядке, и я получу скрытое послание Бога!

Вадик так и сидел с открытым ртом. Арсений Карлович выдержал паузу, сменил темп, громкость и продолжил:

— Понимаю ваш скепсис. Вы, наверно, думаете, никакого послания нет? Ваша, молодых писателей, проблема в том, что вы считаете себя пупами земли. У вас талант, и поэтому вы лично, сами, в одиночку, можете сделать что-то уникальное. Например, написать книгу, которая реально изменит мир или хотя бы чью-то жизнь. И вы идете ко мне с вашими текстами, даже не погуглив: может, кто-то уже придумал что-то подобное. Смирение — вот высшая добродетель. Вы сами по себе никто. Вы можете только стать песчинкой в чьем-то большом замысле. Пишите, приносите мне книги, но осознавайте, что все ваше творчество может оказаться всего лишь запятой в большой книге Бога, которую я сложу из этих текстов.

Вадик встал, и Иноголовцев решил, что тот сейчас направится к выходу.

— Что, не нравится идея быть песчинкой?

— Не в этом дело. Я хочу, чтобы моя книга делала людей счастливыми. Если она станет тем самым фрагментом, который поможет собрать пазл, и этим сделает счастливым вас — я буду рад. Также я надеюсь, что кому-то она поможет выдумать себе новую жизнь.

— А кому-то — ничего.

— К этому я тоже готов.

— Тогда вперед! Но название все же поменяйте. Видите, сколько этого восьмого дня в интернете?

— На какое?

— Ну скажем... «Геометрия для начинающих».

— В книге же нет ничего ни про какие геометрические фигуры.

— Так в ней и ни про какой счет дней ничего нет.

Светка

Если двадцатипятилетняя девушка еще не была замужем, то на рабочий стол своего компьютера она непременно поставит свое собственное фото. Иногда даже в купальнике.

Именно такая фотография из отпуска в Турции два года назад смотрела летом две тысячи семнадцатого на сотрудницу отдела электронных книг издательства «Сны» Светку Замкнутову с рабочего стола ее компьютера, когда голос Жени Яновской из бухгалтерии, раздавшийся за Светкиной спиной, прервал поток ее мыслей.

— Свет! Извини, что отвлекаю. Есть пять минут?

— Конечно.

— Понимаю, что это полная фигня и ты с таким в своей работе, наверное, сталкиваешься постоянно. Но я вот столкнулась впервые, и мне теперь настолько интересно, что никак не успокоюсь, пока не выясню.

— Да нет проблем, ЕГэ. Показывай, что там у тебя.

Сорокалетнюю Евгению Георгиевну двадцатипятилетняя Светка запросто и

панибратски сокращенно называла ЕГэ. Ей это казалось очень оригинальным и креативным.

— Смотри, — Женя взяла стул и подсела к Светкиному рабочему месту, — два файла «епаб» одной и той же электронной книги. Один весит полтора мегабайта, а второй — четыре. Оба их открывала своей читалкой — они идентичны.

Свой Покетбук Женя принесла с собой и теперь демонстрировала на нем Светке данную аномалию, по очереди открывая то одну, то другую версию книги «Восьмой день» Вадима Дольфина.

— Ну, это просто, — Светка поначалу даже не взглянула. — Вряд ли они идентичны. В той, что более тяжелая, скорее всего, есть картинки. Просто твой девайс их не прочитал.

— Я так и подумала, — немного разочарованно проговорила Женя, но не торопилась уходить, как будто ждала, что Светка скажет что-нибудь еще.

Но Светка просто вернулась к своим делам за компьютером, думая, что разговор вполне себе закончен. Заметив, что Женя оставлять ее одну не собирается, Светка поняла: книжка — просто предлог, одинокой бухгалтерше опять не с кем поболтать.

— Ладно, давай прогоним твои файлы через мои специальные программки, — Светка взяла у Жени электронную читалку и уже подключала ее к компу. — Вот эта, например, подсчитывает количество слов и знаков в файле «епаб».

Девушки открыли программу, открыли в ней один из Жениных файлов и увидели статистику: пятнадцать тысяч слов. Затем так же открыли второй и удивились (по крайней мере, Женя — точно): тридцать тысяч слов.

— Да как так-то? Говорю же: они идентичны! Слово в слово. Я еще пойму: картинки... Но не бывает же так, чтобы мой девайс какую-то часть текста не открывал?

— Не должно... Но мы же с тобой образованные люди! — Светка нарочно, желая немного развеселить уставшую Женю, сказала это с характерной интонацией их начальника Арсения Иноголовцева, и обе девушки понимающе улыбнулись друг другу. — А значит, не будем слепо доверять одной программе, а проверим на нескольких разных. Есть другая штуковина, она проверяет два текста на повторы. Вот здесь открываем первый текст, а в этом окне — второй... И смотрим статистику.

Теперь настала Светкина очередь удивляться. Она полностью доверяла своим программам и ежедневно пользовалась ими как надежными инструментами. Глупо было подсчитывать количество слов вручную или так же вручную проверять, не сплагиатил ли автор целый кусок текста своей новой книги из своей же старой. Но сейчас система явно давала сбой: получалось, что две книги одинаковы до последней точки, при этом по количеству слов одна в два раза больше другой.

Некоторое время девушки молчали, тупо разглядывая Светкин монитор. Первой заговорила Женя:

— Может, покажем шефу? Иноголовцев любит всякие такие загадки...

— Он в отпуске до шестнадцатого.

— В отпуске? Я не знала... А куда полетел? Снова в Турцию?

— Без понятия. В этот раз ничего не сказал.

— Странно... На него не похоже. Обычно же всегда рассказывает кучу подробностей, хвастается... А ты сама когда в отпуск?

— С понедельника.

Светка поняла, что следующим Жениным вопросом будет «а куда?» Ответа у нее не было, поэтому Светка решила принять превентивные меры, чтобы этот разговор не продолжился:

— Я правда не сталкивалась раньше с таким, ЕГэ. Наверняка просто какой-то глюк. Но давай, как шеф вернется, сразу ему покажем. Вдруг действительно что-то интересное. А сейчас прости — работа.

— Спасибо тебе.

— Да нет проблем.

Женя ушла, забрав свой покетбук, но файлы Светка, не заостряя на этом внимания, украдкой сохранила у себя. Совсем не для того, чтобы почитать на досуге

глупую книгу и посмеяться над Жениными семейными проблемами. Перед тем как вернется Арсений Карлович, ей хотелось самой проверить одну гипотезу, не говоря пока о своих подозрениях Жене. Может быть, все это еще вовсе и не так...

А дело было вот в чем. Один клиент издательства — молодой парень, желающий стать писателем — пару лет назад как-то упомянул на встрече с шефом, где Светка тоже присутствовала, что хотел бы издать именно электронную книгу, так как только в ней можно разместить что-то вроде скрытого текста, который не виден непосвященному читателю. Светка хорошо запомнила имя парня — Вадим Дольфин — но дальше не дослушала, потому что Иноголовцев отправил ее занести документы в бухгалтерию. С тех пор она больше никогда не слышала ни этого имени, ни вообще о такой идее электронной книги со скрытым текстом. Но теперь ей вспомнился тот разговор, ведь на Жениной книге красовалось имя автора — Вадим Дольфин. Светка подумала:

«Может, эта аномалия с разными размерами книг — как раз тот случай? И пока директора нет, а ЕГэ успокоилась и будет его ждать, у меня есть время самой все проверить».

Вечером у себя дома Замкнутова лежала на диване и листала Женину книгу, ее тяжелый вариант, в мобильном приложении для чтения электронных книг Еридер Престиджио на Андроиде. Над самой книгой Светка про себя все-таки посмеивалась, как и над Женей, которая всерьез стала такое читать. Ведь откровенная ерунда про то, как женщине стать счастливой, написанная мужчиной! Да фиг с ним, что мужчиной... Каким мужчиной! Видела она этого Вадима... Он ей представился как Вадик. Это был ее ровесник, двадцатипятилетний аспирант. Вся его внешность выдавала тот факт, что у него самого женщин-то не особо чтобы и было. А тут целую книгу написал... Интересно, это по поводу ее издания он приходил к Иноголовцеву два года назад? Наверняка директор ему отказал, и Вадик воспользовался каким-то сервисом электронного самиздата, наподобие Ридеро или Селфпаб.

Мысли Светкины блуждали вокруг личности автора, потому что содержание книги ее абсолютно не трогало. Но она пыталась чисто технически отыскать какую-то подсказку, как увидеть скрытый текст, но пока не получалось.

Со стандартными настройками размера шрифта в книге было сто двадцать страниц. На первой была обложка. Далее заботливый автор, знаток семейной жизни, взаимоотношений полов и женской психологии, предлагал всем своим читательницам понять, что же делает счастливыми их самих, и заниматься только этим, а не жертвовать ни в коем случае своими интересами ради будущего мужа, семьи... И бла-бла-бла. Если девушки будут делать так, то они станут счастливыми, а уже потом, будучи счастливыми, найдут себе вторую такую же счастливую половинку, которая так же счастлива своим счастьем, и вот тогда все у всех будет хорошо... Ну, OK, допустим. В конце книги все это еще раз подытоживалось тем, что главное — найти свое счастье самим. И потом вдруг ни с того ни с сего:

«А для этого нужно... путешествовать!»

Серьезно? И весь вывод? Летайте в отпуск в Турцию? Как она два года назад. Или вот директор, возможно, сейчас. Крутой вывод, нечего сказать... Про «путешествуйте» было написано на сто девятнадцатой странице, а на сто двадцатой уже шло оглавление. И все! При чем же здесь «Восьмой день»? Светка припоминала, что тогда, два года назад, на встрече с Иноголовцевым, они, кажется, обсуждали какие-то околорелигиозные или эзотерические вопросы относительно семи дней творения. Но в самой книге-то ничего подобного не было...

Наверняка автор где-то оставил подсказку. Иначе в чем смысл делать этот скрытый текст, если никто его не откроет? Возможность должна быть, но для некоего узкого круга лиц. Прочитав всю книгу, Светка не нашла внутри чего-то, что хоть как-то бы намекнуло ей на тайный код. Может, автор спрятал нужное слово не в самой книге, а вне ее? В соцсетях? Нужно найти автора, подписаться на него, просмотреть все его записи... Хотя нет. Зачем все? По времени! Просмотреть записи в районе даты выпуска книги. Он же явно пишет о том, что издал книгу. И в этом посте как-то упоминает скрытый текст. Светка решила так и сделать, но сначала пошла глянуть

выходные данные. На последней странице точно должна быть дата... И вот она открыла форму для быстрого перехода на нужную страницу, хотела ввести «сто двадцать», но промахнулась и случайно написала «сто двадцать один».

Отгадка оказалась гораздо проще. Светку перелистнуло на сто двадцать первую страницу книги, которая действительно существовала и от которой можно было листать дальше.

Олег

Был ли сорокалетний мужчина женат, тоже легко проверить. На его рабочем столе вы увидите фото какой-нибудь бабы в купальнике. То есть, в принципе, рабочие столы молодой девушки и сорокалетнего мужика не отличаются. Только девушка знает, как зовут ту, в купальнике, что смотрит на нее, а мужик понятия не имеет. Просто фото из интернета, главное — сексуально.

Вот и Олег поставил себе одну на свой рабочий Леново, который домой он никогда не брал, так что залезть в него его домашние не могли. Но сегодня он был дома, и рабочий ноут был при нем. И с него уже с утра улыбнулась Олегу полуобнаженная нимфа с маленькой грудью.

«Бывают такие моменты в жизни, когда ничего не бесит и все по кайфу», — думал Олег, лежа в кровати с ноутбуком в субботу в их семейной ипотечной двушке совершенно один, недавно проснувшись и вяло пролистывая ленту Фейсбука.

Вечно пристающий ребенок и вечно недовольная всем жена порядком достали его за последний месяц, учитывая, что он работает с девяти до шести, выматывается, приходит домой отдохнуть, а тут еще хуже. Выходные его уже давно не радовали. Потому что выходные — это сводить ребенка к врачу, племяннице купить свитер, по магазинам, к маме зайти помочь повесить ей штору и тому подобное. Поэтому самой лучшей новостью за долгое-долгое время было известие, что подруга жены забирает ее с сыном к себе на дачу на все выходные. Пивка Олег взял еще с вечера.

Давно он уже подумывал сделать что-то с долгой дорогой на работу. Реально, каждый день два часа тратились на это. Час в одну сторону, и час — в другую. Это все потому, что когда они выбирали район, где купить квартиру в ипотеку, чтобы там организовать свое уютное семейное гнездо и растить детей, его жене ничего не нравилось из того, что было ближе к его работе, и она настояла на этом районе. А он что? А он согласился. И теперь мечтал о том, что совсем рядом с работой вполне можно снять недорого небольшую комнатушку, объясняя это тем, что иногда приходится задержаться по работе, а ехать все-таки далеко. И можно будет там ночевать по пятницам, объясняя это тем, что именно в пятницу — самый вал работы: надо подчистить все, что не успел за неделю. А по факту — выпивать там пивка в одиночестве и дрыхнуть долго в субботу утром.

План казался Олегу вполне здравым, и он уже хотел было найти группы по недвижимости и посмотреть, почем нынче снять комнату, как вдруг увидел репост интересной записи. Его привлек заголовок «Геометрия для начинающих». Уже пролистнув это сообщение, Олег никак не мог выгнать из головы вопрос, что же именно привлекло его в этом заголовке. Он никогда не имел никакого отношения к геометрии, его возраст не позволял считать себя начинающим. Но он понял. В этом названии была интрига: непонятно, для кого сообщение. Ведь если бы заголовок гласил: «SMM для начинающих» — тут все понятно. SMM для начинающих SMMщиков. Неинтересно. Такого мусора полно в сети. Сущности плодят самих себя. Скоро соцсети будут состоять из одних SMMщиков, которые будут SMMить самих себя своими конкурсами за репост. А во фразе «Геометрия для начинающих» есть загадка. Непонятно, для начинающих кого. Геометров? Учителей геометрии? И это действительно цепляло и привлекало. Настолько, что Олег закрыл группы по аренде жилья и вернулся в ленту найти тот пост.

В самой записи говорилось, что некий Вадим Дольфин проводит серию вебинаров, принять участие в которых может любой желающий абсолютно бесплатно. Надо

только успеть зарегистрироваться до двух часов, а было уже тринадцать пятьдесят девять. Не было времени читать дальше, и, сам не зная почему, Олег взял и зарегистрировался на этот вебинар. Только после он стал читать, про что же там.

Говорилось что-то вроде:

«Геометрия в нашей жизни играет куда большую роль, чем мы ей обычно отводим. Наши представления о том, какие фигуры мы собой представляем, какие фигуры представляют собой окружающие и вообще весь мир вокруг нас, имеют огромное значение. В глубине души каждый из нас воспринимает мир как геометрическую фигуру. Себя в нем тоже. А главное — человек представляет себе как геометрическую фигуру и свою любовь. Это очень базовое представление, которое глубоко внутри нас, и мы часто его не замечаем. Но ведь именно им и продиктованы все наши поступки. Два человека никогда не поймут друг друга, сколько бы общих тем и интересов у них ни было, если в глубине одного любовь — это окружность, а другого — отрезок. Вебинар поможет понять, какая ты фигура и какой фигурой для тебя является внешний мир, подходят ли эти фигуры друг другу или противоречат. И если противоречат — какая из фигур должна измениться».

«Вот это круто», — подумал Олег.

Он давно чувствовал, что где-то глубоко внутри они с его женой Женей какие-то уж совсем разные люди, но подтвердить эту мысль на своем бытовом уровне он не мог. Ведь у них действительно много общих интересов, начиная от музыки, заканчивая цветом любимого пальто. И ведь именно благодаря этим общим интересам когда-то лет тринадцать назад они и познакомились, стали встречаться, решили, что подходят друг другу настолько, что готовы прожить вместе всю жизнь... Что, собственно, и вознамерились осуществить спустя пару лет после знакомства. А вот теперь что-то явно шло не так. Хотя те самые общие интересы особо не изменились: про то же кино они могли болтать все так же долго. Но очевидно, что дело было не в кино, а в чем-то другом. После прочитанного Олег представлял в своей голове супругу в виде гигантского шара с ее лицом, а себя — в виде не менее гигантского небритого куба. И как он, будучи кубом, все пытается поцеловать шар своим плоским лицом-гранью, а шар все время крутится и подставляет ему... Ну в лучшем случае затылок.

«Отлично, что успел зарегистрироваться», — заключил Олег.

Может, это сама судьба подкидывает ему ответы на все вопросы? И ведь в такое удачное время! Обратил бы он внимание на этот вебинар, если бы ему через пять минут нужно было бежать проверять уроки сына? А так... Что может быть лучше? В свой выходной день, когда немного выпил не надо никуда идти, а можно без всяких обязательств повтуплять в какую-то эзотерическую фигню. Или не фигню. В любом случае — прикольно.

Олег кликнул по ссылке, и включилось лицо молодого парня, который без всяких предисловий и представлений начал вещать примерно следующее:

«Я говорил со своей любовью. И любовь спросила меня, какая я фигура. Я ответил, что треугольник. А она сказала, что она круг. Тогда я спросил, что мне делать. Она предложила стать кругом. Как же я могу стать кругом, если я треугольник? Сначала надо понять разницу: у треугольника есть три вершины и три стороны, и если ты находишься на одной из вершин, то видишь только две стороны, третью же ты не увидишь никогда. Даже если ты меняешь свое положение в рамках треугольника и переходишь с одной вершины на другую, все равно третья сторона от тебя всегда ускользает. И это проблема треугольника. А круг? Он не решает проблему треугольника. Потому что ничто не может решить проблему треугольника. Круг просто предлагает треугольнику стать кругом и изменить свой взгляд в принципе. Стать треугольнику кругом возможно. Нужно, чтобы изнутри треугольника что-то сильно начало давить на его стороны, выгибая их в дуги. Тогда стороны треугольника сольются с вершинами и друг с другом. Если у треугольника есть четкое разделение между вершиной и стороной, то у круга этого разделения нет. У него точка с линией сливаются в одно целое. И когда треугольник становится кругом, он становится совершенным треугольником».

Часть 2. Страховка от НПС

Женя

— Свет, ну ты чего? Просто позвони ему и спроси. Все выяснится. Вот увидишь.

— Да не буду я ему звонить! Сам позвонит. Если захочет.

— Так и будешь дальше мучиться?

— Так и буду.

— Ну и зря. Сама себе все накручиваешь, а ситуация может быть гораздо проще.

Раньше Жене нравилось в разговорах со Светкой, которые у них периодически возникали в обеденный перерыв за чашкой кофе на небольшой кухне их небольшого издательства, выступать в роли умудренной опытом старшей сестры. Давать советы, делиться своими наблюдениями, рассказывать истории из жизни. Хоть в чем-то должна же быть польза от ее возраста? Хоть кому-нибудь... Во всем, что касалось работы, а точнее, применения в работе различных современных технологий: компьютеров, интернета, смартфонов и приложений — Светка постоянно затыкала ее за пояс. Поэтому ситуации, когда Светка в очередной раз ссорилась с очередным своим парнем, для Жени были настоящей отдушиной. Здесь она могла развернуться по полной: побыть и мамой, и психологом в одном лице. Женя вспомнила, как тогда она как истинный друг и наставник заботливо и терпеливо выслушала новую Светкину повесть о несчастной любви и попыталась помочь ей по-настоящему.

— Мне тоже как-то раз соседи сказали, что только что видели Олега якобы с другой женщиной. Что видели, как они с ней зашли вместе в подъезд дома неподалеку от нашего. Что женщина эта моложе меня лет на... Ну и тому подобные вещи. Я, как дура, сидела вот так же и ревела. Но потом собралась и позвонила ему. И знаешь что? Все выяснилось. И никакая это была не любовница, а просто сотрудник полиции, молодая следователь. Она караулила возле подъезда прохожих, чтобы пригласить побыть понятыми при обыске. Ей попался мой муж, который согласился, и они с ней зашли в эту квартиру. Полиция подозревала там наркоманский притон, и, судя по обстановочке в квартире, как Олег потом рассказывал, оно действительно так и было. Но в тот раз почему-то нашли только один шприц с небольшой дозой, которого на срок явно не хватало. Хотя перерыли все. Олегу тогда запомнилось, что следователь, когда они уже уходили ни с чем, спросила у хозяйки квартиры, чисто внешне очень страшной женщины лет за пятьдесят, правда ли, что ее на районе называют Баба Яга. Та не стала ей отвечать. А знаешь, почему я поверила тогда мужу? Потому что буквально на следующий день мы проходили уже с ним вместе мимо того дома и видели, как страшная женщина переезжает, а какие-то молодые парни, действительно весьма наркоманского вида, помогают ей закидывать все ее барахло в грузовичок.

Женя солгала тогда Светке. Она выдумала эту историю от начала до конца. Решила: может, это как-то взбодрит Светку. И что самое забавное, помогло. Светка увлеклась историей, успокоилась, улыбнулась. А главное — поверила, что все может быть совсем не так, как это на первый взгляд выглядит со стороны. И вроде в итоге они все там выяснили и даже помирились с этим ее парнем. Или нет? Женя точно не знала, но почему-то решила, что да.

После того случая Женя все чаще стала задумываться... Как же так? Она просто на ходу сочинила какую-то небылицу. И это помогло человеку...

Вот и вечером в среду, девятого августа две тысячи семнадцатого, аккурат на следующий день после прочтения «Восьмого дня» Вадима Дольфина, у себя дома, как всегда в эти дни одна, Женя снова вспомнила эту историю со Светкой. А еще вспомнила слова Арсения Иноголовцева, когда тот принимал ее на работу. Тогда он спросил между делом:

— Ну хорошо, бухгалтером. Но почему именно в издательство?

— Хочу стать писателем.

— Лги.

— Не умею.

— Не быть тебе писателем, — заключил директор, подписывая документы на прием ее в бухгалтерию.

И потом она попробовала солгать Светке. И у нее получилось. Интересно, этим ли самым занимаются писатели? А что? Они выдумывают истории, которые в реальности не происходили. И этим помогают людям. Наверное. А действительно, помогают ли? Жене почему-то вспомнилась история про мясо и овощи из «Восьмого дня». Очевидная же выдумка! Но может, и правда кому-то помогла лучше понять причины семейных проблем.

Женя действительно в свое время устроилась работать в издательство, чтобы быть поближе к писательской среде. Ее часто преследовала мысль, что она хочет что-то написать, но не знает, что именно. Развить же эту мысль до каких-то конкретных действий мешал... Скажем так, ее некий внутренний цензор. Иногда ей приходило в голову что-то типа:

«О, это интересная мысль, надо бы ее записать. Хотя бы даже — да неважно — для какого-нибудь собственного чисто личного блога. Речь даже не о том, чтобы сразу там какую-нибудь книгу выпускать. Просто пришла в голову интересная мысль».

И вот далее, когда вставал вопрос, стоит ли эту мысль записать именно с целью показать людям, чтобы кто-то прочитал, хотя бы просто друзья-знакомые, у нее всегда этот ее внутренний голос спрашивал:

«А зачем? Ну, то есть... Как бы... А что это даст? Это что, изменит мир? Это что, какое-то научное открытие ты совершила? Ведь нет».

Каждый день создаются какие-то кучи, миллионы текстов: люди пишут — кто в интернете, кто в печатных изданиях, кто профессионально как-то пишет, кто просто всякую чушь... И Женю нашу всегда преследовал вопрос, помогают ли вообще людям, хоть кому-нибудь, эти тексты. То есть в ней боролись два таких момента. Один — абсолютно творческий, который говорил ей просто:

— У тебя родилось вот это, значит, оно родилось, это чисто творческий порыв, а значит, стоит его записать.

Тогда как второй нес сомнение:

— Должна же быть какая-то польза, должна быть какая-то практическая польза.

А почему, собственно, творчество вообще должно кому-то помогать? Оно ведь не для этого... Вот работа бухгалтера, безусловно, должна кому-то помогать. Например, помогать Иноголовцеву не сесть в тюрьму за неуплату налогов. Но это же не творчество. Женя как бухгалтер здесь ничего нового не выдумывает. Просто хорошо, качественно исполняет то, что она умеет, то, чему когда-то научилась. Это ее ремесло. К творчеству не имеет никакого отношения.

Перебирать в голове подобные мысли Женя могла долгими часами, пока они снова не возбуждали в ней желание писать самой. Если в итоге это желание все равно с течением времени никуда не девается, то почему бы не попробовать записывать хоть что-то? Да хоть эту историю про наркоманский притон, которую она когда-то сочинила для Светки на ходу. Женя включила ноут, открыла новый вордовский документ и стала пытаться формулировать предложения в голове. Слова не шли. Вместо того чтобы что-то писать, она просто стучала двумя указательными пальцами по ряду клавиатуры с цифрами, попадая одним пальцем на единицу, а другим — на ноль. Мысли же ее все плавали где-то далеко и никак не хотели концентрироваться на конкретной, простой, бытовой, реалистичной, хоть и выдуманной, истории про Бабу Ягу.

Женя очнулась и посмотрела на экран. Часы в правом нижнем углу показывали, что так она просидела восемь минут, а написала за это время только:

10101001100010101100011100 0

Забавно... Это же какое-то число у нее вышло, только в двоичной системе счисления. Интересно, какое... Женя открыла браузер и начала вбивать в поисковую строку слова «калькулятор двоичной». Продолжать не пришлось, поисковик сам

подсказал ей продолжение запроса — «калькулятор двоичной системы счисления онлайн» — и первым номером выдал сайт numsys.ru. Женя скопировала то, что у нее получилось, и вставила в поле «Перевести». На экране высветилось это:

88888888

Женя аж подпрыгнула на стуле. Да не может быть, чтобы так красиво! На всякий случай она даже скопировала свои восемь восьмерок и провела обратную операцию перевода из десятичной в двоичную. Все было правильно: переведенные восьмерки показали ей тот же набор нулей и единиц в том же порядке.

«Прикольно, — подумала Женя. — Но вот что с этим делать? Разве что опять-таки попытаться записать эту историю... А зачем?»

«Восьмой день... — пялясь на эти восьмерки на экране, уже второй раз за вечер вспомнила Женя название электронной книжки со странностью. — Светка поди забыла про это сразу как я ушла от нее со своим покетбуком... Когда шеф вернется, точно не вспомнит... Надо не забыть спросить Иноголовцева самой...»

Женя вспомнила Светкино «он в отпуске до шестнадцатого». Открыв календарь кликом мышки по правому нижнему углу экрана, дабы посмотреть, через сколько дней по плану должен был выйти на работу директор, Женя даже слегка вскрикнула. Сегодня было девятое августа, а выйти он должен был шестнадцатого, то есть ровно на восьмой день.

Вадик

Вадик часто вспоминал, как родилась его первая книга «Восьмой день», посвященная женскому счастью. Казалось бы, что двадцатипятилетний аспирант может написать про женское счастье? Но в этом-то и был эксперимент — написать что-то, в чем нет никакого личного опыта, а только ориентируясь на то, что пишут в соцсетях. Для этого Вадик даже подписался на кучу бабских пабликов. Однако саму идею он все-таки прихватил из жизни, наблюдая за семейными отношениями своей старшей сестры.

К моменту публикации этой книги в электронном виде Вадик уже успел написать новую, а вот презентацию своего проекта для доклада на кафедре так до сих пор и не закончил. Месяц назад он договорился с профессором Картановым, что выступит на заседании ученого совета, и вот уже завтра необходимо было представить презентацию, так как кафедра будет формировать бюджет на следующий год. Если его проект не получит финансирования, он будет отложен еще минимум на год до следующего принятия бюджета. А проект этот, разумеется, требовал финансирования. Немалого финансирования. Это свою книгу Вадик выпустил бесплатно как электронный самиздат, потому что этого ему было достаточно. Он рассчитывал, что «Восьмой день» и так сделает счастливым минимум одного человека. А если двух, так и вообще — успех. Здесь же речь шла уже о по-настоящему научной разработке, позволившей бы существенно увеличить количество счастливых людей в принципе.

Прорабатывать свою идею Вадик принялся сразу после написания первой книги, параллельно с написанием второй, когда был на творческом подъеме. Сама идея казалась ему настолько умопомрачительной и так его вдохновляла, что потоку мыслей в его голове не было предела. Но вот когда наконец приспичило их обработать и структурировать в полноценную презентацию, он уже несколько дней безуспешно тупил в компьютер и не мог нормально все сформулировать, чтобы было коротко, по делу, разложено по полочкам, разбито на слайды, цели, задачи, графики и таблицы. Повезло еще, что Картанов был к нему суперлоялен и разрешил представить проект сразу на заседании, не попросив выслать ему описание заранее, дня за три.

Вадик совершенно потерял счет времени, когда в раздумьях провел всю ночь перед заседанием, но так ничего и не написал. Сообразив, что уже утро, а он никак не продвинулся с вечера, Вадик решил свести все хоть как-то, в хоть какую-то более или менее законченную форму, без излишней красоты, в надежде, что самое главное он, конечно же, объяснит на словах. Ведь красноречия ему было не занимать, главное —

начать, настроиться на нужный поток, и слова сами пойдут из него. Тогда он сможет все рассказать в лучшем виде, несмотря на скудную презентацию.

Где-то часа за полтора до начала заседания он сохранил файл в том виде, в каком успел, схватил ноутбук и побежал распечатывать раздаточный материал.

В поисках типографии или копировального центра Вадик потерял довольно много времени. Он уже не был уверен, что не опаздывает, поэтому обратился к случайному прохожему:

— Извините, вы не подскажете, сколько времени?

Прохожий, мельком оглядев Вадика, искренне изумился:

— Вот же у вас часы...

— Да в том-то и дело, что такое чувство, будто спешат... Потому и спрашиваю, чтобы сверить...

— Три пятнадцать, — уверенно сказал прохожий, никуда не посмотрев, и поковылял себе дальше.

— Ну вот, точно спешат, — пробормотал Вадик, что-то как будто подкручивая на своих часах. — Спасибо большое!

Вадик солгал незнакомцу. Его часы не спешили. Они были сломаны и уже год как в принципе не шли. Однако на очередное важное мероприятие он их неизменно надевал. Во-первых, они дорого выглядели, соответственно, подчеркивали статус, добавляли значимости. Во-вторых, он давно вывел закономерность: дорогие часы у докладчика сильно отвлекают уважаемую публику от мелких нестыковок в его докладе. Все рассматривают часы и пытаются прикинуть, а кое-кто и загуглить, сколько же они стоят. При этом никто не обращает внимания на всякие расхождения в цифрах и отсутствие логики в самом докладе. Это выручало Вадика уже несколько раз, поэтому, не успев нормально доделать презентацию и будучи готовым рассказать о своей гениальной задумке скорее эмоционально, нежели аргументированно, он снова надел свои дорогие сломанные часы. Это его и подвело.

Когда Вадик поднялся на кафедру и вошел в аудиторию, заслушивание докладчиков уже шло полным ходом. Часы на стене показывали четыре пятнадцать, то есть заседание, назначенное на четыре, уже продолжалось пятнадцать минут, и доклад Вадика, разумеется, пропустили. Вадик с извиняющимся и искренне растерянным видом вошел в аудиторию, показал всем на часы и пожал плечами, тем самым, с одной стороны, оправдываясь за опоздание, с другой — лишний раз уводя мысли присутствующих от его личности на сами часы. Но как же так? Почему незнакомец сказал «три пятнадцать»? Если сейчас уже четыре пятнадцать, а до университета он шел минут десять, тогда явно было больше четырех.

Вадик сначала подумал про случайного прохожего, что тот, зараза, солгал. Но потом вспомнил, что, вообще-то, сам солгал ему про часы и что, так-то, он всем про них лжет. Тогда он вспомнил: ведь он же писатель. А писатели не лгут, они выдумывают. И успокоился.

Когда заседание закончилось, Вадик сразу же подбежал к завкафедрой с извинениями, объяснениями и еще бог знает чем. Цель была одна — уговорить сурового Картанова выслушать его хотя бы две минуты. Вадик уверял: этого будет достаточно, чтобы примерно понять суть его разработок и назначить следующее заседание на самое ближайшее время, так как дело не терпит никаких отлагательств. Две минуты у профессора были, и он терпеливо согласился выслушать молодого гения.

— Я разработал решение, которое позволит совершенно безболезненно сократить население Земли в два раза. Причем оставшаяся половина будет являть собой новый, улучшенный вид человека.

Картанова услышанное не порадовало. Перед важнейшей научной конференцией, к которой он рассчитывал привлечь своего подопечного как перспективного молодого антрополога, этот подопечный всерьез хочет представить проект по очистке планеты от ненужного человеческого мусора и выводу людей новой расы.

— Молодой человек, а вам не кажется, что подобные идеи уже имели место быть

в истории человечества, и все попытки их реализации, мягко говоря, не привели ни к чему хорошему?

— Я прекрасно понимаю, о чем вы подумали, Игорь Германович. Но, простите, вы не так поняли. Вернее, еще раз прошу прощения, это, конечно же, я не так выразился. Уникальность данного решения как раз и заключается в том, что оно абсолютно гуманно и никоим образом не предполагает физического уничтожения целых групп людей против их воли ради каких-то там экспериментов с чистотой расы и тому подобным. Я не зря сказал, если вы заметили: с помощью нашего метода мы уменьшаем население ровно в два раза. Это ключевой момент. Потому что мы делаем из двух людей одного.

— Ни хрена себе гуманно... — Картанов от изумления не заметил, как перешел на совершенно нехарактерную для себя лексику.

— Более чем. Вся сложность такой процедуры — в первоначальном отборе людей. Но я убежден, что с вашей помощью мы придем к удачному решению и для этой стадии. А суть в том, что необходимо просто найти пару. Условно говоря... Есть один индивид, который обладает недюжинными интеллектуальными способностями. Начитанный, интеллигентный человек, но при этом совершенно нулевой как менеджер. Плохой организатор. Ну нет такого таланта, хоть ты тресни. Мямля, одним словом. Чрезмерно мягкий и некоммуникабельный человек. И противоположная ему особь. Человек, обладающий всеми этими талантами. Такой энергичный парень, душа компании, за словом в карман не полезет, со всеми договорится, все организует. Но немного туповат, бывает. И эта парочка прекрасно осознает свои недостатки, и они реально мешают им в жизни полностью самореализоваться и принести максимальную пользу человечеству. В итоге получаем, что второй ведет свадьбы и корпоративы, а первый плесневеет дома в четырех стенах, разрабатывая машину телепортации, о которой так никто и не узнает. Двух мнений быть не может, эти люди сами бы хотели каким-то образом получить недостающие им хорошие качества друг друга. Мы же просто убиваем двух зайцев. Делаем из этой пары одного человека, объединяем в нем лучшие качества обоих, а худшие отбрасываем. При этом население планеты сокращается ровно в два раза. Плохие половинки людей уходят в небытие, а их лучшие стороны объединяются с лучшими сторонами других людей. И возникает более совершенный... Да к чему это слово? Давайте говорить прямо: более счастливый человек.

— Вадим, а как вы хотите назвать таких людей?

— Образованные люди.

— Как? — машинально переспросил Игорь Германович, хотя услышал все с первого раза.

— Образованные люди. Как противопоставление людям рожденным. Обычные люди родились, а эти образовались. Вернее, были образованы. Из двух рожденных. Поэтому они — образованные люди.

Картанов истерически рассмеялся:

— Дольфин, что вы несете? У вас даже фантастика получается какая-то ненаучная.

— Как скажете, профессор... Но я все равно напишу об этом книгу.

— А вот этого не надо. Вы напишете, а кто-нибудь воплотит.

Светка

Вторые сто двадцать страниц книги, ее скрытую часть, Светка прочитала, казалось, за минуту. Не отрываясь, ни на что не отвлекаясь, жадно хватая и запихивая в себя все новые и новые куски текста, пока не дошла до настоящего конца. Там так и было написано:

«Это настоящий конец. Если вам хватило удачи и настойчивости обнаружить этот текст, вы наверняка еще раз захотите попробовать посмотреть, а что же дальше. Но

советую вам не тратить время: дальше ничего нет. Все, что должно быть дальше, находится внутри вас самих. Ваш Вадим Дольфин».

Общедоступная часть книги заканчивалась странно, если не сказать глупо:

«Чтобы стать счастливой, больше путешествуйте».

Скрытая же часть продолжала эту, на первый взгляд законченную, мысль:

«Путешествуйте внутрь себя».

И далее шла подробная инструкция, как это делать.

Такого Светка не ожидала. Она оторвала глаза от экрана смартфона и лежала на диване, просто уставившись в потолок. Путешествовать внутрь себя.

«Полноценный космический туризм появится еще нескоро, — говорилось в книге. — А любое путешествие по поверхности нашей планеты ограничено сравнительно небольшой площадью этой поверхности. Тогда как путешествие внутрь себя — это как полет в космос. Бесконечный космос внутри».

Светка повторила про себя эти последние три слова несколько раз, как мантру, и аж вся содрогнулась. Звучит пугающе. Что-то такое очень наркоманское или сумасшедшийское. Расскажи об этом друзьям или родственникам — непременно поднимут на смех или вызовут скорую. А между тем, если задуматься... А что такого? С понедельника у нее законный отпуск, и она, как всякая молодая девушка, желает путешествовать. Время есть. Но нет денег. Все отпускные, как обычно, отправятся на оплату съемной квартиры. Какие варианты?

На следующий день они пили кофе с Женей на работе, и Светка не удержалась:

— А ты куда в отпуск поедешь?

— Никуда я не поеду. У меня отпуск в этом году выпал на начало сентября. Куда я сына в это время дену? Как раз школа начинается. Тут буду. А ты?

Светка попыталась произнести это как бы невзначай, как что-то само собой разумеющееся:

— Да вот, решила попробовать попутешествовать внутрь себя...

Женя помолчала какое-то время, потом нерешительно улыбнулась:

— Да ладно прикалываться. Я серьезно.

Но осеклась, посмотрев на Светку. Та и не думала шутить:

— Серьезно-серьезно. Никогда о таком не задумывалась?

— Да о чем?

— Что не обязательно, чтобы увидеть что-то новое, менять обстановку и тому подобное, куда-то ехать. За границу, например. Получать визу, с багажом с этим маяться — ну, ты понимаешь. А так... Совершенно бесплатно. Сидишь себе дома. Раз — и пошел внутрь себя путешествовать.

— Ага, бесплатно. Это ж сколько выпить надо.

— Да нет же. Это все заблуждение, что только алкоголь и наркотики эти двери открывают. Ничего подобного. Это доступно всем в любое время. Главное, чтобы никто не отвлекал. Закрыться, телефон отключить... И вперед.

— Ерунда какая-то... И ты пробовала уже так?

— Нет. Хочу попробовать. Как раз в отпуске. Два года назад в Турцию летала. А в этот раз вот так. Сравню ощущения.

— Сравнит она. Ты в Турции десять дней провела: в море купалась, на пляже загорала, фрукты ела... А тут что? Пролежишь дома вечер в мечтаниях: всех своих бывших вспомнишь да как маленькой у бабушки в деревне голяком на речку бегала. Потом есть захочешь — так и вернешься из своего путешествия.

— Поначалу, возможно, не исключаю, что так и будет. Но тут надо провалиться глубже... Пройти сквозь свои собственные мысли, воспоминания, чтобы в итоге увидеть то, о чем даже не догадывался. Рухнуть в ту часть своего сознания, которая не реагирует на эту реальность, не запоминает ее, не анализирует, а сама генерирует новую реальность. Выдумывает, иными словами.

Женя немного дернулась при слове «выдумывает» и с этого момента перестала хихикать, а слушала уже внимательно и с участием. Светка продолжала свой вольный пересказ «Восьмого дня», вернее, скрытой его части:

— Два сознания в каждом человеке работают. Ну, как две части головы. Одна — реактивная, а вторая — креативная. Креативная что-то выдумывает, что-то новое, чего раньше не было. Да хоть просто историю какую-нибудь, анекдот, байку. Типа, из жизни, но которой на самом деле не происходило. Если ты писатель — она выдумывает новую повесть. Если ученый — какое-нибудь открытие. Реактивная же часть всего лишь реагирует на окружающую обстановку. В Турцию съездил, посмотрел на море — потом думаешь об этом, вспоминаешь, рассказываешь кому-нибудь.

— Так это твое путешествие внутрь себя, получается, по сути — метод докопаться до этого креативного сознания? Просто сидишь, ни о чем не думаешь... Ну как ни о чем? Совсем ни о чем вряд ли получится. Ни о чем специально. А мысли твои сами бегут куда-то: вспоминают день, еще раз какие-то разговоры с людьми повторяют, которые велись сегодня. И в какой-то момент, если не бросить, а продолжать так сидеть, память исчерпает все, чем может поживиться реактивное сознание, кончится у него еда, вот тогда и откроется тебе сознание твое креативное. Оно просто начнет тебе производить какие-то картинки, истории — что-то новое, чего ты не видела до этого и в чем не участвовала.

Светка была поражена, насколько близко к тексту книги сейчас рассуждала Женя. В какой-то момент она даже стала подозревать, не добралась ли бухгалтер тоже до потайного текста странного Дольфинова произведения.

— Ну да. Все так и есть. В этом и суть путешествия в себя. И никаких наркотиков. То есть, как я понимаю, наркотики могут в этом помочь. Чисто технически. Просто ускорить процесс. Поэтому многие ими и пользуются. Но это не обязательно. Конечно, может, это удастся не сразу. Нужно будет на какое-то время там застрять, в этой реактивной части твоей головы, как на таможне или на выдаче багажа. Поэтому я и хочу это попробовать в отпуске, а не вечером накануне нового рабочего дня. Вечера попросту может не хватить. Надо уделить этому больше времени. Зато потом, когда у тебя получится и ты пройдешь сквозь эту стену... Тогда и увидишь его.

— Кого?

— Не знаю. Ты же, когда в новое место едешь, где еще не была, не видишь заранее, что там.

— Вообще-то я брошюры читаю. Достаточно заранее. Или интернет.

— Да, пожалуй. А тут, видишь, не прочитаешь нигде об этом. То есть, наверное, кто-то может потом описать результаты своего путешествия, что он увидел в итоге. Но информация эта будет бесполезна. Ты-то в своем путешествии увидишь совсем другое.

— Ну хорошо, что именно — неизвестно. Но какого плана картинку ты все-таки предполагаешь там увидеть?

Светка пару минут думала молча, затем произнесла:

— Тот самый новый мир. Где ты никогда не была. Что-то отличающееся. Ради чего все мы и уезжаем.

Далее они просто молчали. Кофе давно закончился, как и обеденный перерыв. Потом обе, не сговариваясь, встали и пошли по своим кабинетам. Женя бросила Светке вслед:

— Откуда ты все это взяла?

— Да так. Ниоткуда. Сама выдумала.

Светка подумала, что солгала Жене, не сказав про книгу, и это плохо. Женя же подумала:

«Вот, еще кто-то что-то сам себе выдумывает. Может, в этом и нет ничего плохого? Может, это кому-то поможет?»

Вечером дома после работы Светка уже жалела, что все так запросто рассказала ЕГэ. Та вроде ей покивала, а все равно, поди, будет считать ее теперь наркоманкой или сумасшедшей. Вот же эти наркоманы и сумасшедшие! Испортили обычным людям жизнь. Попутешествовали, значит, внутрь себя какими-то своими запрещенными методами. С тех пор, можно сказать, простым смертным дорога туда закрыта.

«Он придет за тобой на восьмой день...» — только сейчас Светка вспомнила, что

на такой фразе оборвался ее сон неделю назад, когда будильник прозвенел утром в пятницу четвертого августа.

Больше ничего из того сна она вспомнить не могла. Кто он? С какой целью он должен прийти? Почему именно на восьмой день? Между тем, восьмой день наступал как раз завтра, в пятницу одиннадцатого августа, и весь этот день Светка прокручивала в голове то сообщение из своего сна, пока на работе проставлялась тортиком за то, что с понедельника уходит в отпуск. Вечером же после рабочего дня случилось самое значимое событие в ее жизни: никто за ней так и не пришел.

Светка просто сидела на диване в своей съемной квартире и уже около получаса бесцельно разглядывала все вокруг. Взгляд останавливался на каких-то предметах быта, которые неминуемо вызывали пару мыслей или ассоциаций. Она посмотрела на бежевые обои и поразмышляла, почему хозяйка выбрала именно такой цвет. Посмотрела на двойной выключатель на стене и подумала:

«Как так сделали, что одна кнопка включает все лампочки на люстре, а вторая — ни одной?»

Каждый предмет в этом мире вещей достоин того, чтобы вызвать какой-то отклик у наблюдателя. Причем у разных людей отклик может быть разный. У всех свои ассоциации. Цепочка же этих ассоциаций может быть вообще бесконечной. Выключатель подключили неправильно. А вот Андрей, с которым они жили в квартире на Берёзовой, всегда все подключал правильно. У Андрея была черная сумка на ремне, и он делал только два положения ремня: или самое длинное, или самое короткое.

Светка закрыла глаза и увидела дверь. Подъездную. Как-то странно... Что значит «увидела»? Ведь глаза-то она закрыла. Как можно что-то увидеть с закрытыми глазами? Пока глаза Светкины были открыты, она видела стену своей квартиры. Ну как своей? Чьей-то чужой квартиры, в которой она жила за деньги. Видела чужую стену, покрытую чужими обоями, которые она сама никогда в жизни бы не купила. Закрыв же глаза, примерно на том же месте она увидела дверь. Как это объяснить? Понятно, что никакой двери в стене не было. Дверь была внутри нее. Условно говоря, дверь была у нее в голове. Глаза она просто закрыла. Они же никуда не делись. Закрывая глаза, мы же их не выбрасываем. Они продолжают видеть. Мы просто преграждаем им обзор во внешний мир, и они начинают смотреть внутрь. Фактически внутрь твоей головы. И вот именно там, внутри своей головы, Светка и увидела эту дверь.

Ну и что дальше? Если есть дверь, значит, надо в нее войти. Или выйти. Но как? Двери-то нет. А если даже и есть... Она же маленькая! Дверь поместилась у Светки в голове, то есть она меньше головы. Посмотреть на нее этим своим внутренним зрением, допустим, и можно, но как через нее пройти? Это ведь нужно с ногами залезть в свою голову... Как говорили в детстве, пролезет голова, пролезет и все остальное. Но чтобы все остальное пролезло в голову — про такое Светка никогда не слышала, и книга «Восьмой день» об этом умалчивала.

Олег

Олег солгал незнакомцу, спросившему у него, который час. Он понятия не имел, сколько сейчас времени. На днях его с работы уволили, и вчера он изрядно напился. А сегодня... А что сегодня? Выполз на промозглую улицу из своего похмельного грота и слонялся бессмысленно целый день.

Когда прохожий в дорогих часах остановил Олега вопросом, тем самым прервав цепочку его мыслей, Олег подумал:

«Что может быть абсурднее?»

Человек в дорогих часах спрашивает у безработного, сколько времени. Ему захотелось как-то отметить этот эпизод в вечности, придумать остроумный ответ, но ничего в голову не пришло. Сколько времени на самом деле, Олег действительно не знал. Поэтому взял и солгал. Просто так. Люди иногда лгут просто так.

Некоторое время назад Олег посмотрел серию вебинаров «Геометрия для

начинающих». Его впечатлило. Наверное, после них он принял окончательное решение снять комнату и проводить больше времени в одиночестве. Но не чтобы бухать, а чтобы писать. Писать художественные тексты, сочинять, в общем, выдумывать, как он всегда и хотел, но вынужден был работать тренером по продажам ради денег. И все было хорошо, пока он не окунулся в свою писанину настолько, что стал забивать на работу. И вот теперь его благополучно уволили. Он не знал, как об этом сказать жене, поэтому просто перестал появляться дома. Какие-то сбережения еще оставались, и он пока продолжал оплачивать свою съемную комнатушку, равно как и гасить ипотеку за квартиру, в которой жили жена с сыном.

Эти вебинары по геометрии помогли Олегу открыть для себя метод полного погружения в художественное творчество. Садишься, открываешь новый текстовый файл на ноутбуке и фигачишь все подряд, что придет в голову. Помойка полная. Но где-то после получаса такой писанины открывается какой-то канал, и начинают писаться вполне осмысленные истории. Часто ему не хватало терпения, и он думал: ну все, сегодня уже не откроется канал, полчаса уже льется в документ всякая белиберда, пора заканчивать. Как вдруг, раз — и понеслось повествование.

Вернувшись с прогулки в этот раз, Олег решил снова проделать то же самое. Возможно, в последний раз. Рабочий ноутбук пришлось оставить при увольнении. В его распоряжении был только старый хозяйский жутко тормозящий комп. Его он и включил, чтобы начать писать бред примерно следующего содержания:

— Почему бы тебе не покончить с собой?

— Я бы давно уже покончил, но у меня на счету есть кое-какие сбережения. Все никак не могу их потратить. А просто так бросать их жалко.

— Пожертвуй их какому-нибудь детскому дому.

— Блин, не все так просто. Я ж не могу быть уверен, что прям так сразу получится убить себя с первой попытки.

— В смысле?

— Ну, отдам я все деньги. Попытаюсь покончить с собой. А мало ли что? Не получится. Откачают меня. Надо будет какое-то время еще здесь провести до следующей попытки, а денег нет. Тупо поесть, переночевать, какие-нибудь новые таблетки купить для самоубийства.

— Ну знаешь, ты рассуждаешь так, будто совсем умирать не собираешься.

— Именно что собираюсь. Готовлюсь основательно. Все возможные риски хочу учесть. Знаешь, сколько я уже таких историй прочитал про неудачные попытки? И как люди потом мучились...

— Я понял. Тебе нужна страховка. Страховка для самоубийц. Она так и называется: от неудачной попытки самоубийства. Страховка от НПС. Это официальный термин.

— А есть такая?

— Конечно. Чего сейчас только нет. Люди на ровном месте делают бизнес. И деньги из воздуха.

— Не, погоди, ну а смысл-то какой? Я прихожу, плачу страховой взнос, допустим, тысячу рублей, а они обязуются в случае неудачной попытки самоубийства выплатить мне, скажем, сто тысяч. И в чем прикол? Как они проверят, что это была неудачная попытка? Захочу я заработать на них таким образом, специально наглотаюсь таблеток несильно и попрошу соседа, типа, случайно ко мне зайти, обнаружить меня и скорую вызвать. Элементарно же подстроить.

— Да ладно. Это ж страховая. Обмануть страховую невозможно в принципе. Наверняка есть куча всяких условий. Узнал бы лучше, чем предположения высказывать.

Олег перестал набивать этот диалог в Ворде и действительно решил проверить. Открыл Яндекс и набрал в поисковике «страховка от НПС». Он удивился, насколько популярным оказался сервис. Вариантов было много. Посмотрев телефон самой первой страховой, Олег сразу же позвонил выяснить, в каком случае не будет страховых выплат. Милый, хотя немного и автоматизированный, женский голос в трубке ответил коротко и по существу:

— Только если вы умрете. Никаких документов, свидетельств о смерти мы не требуем. Если клиент действительно умирает, он обычно просто не приходит. Тогда его деньги остаются у нас.

— А если действительно не получилось?

— Можете в любой момент прийти и забрать деньги. Или взять часть денег, а часть оставить и продолжать попытки.

— Как в этом случае я должен буду доказывать, что попытки действительно были и что у меня действительно не получилось?

— Никак, — девушка рассмеялась, но даже смех ее показался Олегу все равно каким-то роботизированным. — Я понимаю, это несколько непривычно. Но данный вид страхования принципиально отличается от всех остальных. Здесь нет такого понятия, как страховые выплаты. Мы просто возвращаем вам ваши деньги — и все. Нам неважно, действительно у вас не получилось или вы просто передумали.

— Что-то я не пойму...

— Зато мы вас прекрасно понимаем. Скорее всего, вы уже пользовались услугами страхования здоровья или имущества. У вас есть определенное представление, как работает подобный бизнес, и вы его проецируете на этот, совершенно иной, новый продукт. Если вы хотите совершить самоубийство и у вас есть абсолютно любая сумма денег... Здесь оговоримся, что, конечно же, пять копеек мы от вас не примем. Минимальный взнос — десять тысяч рублей, а далее — на ваше усмотрение. Сумму вы отдаете нам. Мы с вами заключаем договор, по которому обязуемся в любой момент вернуть вам эти деньги обратно по первому вашему запросу. Только за вычетом наших услуг, а это двадцать пять процентов от суммы. За эту плату вы получаете гарантию, а лучше сказать, уверенность, что в случае любых непредвиденных обстоятельств вы не останетесь без гроша. Семьдесят пять процентов ваших сбережений гарантированно будут вас ждать. Согласитесь, это лучше, чем если бы вы пожертвовали деньги детскому дому? Там вернуть не получится ни процента от суммы.

Олег был в шоке. Какая крутейшая бизнес-схема! Это же практически банк. Только они не выплачивают процент клиентам, хранящим в нем деньги, а наоборот, еще и берут процент за хранение. А в большинстве случаев, наверное, и вовсе получают всю сумму навсегда.

— Слушайте... А кто это выдумал?

— Один писатель. Просто так, творчества ради, взял и описал эту идею в своей книжке. Наш босс прочитал и воплотил. Он был первым на рынке, кто предложил такую услугу. Сейчас уже, конечно, многие прочухали. Конкуренция растет. Но в данном вопросе огромное значение имеет репутация компании, а это как раз и является нашим основным конкурентным преимуществом. Ведь поэтому вы обратились именно к нам, верно?

— Верно, верно... Статистика самоубийств растет. Уверен, ваш бизнес процветает.

— Дело даже не в том, что растет статистика. Бизнес процветает за счет инфантилизма современных самоубийц. Да, их становится все больше и больше. Но надо понимать: это не те люди, которые в порыве эмоционального возбуждения бросают все, а сами бросаются под поезд. Нет. Это люди, которые сидят за компьютером и целенаправленно ищут, как бы им попроще умереть. Для них характерны поисковые запросы типа «сколько таблеток съесть, чтобы точно не проснуться». Мы ведь как раз по таким запросам и продвигаемся. Их количество растет гораздо большими темпами, чем само количество самоубийств, вы не поверите.

— Охотно поверю. Но все-таки интересно, что же вы предлагаете таким людям. У которых еще не сформирована потребность именно в страховке. Я-то пришел к вам по запросу «страховка от НПС», так как уже обдумывал подобные вещи. Вернее, мне подсказал один товарищ, но это неважно. Совсем другой вопрос, если молодой инфантильный самоубийца просто ищет в сети правильный способ. Как вы говорите, спрашивает, сколько принять таблеток. Чем вы завлекаете такого пользователя? Я просто на секунду представил себя на его месте. Зачем мне вообще заморачиваться по поводу денег? Ну, есть у меня пара десятков тысяч. Я просто оставляю их у себя. Не

получилось самоубийство? Ну ОК, я просто вернулся домой и забрал снова все свои деньги. Все, а не семьдесят пять процентов. Понимаете?

— Прекрасно понимаем. И тем не менее. Вот вы, к примеру, пришли к нам. Что помешало вам поступить так, как вы описываете?

— Хм, хороший вопрос... Но я вам, пожалуй, смогу ответить. Видимо, страх неопределенности. Если я кому-то уже отправил деньги, то они уже не мои, хотя я еще не умер. А вдруг что-то пойдет не так, и мне они снова понадобятся...

— Это, бесспорно, наше главное преимущество.

— Да, да... Но если я оставлю деньги у себя? Например, на счете в банке. Я без проблем смогу ими воспользоваться в случае неудачной попытки. Но мне неизвестно, кому они достанутся в случае удачной.

— Совершенно верно. Вот вы и ответили на свой вопрос сами. Люди, которые спрашивают у Яндекса, сколько именно таблеток принять, ищут уверенности. Они не хотят попробовать пять таблеток, посмотреть, что будет, а в случае чего докинуть еще две. Нет. Они хотят точно знать. Так и с деньгами. Не отдают они их кому попало, чтобы была возможность их вернуть в случае чего. А не оставляют их у себя, потому что неизвестно, кому они потом достанутся. Лучше отдать их нам. Мы честная организация и в открытую говорим, что в случае успеха ваши деньги остаются нам. Это хорошее вознаграждение за нашу заботу о вас и предоставление вам той самой уверенности.

— Слушайте, а ваш босс знает вообще, что вы мне это все рассказываете? Есть у вас какие-то правила, скрипты, как с клиентами разговаривать? А то вы мне вот так всю подноготную выложили... Я теперь не хочу самоубийством кончать, а хочу вашим бизнесом заняться.

— Без проблем. Для этого у нас предусмотрена агентская схема сотрудничества. Вы ставите наше приложение и регистрируетесь в нем как наш страховой агент. Если вы обратили внимание, мы предлагаем клиентам очень удобный геолокационный сервис. Ближайший к вам агент подъедет для оформления договора в течение пяти минут. Это важнейшая составляющая наших услуг. Ведь человек, решившийся на самоубийство, не готов ждать, дозваниваться, ехать в офис и тому подобное. Система вешает заказ, и ближайший по местоположению агент его подхватывает. Из тех двадцати пяти процентов, что мы берем с клиента, пять получает агент. Это двадцать процентов от выручки. Согласитесь, заманчиво? Особенно, если клиент убьет себя. Тогда вы получите двадцать процентов от всей суммы.

Часть 3. Геометрия для начинающих

Женя

Женя считала, что перед тем как в ее жизни случится нечто выдающееся, обязательно будет какой-то знак. Вечером в пятницу она снова сидела дома одна за ноутбуком, уже привычно гоняла туда-сюда на сайте nymsys.ru свою последовательность из нулей и единиц, специально сохраненную в текстовом документе на рабочем столе, получала раз за разом восемь восьмерок, пялилась на них и думала:

«Да, это он и есть. Это точно знак».

Когда раньше Женя размышляла про знак, она, честно говоря, рассчитывала, что он будет более прозрачным и понятным. Теперь знак вроде бы был, а пользы от него не было. Женя не имела ни малейшего представления, как его растолковать.

Все это в любом случае связано с Вадимом Дольфиным. С него все началось. Женя вспомнила, как два года назад, в две тысячи пятнадцатом, Светка Замкнутова принесла в бухгалтерию документы, в которых значились эти имя и фамилия. Из-за такой необычной фамилии Женя их и запомнила. Затем от нее ушел муж. Она долго искала ответы во всевозможных статьях и книгах про психологию отношений, и вот,

спустя два года, Жене вдруг попалась на глаза цитата того самого Вадима Дольфина. Она нашла его книгу, которая называется «Восьмой день». Мысли в книге оказались, на ее взгляд, достаточно поверхностными: ничего особенного она там не обнаружила. А главное — было непонятно, почему книга так называется. Еще одна странность: две вроде как одинаковые электронные версии этой книги весили по-разному. Даже ее сверхпродвинутая коллега не смогла в этом разобраться. Они со Светкой договорились ждать их шефа Иноголовцева, и ровно в тот вечер, когда до его выхода на работу осталось восемь дней, Женя в задумчивости настучала на клавиатуре двоичным кодом восемь восьмерок. Ну разве не знак?

При чем же здесь восьмерка? Вроде бы она есть символ бесконечности. Но тут ведь еще и день. Не просто «восемь», а «восьмой день». А где был счет дней? Тут Женю осенила догадка. Ведь в Библии. Ну конечно! Сотворение мира за семь дней. Что же тогда такое день восьмой? А его попросту не существует! Восьмой день — его нет. Мир создавался за семь дней, поэтому у нас в неделе семь дней. Восьмой день — это то, чего не существует. И при этом это бесконечность. Бесконечность, которой не существует. У Жени аж мурашки по коже пробежали от произнесения этой фразы.

Она погуглила и нашла кучу эзотерики на тему восьмого дня. Все это интересно, но при чем тут Дольфин? Его книжка вообще не про Бога, творение и тому подобные вещи. Она тупо заканчивается тем, что, мол, хотите быть счастливы — путешествуйте. Ну зашибись! Это она и так знала. И своим скудным умом можно дойти до такого гениального вывода. Вообще, этот момент бесил Женю постоянно. Читаешь книгу и понимаешь: ну ничего же особенного! Всего лишь записанные мысли, которые и так, без этой книги, есть у меня в голове. Просто я держу их при себе. А кто-то взял и записал. И оп — такая, книга. Все, он писатель, читайте его, граждане.

Женя вспомнила вчерашний обеденный разговор со Светкой на кухне. Больше всего ее впечатлила мысль про креативное и реактивное сознания. Тогда она, помнится, сказала Светке:

— Слушай, а правда. Теперь я понимаю. Часто бывает так, что обычные люди... Ну вот я, например, бухгалтер... Мы просто живем, действуя только одним чисто реактивным сознанием. Что происходит в жизни — на то мы и реагируем. А сами ничего нового не выдумываем. У нас как будто атрофировалась эта часть мозга. А может, ее никогда и не было? Говорят же «талант». Ну, типа, он или есть, или нет его. Так вот, может, у меня попросту нет креативного сознания? А у какого-нибудь писателя... Да вот хотя бы этого Картанова... Вчера опять по нему документы проводила. Какую-то уже пятую или четвертую книгу он у нас издает. Вот прет человека, значит, работает эта его креативная часть на полную катушку.

— Не-не, ты не путай, — прервала ее Замкнутова. — То, что человек пишет книги, еще не значит, что он их из головы берет. Ты читала этого Картанова? Это же сплошь мемуаристика какая-то... Или публицистика... Не знаю, как назвать... Он описывает реальные события: то, что на самом деле происходило в его жизни, в жизни других людей. Креативная часть сознания тут совсем ни при чем. Работает тот же самый реактивный мозг, как если бы ты дома сыну рассказывала, что у тебя сегодня на работе интересного произошло.

— На работе интересного? Ну ты пошутила...

— Не суть. Главное, что быть писателем — не значит активно использовать это свое креативное сознание. Можно просто умело, профессионально, чисто по-ремесленному пользоваться реактивным. Наблюдать, что вокруг происходит, хорошо запоминать, анализировать, делать из этого выводы, а потом записывать хорошим грамотным языком — и все. Ты писатель. Не хуже Картанова. А можешь быть и вполне себе не творческим человеком, бухгалтером, например, и просто от нечего делать в разговорах с друзьями ни с того ни с сего начинать выдумывать какие-нибудь истории, которых не было в реальности. При этом вовсе их никуда и не записывать. Вот здесь как раз твое креативное сознание и будет работать.

Выдумывать... Вот что Женю по-настоящему увлекало. Рассуждения, почему жизнь такая — это фигня. А вот выдумать другую жизнь — это круто. Ведь человек умеет

выдумывать то, чего нет. Создавать что-то новое, творить, пусть и у себя в голове. Если все правда и Бог есть, то Он явно наделил человека этой особенностью не просто так. Может, это и есть тот самый образ и подобие, а вовсе не руки-ноги. Бог умеет творить из ничего. Так и человек тоже! Бог выдумал: а давай, вот здесь будет море, тут берег с песочком, рядом пальмы будут расти... Дыщь — оно появилось. Ну а человек чем хуже? Он тоже может сесть и выдумать: а давай, такие мужчина и женщина живут одиноко, оба несчастны, а потом... Дыщь — встретились и нашли друг друга. Человек, как Бог, просто может взять и сочинить им новую жизнь. И записать ее, например. В общем, как-то распространить. Много других людей будут ее читать, и она как бы будет существовать в их головах ничуть не хуже, чем реальная жизнь, выдуманная Богом, существует на планете Земля. Могут даже фильм снять. Тогда вообще будет вполне себе реальный кусочек жизни. Посмотрел в окно — там одна жизнь. Посмотрел на экран — там другая. Почему, собственно, эта другая хуже? Типа, ту придумал Бог — Он всемогущ. А эту — никчемный мелкий человечишка, который ничего не может. Но если человечишка настолько никчемный, во-первых, почему крутой Бог его за столько лет не переделал? А во-вторых, почему многие люди предпочитают смотреть на экран, а не в окно? Наверное, человечишко-то не такой уж и никчемный... И вот я, не такой уж и никчемный человечишка, который тоже может что-то выдумывать, как и Бог, а значит, сотворен по Его образу и подобию и получил от Него кусочек его умения творить, которым больше никакие существа, кроме меня, не наделены, работаю бухгалтером и какие-то цифры считаю. А еще читаю книжки других, в принципе, таких же, как и я, людей. Зачем? Ведь я сама могу сесть и выдумать себе новую жизнь! Что мешает? Чтобы создать кино, понятное дело, нужны ресурсы. Ну так я и не хочу сотворить что-то для того, чтобы это увидели другие. Да и чтобы они это читали, мне тоже не нужно. Я просто хочу выдумать новую жизнь. Сама для себя. Вот не нравится мне моя жизнь теперешняя. Хрен знает, кто ее выдумал, но она не клевая. Что если вместо того, чтобы продолжать жить ею, взять и выдумать новую?

Женя считала, что выдумывать-то она как раз умеет. Записывать не получается. В ее голове все складывается интересно, а как начнет писать — сразу ступор. Ну и ладно! Значит, займемся тем, что получается. Нужен лишь какой-то небольшой внешний раздражитель, от которого она оттолкнется, чтобы пошел поток мыслей.

Вдруг раздался звонок в дверь, и вместо того, чтобы идти открывать, Женя стала рассуждать.

Кто это может звонить сразу в дверь? Ведь внизу есть домофон. Это либо сосед, который уже находится в доме, и ему незачем спускаться вниз, чтобы звонить в домофон. Либо может быть еще такой вариант: человек подошел к домофону, а дверь открыл кто-то выходящий. В этом случае что делать? Можно глупо улыбнуться выходящему и продолжить стоять, притворившись, будто тебе и не надо внутрь. Стоишь такой просто дожидаешься кого-то. А потом, когда сосед уйдет, окатив тебя с ног до головы подозрительным взглядом, нажать-таки заветную кнопку домофона. Это в каком случае полезно? Если ты, например, точно не знаешь номер квартиры. И если ошибешься на домофоне, это еще не так страшно, как если тебе ответит совершенно незнакомый голос из-за двери квартиры. Или еще хуже — дверь откроется сразу, без предупреждения, а там не тот человек, которого ты хотел увидеть. И даже не какой-то второстепенный член его семьи, а вот прям совсем кто-то посторонний. Это ужасно. Поэтому, конечно, лучше потренироваться на домофоне. Хотя против таких ситуаций давно уже изобретено прекрасное средство — телефон. Можно ведь позвонить и уточнить номер квартиры заранее... Короче, решение остаться снаружи, если кто-то уже открыл тебе подъездную дверь, — оно как будто против человеческой природы. Людям более свойственно в такой ситуации идти внутрь, а там уж будь что будет. Именно поэтому и случаются еще в наши дни такие казусы, когда тебе звонят прямо в дверь квартиры.

Да, что-то прям выдумать у Жени не получилось. Ну и пусть. Не сразу. Зато получилось такое нормальное рассуждение. Вполне можно его записать. Книги этого

Картанова и состоят сплошь из таких рассуждений да жизненных наблюдений. Почему это он писатель, а она нет? Потому что не может это записать? Да сейчас запишет! Женя решительно открыла ноутбук, но спохватилась: кто-то все еще звонил ей в дверь. Рассуждала про домофоны она минуты две-три, а этот кто-то, добравшийся до ее дверного звонка, за это время не ушел, а продолжал настойчиво жать кнопку. Значит, что-то важное! Что-то с сыном? Женя услышала, как позвонили в соседскую дверь. Ну да, такая слышимость, можно подумать, у вас не такая... Было слышно, как соседи открыли и о чем-то разговаривали с пришедшим... То есть кто-то не знал ее телефона, а знал только адрес. Ему открыли подъездную дверь, и он настолько торопился, что сразу побежал к двери в квартиру. При этом долго жал звонок и ждал, пока откроют. В итоге позвонил соседям. Точно что-то случилось с сыном! Ведь он первый раз уехал без нее так надолго! А она, как дура, сидит и рассуждает, быть писателем или не быть, выдумывать новую жизнь или не выдумывать...

Все это пронеслось у Жени в голове в одно мгновенье, пока она бежала до двери и открывала ее. В подъезде стояла немолодая женщина из Средней Азии, а сосед ее отчитывал, что она не работает, а ходит побирается. Видимо, действительно звонила во все квартиры подряд и просила помочь деньгами. Женя, не говоря ни слова, вытащила из кармана висевшей в коридоре куртки полтинник, протянула женщине и захлопнула дверь. Внутри у нее будто все оборвалось, она сползла по стене, села на пол и уткнулась лицом в свои ладони.

Вадик

Вадик терпеть не мог контекстную рекламу: она была безжалостна к писателям. Ведь часто он искал что-нибудь в интернете не лично для себя, а для своей новой книги. Например, вчера он гуглил, сколько стоит час работы проститутки. Понятно, предложения какого рода услуг стали его преследовать потом в сети повсюду. Его не интересовали эти услуги, он просто хотел упомянуть стоимость часа в своей книге. Ну там, в общем, парню приходится заплатить девушке за второй час, потому что он не уложился в первый из-за того, что его отвлекла другая девушка...

Это был небольшой эпизод из еще не дописанной книги, назвать которую Вадик собирался «Образованные люди», как и обещал своему научному руководителю профессору Игорю Германовичу Картанову два года назад, в две тысячи пятнадцатом. Тогда же ему очень понравилось и запомнилось, как издатель Арсений Карлович Иноголовцев все время говорил:

«Мы же с вами образованные люди».

Первую книгу Вадика «Восьмой день» издательство «Сны» так и не выпустило. Пришлось опубликовать ее как электронный самиздат, после чего она благополучно канула в небытие и счастливым никого не сделала. Затем Вадик практически сразу же написал еще одну никому не нужную и оставшуюся совершенно незамеченной вещь «Страховка от НПС». И вот уже, наверное, где-то год домучивал этих «Образованных людей». Все как-то не шло. Не знал, как закончить. Но все-таки не бросал. Надеялся все же где-то на дне своей души, что, может, хоть эта новая книга да принесет кому-нибудь счастье.

Вадик открыл Гуглодок с текстом «Образованных людей», чтобы продолжить писать, и задумался, а читает ли Гугл эту его книгу. Все предыдущие он писал в Ворде, эту же решил начать прямо в Гуглодоке. Если он все-таки допишет ее, но не станет вообще никак публиковать, прочтет ли ее хотя бы Гугл? Что Гугл читает его электронную почту, не было ни малейшего сомнения. Однажды Вадик отправил Картанову письмо, что не сможет прийти на заседание кафедры, потому что у него собака заболела. Так потом получал везде объявления с рекламой ветеринарных клиник.

Вадик был уверен: за всеми нами следит Гугл. Или Фейсбук, или Яндекс — не так важно. У него много имен. Гугл он здесь использовал как имя нарицательное для обозначения этой транснациональной маркетинговой машины, двадцать четыре часа

в сутки, семь дней в неделю занимающейся анализом поведения людей в сети с целью постоянного подкидывания им все новых и новых товаров и услуг, которые якобы должны их заинтересовать. То есть Гугл — это такая продажная ФСБ, у которой есть куча крутых современных инструментов слежения за человеком, но использует она их не в целях безопасности государства, а тупо ради загребания денег.

Однако Вадик, в отличие от некоторых своих современников, считающих точно так же, этой слежки за собой нисколечко не противился. Не боялся утечки каких-то своих конфиденциальных данных ни в Гугл, ни в реальные спецслужбы страны. Всем своим присутствием в интернете он бросал нахальный вызов этим махинам с их алгоритмами и методами наблюдения за свободными гражданами. Принципиально не скрывая никакой информации о себе, подключал любые сервисы, везде ставил галочки, со всем соглашался, тем самым пытаясь доказать миру только одно — что он сам не равен сумме всей той информации, которую можно получить о нем в интернете. Даже разместив в сети самое дорогое, что у него было на данный момент, — свою незаконченную книгу «Образованные люди» — на Гуглодоках, паролем от которых и были «Образованные люди», пусть и в английской раскладке задом наперед, Вадик не боялся, что книгу могут украсть. Ведь даже это его детище — это все равно не он сам.

Если однажды кто-то, неважно, будь то Гугл, ФСБ или какие-нибудь там хакеры, вдруг захочет собрать всю имеющуюся в сети информацию о Вадиме Дольфине: украсть все его пароли, залезть во все его соцсети, взломать всю его переписку, всю историю банковских транзакций или географию перемещений, словом, все, что оставлено им в интернете, — соединив это, они не получат Вадика. Ведь самое главное, что делает из Дольфина Дольфина, находится только где-то глубоко в нем самом и больше нигде. Получить доступ к этому, даже с помощью самых современных технических средств, попросту невозможно. Такие у Вадика были убеждения, и он всячески пытался доказать их истинность, прежде всего самому себе, но хотелось бы впоследствии и всему человечеству.

Самое интересное, считал Вадик, что как раз в отличие от информации, доступной о нем в интернете, благодаря его наплевательскому отношению к вопросам конфиденциальности, та значимая часть Вадима Дольфина, которая находится только внутри него, — это очень спонтанный и крайне нерегулируемый рандомайзер. Нерегулируемый даже им самим, что уж говорить об алгоритмах Гугла. А дело все в том, что эта его сущность, этот внутренний Вадик, постоянно генерирует новые мысли. Причем делает это весьма самопроизвольно и хаотично.

Вот уже больше двух лет назад родился у внутреннего Вадика вопрос:

«Если ты не можешь сделать счастливым человека, которого знаешь лучше всех, — себя самого, то с чего решил, что сможешь подарить счастье кому-то другому?»

Откуда к нему пришла эта мысль — неведомо. Точно не извне, как если бы он увидел, услышал или прочитал что-то, способное навести на подобные размышления. Значит, изнутри. То есть он именно сгенерировал это соображение совершенно самостоятельно и без каких-либо причин это сделать. Как будто просто сработал генератор случайных мыслей, находящийся где-то в глубине самого человека.

Ну, записал Вадик куда-то, чтобы не забыть, этот вопрос про счастье. Еще и перевел его в женский род зачем-то. Естественно, Гугл все прочел и начал предлагать Вадику услуги женских психологов. А Вадик тем временем от нечего делать разработал методику, как путешествовать внутрь себя: совершенно легально, без использования каких-либо запрещенных препаратов переноситься из этого мира в параллельный и жить там, можно даже и не возвращаясь. Эта информация поистине достойна того, чтобы заинтересовать ФСБ, и ее Вадик тоже оставил где-то в интернете. Но веселость и причудливость этого внутреннего рандомайзера заключается как раз в том, что как только Гугл или ФСБ нашли твои записи и на их основе стали что-то предпринимать (здесь неважно, следить за тобой или просто показывать рекламу), генератор случайных мыслей в голове Вадика прокручивается еще раз и производит на свет абсолютно новые, никак не связанные с предыдущими идеи.

В любой момент, никто не знает когда, та сущность, которую мы знали как

Вадима Дольфина, может взять и обновиться. А Гугл по-прежнему предлагает ему женских психологов. А Вадика уже не интересуют женские психологи. Все, он уже написал об этом книжку и идет дальше. Только что у него появилась новая мысль о том, что людей, желающих покончить с собой, можно страховать от неудачной попытки самоубийства и называть эту услугу «страховка от НПС». Возможно, и ФСБ продолжает следить за Вадиком, думая, что он знает, как без наркотиков уходить в иные миры и не возвращаться. Но Вадик уже и думать об этом забыл. Потому что только что у него сгенерировалась новая мысль, и теперь он думает, например, о том, как из двух несчастных людей образовать одного счастливого. Хотя...

Вадик только сейчас понял, до этого два года безуспешно прорабатывая свою идею образованных людей то как научный проект, то как художественную повесть, в чем изначально ошибался. Надо не из двух несчастных делать одного счастливого, а из четырех несчастных делать счастливых двух.

Светка

Светка очнулась от своих мыслей и обнаружила себя сидящей на скамейке в совершенно незнакомом дворе возле совершенно незнакомого подъезда. Рядом с ней лежала стопка газет, и Светка, ведомая каким-то загадочным внутренним чувством, где-то внутри осознавая, что так и надо сделать, но совершенно не отдавая себе отчета почему, взяла стопку, подошла к двери подъезда, подняла глаза на табличку «подъезд 1, квартиры с 1 по 20» и набрала на домофоне единицу. Голос в динамике что-то неразборчиво буркнул с вопросительной интонацией, на что Светка уверенно произнесла «почта». Дверь подъезда открылась, Светка поднялась на пролет между первым и вторым этажами и с поразившей ее саму скоростью разложила все газеты по двадцати ящикам за какие-то пять секунд. Выходя с оставшейся пачкой газет из подъезда, она ни на секунду не сомневалась, куда идти дальше. Она точно знала, что идти надо к следующему, второму подъезду. Квартиры с 21 по 40.

Пока шла до следующего подъезда, она пыталась понять, что происходит. Она работает почтальоном и явно работает не первый день, потому что точно знает, куда идти и что делать... Что с ней случилось? Потеря памяти? Прошло много лет с того вечера, когда она засела дома экспериментировать с путешествием внутрь себя согласно инструкции Вадима Дольфина из книги «Восьмой день»? Можно же посмотреть дату на газете! Стояло двенадцатое августа две тысячи семнадцатого года. Нет, ничего подобного, никакого куска жизни не выпало из ее памяти. Разговаривали с Женей про креативное и реактивное сознания они в четверг, десятого августа. Как раз зарплату дали, а ей сразу с отпускными. В пятницу она принесла торт на работу, так как это был последний день перед отпуском. Это было одиннадцатое августа, когда вечером после работы она попробовала, будучи дома одна, совершить это путешествие внутрь себя.

Светка подумала, что стоит кому-нибудь позвонить, и уверенно сунула руку в карман абсолютно не ее куртки, будто точно знала, что телефон именно там. Там он и был, но это был не ее прикольный Сяоми, а какая-то старая Нокиа. Никаких контактов в памяти телефона, никаких последних вызовов в ней не было.

Подойдя к следующему подъезду и готовясь набрать номер первой квартиры, Светка поняла. Это сон. Конечно! Как она сразу не догадалась? Сейчас она вспомнила. Как раз вчера утром, выходя на работу, она увидела в ящике газету и подумала, что заберет ее вечером. А потом всю дорогу думала, есть у почтальонов ключи от подъездов или нет. До этого она жила в другом месте, и ее квартира как раз была первая в подъезде. Ей постоянно звонила женщина и говорила всегда одно и то же слово «почта». Прям точно так же, как и она его произнесла сейчас. Но потом, когда она переехала в другой дом, при этом опять в первую квартиру в подъезде, к ней больше никто никогда не звонил, а газеты в ящиках оказывались регулярно. Ну, теперь все понятно! Светке полегчало. Сон — это всего лишь причудливо переплетенные мысли, чувства и

желания прожитого дня. Нормально, что, подумав днем о работе почтальона, во сне она сама стала таковым.

Придя к этой радостной мысли, Светка поймала себя на том, что, пока размышляла обо всем об этом, постоянно набирала один и тот же номер квартиры «21» на домофоне. Хотя никто ей не открывал. Домофон звонил до какого-то момента, обрывался, и она набирала снова. Обнаружив это и посмеявшись про себя, Светка решила, что сейчас позвонит в соседнюю квартиру, как вдруг дверь открылась. Она сначала подумала, что кто-то выходит из подъезда, но нет. Открыл дверь домофон с той стороны. То есть из той квартиры, в которую она названивала уже Бог знает сколько времени, погруженная в свои мысли.

Светка зашла в подъезд, и тут же дверь первой квартиры с силой распахнулась. На пороге стоял мужик за сорок. Он был явно разъярен.

— Ты че творишь, а, курица? Зачем ты звонишь мне десять раз? Если не открывают, значит, нет никого. Очевидно же. Мало ли что у меня. Может, я занят. Может, сплю после ночной смены. Может, собаки мои болеют. Набрала один раз, не открывают — все, иди дальше. На хрена ты трезвонишь?

— Почта... — только и смогла из себя выдавить совершенно испугавшаяся Светка и протянула мужчине газету.

Тот захлопнул дверь перед ее носом с такой силой, что Светкино лицо обдул легкий ветерок, и она на секунду вспомнила отпуск в Турции два года назад и приятный мягкий морской бриз.

Выйдя из подъезда, Светка просто пошла к следующему, третьему. Затем к четвертому, который оказался последним. Ровно на нем газеты у нее и закончились. Было не очень понятно, что делать дальше. У Светки никак не выходил из головы тот мужчина, который, конечно, наорал на нее дико, но все-таки она сама была виновата: может, действительно она его разбудила, а он сутки работал до этого. Ну кто его знает? Всякое бывает. А она ведь даже не объяснилась с ним. Так и будет считать ее безмозглой до конца своей жизни. То есть до конца Светкиного сна. Так тем более! Если этот сон может кончиться в любой момент, они с мужиком могут вообще больше не увидеться никогда. Так и останутся врагами. Нужно срочно успеть помириться. Интересно, как вот это постоянное чувство вины даже во сне не дает покоя человеку. Светка решила вернуться и поговорить.

Она очень удивилась, увидев мужчину сидящим на скамейке у подъезда. Он был не разъярен, а скорее опечален. Светка не нашла ничего лучше чем просто сесть рядом. Некоторое время они сидели молча: Светка смотрела на мужчину, а он смотрел вдаль. Потом он начал разговор.

— Ты извини, что наорал...

— Наоборот, это вы простите, — затараторила Замкнутова от неожиданности, что мужчина на нее не зол. — Я задумалась. Такая глупость была с моей стороны продолжать набирать номер вашей квартиры. Я так растерялась, что просто не успела даже извиниться. Мне правда очень жаль. Я понимаю, вы спали...

— Да я не спал. Не в этом дело. Кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». Не такой уж я и старый. Мне сорок два. Как тебя зовут?

— Света. Хотя я не уверена, что здесь меня так зовут. Там меня звали Света.

Мужчина понимающе ухмыльнулся. Светку удивило, что он не стал расспрашивать, где это здесь и как это там.

— А меня Олег. Так вот, дело в том, что я был не один. Ну ты понимаешь. С девушкой.

— Ой, простите. Это еще хуже.

— С девушкой легкого поведения. С девушкой по вызову. Понимаешь?

Светка перестала бормотать извинения. Она молча смотрела Олегу прямо в глаза и не знала, как реагировать.

— Я раньше никогда не разговаривала вживую с мужчиной, который пользуется такими услугами.

— А я раньше ими никогда и не пользовался. Я был женат. Хотя ты скажешь «а

что мешало в браке?» Ну вот что-то мешало. Но неважно. Вот, первый раз решил попробовать. И ничего не получилось.

— Из-за меня?

— Я оплатил час. Мы вроде как начали. Мне как-то это все было неловко, и я очень долго настраивался.

— Прошу, не надо подробностей.

— Короче, как раз когда я настроился, и прозвучал твой звонок. Поначалу я пытался его не замечать и продолжать сохранять настрой. Думал, еще пять секунд, не больше, и звонок прекратится. Но нет. Он продолжался. Естественно, весь настрой и пропал. Потому я так и психанул.

Светка молчала, потому что понимала, что десятый раз просить прощения уже никуда не годится.

— В общем, вернуть настрой так и не получилось. А пока я старался, час прошел. Я не уложился, и мне еще и пришлось заплатить ей за второй час.

— Слушайте... Слушай, Олег. Я понимаю свою вину. Глупо просто сидеть и извиняться. Если эти неудобства, которые я тебе доставила, просто выражаются в деньгах, то давай я просто заплачу тебе. Сколько стоит час проститутки?

Олег не отвечал.

— Я бы погуглила сама, но здесь у меня нет моего Сяоми. Только обычная Нокиа. Звонилка без интернета.

— Никогда не гугли, сколько стоят проститутки. Тебе потом такая реклама будет везде показываться... Знаешь, а я тебе благодарен. Может, это был знак. И действительно не надо так.

— Это пожалуйста. Ты можешь так думать сколько угодно. Но я все равно верну деньги, — продолжала Светка, роясь в карманах, правда, все медленнее, потому что начинала понимать, что денег-то у нее и нет. — Так, я сейчас дойду до почты, попрошу оплату за то, что уже разнесла, вернусь и отдам.

Олег просто и грустно улыбался, рассматривая красивое лицо своей новой знакомой.

— Что? — спросила Светка. — А, понимаю. Зарплаты почтальона, конечно же, не хватит, чтобы оплатить эти услуги. Ну что ж, ладно. Тогда в качестве компенсации можешь переспать со мной.

— Я не хочу.

— Ах, да. Момент упущен. Я понимаю. Долго настраиваться. Вот как мы поступим. Запиши мой телефон. Когда захочется вызвать, позвони мне. Приеду и отработаю свой глупый проступок.

Светка осеклась. Она начала было диктовать номер своего телефона и тут поняла, что здесь он у нее может быть совсем другим.

— Нет, лучше скажи мне ты свой. Я наберу, и мой у тебя высветится.

Олег молча достал свой Самсунг, и Светка успела заметить, что модель такая же, как у ЕГэ. Он продиктовал цифры. Она непривычно набрала их на кнопочном телефоне. Смартфон Олега завибрировал, и он довольно долго и удивленно смотрел на экран, прежде чем произнести:

— Это вам на почте такие номера дают?

Олег показал Светке экран. На нем красовалось:

10101001100010101100011100 0

Олег

— Нет, сегодня я не смогу, — пробубнил Олег в телефон сонным голосом. — У меня... Это... У меня собака заболела.

Не дождавшись ответа на том конце, он сбросил вызов, отключил звук и толкнул свой Самсунг подальше под кровать. Повернувшись со спины на бок, он почти уткнулся носом в лицо двадцатипятилетней приятно пахнущей даже с утра девушки, которая спала с ним в одной постели, положив на него сверху одну из своих рук и одну

из своих ног. Олег устроился так, чтобы поразглядывать ее лицо, пока она не проснулась. Чтобы подольше ее не будить, он придумал синхронизировать их дыхания, так чтобы ее вдох совпадал с его вдохом, а выдох — с выдохом. Чтобы она не вдыхала его выдохи. А то это может ее разбудить.

«Светка похожа на ту девчонку в купальнике с обоев моего старого рабочего Леново», — подумал Олег, воскресив в памяти милое лицо неизвестной красотки из интернета, которая два года назад, в две тысячи пятнадцатом, приглянулась ему настолько, что он поставил ее фото на экран своего тогдашнего рабочего ноутбука.

Как так вышло, что он познакомился с молоденькой почтальоншей? На фига он выдумал эту идиотскую историю про проститутку?

Началось все с того, что он снова наткнулся в интернете на вебинар «Геометрия для начинающих», как когда-то два года тому назад. Решив, что это тот же вебинар, Олег стал смотреть его чисто ради эксперимента: интересно, произведет ли на него теперь эта вещь такое же сильное впечатление, как тогда. Оказалось, это что-то новое. Автор тоже постарел на два года и решил продолжить свою успешную серию:

«Два года назад, в две тысячи пятнадцатом, когда я начинал эти вебинары, мне было двадцать пять лет, и я думал, что любовь — это круг. Теперь я думаю, что любовь — это шар. Что изменилось? Добавился объем — совершенно верно. Раньше я представлял себе это чувство плоским, но при этом все равно правильной формы. Что здесь означает круг? Прежде всего, равноудаленность от центра. Центр круга — это некий источник любви. И куда бы ты ни шел, ты никогда не уйдешь от него далеко. Ты двигаешься, как тебе кажется, прямо. Потом через какое-то время возвращаешься в ту же точку, думая, что поднялся на уровень выше и двигаешься по спирали. На самом деле — нет. Есть центростремительная сила, которая бесконечно притягивает тебя к центру круга. Эта сила и есть любовь. Ошибочно думать, что мы как-то управляем этой силой. Нет, она действует помимо нас. Мы-то сами как себе представляем жизненный путь? Движение вперед. Ну, в лучшем случае — по спирали. Но и то, и другое подразумевает какую-то цель вверху, к которой мы движемся. И здесь уже возникают всякие вопросы... А в ту ли мы сторону движемся? А приближаемся ли мы к цели или удаляемся? А может, мы уже где-то проскочили цель? Надо было остановиться, а мы пошли дальше? Ну и так далее... Но мы никогда не задумывались о том, что цель может быть где-то изначально. Заложена кем-то для нас, а не нами. Несмотря на то, что это цель, мы не движемся к ней, мы ходим вокруг нее. И в этом есть определенный геометрический смысл. Мы как бы рассматриваем эту цель с разных сторон. Поэтому я и говорю про круг и шар. Раньше я ходил только по одной окружности, каждый раз на равном удалении от себя наблюдая эту цель, или этот источник любви. Просто обходил его по нескольку раз в одном и том же измерении. Теперь я понимаю, что траекторий бесконечное множество. И когда мы говорим «надо выйти за рамки», «пойти иным путем» и действительно, как нам кажется, делаем это — сворачиваем с привычной тропинки, — на самом деле мы все равно остаемся равноудаленными от цели. Да, мы движемся в абсолютно другом направлении, куда-то вбок. Но поскольку любовь — это шар, мы все равно движемся по одной из бесконечного числа его окружностей и в каждый конкретный момент по-прежнему равноудалены от центра, от источника. Вы спросите, в чем же тогда смысл. Ведь когда мы говорим о поступательном движении куда-то, от одной точки к другой, там все понятно. Есть точка, мы в ней находимся сейчас. Мы видим цель, которая на каком-то удалении от нас. Решаем, что эта точка — это то, где мы хотим оказаться через какое-то время. И далее уже движемся с какой-то скоростью в эту точку. Тут уже могут быть варианты: движемся слишком медленно и не приближаемся к ней; движемся нормально, но в какой-то момент сбиваемся, уходим в сторону, теряем точку; останавливаемся, почему-то начинаем двигаться в другую сторону... Теперь представьте, насколько все это не имеет значения, если точка всегда в центре шара. С одной стороны, мы к ней никогда не приблизимся: наш радиус — это данность. С другой стороны, есть куча возможностей двигаться в самые разные стороны, останавливаться, двигаться обратно, уходить в сторону, ходить зигзагами, задом наперед, стоя на голове — как угодно. При

этом мы никогда не придем к нашей точке. Но никогда и не уйдем от нее. Все, что мы можем — это посмотреть на нее с как можно большего количества разных сторон. Думая, что любовь — это круг, мы ограничиваем число сторон, с которых можно наблюдать первоисточник. А понимая, что любовь — это шар, мы увеличиваем число этих сторон до бесконечности».

И вот в самый кульминационный момент вебинара, когда автор вещал, что выйти за рамки и пойти иным путем невозможно, потому что мы ходим по кругу, в квартире Олега раздался звонок домофона. Олег решил, что у него собака заболела, поэтому он не будет прерываться, чтобы пообщаться неизвестно с кем по ту сторону двери. Никаких гостей он к себе не ждал, тем более проституток. Когда же домофон прозвенел подряд шестой или седьмой раз, Олег взбесился не на шутку. Он не только открыл дверь, но и специально вышел в подъезд, дабы спустить всех собак (которых у него не было, но которые все до одной болели) на звонящего.

Кого он совершенно не ожидал увидеть, так это милое рыжеволосое создание лет двадцати пяти. С чистой кожей, без грамма косметики, с аккуратной прической и ухоженными руками, совершенно непонятно каким образом держащими пачку газет. Собак было уже не остановить, и Олег чисто по инерции отчитал девушку и захлопнул дверь перед ее прекрасным носом. Но эта неожиданная встреча настолько выбила его из колеи, что он не стал досматривать вебинар (или он к тому времени уже и кончился), наскоро оделся и вышел на улицу в надежде еще раз увидеть это лицо. А лицо меж тем как раз и шло к его подъезду. И тут у Олега случился неконтролируемый приступ творческого потока, и он начал на ходу выдумывать для Светки историю. И все бы ничего, но почему про проститутку-то? Какова вообще вероятность получения при первом знакомстве с молодой девушкой от нее номера телефона, если рассказать ей историю, как ты мало того что спал с проституткой, так у тебя еще и не получилось? Поэтому увидев этот странный телефонный номер из нулей и единиц, Олег подумал, что подвох именно в этом: это какой-нибудь служебный номер почты, и, позвонив по нему, он попадет на какого-нибудь оператора смены. Но нет. Все-таки набрав этот номер на удачу через пару дней, он услышал тот же знакомый голос, в который он уже успел влюбиться в своей голове, не прекращая думать о его хозяйке все эти дни. Конечно, он сразу же признался, что все наврал про проституток, и пригласил Светку на свидание. Первое, потом второе, а вот уже третье где-то через неделю после их первой встречи и закончилось, как полагается, сегодняшним утром. У Олега настолько давно не было ни с кем отношений, что он все еще не мог поверить, что это не сон. Поэтому периодически немного пощипывал за бедро, но почему-то не себя, а Светку. Так уж сплелись их ноги.

За все их несколько встреч Олегу так и не удалось разгадать главную, как ему казалось, Светкину загадку: как такая девушка, умная, начитанная, даже можно сказать, интеллигентная, при этом вполне современная, разбирающаяся во всяких гаджетах и интернетах, работает простым почтальоном и ходит со старой кнопочной Нокией. Главное — она показалась ему довольно робкой и, как бы это сказать, замкнутой, что ли. Это еще более не соответствовало стереотипному образу хамоватого работника почты в его представлении. Когда вчера во время их вечерней прогулки по парку он попытался аккуратно об этом спросить, Светка сначала смутилась, а потом вместо ответа сама спросила почему-то весьма заговорщицким тоном, не читал ли он случайно книгу «Восьмой день» Вадима Дольфина. Книгу с таким названием Олег точно не читал, но вот имя автора показалось ему знакомым, и их разговор ушел в сторону литературы и писателей вообще. Только сейчас, повторяя в своей голове все их разговоры вчерашнего вечера, Олег вспомнил, что Дольфин — фамилия того самого автора этих его вебинаров по геометрии, которые он снова начал смотреть спустя два года, но из-за Светки так и не досмотрел. Видимо, это случайное совпадение поразило его настолько сильно, что он ущипнул Светку чуть больнее обычного, и она мгновенно проснулась.

Олег сразу выпалил девушке свое главное открытие этого утра, не дав ей даже немного прийти в себя спросонья.

— Этот Вадим Дольфин, Свет, ты помнишь? Вчера про книгу спрашивала... Я только что вспомнил, почему его имя показалось мне знакомым! Это же он ведет вебинары «Геометрия для начинающих». Ну, я рассказывал... Так вот... Этот парень... Ну как парень? В общем, твоего возраста где-то... Его тоже зовут Вадим Дольфин, представляешь?

Светка не представляла.

— Но вот что странно, — продолжал Олег. — Ни в одном из своих вебинаров он ни разу не упоминает о книге. Как там она называется? «Восьмой день»? Как-то это не похоже на писателя, у которого книга вышла. Почему не рекламировать ее повсеместно?

Олег немного притормозил, подумав, что, возможно, не это желает услышать молодая девушка в качестве первых слов утром от мужчины, с которым первый раз провела ночь. Но Светку предложенная тема вполне устроила, она моментально проснулась и включилась в разговор.

— Ты прав... Странно и обратное! Я, как прочла эту книгу, стала искать информацию о Дольфине. Мне показалось, что мы пересекались с ним пару лет назад в издательстве.

Светка уже в который раз осеклась.

— В издательстве? — не понял Олег.

— Ну да... Я работала некоторое время в издательстве... Потом расскажу. Так вот. Я нашла Вадима Дольфина в интернете и прочитала, что после «Восьмого дня» у него вышла еще одна книга — «Страховка от НПС». Что это за НПС — так и не нашла, и книги этой нигде не было. А готовится еще к изданию книга «Образованные люди». При этом нигде ничего не говорилось про вебинары «Геометрия для начинающих».

— Тогда, может, это и не один и тот же человек... — задумчиво проговорил Олег, повернулся на спину и уставился в потолок.

Светка подняла голову от подушки и подперла ее ладонью, чтобы заглянуть в его лицо.

— Знаешь, вчера, когда ты рассказывал о себе, мне все время не давал покоя один вопрос...

— Какой?

Светка решилась.

— А у тебя был случай, что тебя недалеко от дома остановила симпатичная следователь и попросила пройти с ней, чтобы побыть понятым при обыске наркоманского притона?

Олегу вроде бы полагалось удивиться, откуда Светке знать про такое. Но он почему-то не удивился.

— Да, было дело. Знаешь, какое прозвище было у хозяйки того притона?

— Баба Яга?

— Точно! — Олег улыбнулся, вспоминая тот случай.

— Твою жену... Бывшую жену... Зовут Женя?

— Женя.

Светка расхохоталась.

— Так ты Яновский?

— Какой еще Яновский? Я Мурзин.

— Да ладно... Я знаю Женю Яновскую.

— Я знаю много разных Жень, но это никак не влияет на мою фамилию. Я Мурзин. Могу паспорт показать...

Олег даже приподнялся.

— Понятно... — Светка играючи ударила его кулаком в плечо. — Женя не брала твою фамилию. Ты Мурзин, а она Яновская.

Олег посмотрел настолько серьезно, что у Светки не осталось сомнений: он ее не разыгрывал.

— Она тоже Мурзина. А девичья — Колодкина. Я не знаю никаких Яновских.

Теперь уже Светка откинулась на спину и смотрела в потолок.

— Значит, ты и он — это тоже не один и тот же человек.

А Олег в свою очередь подпер голову ладонью и смотрел на Светку.

— Не обязательно с кем-то быть одним и тем же человеком... Можно просто быть таким же человеком...

— Мы с тобой, конечно, образованные люди... Но я ни фига не поняла, че ты сказал!

Они рассмеялись, прижались друг к другу и просто лежали в обнимку долго и молча.

Молчание прервала Светка.

— А ты любишь мясо или овощи?

— Мясо с овощами.

— Правильно... Я тоже! А какой сегодня день — знаешь?

— Рискну предположить... Восьмой?

— Именно. Восьмой день моего путешествия. И вот что я решила. Не возвращаться из отпуска.

Эпилог

— Какой вопрос в Библии самый важный? — спросил Иноголовцев, рассматривая Женино заявление об уходе.

— Ну... Их много... Наверное... — Женя не ожидала услышать такое от шефа при увольнении.

— Один заслуживает особого внимания. «Крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков?» Евангелие от Матфея, глава двадцать первая, стих двадцать пятый.

— Почему именно этот?

— Здесь Иисус, с одной стороны, конечно, противопоставил людское и божественное, с другой — все-таки упомянул их в одном ряду. Это дает вам некоторую надежду, что человек, может быть, не так уж и никчемен...

После этих слов директор не глядя подписал заявление, протянул его Жене и заключил:

— Но обольщаться не стоит. Творит Бог, а человек всего лишь выдумывает.

Женя направилась уже было к выходу, но решила все-таки высказаться:

— Однако Светка смогла выдумать себе новую жизнь, а я нет.

— Так дело в Замкнутовой? — Арсений Карлович все понял. — Она что, действительно исчезла из своей запертой изнутри квартиры, и ее до сих пор не нашли?

— Полиция говорит именно так. Но я знаю, где она.

— И где же?

— Там, где я быть не смогу. У меня не получилось. И вряд ли уже получится.

Директор с грустью посмотрел вслед уходящей Жене.

— Куда идешь?

— Возвращаюсь назад. Сыну одиннадцать. Ему нужна моя помощь. Буду жить ради него. На прошлой моей работе предлагают место старшего бухгалтера. Зарплата побольше, а это как раз то, что нам с сыном сейчас нужно.

Через час бывшая бухгалтер издательства «Сны» Женя Яновская встречала на автовокзале автобус, который привез ее сына Артёма из спортивного лагеря домой. Автобус подъехал, и сын помахал Жене из окна. Улыбка у него была точно такой же, как тогда, летом две тысячи тринадцатого, на отдыхе в Турции, ровно четыре года назад. Женя вспомнила, как недавно хотела сменить Артёмкино фото на рабочем столе своего Асуса на какое-нибудь более современное, но сейчас подумала:

«Зачем?»

Улыбка-то ведь нисколько не изменилась. И тем летом, несмотря ни на что, им было хорошо вместе.

Она хотела заплакать, но вместо слез из глаз пошел песок.

Наталья Полякова

Вот я опять беглец, переселенец

* * *

По вере каждому, по доброму врачу,
По правде, по любви, по крайней мере.
Пусть эта мера будет по плечу,
Как крупный дождь и мелкая потеря.

Не перепутай, Господи, хитро
Устроен мир, в нём трудно без наитья.
Забыть зонты в задымленном метро,
И без зонтов под дождь весенний выйти.

* * *

А неба синего эмалевый бидон
Ещё пустой, но ливня гул далёкий
Уже ловлю раскрывшимся зонтом.
К нам добежав по высохшей осоке,
Начнётся с капли, рухнет, замельчит,
Детей спугнёт, по гнёздам их разгонит.
Но рукава баб Галя засучит,
И молоко заплещется в бидоне.
Перебивая ливня ровный гул,
Оно гремит о стенки и бормочет.
Мы не разлей вода на берегу
За два часа до самой тихой ночи.
Когда земля напьётся и уснёт,
Раскрытый зонтик высохнет в прихожей.
Созреет сыр, положенный под гнёт...
Осветит поле, дом и огород
Сорняк проросший —
одуванчик Божий.

Полякова Наталья Владимировна — поэт. Родилась в 1983 г. в городе Капустин Яр Астраханской области. Окончила в 2007 году Литинститут им. А.М.Горького. Автор нескольких книг стихов. Лауреат премии имени Риммы Казаковой (2009). Живет в Москве.

* * *

— Ну что?... Когда?..
— Боюсь, что никогда...

Стоит в овраге талая вода.
И ветер надувает капюшон.
Где снег сошёл, пора считать урон.
Вот я опять беглец, переселенец —
В одной руке смартфон,
в другой — младенец.
А ты идёшь по кромке ножевой
К себе домой, один, едва живой.

— Когда, когда...
Вода стоит в овраге
А в ней — синицы,
ветки,
облака...
Душа моя — кораблик из бумаги —
Ни мужества, ни воли, ни отваги.
Пусть будет жизнь прекрасна и легка!
Дай каждому, о Господи, по вере!
Мы — из лесу, мы раненые звери.
Ещё — лекарства, чтоб наверняка...
Синице — хлеба,
сыну — молока.

* * *

Живёшь, как шьёшь — назад иголку.
А началось всё с узелка.
И носишь старую футболку,
Всю в пятнышках от молока.

Пока проходит красной нитью
Судьба в игольное ушк*о*.
Ты стол готовишь к чаепитью
И привыкаешь жить легко.

А нитка рвётся там, где тонко.
И узелковое письмо —
Когда ты вырастишь ребёнка —
В конце развяжется само.

* * *

Смычок уткнулся в раздражённый звук.
Так скрипка расчехлённая кричала,
Что бросить всё... Но неумелых рук
Не отнимая, всё начать сначала.

И резать скрипку, и колоть смычком
Лежалый воздух в полусвете детской.
Но музыка проходит босиком
Тайком по струнам с выправкой немецкой.

Уроки музыки, взросления черты —
Смешалось всё в мелодии невнятной.
И кто тебя извлёк из немоты,
Как скрипку, для любви невероятной?

* * *

А вечность пахнет тёплым сургучом,
Рекой, травой, резиновым мячом...
Когда нас понесут в мелованном конверте
Сквозь сад, заросший хмелем и плющом,
Услышишь не Бетховена, а Верди.

Конверт подписан почерком врача,
Дорога начинается с ключа,
А музыка со взмаха дирижёра.
Смычок взлетает бабочкой с плеча.
И если грусть нашла,
она отпустит скоро.

Женя Декина

Как в сказке

Рассказы

Играй — играй!

Тяжелый мяч взмывал вверх и летел дугой через сетку. Как вражеский снаряд, как пушечное ядро, как булыжник, пущенный прямо в голову. И увернуться нельзя, надо принять. Пропустить — стыдно. Некоторые девочки уже заранее отскакивают, и раздается чье-нибудь:

— Ну ты че?

И тогда строгий физрук Виктор Иваныч в советском еще костюме недовольно крякнет и отвернется. Только бы не сюда. Не сюда, пожалуйста. Можно в Борьку? Или в Валерку, он точно отобьет. Но мяч неумолимо нарастал и приближался. Огромный и тяжелый, как пушечное ядро, как снаряд, как... И в этот момент раздавался спасительный окрик тренера:

— Играй — играй!

Аля не могла понять, как он догадывается. Ты даже плечом повести не успел, а он уже крикнул. Неужели он, как бог, видит всех одновременно и чувствует, где страх. Но на бога злобный, кривоногий и совершенно лысый Виктор Иваныч похож не был. Разве что на черта. Только потом Аля догадалась, что следит тренер совсем не за игроками, а за мячом. И кричит он только девочкам, не понимающим, как сложить руки.

После физкультуры Аля шла домой теми же подворотнями, из которых могла выпрыгнуть собака, поднималась той же лестницей, кишащей крысами, или отец мог караулить у двери, но в такие дни Аля больше не дожидалась случайных прохожих. Она шла сама. Шла и рассматривала синяки или шевелила распухшими пальцами, и эта боль напоминала о том, что Аля все-таки смогла. Сыграла.

Вечером с работы приходила мама. Маму все обижали. Обижали злые продавщицы, не выходившие вовремя, ленивый грузчик и ворчливые бабки с колясками. Мама терпела. Плакала она, только когда приходил отец и отбирал деньги. Аля хотела ее

Декина Евгения Викторовна родилась в 1984 г. в городе Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Томский государственный университет по специальности «Современная литература и литературная критика» и сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Лауреат Волошинского конкурса, лауреат премий «Росписатель», «Звездный билет» и др. Член Союза писателей Москвы, Союза писателей России, международного ПЕН-центра. Предыдущая публикация в «ДН» — рассказы «Нежные люди» (2018, № 3).

пожалеть, но мама говорила, что это от лука. Хотя Аля точно знала, что никакого лука в супе не было. И Аля мечтала, что когда вырастет, будет работать вместо мамы, чтобы не маму, а ее обижали. Но училась Аля так себе. Впрочем, в магазин, наверное, возьмут.

Как-то на уроке, сразу после физкультуры, учительница спросила домашнее задание и посмотрела на Алю. В голове сам собой вспыхнул суровый тренерский голос:

— Играй-играй!

И Аля, даже не успев ничего сообразить, по привычке подняла руку. Ответила она правильно, и учительница похвалила ее. Потом это стало случаться чаще. Будто бы тренер поселился у нее в голове, и теперь, когда становится страшно, он кричит ей оттуда: «Играй-играй!».

А настоящий тренер на уроке перестал ей кричать. Але было приятно. Как будто она выросла, и теперь она — нормальный игрок, а не как эти.

Она пошла к маме в магазин, чтобы рассказать. Но маме некогда было разговаривать, и Аля принялась таскать тяжелые лотки. Бабка с тележкой в очереди возмутилась, почему такая маленькая девочка таскает тяжести, и Аля, повторив себе привычное «Играй-играй!», ответила, что грузчик все время орет и мама его боится. Бабка позвала директора, и Аля нажаловалась ему на грузчика. Грузчика отругали. Дома, за ужином, мама долго присматривалась к Але, будто не узнавая, а потом пришел отец. Мама хотела выключить свет и доедать в темноте, но Аля пошла к двери. Ноги не хотели идти. Из глазка смотрела огромная испитая морда. «Играй-играй!» — подумала Аля, но вслух крикнула другое. «Помогите!». И еще раз. И еще. Отец подолбился немного, но все же ушел.

Вернувшись на кухню, Аля рассказала маме секрет:

— Я заклинание знаю, волшебное. Надо говорить себе «Играй-играй!», и сразу все получится.

Мама посмотрела на Алю как-то странно и почему-то опять заплакала. Аля погладила ее по голове и пошла чистить зубы. На следующий день Аля записалась на волейбол. Особых надежд на нее не возлагали, но через пару лет она внезапно выросла, окрепла и теперь играет в городской сборной. А скоро, может, и в областную возьмут.

Хронь

Медсестра Лидочка очень любила свою работу. У нее даже кабинетик был отдельный, проходной правда, но и это Лидочке нравилось. Приходит больной из темного сырого коридора, и не сразу к доктору попадает, а сначала к ней. А у нее по стенкам картинки радостные, вазочки и чай душистый с травами лесными — еще бабушка собирала и сушила сама. Заходит больной, а Лидочка ему с порога улыбается, в креслице усаживает и потчует. Пожалуется ей больной, про горе свое расскажет, а потом и к доктору уже не с тем, что мать на него покрикивает, жена к холостому соседу за солью по пять раз на дню бегает и зарплату опять задержали, а по делу. Иногда, правда, оказывалось, что после Лидочки сказать-то доктору уже и нечего, и сердце вроде как не колет, и голова уже не болит, и что делать теперь понятно. Доктор похохатывал над Лидочкой, но в общем-то был доволен, он на дух не переносил, когда люди с ним по душам говорить пытались.

— Чего он мне лечит-то, не пойму? Мать заткни, жене запрети, начальнику пригрози. Делов-то. Таблеток от тупости не придумали еще.

Лидочка на это только улыбалась, подходила к доктору и ласково гладила его по предплечью. Доктор сразу успокаивался и уходил в кабинет, прихватив с собой конфетку или печеньку, которые на Лидочкином столе никогда не переводились. Сама

она сладкое не ела, блюла фигуру, о чем больные знали, но все равно заваливали ее сладостями. Не для нее, а для того, кто за ним следом будет в этом кресле посиживать. Вот, скажем, купил ты пряники, почти все умял, не лезет уже. Так ты пряничек в карманчик, и к Лидочке. Пряничек ей на стол положил, а сам конфеткой шоколадной угостился, которую сюда до тебя сосед положил. Сам же не пойдешь к соседу — давай, мол, меняться. Я тебе пряник, а ты мне конфетку, а через Лидочку — ничего. И сам ты вроде как человек добрый и щедрый получился, и сосед у тебя уже тоже не гад последний, который тебе под калитку шлак сыплет, а местами так даже и на человека похож.

А потому звонили Лидочке редко. Даже если просто на прием записаться, и то сами заходили. Благо, больница около трамвайной остановки, куда бы ни пошел, всегда по пути. А потому, когда на городской позвонили, Лидочка испугалась. Ну, думает, дело дрянь. Неходячий, наверное, или рядом где-то, потому сразу доктору звонить быстрее, чем скорую из центра вызывать.

Человек оказался странный. Долго у нее лицензии выспрашивал, документы. Лидочка все номера ему продиктовала, а он все равно идти не хочет.

— Вы приходите, пожалуйста, доктор вас посмотрит и лечение назначит. А я, — говорит, — чаем вас напою. С печеньками и конфетками. И еще у меня шоколадка есть. Молочная. И крекер, немножко сломанный, правда.

А он такой:

— Нет уж. Вы мне сначала скажите, как доктор меня лечить собирается.

Лидочка призадумалась и говорит по-честному:

— Хорошо лечить собирается, он у нас добрый, ворчит иногда и прикрикнуть может, но это он не со зла. Вы приходите, разберемся.

А человек ей:

— Нет уж, а давайте-ка вы мне все истории всех болезней из всех медицинских карт продиктуете, а я посмотрю, чего у меня есть, и проверю потом, чтобы он со мной точно не напутал.

Лидочке даже смешно стало, вот, думает, бывает же! Даже жаль человека, совсем доверять не умеет. Это же доктор! Он же в институте учился и в интернатуре потом долго еще. И вообще, никто на него за 20 лет ни разу не пожаловался. Впрочем, трубку положить Лидочка тоже не смогла. Вообразила себе, как бедный человек этот лежит там у себя перед телефоном и помирает от страшной болезни, а прийти боится. А затягивать-то нельзя, болезнь же прогрессирует с каждой секундой, доктора про это все время говорили. В общем, делать нечего, пришлось диктовать. Каждый вечер Лидочка оставалась после смены и до глубокой ночи читала странному человеку медицинские карты. Человек в ответ молчал, конспектировал, видимо. А когда карты закончились, вдруг признался Лидочке в любви. Лидочка очень обрадовалась, покраснела вся, подумала, что вот теперь-то все в ее жизни наладится, вообразила себе домик у речки с занавесочками в цветочек и ребеночка.

— Ну вы приходите, я на вас хоть посмотрю сначала-то. А то я же не доктор, я по симптомам не понимаю, я только по глазам читать умею. Ну и еще по кое-чему, о чем приличные девушки вслух не рассказывают.

— Нет, — говорит, — не пойдет так. Кто в доме мужик? Мужик я. Значит, как я сказал, так и будет.

Этому Лидочка очень обрадовалась, потому что устала она сама все решать, вот, думает, как хорошо-то! И в мечтах ее у ребеночка уже сами собой братики и сестренки образовались.

Правда, потом Лидочка опять огорчилась:

— Ты, говорит, Лида, сначала должна понять, как я любить умею. А я ого-го как умею! Долго и обстоятельно. И скоро ты в этом убедишься.

Лидочке это очень не понравилось, потому что она была девушка шустрая и с

детства все привыкла делать быстро. Это папаня ее, алкоголик, сто лет планы себе придумывал, потом пункты в этих планах переставлял, мол, так оно целесообразнее. Сначала надо за хлебом сходить, а потом уже суп варить, а то пока за хлебом сходишь, суп уже и остынет. А перед этим полы еще помыть и луку нарвать. Сначала луку, потом полы, потом в магазин, потом суп, а в суп ведь овощи еще помыть надо, а с них грязи налетит, и снова пол мыть? Значит, суп надо перед полом поставить. Так это что же, выходит, и обедать придется в немытой комнате? А пока он это все думал, Лидочка уже успевала все это сделать, на что отец только сердился — выходит, опять ему все перестраивать, а у него только-только гениальный план созрел, как перед магазином надо не весь суп варить, а только овощи помыть, а потом уже полы.

Лидочка аж взмолилась:

— Не надо, — говорит, — долго и обстоятельно, очень прошу, это мне больно будет и неудобно, я так долго мечтать не умею, да и вообще, вы приходите лучше, я в глаза посмотрю и все про вас сразу же почувствую.

Человек, однако, не согласился, и Лидочка, проплакав всю ночь в подушку, наутро про него забыла. А потом началось странное. Кто-то начал Лидочке записочки любовные подсовывать, букетики подкладывать, и люди себя начали как-то странно с Лидочкой вести. Ходят, ерунду какую-то говорят и подмигивают, будто знают чего-то. Лидочка так испугалась, что чуть в дурку не загремела. Людей бояться стала, из дома просто так не выходит и чаем больше никого не угощает. Сидит, исподлобья на всех смотрит, а вдруг это вон тот человек ей свою «любовь» показывает. Или вот этот? Доктор ее, правда, вовремя спохватился. Понял, что ему про нытье слушать совсем невыносимо, а пациенты без Лидочки все свои горечи ему выкладывают. Впрочем, доктор решение быстро нашел — сядет в кабинете у нее, журнальчик почитывает, не слушает, чего там пациенты Лидочке жалуются, зато ей с ним поспокойнее. Постепенно и выправилось. А потом звонит ей этот человек снова и спрашивает радостно:

— Ну как, сильно я любить умею, а, Лидочка? Убедилась теперь?

Лидочка ему и говорит:

— Маньяк ты, и любить совсем не умеешь. Ты букеты эти свои и записочки в зад себе засунь и радуйся. Пока ты мне там асфальт расписывал, я коробки с анализами из подсобки сама таскала, спину чуть не сорвала, под дождем мокла, огород в одну лопату все 12 соток, от хулиганов отбивалась, а ты, мудак, лучше бы пришел и помог.

— Нет, — говорит, — я же перед тем как прийти, должен был узнать, что тебя во мне раздражает, чтобы нам потом в совместной жизни легко жилось, чтобы ты меня впредь понимала. А если чего не так, то мы бы с тобой над этим поработали заранее, перепроверились, а потом бы сразу и сошлись.

Но Лидочка трубку бросила и говорить с ним больше не стала. Чего с дураками разговаривать? Он, правда, дальше еще звонил, но на этот раз трубку доктор взял, и сразу все прояснилось.

— Лидка, да это же Хронь! Я его по голосу узнал!

Хронь был в городке человеком знаменитым. Он всегда все лучше других знал и никого не слушал. Скажет ему, к примеру, продавщица в магазине:

— Отойдите, пожалуйста, мне лоток с хлебом занести нужно, вон грузчик пьяный валяется, а мне держать тяжело.

А он ей:

— А зачем же вы такого грузчика держите? Он же обязанностей своих не исполняет, не по уставу это, на рабочем месте напиваться.

И стоит. А продавщица дальше в руках тяжеленный лоток с хлебом держит и говорит ему:

— А ты, раз такой умный, иди и директору магазина про это скажи, я за грузчиков не отвечаю, мое дело маленькое, мне хлеб людям продать надо.

А Хронь чего, идет к директору и все это ему про грузчика и высказывает.

А директор обижается, потому как из его слов получается, что и директор своих обязанностей не исполняет — грузчики у него пьют и продавщица тяжелые лотки таскает. Ну, он и погонит Хронь взашей из кабинета. А Хронь потом ходит и всем рассказывает, какой в магазине директор плохой — он ему помочь хотел, а тот его матом.

Или на работе тоже — ты, говорит, гайки неправильно крутишь. По уставу положено под прямым углом к гайке подходить, и локоть к телу не прижимать, да и вообще, ключ у тебя по уставу разводной должен быть, а этот велосипедный. Так и ходит до вечера, всем указывает, как оно правильно, а к вечеру бригадир приходит работу проверять, все план выполнили, а некоторые и перевыполнили еще, а Хронь так и проболтался весь день. Его, впрочем, увольнять не стали, а отдельный кабинет ему выделили, и там его и держали, чтобы он сам себе все как положено устроил, а к людям не лез.

И Лидочка как представила, что она за этого человека замуж собиралась, ее аж передернуло всю. Это же получается, что она ему детишек нарожает в домике у речки, а потом в этой же речке вместе с детишками и утопится. Хронь же лучше всех всё знает, как в голову чего вдолбит, так и насмерть уже. Вообразила себе, как Хронь ее ребеночку ботиночек на ногу надевает, ребеночек кричит, что больно ему, вырывается, а Хронь же лучше всех знает, он как положено все делает, а потому блажь это у ребеночка, а то, что ножка у него сломалась, так это ничего, бывает. Или того хуже, уроки делать, например. Не понимает ребеночек параграф в учебнике, а Хронь ему — мало старался, ты наизусть выучи, тогда поймешь. Вот ребеночек ее сидит целыми днями и зубрит. Плачет, погулять ему хочется, просит, чтобы Хронь его на улицу выпустил, хоть на секундочку, а он ни в какую — блажь это и капризы. И Лидочка к ребеночку своему просится, давай, говорит, я ему объясню, я знаю как, я по глазам читать умею. Если так не понимает, я ему по-другому объясню, я могу, правда. За десять минут объясню и купаться пойдем на речку все вместе. Но Хронь не пускает, потому что в дневнике у ребеночка написано: «Выучить параграф номер три», а он еще даже первый абзац не до конца. А это же не ножка, ножка зарастет, это голова, и после такого воспитания оно уже и не лечится.

Побежала Лидочка в церковь, на радостях свечку поставила за то, что господь ее и ее детишек будущих от такого ужаса уберег. Поплакала еще, но это потому, что времени потраченного ей жалко стало — столько ему талдычила — приходи, приходи, приходи, плакала, просила, а он так и не явился. Свое продолжал и все. Хронь, одним словом. Ни любви, ни доверия.

Лидочка, впрочем, долго горевать не стала, она все быстро делала, а потому вскоре вышла замуж за заезжего олигарха, нарожала ему детишек в домике у речки и до конца своих дней была счастлива.

Линия жизни

В детстве Герман часто рассматривал свои ладони, пытаясь увидеть будущее в пересечении тонких линий. Там были зашифрованы ответы на все вопросы — карьера, успех, количество жен и детей, болезни и выздоровления. И если разгадать это сейчас, то судьба предстанет перед тобой во всей простоте и очевидности, и больше никогда не придется сомневаться, выбирать и думать.

— Чему быть, того не миновать, — часто приговаривала бабушка в ответ на все — на разбитую чашку, на двойку по русскому, на порванную рубашку и разбитый нос.

Не ругалась и особенно не расстраивалась. Просто вздыхала и говорила свое обычное. Герман очень хотел этому научиться — просто вздыхать в ответ. Получил двойку — вздохнул только, а не побежал за русичкой договариваться о пересдаче,

краснея и путаясь от стыда в объяснениях. Порвал рубашку — вздохнул и понес бабушке, а не погнался за противно хохочущим одноклассником, чтобы потом еще и в нос от него получить. И любимую бабушкину чашку не пытаться склеить полтора часа, прилаживая рассыпающиеся осколки, а просто вздохнуть и показать. Но пока не получалось. Наверное потому, что бабушка уже свою судьбу знала — успела за годы жизни разгадать все хитросплетения на морщинистых ладонях.

А Герман пока ничего о себе не знал и как разгадывать не понимал тоже. В линии здоровья разрывов не было, в линии карьеры значилось, что все у него будет хорошо — несколько раз его позовут на другую работу, но он останется и получит за это повышение. Детей двое — мальчик и девочка. И третий — не точно. Может быть, приемный. Или умрет в младенчестве. Или Герман родит его в старости и не успеет повоспитывать, как дедушка не успел повоспитывать его. С женой непонятно. Хотелось поскорее влюбиться и тоже носить кому-нибудь портфель и дарить цветы, поражая одноклассников смелостью, но, кажется, было рано.

Как-то на математике Герман измерил длину линии жизни и поделил на отрезки, как учили. Выходило, что будущую жену он должен встретить где-то в районе двадцати, но это если общую продолжительность жизни принимать за 100 лет. По сто лет прожили какие-то ближайшие, но незнакомые Герману предки с генеалогического древа, которое задали на истории, и они с бабушкой почти неделю это древо рисовали. Как только Герман заканчивал черновик, бабушка рассматривала семейный альбом и вспоминала еще парочку или звонила какой-нибудь тете Глаше из Торжка, и та тоже вспоминала, а Герману приходилось начинать сначала. И если бы он не округлил их, сославшись на то, что завтра сдавать, то они бы, наверное, до сих пор это древо рисовали. Учительница тогда поставила Герману огромную красную пятерку прямо на рисунке, а бабушка повесила древо в прихожей, и заходившие долго его рассматривали. Герману было неловко за пятерку в рамочке — получалось, будто он хвастает или будто пятерки он получает так редко, что их вставляют в рамочки и вывешивают в прихожей. Бабушка повесила там же аппликацию из засушенных листьев, которую Герман сделал еще в третьем классе, и кривой портрет собачки, нарисованный, кажется, в детском саду. Но перерисовывать все заново только из-за пятерки было лень.

С другой стороны, дедушка Германа умер в пятьдесят, после неудачной операции на сердце, брат дедушки дожил до семидесяти двух. Отец сильно пил, и потому понять, жив ли он вообще, было нельзя — мама говорила, что умер, а ее новый муж, что жив, но пусть только попробует заявиться, он его быстро того. Так что если высчитать среднее арифметическое, то Герман должен жить где-то до восьмидесяти, а если поверить маме, то и до семидесяти никак не дотянуть. Значит, длина отрезка означала уже другое количество лет, и на Асе, с которой он познакомился еще в одиннадцатом классе, вполне можно жениться.

Дальше понеслось быстро — институт, насчет которого Герман сначала сомневался. Тест на профориентацию показывал работу с людьми: торговля, туризм или управление персоналом. Магазины открывались целыми сетями и закрывались так же внезапно, поэтому, скорее всего, не оно — чтобы много лет продержаться на одном месте нужно было, чтобы само место продержалось. Туристическая фирма в городке была одна, а значит тоже не то — переманивать Германа было некому, а значит, и повышения не светит. Выходило управление персоналом, и после института Герман устроился на биржу труда, успешно организовывал компьютерное обучение для пенсионеров, которые на свою пенсию компьютера уже никогда не купят, выездные консультации по профориентации, программы трудоустройства для зэков, которые между отсидками пытались изменить судьбу, но срывались и возвращались на зону. Чему быть, того не миновать. Когда родился сын, Германа пригласили работать в городскую администрацию. Он отказался и получил повышение от мэра, который и

представить себе не мог, что молодой отец способен отказаться от зарплаты вдвое, а то и втрое выше. За идею, значит. Молодец. Вы там его это... Не обижайте.

На похоронах бабушки, не дожившей даже до восьмидесяти, Герман бросил на гроб горсть влажной земли и долго рассматривал свои ладони. Ася пыталась угомонить ревущего сына, который вырывался и бежал к могиле, но перед тем как подойти к краю, останавливался и робко приближался, комично выставив вперед одну ногу, — заглядывал, перегнувшись в талии. В могиле был гроб.

После похорон Герман сначала запил, потом ушел с головой в работу, потом стал делать это одновременно. И если бы не новая сотрудница Алёна, которую он сам же и принял, то мог бы и спиться, наверное. Но нет. Чему быть, того не миновать.

Алёна Герману нравилась. Она была какая-то светлая. Хлопала своими огромными голубыми глазищами, здоровалась, широко улыбаясь, выбегала из каморки, чтобы помочь бабушкам присесть, работала хорошо и никогда не опаздывала. Дома Ася родила второго, и взгляд ее темных глаз стал еще глубже и тревожнее. За ужином она кормила грудью, пытаясь одновременно впихнуть в старшего суп, и не слушая, кивала Герману. Герман брал старшего на себя, гулял, помогал. Купил радионяню, манеж и мультиварку, но с Асей все равно было не о чем. Алёна всегда находила о чем рассказать — то восьмидесятилетний старик пришел искать работу, то сорокалетняя женщина, не окончившая даже среднюю школу, хотела устроиться директором, то домушник после третьей отсидки рвался в инкассаторы. И фигура у Алёны была совсем другая — летящая, тонкая. И каждое утро, позавтракав сытной плотной кашей и поцеловав приземистую жену, Герман пил терпкий кофе и любовался через раскрытую дверь кабинета на Алёну. Изумлялся, как легко она порхает между полками, какая у нее высокая грудь, аккуратная попка, тонкие пальчики. А потом смотрел на свою ладонь, на которой из линий жизни, ума и судьбы ясно вырисовывалась большая буква «А». И если раньше это подтверждало, что женился он верно, то после смерти бабушки, укоротившей и его жизнь, «А» могла означать и Алёну. Скорее всего, нет, потому что оба ребенка уже состоялись, разломов и разрывов на линии любви не было, но мысли все равно приходили. Он представлял, как Алёна наклоняется над его столом, раскладывая перед ним документы на подпись, или показывает ему отчетность на мониторе, а он поднимается медленно из-за стола, обходит ее сзади и медленно задирает узкую юбку. Становятся видны швы, подкладка скользит по плотным черным колготкам, просвечивается узкая полоска трусиков и бугорки синтетических кружев проступают на литой капроновой поверхности. После этого общаться с Алёной стало невыносимо — он думал про ее юбку, о том, какие на ней трусики сегодня, и сбивался. Перед Новым годом Герман перевел Алёну в другое отделение. Когда он сообщил ей об этом, Алёна замерла и посмотрела на него пристально. Чтобы ничем себя не выдать, Герман так сильно сжал в ладони ключ от кабинета, что, кажется, нечаянно распорол себе руку. Посмотреть не мог — не сводил взгляда с Алёны, ее огромных глаз, челки и губ с насмешливой полуулыбкой. От ключа остался тонкий порез — вторая перемычка между линией сердца и линией ума, и теперь на ладони рядом с отчетливой «А» образовалась еще и квадратная «О». Порез долго не заживал и противно пощипывал, когда приходилось купать мальчиков и мыть посуду. И каждый раз, прижигая ранку перекисью, Герман думал о том, что это совсем не «О», а замкнутый круг или клетка, из которой уже никогда не выбраться.

На новогоднем корпоративе Герман напился и увел к себе в кабинет заехавшую их проверить начальницу из области. Ольгу. На ней были узкая юбка, плотные черные колготки и бесшовные трусики. Потом она еще долго звонила, плакала, умоляла приехать, приезжала сама, говорила, что беременна, что нашла ему место в областном центре и много чего еще. Но к тому времени ранка уже заросла, и все вернулось на свои места. Герман купил жене шубу и забыл об Ольге.

Микаел Абаджянц

Морская ведьма

Рассказ

1

Остров был сам по себе. Волны тоже были сами по себе, как, впрочем, и ветер, и закатное солнышко, льющее розовато-золотой искрящийся свет на восток. На западе горы были грязно-синими, а на востоке темнели изумрудные массы воды, в которых тонули потоки света, и еще там был остров. Все перемещения воздуха, воды и света никак не зависели от его воли, присутствия, желаний, но вот остров был объектом его вожделений. Он был похож на большую черепаху, поднявшую из моря массивную голову. Казалось, эта широкая каменная голова немного косит в его сторону. На ней были видны и расселина-глаз, и хорошо очерченный каменными трещинами клюв. А на вершине ярко-розового панциря что-то ослепительно сверкало, манило, дразнило его. И ему думалось отчего-то, что там должно быть какое-нибудь зеркало, в которое ему нужно будет непременно посмотреться. Черепаший панцирь был пологим и широким, воды моря были теплыми, набегающий ветерок ласковым...

Оставалось только прыгнуть в волны и поплыть, но он медлил. Он понимал, что, вероятно, обманывается в оценке расстояния. Пространство вокруг острова мягко скрадывалось, до него, казалось, рукой подать. Оставалось только ответить самому себе, зачем это нужно. Но ответов было слишком много: в разное время жизни он по-разному отвечал на этот вопрос. Он решил, что у него будет достаточно времени, чтобы обо всем подумать, пока будет плыть до острова, и прыгнул в воду...

Тело слушалось отлично. Он обожал это слияние с водой. Все эти бесцельные перемещения объемов воды он использовал, чтобы плыть с наименьшей затратой сил. Он никогда не встречал на море пловца лучше себя. Люди в большинстве своем плавают плохо, а потому боятся расстояния, пространства, глубины. Вода, свет, волны и остров уже не были сами по себе. Они стали частью его, стали реальностью, частью сиюминутной головоломки по имени «жизнь». Нужно было учитывать мелочи, присутствовать здесь и сейчас каждое мгновение. Все зависело от его навыков держаться на воде и умения перемещаться в водных толщах, и он плыл по-лягушачьи, брассом.

Абаджянц Микаел Фёдорович — прозаик и переводчик. Родился в Ереване в 1970 году. Окончил Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт. Печатался в журналах «Новый мир» и «Дружба народов». Член Союза писателей Армении. Консультант проекта «Моссалит». Издавался в России, США, Австралии, Франции, Ливане. Есть литературные награды. Предыдущая публикация в «ДН» — 2015, № 7.

Белесое песчаное дно долго и полого уходило в глубину. Сначала оно просматривалось хорошо. Несмотря на то что еще было по-вечернему светло, в морской глубине тяжело копились сумерки. Иногда он переходил на кроль, но потом снова плыл брассом. Плыл, глубоко подныривая, выбрасывая из легких в толщу воды суетливые воздушные шарики. Он следил, как пузыри проворно устремлялись к поверхности, и ему это нравилось. На дне стали появляться огромные камни, поросшие длинными черно-бурыми водорослями. Форм они были порой самых фантастических. Казалось, это согнулись и застыли на дне большие косматые животные. Водоросли медленно колыхались в такт перемещениям придонных полупрозрачных водных масс. Он медленно проплывал над ними, но остров не приблизился ни на шаг. Как возвышался розовым черепашьим панцирем над водой, так и продолжал возвышаться. Не стал нисколечко больше, только розовый свет сделался чуть бледнее, да у основания черепашьей головы, кажется, начала различаться полоска прибоя.

2

Лидочка вышла на пляж с романом Ольги Грушевской «Лента Мёбиуса». Фигурка у нее была стройненькая и беленькая, не тронутая загаром. Вся она была такая летняя и светленькая, словно солнечный зайчик. Она постелила голубенькое полотенечко на белый, словно некий странный остов, лежак, но не спешила растянуться под палящим солнцем. Она оглянулась: с одной стороны поднимались каменистые горы Иудейской пустыни, а с другой сквозь лазурное пространство Мёртвого моря розовела в пыльной красноватой дымке Иордания.

— Ах, неужели здесь ниже уровня мирового океана аж на 500 метров? — сказала она, морщась от ослепительного солнца.

— Ну что-то вроде этого, — ответил он, рассматривая на берегу нагромождения каменных глыб, сплошь покрытых удивительными по красоте белыми соляными розочками.

— Здесь невозможно утонуть, — зачем-то сказал он.

— Ах, милый! Не заплывай, пожалуйста, далеко! — сказала Лидочка и отправила ему горячий, словно знойный ветерок, воздушный поцелуй.

И, намазанная жирным маслом для загара, она растянулась на лежаке с романом в черно-белой обложке, соблазнительная, блестящая. Сзади нее поодаль на таком же белом лежаке лежал толстый бородатый человек в черных очках, который, казалось, с интересом следил за ними, вернее, за Лидочкой. Почти у берега по пояс в воде стояли несколько старичков и вели какие-то свои разговоры.

Гладь Мёртвого моря почти не нарушалась. Ни дуновения, ни волны, только прозрачная до самого соляного дна толща воды, словно бы мыльной на ощупь. Он погрузился в жидкий горячий кисель, который активно старался его вытолкнуть. Попробовал встать ровно, как поплавок, помогая себе руками, но его выбросило из воды по пояс. Нужны были новые навыки плавания в такой плотной воде. Нельзя было брызгаться, потому как даже мельчайшая капля этого насыщенного соляного раствора жгла глаза. Он медленно шевелил руками, думая, как снова научиться плавать. Можно было в воде сидеть, лежать, но чтобы перевернуться на живот, не поднимая брызг, приходилось поджимать колени, а потом тихонько поворачиваться вниз лицом. Так можно было не намочить голову.

Овладев нехитрыми приемами держаться на воде, он решил попробовать поплыть своим излюбленным стилем — брассом. Брасс, казалось, лучше всего подходил для плавания в такой воде, потому как голову можно было держать над поверхностью. Но вода его выталкивала так сильно, что ему приходилось как-то неловко скользить на животе по плотной воде. После нескольких попыток он понял неэффективность этого стиля: так можно было плавать небыстро и на небольшие расстояния. Кроль больше подходил в данных условиях, но у него был серьезный недостаток: как бы аккуратно

он ни греб руками, поднимались брызги, которые непременно попадали в глаза. Вода на вкус оказалась скорее горькая, чем соленая, видимо, в ней много солей калия.

А впереди белел остров — просоленный кусочек суши, сверкавший ослепительно ярко в полуденном солнце. Он посмотрел вниз, там, на зеленовато-белом дне, нелепо трепыхалась его тень, словно тень мухи в стакане. Вдали синели горы Иордании, а вблизи была соляная гряда. Зачем туда плыть? За впечатлениями для повести. Ему были нужны сильные впечатления. Нельзя же писать о том, чего не испытал. Само такое приключение подскажет ему тему. А как же Лидочка? Подождет часок-другой, пусть читает пока свою Ольгу Грушевскую.

Вдруг он понял, что здесь нет смерти. Здесь невозможно было утонуть. От возникшего ощущения полной безопасности его разобрал неудержимый дурацкий смех. Хорошо, что старички остались далеко позади, на берегу, и не могли его слышать. Место это было чудом из чудес. Смерть здесь была не властна над ним, не могла придушить его тонной тяжелой воды, раздавить в объятьях своей плотной глубины. Он дико хохотал над этим странным открытием. Он с удовольствием рассматривал свою прозрачную тень сквозь толщу воды, понимал, что до нее не донырнуть, и это тоже казалось смешным. Глядя в безудержную синь неба над головой, ощущал, что находится на самом дне небесного океана, рассматривал ослепительное просоленное, такое маленькое лучистое солнышко. А потом вдруг быстро кролем поплыл к соляной гряде.

3

Я уже жил несколько лет в Москве, когда ко мне вдруг приехал мой старый знакомый художник Ара Арутюнян. Встретились мы тепло. Открыли бутылочку «Столичной» и жестяную банку селедочки. Как водится, выпили за встречу. Закусили шашлыком собственного приготовления. Ударились в воспоминания, припомнили друзей и знакомых, выпили и за их здоровье. И под конец нашей встречи Ара распаковал небольшой, в черной полиэтиленовой пленке, прямоугольный сверток. В нем оказалась картина. Ничего особенного: пасмурный день, серый берег Севана, остров с крутыми берегами и парочка черно-рыжих приземистых церквей на его вершине. Написано было, как мне показалось, плохо, широкими мазками. Изображение было нечетким, будто недорисованным, все приходилось угадывать самому. Вот лодка на берегу, а может, просто бревно. Пловец? Люди ли на берегу или это просто блики? Птица ли в небе? Если да, какая? Изображение выглядело как-то схематично, без подробностей и детализации. Словно бы художник взывал к памяти зрителя, пытаясь воскресить в его сознании нечто большее, чем просто блеклое воспоминание. Картина мне не понравилась. Я натянуто поулыбался, поблагодарил, конечно. Он попросил повесить ее на видное место, чтобы она была всегда у меня перед глазами. Продолжая все так же натянуто улыбаться, я думал о том, что скажет Лидочка. Вряд ли ей это понравится.

Мы еще немного посидели, открыли бутылку армянского коньяка «Ахтамар» — у меня была припасена на такой случай, — опять закусили. Он вспомнил знаменитую армянскую легенду о девушке Тамар и юноше, который утонул из-за любви к ней в соленой воде озера Ван. Теперь вообще возникли сомнения, что на картине изображен именно Севан... Опять закусили, расстались тепло...

Картину я Лидочке даже не показал. Замотал опять в черную полиэтиленовую пленку и засунул в книжный шкаф за книги. В шкафу она у меня пролежала многие годы. Что и говорить, как всякий порядочный армянин, все это время я мучился тоской по родине. Побывал во многих странах. Видел много удивительных озер и горных массивов в Африке, Европе и Азии. Но тоска только усиливалась. И лучшими из всех для меня оставались, конечно, Севан и Арарат. И вот как-то раз Лидочка стала разбирать мой шкаф с сувенирами и пыльными книгами на полках. Естественно, она

наткнулась на черный прямоугольный полиэтиленовый сверток. Спросила меня: что это? Но я счел за благо промолчать. Она стала распаковывать. И — о чудо! — вместо жалкого, убогого пейзажа мне открылась замечательно выписанная картина. Изображение было полно тревожной мрачной силы: стальные волны накатывали на серый песчаный берег, над головою распахнулось тяжелое, с сединой, небо с парящей в нем хищной птицей. С гор в озеро тяжело сползал туман. А вдали поднимались высокие берега острова с темным, как сама вечность, монастырем.

— А почему ты мне никогда это не показывал? — спросила возмущенно Лидочка.

Я смог только глупо улыбнуться. С этих пор картина благодаря Лидочке стала висеть на стене в гостиной, на самом видном месте.

4

Плыл он уже достаточно долго, однако соляная гряда никак не приближалась. Он вдруг понял, что обманывался в оценке расстояния. Обернулся: до берега тоже было далеко. Позади остались покрытые толстыми наростами соли сходни в море для отдыхающих. Белые лежаки и вовсе слились с белизной просоленного берега. Над горами Иудейской пустыни кружил черный мошка-вертолет. Отели казались маленькими коробочками. И он вдруг отчетливо осознал: случись что с ним — никто не поможет. Вот она рядом, цивилизация. Вот полные праздных людей бары-рестораны, вот суетящиеся между столами официанты и мечущиеся по коридорам отелей горничные. Однако никто не услышит, не увидит, не бросится на помощь. Он был как за прозрачным бронированным куполом, куда не пробиться ни крику, ни взгляду, ни человеческому сочувствию. Быть может, Лидочка все-таки поднимет панику, зайдется в истерическом смехе — это почему-то казалось ему очень страшным, — и тогда поднимутся вертолеты, выйдут в море спасательные лодки. На берегу будет бегать заплаканная Лидочка. И наконец весь мир станет искать его. Однако пока его хватятся, случиться может всякое. Да хотя бы его могут просто оставить силы, и не доплыть ему тогда ни до берега, ни до соляной гряды. Прощайте, люди, прощай, жизнь! Эх, глупость человеческая!..

Солнце поднялось в зенит. Мелкие соленые капли все-таки попадали в глаза, и оттого их нестерпимо жгло. Бесконечные потоки слез лились из его бедных глаз. Как-то проморгаться или промыть глаза в его положении было невозможно. Оставалось только терпеть эту резь. А солнце нещадно обжигало его обнаженное, ничем не защищенное тело. Насыщенный соляной раствор, коим являлась вода моря, не только не приносил прохлады, но и, казалось, способствовал получению сильных ожогов. И везде ослепительный свет-свет-свет. Свет в небе, свет от воды, свет в глубине. Он старался плыть не только кролем, но и на спине, чтобы переворачиваться и уменьшать силу ожогов. До поры это помогало.

Он стал уставать, в голову полезли мрачные мысли: смерть могла грозить ему с совсем другой стороны. Да, утонуть здесь невозможно, однако можно выбиться из сил, заживо сгореть на солнце, превратившись в красный пузырящийся кусок мяса, а потом и вовсе в шашлык. Ни тебе птицы в небе, ни рыбы в воде, ни ветерка, ни облачка — ничего. Он представил, как его мертвое тело какое-то время повисит в этом ярком ядовитом и прозрачном эфире. Наступит ночь и не принесет прохлады, темная гладь воды отразит недвижной поверхностью, как в зеркале, иудейские горькие звезды, потом опять разожжется сверкающий день. Тело его просолится, покроются белым налетом глаза, волосы, ногти, соль набьется в рот, в легкие, все его тело в конце концов покроется толстой белой коростой. И в какой-то жуткий час оно под тяжестью соли покачнется на обширной глади озера и пойдет на дно. И долго на горячем дне в яростных потоках света будет лежать статуя из белой соли. Потом же и ее поглотит вездесущая белизна.

До соляной гряды доплыть не представлялось возможным. И даже не из-за значительного расстояния, которое он почти покрыл, а потому, что ему преградили путь странные соляные бассейны. Они, видимо, появились в результате ежедневного и еженощного выпаривания. Последние метров сто до соляного острова поверхность моря была покрыта круглыми большими лужами, изолированными друг от друга острой режущей соляной кромкой. Вода в бассейнах, из-за небольшого объема воды в них, оказалась обжигающе горячей. Он попробовал забраться в один и переплыть его, но оказалось, что сделать это непросто, только порезал о соляную кромку ступни и локти. Не очень сильно, однако жгучая боль стала теперь его спутницей. Самый крошечный порез в соляном растворе такой концентрации превращался в источник нестерпимой боли.

Все-таки он добрался до своего острова. На берег подниматься не стал, чтобы не получить других повреждений. К своему удивлению, он обнаружил здесь все те же атрибуты человеческой цивилизации: перевернутые столы и стулья, автомобиль неизвестной марки, какие-то конструкции неясного назначения — все это было покрыто толстой коркой соли, так что даже не разобрать деталей. Можно было лишь по контурам догадаться, чем это когда-то было и для чего служило. Уму непостижимо, как все это сюда попало. Скорее всего, когда-то здесь был берег, потом море разлилось, стало шире, небольшая возвышенность превратилась в остров, соляную гряду, а на ней остался забытый хлам, который не мог даже благополучно сгнить, ибо его засолило море.

Над поверхностью моря пронесся тяжелый рокот. Он пожалел, что при нем нет фотоаппарата. Прямо над головой медленно, словно во сне, пролетел темно-зеленый военно-транспортный самолет израильских ВВС. Наверное, из самолета был виден остров, засоленная машина, светло-лазурная вода, красноватый человечек в ней. Видно все должно было быть очень хорошо, в мельчайших деталях. А если чуть напрячь зрение, должно быть видно даже выражение лица красноватого человечка. Выражение ужаса...

5

Он упорно плыл к острову. Справа заметил раскачивающийся на волнах большой красный буй. Явно он был здесь не для обозначения безопасного места для плавания, слишком далеко был берег, скорее он указывал фарватер яхтам. Подплыв к красному металлическому шару, он обхватил его и какое-то время отдыхал. Покрытая водорослями толстая веревка уходила в глубину. Захотелось узнать, сколько здесь может быть до дна, и он потянул за веревку. С трудом, но ее удалось выбрать. На конце оказалось бетонное грузило. Судя по всему, глубина была метров двенадцать. Он удовлетворенно отпустил конец веревки, и та, словно живая, стремительно ушла под воду. Не сразу, но он услышал удар бетонного грузила о каменное дно, значит, здесь под ним уже был не песок. Дно, конечно, не просматривалось, и только темные продолговатые серо-голубые тени угадывались в толще воды. Он поплыл к острову, активно работая руками и ногами, и через какое-то время остановился, чтобы отдышаться и еще раз взглянуть на остров. Черепаха медленно превращалась в игуану. Она уже была не розовая, а серая. Бледный розово-золотой свет еще струился поверх сероватой спины игуаны, цепляясь за то, что он сначала ошибочно принимал за зеркало. Это был стальной крест, отсвечивающий золотом.

Скоро солнце должно было зайти за гору, и тогда начнет смеркаться. А до острова было все еще далеко. Плыть назад в сумерках, а может, и в темноте ему не улыбалось. Назад лучше было не смотреть, и он снова поплыл к острову. Через какое-то время он понял, что на остров не выбраться. Отвесная серая, иссеченная трещинами стена предстала перед его взором. Высота ее метров двадцать, крест на вершине острова

отсюда уже не просматривался. У подножия стены гремел прибой, с силой смешивая в ослепительную пену воду и воздух. Подплывать к ней было небезопасно: могло сильно ударить о камни, покрытые острыми, словно бритвы, раковинами мидий. Скорее всего, отдыха не предвидится. Однако там, где ему чудилась надменная морда ящерицы, он обнаружил нагромождение огромных валунов. Все это было похоже на лапу, по которой можно было выбраться из воды. Здесь камни не были облеплены мидиями, однако состояли из каких-то хрупких пород, изъеденных кавернами и усыпанных острыми шипами. Выше линии прибоя валуны имели гладкую поверхность. Выбраться на берег и отдохнуть было необходимо, чтобы восстановить силы, ведь предстоял обратный путь. Выбираясь из воды, он все-таки очень некстати сильно порезался. Сумерки быстро сгущались, морская вода становилась темной и непрозрачной. Он сидел на гладком камне, с него стекала струйками вода и смешивалась с кровью. Выше подняться с этой стороны острова было невозможно: над ним нависал каменный выступ. Он подумал, что надо было оплыть весь остров, ведь как-то же затащили на вершину стальной крест. Наверняка можно было без особых проблем с другой стороны забраться на самый верх, но он уже не хотел об этом думать. Становилось темно. На том берегу весело зажигались разноцветные электрические огоньки, но они были так далеко. Он думал: зачем все это было ему нужно, кому и что он хотел доказать? Было немного страшно, но несмотря на полное одиночество, он ясно ощущал свою сопричастность тому духу авантюризма, который тысячелетиями гнал человечество на поиски нового, заставлял совершать открытия, и не только географические.

б

Всю жизнь, бывая на разных морях и озерах, я копил впечатления для морского рассказа. Иногда с того или иного берега я прихватывал в качестве сувенира камешек или раковину. Не знаю, как называются те или иные минералы, как правильно по-научному называются те или иные моллюски, чьи раковины во множестве стоят на полках моего книжного шкафа.

Вот длинная раковина какой-то улитки, обитающей в вулканическом озере Хефиз в Венгрии. Она до сих пор сильно пахнет серой. Пришлось плавать в черной воде небольшого кратера, где я со страхом ощущал, что подо мной пятидесятиметровая неизведанная глубина.

А вот невероятно крупный рапан из Черного моря. Вспоминается, как я плавал в шторм, как накатывали трехметровые бурые волны одна за другой, как я смотрел с грязной пенной высоты на берег и бетонный парапет, с восторгом понимая, что на высоту второго этажа меня заносит вода. Помнится, я тогда выждал момент и с небольшой волной вылетел на берег. Со всех ног побежал к бетонному парапету под яростные аплодисменты местной публики, с ужасом ощущая, что сзади набегает новая огромная волна. Помнятся долгие объяснения с грузинскими спасателями и Лидочкой, которые, в отличие от толпы, явно не были в восторге от происходящего.

Вот маленькие развертки из Турции, которые я поднял с семиметровой глубины, не пользуясь специальными приспособлениями для подводного плавания. Вот раковинки смешных раков-отшельников из Португалии. Все раковины, которые я подбирал, были пустыми. Я добряк, и ни у кого не отбирал их домики.

А вот ажурный скелет средиземноморского морского ежа. Вот серенький камешек с побережья Севана. Он приносит мне удачу. Вот яркий зелененький камешек с берега Балатона. Вот красный куриный бог с Черного моря. Вот крупные кристаллы соли Мертвого моря. Все это вещи самые обычные, их привозит после отдыха любой турист, но есть у меня кое-что, что поставит в тупик всякого. Это волосы морской ведьмы...

7

После долгих усилий я выбрался на просоленный берег в том же месте, откуда начал свое плавание. Все так же у берега бултыхались в соленой воде старички. Казалось, никто даже не заметил моего отсутствия. Солнце заметно сдвинулось к горизонту, но до вечера было еще далеко. Все путешествие заняло не так уж много времени, часа четыре. Впечатлений для рассказа было предостаточно. Однако Лидочки на берегу не оказалось. Не было ни ее голубенького полотенечка, ни книги Ольги Грушевской в черно-белом переплете. Сердце заныло, настроение упало. Уже не чувствуя себя победителем, я тоскливо оглянулся. Невдалеке на белом лежаке разлегся толстый бородатый мужчина и, сощурившись, кажется, за мной наблюдал.

8

Спуститься в воду по тем же острым каменным шипам он был не в состоянии. Нужно было попробовать прыгнуть в воду, стараясь перелететь через линию прибоя. Сказать легче, чем сделать. Дно в этом месте было глубоким, однако, если не долететь до воды, можно разбиться насмерть о большие валуны, уходящие в глубину. Сумерки уже сгустились настолько, что камни в воде не просматривались. Нужно рискнуть, но расстояние надо было оценивать с большим запасом. Прыгать с места головой вниз, как на соревнованиях, здесь нельзя. Нужно отойти от края шага на два, чтобы потом посильнее оттолкнуться ногами. И он прыгнул. Вошел хорошо и ушел под воду метра на три. И там, в глубине, в почти непроглядной черной воде ему показалось, как что-то метнулось от берега вместе с его телом. Где-то в глубине души он уже знал: гонка началась. Поразился, какой темной, негостеприимной стала вода, но думать было некогда, и он изо всех сил поплыл кролем к берегу. Плыл долго, шумно выдыхая в глубину серебристые шарики воздуха. Через какое-то время остановился, чтобы передохнуть. Ящерица начала превращаться в черепаху и снова стала глядеть в его сторону сквозь сгущающийся сумрак. Где-то впереди зачернел давешний буй, раскачивавшийся на беспокойных волнах, значит, до берега недалеко.

И тут будто что что-то коснулось его ноги. Легонько. Он изо всей силы брыкнул ногой, понимая, что нельзя поддаваться страху. Показалось. Показалось, конечно. Но он еще раз ощутил прикосновение, еще более явственно. Сомневаться не приходилось: *что-то* терлось под водой около него. Единственное спасение в скорости, и он бросился плыть, не разбирая направления. А это *что-то* все время преследовало его. Преследовало с методичной настойчивостью, как сумасшедшего преследует неотвязная мысль. Он стал размышлять: это не морское животное, оно бы его уже схватило, если бы вообще имело такую цель. И в этом море нет акул... Это какая-то человеческая тварь. Это нечто разумное. Оно играло с ним. Он все время ощущал легкие прикосновения. Казалось, чьи-то руки пытаются потрогать или схватить его. Это вызвало панику. Краем сознания он предполагал, что сам мог все это внушить себе, что остывающие волны могли сыграть злую шутку с его рецепторами. Разыгравшееся воображение оказывало ему дурную услугу: он хорошо управлял своим телом, но не справлялся с черным, нахлынувшим вдруг потоком подсознания. Немалая вероятность того, что все померещившееся — правда, заставляла плыть изо всех сил в неизвестном направлении.

Плыл он долго, краем глаза замечая, что больше не видит веселеньких разноцветных огоньков. Все вдруг тяжело погасло в огромном черном пространстве. Во тьме растворился даже остров. Где он, уже никто не мог бы ему сказать. Была кромешная ночь, и только в черной непроглядной глубине кружила у него под ногами морская ведьма...

Герман Власов

Из цикла «Вода и ветер»

1

Купил цветы — не белые гвоздики,
но ирисы — изгиб их полюбил.
Я ехал на метро до Эвридики,
я чудом их изгиб не погубил.

Имело место чудо: я на воздух
с толпою, как на небо, вознесён.
Она живёт в пяти минутах возле
Черкизово, ещё там стадион.

Цвета команд густой гуашью слились,
потом у дома вечный шёл ремонт.
— К какой команде отнесёшь ты ирис?
Куда поставишь: в кухню? на трюмо?

Подрезала. Набрав воды из крана,
поставила на круглый стол и тут
заметила, что я приехал рано.
— Не рано. Подождём, как расцветут.

2

Ложечке с вареньем удивляюсь,
а сглотнув, — блестящей на фарфоре;
влажен пар, которым упиваюсь;
в разговоре

вставлю «может быть», «похолодало»,
«воду две недели, как включили»;
длинно посмотрю и щёки алым
(соус чили)

Власов Герман Евгеньевич — поэт, переводчик. Родился в 1966 году в Москве. Окончил филфак МГУ. Автор нескольких поэтических книг, среди которых «Музыка по проводам» (М., 2009), «Девочка с обручем» (М., 2016). Лауреат международного литературного Волошинского конкурса (2009). Живет в Москве.

вспыхнут у неё. Но мы посмотрим
чёрно-белый пухлый телевизор.
И пойду к себе по подворотням,
крылья низом,

день припоминать: на солнце капли,
сурик крыш, берёзы позолоту.
Как кулик уйду от старой цапли
спать в болото.

А придёт ко мне через неделю,
я вареньем тем же угощу и:
— Сколько мы того варенья съели, —
загрущу я.

3

— Кран у тебя капает. — заметил.
— Ничего, — ответила, — не раздражает.
Ещё ветка в окно, если ветер,
на ассоциации возбуждает:

скажем, волны там ступни лижут,
или тени в вечер длиннее,
или падает с полки книжной —
собрание сочинений.

— Или, — вставил, — мужские руки
нужны, чтобы звуки иссякли
посторонние. Ну что тебе звуки —
на кухне капли?

И тогда она — чайкой на пирсе —
видит мой профиль рыбачий,
спрашивает, где я учился.
А чай у неё горячий.

4

Нежность острой волною
грудь теснит, как пюпитр.
— Что там рядом с Луною —
неужели Юпитер?

Что там слева, как птенчик,
неуёмно забилось?
Трудно лучшей из женщин —
вам и не снилось.

Трудно порознь и рядом,
прирастая, длиннея;
Быть зерцалом и взглядом —
но тем и вернее

я тобой захлебнулся,
океан в моей ранке.
Синий ирис проснулся
в круглой банке.

На воде мы, что камень,
разойдёмся кругами;
перепутает память
нас с богами.

Выпуклые, мы льёмся
красотой — синей, нежной.
Выплыву, — разойдёмся, —
а буду ль прежним?

* * *

Шумной шелухой обнесены
губы, лоб и щёки вышины.
Разве взгляд один за целый день —
как в ушко угольное продеть
нить себя. Какую выбрать из:
жёлтую, зелёную, анис?
Нерушимый кобальт, купорос
(море, кипарисы в полный рост)?
Нет, не имя, а скорее, слух
чайкой вырывается из рук:
нет у милой имени лица,
не найти по следу беглеца.
Я — не я, сказать скорее, мы —
не имеет веса и длины;
и теперь, когда мы вместе здесь, —
мы уже рассеяны везде.
Что снаружи, что внутри — одно
смотрим с изумлением кино.

Евгений Бабушкин

Мялка, свалка и пуговица

Рассказ

Картинка первая, из которой мы узнаем об устройстве одной головы

На щеках у девчонки сверхмодный узор из фальшивой крови: типа мозг взорвался, из ушей потек. Мальчик обычен. Девчонке скучно.

— В мялк бдем.
— Да мал деньк.
— Бдем, ну бдем.

Время действия — завтра. Но не светлое завтра, а так себе завтречко. В этом рассказе люди говорят по-дурацки, потому что так и говорят в будущем. Берегут слова, чтобы лишнего в рот не налетело.

— А чомнут?
— «Нана Ня и ночь любви».
— А чотм?
— Дакбычно.

Мялка — это соматосенсорное кабаре. На сцене тетка, в башке у тетки штука. Тетку бьют — всем больно. Гладят — всем гладко. Жгут — все чувствуют, как с костей сползает мясо.

— Нуок. Нубдем. Чоттак мялклюшь?
— А я б сма мялс. Я тлант. Буду Лана Ля! Ок?
— Йе.

Мялка — от слова «мять». «Кристина Ку мнет себя» — самое первое шоу самой первой дивы. Так и повелось: мялка. И шоу, и место, и женщина, тело свое превратившая в телебашню. Все — мялка.

Ну а эта конкретная мялка мала, тускла и прокурена. На входе ребенок с алыми от наркоты глазами раздает пробки — съемные модули приема. Скользко и противно они крепятся к основанию черепа. Зрители как могут прячут дыру в затылке: кто гривой, кто шарфиком.

Евгений Бабушкин — писатель, журналист. Родился в Ленинграде в 1983 году. Автор книги «Библия бедных» (АСТ, 2017). Лауреат премии «Дебют» за короткую прозу и премии Дмитрия Горчева. Рассказы переведены на финский, литовский, китайский и немецкий языки. Живет в Москве.

Свет гаснет, луч ползет по сцене, там — прозрачная ванна. Это типа море. Внутри Нана Ня — голая, старая, глупая баба. По сюжету она красавица. Но на сюжет плевать. Нана Ня сложно цокает языком — это логин — и штука в ее голове начинает стрим. Зал чувствует воду, окутавшую чужое тело, и пластик, упершийся в чужой зад. Стрим — полчаса. Ассистенты будут баловать Нану Ня так и эдак. Зрители платят за чужие переживания и намерены напереживаться. Плещется море. Мялка мнется. Всем хорошо.

Картинка вторая, из которой мы узнаем об основах соматосенсорного нейрочипирования, но скучно не будет

Место действия — город, какой хотите. Вечная вьюга среди небоскребов. Или: куча мусора на берегу гнилой реки. Или: стены кремля в рекламе сосисок. Вам декорацию выбирать. Все города одинаковы, впрочем. Родился — не заметили, пропал — забыли.

То ли дело мялка. Она мечта. Она — навечно.

Кастинг: суешь голову в бак с огоньками, а потом тебе говорят, годишься ли. Мужчины не мнутся, что-то не то в мозгу. Но у каждой стотысячной женщины мозг подходящий. Такую тестируют. Не дура ли будущая дива, не фригидна ли, хорошо ли понимает команды.

Потом идешь к мяснику, ставишь соматосенсорный передатчик (штуку, проще говоря) в третий желудочек мозга, прямо в таламус. Из черноты возвращаешься почти прежней, с парой незаметных шрамов.

Девчонка тоже побывала в баке. Прошла все тесты, успела даже дать по паре раз полезным людям. Ее выбрали. Но потом назвали цену. В этом фишка мялки и ее облом: штуку ставят за счет соискательницы. Не хочешь — вали, вас таких много.

Столько денег не скопишь, если даже продашь двадцать почек. А почка у девчонки и так уже одна.

Мялка жестока: очередь в зал длинна, а на сцену еще длинней. Особенно если ты из дальнего района.

Мялка консервативна: продюсеры торгуют чужим оргазмом, но на чужую боль спроса нет: мялка «Тара Туть татуируется» провалилась. Зря истыкав щеки, дива вернулась к офисной работе.

Мялка то, мялка се. Но — мечта.

Картинка третья, с мясом и музыкой

Девчонка скулит по ночам, объедается никудышной наркотой и отдается своему обычному мальчику молча и неподвижно. Ей хочется в мялку, на сцену, под луч, ей нужна штука в башке, продюсер и мировая слава, но для начала хотя бы штука.

— Да ты зае.
(девчонка плачет)
— Зае ты.
(девчонка хрюкает и тычется в подушку)
— Ну дам те чвека.

(слезы сохнут мгновенно — у нее гибкая психика, у девчонки-то)
— Мастер обвеса. Звать Голубь.
— А чо?
— Увишь.

Обвес — это штуки в твоей голове. Настоящий обвес — для богатых. Подвальный в двести раз дешевле, но если извилина лопнет, некого будет винить. Глупая и быстрая, девчонка не боится за извилины и идет на радиорынок.

Маме она говорит, что зависнет у подруги, но мама отработала очередную пятнадцатичасовую, и ей в общем плевать. Мальчику тоже. Дав контакты Голубя, он надолго пропадает из рассказа, мы встретим его еще лишь раз, прямо перед убийством.

И девчонка идет — сквозь дикую вьюгу или вонючий дождь, вам декорацию выбирать. Столько-то лет назад тут торговали транзисторами, и рынок пропах канифолью паяльных ламп. Столько-то лет спустя наступила эпоха нагретой пластмассы, и коробки с пиратскими дисками плавились на солнце. Столько-то лет прошло — диски исчезли, и над кучами китайских телефонов поплыл запах куриного жира: люди ели, торговали, ели.

А завтречка новые запахи. И девчонка идет, и толпа предлагает миллион удовольствий: вшитый шокер, чтобы покалечить пальцем, бикини-электрини для всяческих забав, радиоприемники антикварные, что-то странное из мяса, но с кнопками, старомодную стальную собаку с горелыми глазницами. Кричат торговцы, кричит товар — полутрупы без важных органов — кричат забинтованные покупатели. Тут можно вынуть все и вставить все, живое и неживое.

Из очередного подвала лезет музыка, и девчонка подпевает хиту:

а у нее во рту таблет-ка
пол-ная го-ре-чи
можно без одеж-ды
как на юууге
дееевочка хооодит
по чужому го-ро-ду
пьяные поют
и заглядыва-ют под юбку
горькая таблет-ка
ночь без о-кон
не ходи за девочкой
удааарит то-ком
дыр-ка в кееедах
бееелое нееебо
чёоорное небо
вдох-выдох иии нету.

Это литературный перевод с завтречкового на наш. Дальше припев, но там совсем непонятно, там что-то про ночь.

Картинка четвертая, в которой пахнет жженой кровью

Радиорынок почти бесконечен, но однажды параллельные мясные ряды сходятся и там — Свалка, хаос подвалов и лавок. Даже с окраины рынка можно вернуться без глаза, а на Свалке люди просто остаются навсегда. По частям.

В одном из подвалов сидит Голубь. Он не обычный мясник, а мастер обвеса, он работает только с мозгом, считает деньги, смывает кровь, считает деньги. Голубь улыбается.

— Здравствуй, милая. Чего ты хочешь?
— Хай. Штуку.
— Еще немного хлама в череп?
— Чо?
— Или какую-то конкретную штуку?
— Шно гришь.
— Это ты смешно говоришь, милая.
— А чо ты Голубь?

Голубь улыбается и сдирает с руки кожу. Это перчатка. Под ней настоящее тело — сизое с радужными разводами, как туловище птицы.

— Нейроэкзема. Побочка. Знаешь, что такое побочка?
— Не.
— Это когда в голове многовато. Так чего ты хочешь, милая?

Девчонка объясняет. Подвал как подвал, серые стены, ниже нуля, обычная нелегальная операционная. Девчонка дрожит и убеждает Голубя, что хорошо переносит обвес, проверялась не раз, а что пустая до сих пор — так не было денег поставить что-то стоящее. Голубь все улыбается, и девчонка понимает, что это вечная судорога, побочка, грустить он уже не будет.

— Вот тут у меня «глутамат», усилитель вкуса и вообще всего: кончишь от ветерка. Вот «швабра», «дрын», «писин». Обвес на любой вкус, хорошие, приятные штуки. А ты пришла за подвальной копией нейротранслятора последнего поколения. И даже с продюсером не договорилась.

Штуки в лотке похожи на льдинки, девчонке больше сказать нечего.

— Ну, давай свои деньги. Ковыряться в тебе недолго, вечер. День полежишь у меня в морозилке, неделю дома, поболит голова, старайся не есть это ваше говно и не думать о жизни. Вот и вся реабилитация, — говорит Голубь. Он слишком тщательно произносит слишком длинные слова, и девчонке кажется, что она в старом фильме.

Картинка пятая, в которой происходит маленькая накладка

Девчонка просыпается. Ей впервые за жизнь легко.

— Извини, милая, но ты хрустальная пуговица.

Голос Голубя. Больше ничего.

— Зрение я тебе скоро верну, голос пока не буду, а вкусы-запахи тебе и не нужны: тут, говорят, не очень вкусно пахнет.

Девчонка орет, но ее не слышно.

— Видишь ли, денег твоих не хватило. Надо поработать. Но ты ребенок и ничего не умеешь. Короче, я взял твою душу, вынул из тела, а тело сдам внаем.

На полке — девчонка себя не видит, но вы-то, бедный мой читатель, рассеянно наблюдаете со стороны — на полке сплюснутый кусочек чего-то мутного. В самом деле похоже на пуговицу.

Наоравшись, девчонка понимает: это прыг. Хит сезона, для богатых развлекуха. С тебя снимают как бы слепок и помещают в чужое тело, а предыдущего жильца — в

пуговичное хранилище, ну или в другое тело, так можно сколько хочешь прыгать, но это дорого и мало кто умеет.

Мялка — для всех. Прыг — для лучших. Зачем наслаждаться чужой жизнью дистанционно, если можно — по-настоящему?

Обычно прыгуны договариваются друг с другом, тупо обмен телами. Но это (девчонка снова орет, и снова зря) нелегальный прыг.

Пуговица лежит на полке. Голубь трогает головы, тычет лучами в уши, вставляет и вынимает глаза, время идет, время, время, мя, ла-ла-ла, вре-ре-ре, трудно его ощутить, когда ты пуговица. Но однажды в дверях возникает особенный человек.

— Явс чен-чен до ска, — говорит он. Даже девчонка не сразу его понимает.

Думай быстро — говори быстро — живи быстро — умри попозже. Простые правила правящих классов завтречка.

— Я вас очень, очень давно искал, — говорит человек.

Он так спешит, что лучше сразу к сути: этот клиент достаточно богат, чтобы прыгнуть. Семь часов работы лазера, скальпеля или чем там Голубь ковыряется в людях, и вот уже тело клиента лежит в морозилке, а сам он осваивается в девчонке: глупо хохочет и щупает сиськи.

— Хьеть! Хьеть! — восхищается он.

— Не повреди ее.

Это странная тема: мужик средних лет в теле школьницы старших классов. Но Голубь смотрит на них с девчонкой с нежностью часовщика.

Картинка шестая, в которой хрустальная пуговица путешествует

Ве-ве-ве, ре-ре-ре, мя-мя-мя, время контракта — неделя. В теле, конечно, датчики, и Голубь следит за всем и за всеми. Первый клиент лишь гуляет и целуется с кем попало, видимо, захотелось немного юности.

Голубя нет ни в каких сетях, вообще нигде, за него работают слухи, так надежней. Кто-то кому-то хвастается, что в сердце Свалки лежит пустая школьница. Теперь к ней очередь на прыг.

Второй клиент три дня трахается.

Третий арендует девчонкино тело на сутки и идет к матери — та двадцать четыре года каждый день говорила ему, что лучше бы аборт, в крайнем случае — дочка. Ну вот тебе дочка. Та гонит его — уродец, мол, уродец — и он досиживает срок и плачет в квартире с видом на выбранные вами декорации.

Пуговица лежит на полке. Пуговица лежит. Входит семнадцатый.

— Де на сма? Стъяща?

Это и без перевода понятно. Хочет знать, где она настоящая, где хозяйка тела. На ладони у Голубя пуговица. Это не хрусталь, конечно. Лишь несколько лабораторий

режут эту стеклянную муть, и технически девчонка почти бессмертна, ее можно лишь уронить, потерять и забыть, и в моменты ясности она с удовольствием представляет, как ее потеряли.

— Хчу штна стре.

Хочет, чтобы она смотрела.

— Я даю людям жизнь, — говорит Голубь.— Новую, всякую, странную. Так что тебя не убьют. Но помни: это дорогой товар. Особенный. Потеряешь ее — тебя поломают. Попытаешься разобрать — поломают. Просрочишь контракт — поломают. И будешь так жить, поломанный.

Дело сделано, клиент в морозилке, душа его в теле девчонки, девчонка в пуговице, пуговица на цепочке.

Для начала клиент неумело закидывается наркотой. Плохо танцует, над ним смеются. Еще наркоты. Платит другой девчонке, почти такой же, за секс. Девчонка болтается на груди у себя же, ей ни хрена не видно. Снова танцы. В общем, его путешествие ценой с дом довольно уныло. Он, кажется, сам это понимает и идет в мялку. Девчонка с ним.

На сцене Нана Ня. Мнется четвертый раз за сутки и двадцать восьмой — за месяц. Фабричная дрочка, которую тысячи одиноких переживают как сказочный секс.

Клиенту наконец-то хорошо. Он потерялся в лабиринте. Внутри чужого чувствует чужое.

Девчонка болтается на цепочке и не чувствует ничего.

Картинка седьмая, в которой девчонке ставят еще один синяк

На ночь Голубь пускает сквозь пуговицу ток какой-то там частоты, это вырубает девчонкину душу на пару часов, на сон не похоже, похоже на вкл-выкл.

Ей спать и не нужно, но это хоть какой-то ритм. Без ритма в бестелесном бессмертии можно тронуться (вот почему и в этом рассказе так ритмично).

После очередного вкл. девчонке снова больно.

Это она уже забыла.

Не сильно больно: там царапина, тут потертость, режет желудок, саднят колени, не сильно.

Девчонка молча трясет головой.

— Работа кончена. Ты ничего мне не должна.

Вскоре девчонка вспомнит, как говорить, а пока она просто трогает коленку и смотрит на незнакомые синяки.

— В голове у тебя все обещанное и даже больше. Лучший товар. Теперь скажи: зачем тебе мялка?

— Мь, — говорит девчонка. —Мь.

Голубь ждет.

— Мечта.

— Я видел много голов изнутри. Никакой мечты там нет, — говорит Голубь. Из-за улыбки кажется, что он шутит.

Потом девчонка возвращается домой. В свои вагончики, сараи, небоскребы выше неба или норы ниже магмы, это уж как там вы представляете завтречко.

Мама ей не рада. Что заначки нет, мама заметила почти сразу. Ну еще бы, не карманные же деньги девчонка отнесла Голубю. Заначки нет, и это значит, что четверть жизни мама работала зря.

Мама ревет:

— Де т, сука, бла семь месь?

Семь месяцев?

Мама бьет девчонку в лицо, промахивается, снова бьет, попадает. Синяк девчонку не волнует, ее волнует, чтобы штука была цела. Мама выражается в том смысле, чтоб девчонка поискала другое место жить, пусть валит к своим мясникам.

И девчонка валит. Обратно к Голубю, больше некуда. Завтречка, похоже, нет никакой близости, но вынувший тебя из тела человек — пожалуй, поближе прочих.

Картинка восьмая, из которой мы узнаем, что девчонка действительно особенная, как и подозревала

Есть мялка и мялка. В одной все сверкает, туда дорогие билеты, с них платят налоги. В другой дивы постарше, люди поплоше, в общем — трэш. Туда-то и возьмут поработать с подвальным обвесом.

У Голубя знакомые повсюду и в мялке-нелегалке тоже. На зов приходит Кока, маленький человек с ожогом от побочек на щеке. Кока — продюсер подпольных мялок. Он проверяет обвес, предлагает контракт и называет цифру.

Казавшийся неоновым и чудным, мир мялки состоит почему-то из крохотных грязных подвалов. Зрители заполняют один из них.

На входе ящик с пробками и чан с дезинфектором, чтобы не занести себе в затылок дряни.

Девчонка думает, что через мгновение все сбудется. Она Лана Ля. И сегодня — «Лана Ля ложится спать», ее первое шоу.

Она на сцене, еще не голая, но скоро зрители почувствуют, как шелк сползает с кожи. Ждет. Людей мало, мялка тесная, от ассистента пахнет пылью.

Девчонка думает, красива ли она. Кажется, красива. Но это неважно, поверхности не важны, важна только душа. Цокнув трижды об небо и пятикратно об левую щеку, девчонка превращает душу в передатчик, а ассистент без лишних слов кладет девчонку в койку.

Сценарий велит делать то да се, но без подробностей, в меру таланта. Это обычная порно-мялка с рудиментарным диалогом. Итак, девчонка начинает стрим, но зал реагирует странно.

Тут и не скажешь «в ту же секунду»: в мире дырявых мозгов все куда быстрей. Миг в миг люди в зале чувствуют, чего не ждали. Не чужие лапы на чужой жопе. А легкий стыд, и это чужой стыд. И бесконечную надежду — чужую. И застарелый страх — не их, но теперь он будет с ними. И вот уже один бросается к выходу, пугая девчонку до паралича, и зал в ответ заходится в панических корчах, все молча ломятся наружу, кроме парня, который блюет на заднем ряду, и еще пары ошалелых, которые остаются смотреть на плачущую девчонку в цветных шелках. Коку трясет за кулисами. Девчонка продолжает стримить всю себя, и Кока, вырвав пробку, бежит на сцену и бьет девчонку в горло, делая «выкл.» (в голову нельзя, она бесценна).

Очнувшись, девчонка плачет, но Кока доволен. Он трещит в три раза быстрей обычного, лучше сразу переведем.

— Ты поняла? Ты поняла? Сегодня мы с тобой нащупали. Много. Много денег. Много больше, чем соматосенсорная трансляция. Односторонняя телепатия. Слышала? Слышала? Ты, дорогая, единственный в мире прибор для стрима эмоций. Это что-то в тебе самой или что-то Голубь в тебе наковырял. Не знаю, но выясню. Я же ученый. Пришлось вот этой сранью жить, но я ученый. Ничего. Ничего.

Девчонке страшновато, но Кока похож на всех продюсеров мира. Он приятно бормочет приятные слова — «мечта» среди них — и девчонка успокаивается.

Кока ласково хлопает ее по заднице. Без эротики, это радость владения. Кока ее вообще не трогает, его интересуют только деньги, или не деньги даже, а что-то такое за ними, что он никогда не назовет, да и сам не знает, потому что тараторит.

Картинка девятая, в которой мы доламываем четвертую стену и наконец-то происходит убийство

Девчонка — первый цветной телевизор. Мобильник среди ЭВМ. Она как мялка, только лучше. Как прыг, но доступнее.

Это фантастический рассказ, а фантастика, говорят, для тупых. Надеюсь, бедный мой читатель, вы не такой. Но на всякий случай разжую. Вот мы... вот нам же часто надо побыть не собой. Кем-то другим конкретным. Или просто кем-то другим. Мы же все ради этого, все ради этого. Смотрим наши киношки, играем в игрушки, чтобы пожить чужое. Это же такая свобода, сбросить себя, как вонючую майку после часа в летнем метро (я пишу это душным июлем, но можете представить зиму).

В общем, девчонка — это чудо и задешево.

Сначала приходят ценители. Им секса взаймы уже мало, им нужно поглубже в мозг. Ценители трезвонят любителям. Любители всем.

Подвалы становятся больше. Билеты дороже. Девчонка стримит. Зал стонет, чувствуя чужое с утроенной силой. Упоенная, девчонка даже не замечает в зале своего бывшего обычного мальчика. Мальчик дрочит.

Все кончается быстро. На очередное шоу приходят не зрители, а четверо в черной броне. Трое солдат с идиотскими лицами и командир с искусственной рукой. Солдаты не были в гримерке настоящей звезды и ухмыляются.

— У тя бз выбора, — говорит командир. — Гришь, кто те ставьл, кто катал.

И так далее. В переводе с юридического на наш: девчонка должна сдать Голубя

и Коку, и тогда ее отпустят, вынув подвальный обвес, всю нелегальщину. А если не сдаст, если упрется, то вынут без наркоза.

Мялка — большой бизнес, государство любит большой бизнес, а самый большой бизнес — это государство и есть, так что с его стороны это просто самозащита.

Девчонка вяло тычет локтем в подсобку, но даже не скажешь, что она успевает кого-то сдать, потому что Кока, обезумев и горя щекой, сам выбегает навстречу солдатам.

Командир сверхбыстро бубнит три строчки из уголовного кодекса. Это для порядка. Для закона он стреляет. Если бы девчонка прямо сейчас облизнула губы, она бы узнала мозг на вкус.

Коку уносят, пойдет на консервы для самых бедных, а девчонке теперь нужно явиться туда-то тогда-то, вынуть обвес в особой клинике — кровью поплачешь, и все пройдет, говорит командир.

Пошатавшись и повыв, она идет на Свалку.
Голубь улыбается.

Девчонка излагает ситуацию, как может. И пока говорит, понимает, что в общем и целом мечте конец.

— Пста ме смер.
— Что?
— Убей мя.

Это логично. От колес откачают, с крыши страшно, из пистолета стреляются только в кино. Но если просто лечь мяснику под нож, ничего не почувствуешь.

У этого рассказа три финала. Снова вам выбирать, но теперь уже насовсем.

Картинка десятая, с вариантами

Первый финал — затейливый и красивый.

— Я даю людям жизнь, — повторяет Голубь.— Новую, всякую, странную. Жгу людей, шью людей, рву людей, но не убиваю. Ты сама себя убьешь. Я поставлю тебе смерть. С секретом. Я люблю этот город, он сделал меня мной, и я хочу ему отплатить. Будет легко. Ложись.

Чернота; вскоре девчонка уходит с новым шрамом и новой льдинкой в мозгу. Склонная к драматизму, она ждет полуночи и врубает хит:

дыр-ка в кееедах
бееелое нееебо
чёоорное небо
вдох-выдох иии нету

Но не решается и шатается еще полчаса. Цокает наконец и ждет, пока тайная штука сработает, пока тихая темень хлынет в мозг. Поверх фальшивой крови из ушей течет настоящая. И тут вдруг оказывается (это красивый финал), что рядом со смертью в ее голове стоит усилок, ну, например, не простой, а предположим, военная какая-нибудь разработка, которую Голубь выменял у дряхлого генерала за чип в член. Да неважно, что именно. Важно, что Голубь — мастер обвеса, и вот чудо.

Девчонка в агонии — Голубь опять соврал — и усилок разносит ее боль на тысячу квадратных километров. Тут и не скажешь «в ту же секунду»: в мире дырявых мозгов все куда быстрей. Миг в миг миллионы мялочников цепенеют, чувствуя девчонкину смерть в затылке. Свою смерть.

Второй финал попроще: Голубь не будет ее убивать. Он странно к ней относится, это любовь какая-то, но неправильная, голубиная. И потому он предлагает ей бессмертие в хрустале. Тело отправит гулять по Свалке, мало ли на него желающих, пусть его разорвут мясники и вышибут пустые мозги солдаты. А девчонка проведет вечность в хрустальной пуговице.

Нет, я бы не стал выбирать этот финал и вам не советую. Уж слишком это бессмертие — если, конечно, вовремя бить пуговицу током — похоже на обычную жизнь. А кому она нужна, обычная-то?

Третий финал. Он правдивей и противней. Ни смерти, ни бессмертия. Неважно, что там ей предлагает Голубь, людей вроде Голубя вообще, вероятно, нет. А вот девчонка совершенно реальна, а значит, как и мы с вами, она ничего не решает, лишь коченеет от ужаса, и так невольно выбирает жить дальше. Где-то работает, снимает какой-то угол, может, слегка продает себя по кусочкам, но без экстрима. О ней забывают. Это же не сраная тоталитарная антиутопия. В завтречке, как и сегодня, правят нажива и полный бардак. Слава бардаку, кто-то где-то потерял ее файл, и девчонка жива и свободна, но, конечно, никаких мялок, прочь мечту и так далее.

И девчонка ходит туда-сюда, и что-то такое делает, и подпевает новому хиту. А вьюга все сильней (если вы выбрали вьюгу), и над гниющей рекой поднимается пар (если вы выбрали южный пейзаж). Растворяется завтречко, и уж не разглядеть девчонкин силуэт (или как это назвать, когда кто-то тает во тьме).

И если вы слегка расстроены, что у девчонки не сложилось, так не расстраивайтесь. Вечность — для везунчиков. Чтобы туда попасть, нужно или сильно мучаться, или много денег. А девчонка — я-то буду с нежностью ее вспоминать, но и я не подарю ей вечности — а девчонка просто подергалась и растаяла. Как и вы, бедный мой читатель. Квы, бедны м чта. Квы.

Александр Чанцев

В кавычках

Рассказ

Океанский берег — песок играет в го.

Чем ближе были, тем дальше ушли. Старые мэйлы, как ворох похоронок.

«...Я могу увидеть во сне, как когда-то учился ходить. Да только ничего это не даст. Я умею ходить, а вот учиться ходить — это мне уже не дано» (Вальтер Беньямин. Берлинское детство на рубеже веков).

Ребенок изобретает мир. Тот, как большая добрая собака, подыгрывает.

Человек и рукопись — читать потом пепел.

Люблю смотреть в транспорте на людей — пытаться догадаться, кто где работает. Младшим патологоанатомом, продавцом винтажных кукол, айтишником баннеров на порносайтах, в какой-нибудь хитрой СБ? Должности, которые и не знаешь? Так ездил и езжу до сих пор до метро с седым мужчиной, которого увидел, устроившись ненадолго в международку одного министерства. Так с не самой первой попытки угадают и мой японский.

Не поехал на дачу. И действительно, все выходные шел дождь, и было холодно. Хоть что-то в жизни сделал правильно.

Королевская свадьба в Англии. Кто раньше бы в лучшем случае развлекал поваров, все эти певцы, телеведущие, актеры и спортсмены, сейчас гости сами. И весь мир смотрит это, переживая приобщение к мечте. Скоморохи продолжают развлекать чернь.

Тонкие трещинки в небе заделаны герметиком облаков. Болячки сковыривает ветер.

Александр Чанцев родился в 1978 году. Японовед, критик-эссеист, прозаик. Закончил ИСАА МГУ, стажировался в Японии, кандидат филологических наук. Автор шести книг, сборник прозы «Желтый Ангус» вышел в 2018 году. Работает в сфере российско-японской бизнес-дипломатии.

У диабетиков повышается к утру уровень сахара, у меня — тоски. К врачам часто, как по абонементу на концерты. Безнадежность, тэг каждого дня.

Смерть отнимает заранее. Обессмысливает все, но когда-то и она имеет смысл. Например, жил бы вечно Шекспир — в виде оцифрованного мозга или еще как. Раскрыл бы тайны жизни и трактовки своих произведений, сделал никчемными попытки прочих драматургов и всех. Только конечность и обреченность придают смысл?

Столько было сказано, все и по нескольку раз. Мы должны изобрести что-то кроме слов.

Цветы распускаются на глазах, прямо как дети растут. Почему во всех почти религиях есть медитация на.

Ноготь улитки
Подцепляет лист
Уховертка дождя

Забытый труп утопленника покачивался в казавшемся слишком маленьком для него пруду, почти болотце, большой надувной детской игрушкой. Когда воскреснут все метафоры.

Я выключаю свет, и ко мне приходят мои мертвые. Как вокруг постели заболевшего ребенка собираются. (Тайная вечеря, да Христа не ждут.)

Попкорные взрывы куста жасмина.

Кризис среднего возраста ужасен. А я-то еще и в 30 лет шутил, что вот он у меня... Но с такой логикой — еще сильнее будет — кризис смерти. (То, что Даниил Андреев сильно мучился в агонии, кому-то дало основание говорить, что-де демоны забирали, но — не видел ли визионер предстоящее за жизнью, не было ли это последним вестничеством?) После жизни ад, как настоящий пистолет после детской игрушки.

«Ибо любовь есть оковы оков» (Дж. Бруно). Голым от любви на небо прийти, в крестильную рубашку облачась.

Засыпаю я часто, отложив книгу. И — продолжаю читать во сне, в падении в сон. Строчка за строчкой, несколько страниц. Мозг явно генерирует текст, похожий на только что прочитанный. И только уголком сознания понимаешь, что читаемое — в кавычках сна. Но я все равно хотел бы взглянуть на эти страницы.

Понял, что в современном мире мне только нравится. Меньше бумажек и формальностей из-за интернета и цифровых технолгий. И что при наличии жизненной мотивации/сил/времени/денег можно попасть на любой концерт, в любую страну и даже купить почти любую книгу.

В Молдове под навесами распятие и Христос. Скворечники с бандеролью от Бога, корм человеческих птиц.

Окна — грибница для заката.

Повсеместное вхождение слова «ушел» вытеснило «умер». Ушел, но, может быть, еще вернется? При этом «пришел» о родившихся нет. Почему пошлость чаще касается смерти?

Иногда мы больше теряем друг друга в любви, чем в смерти.

Молочную испарину рассветного тумана солнце сдувает с луга, как пот со лба заигравшегося ребенка.

Всегда завораживали миграция и конечное упокоение вещей (вообще — жизнь в них). Пакеты из японского duty free (чай, кимчи, сладости, сакэ и игрушки в подарок) сначала на даче, тут в них мусор и — на мусоросборнике. Где-то под Клином, местным бомжам или воронам-лисам.

Идея акции — под купол огромного готического храма пустить в слабых динамиках чей-то разговор по телефону. Долгий и личный. Или короткий, деловой, и тишина. Внимать человеку, как Богу.

Ты засыпаешь, и сознание уходит. Потом оно возвращается. И так много-много раз. А потом уходишь уже ты, оставаясь лишь запахом в лужах и листках, и дыхании воздуха над ними. И так тоже будет много-много раз. Пока ты не поймешь законы несущего все ветра. Или ветер не поймет тебя. И отпустит туда, где никто из вас еще не был.

Куда идет дождь? Слабый оттиск неба на земле.

Снилось, что учу корейский с довольно вредным, но смешливым корейским монахом. Вынырнул из сна с одним запомненным словом «кинджио». Жаль, что не со всем словарем.

Чем хуже в жизни, тем ярче сны.

Дети падают — учатся ходить, старики падают — учатся лежать. У славян это называлось скакухой.

Лето — желток года, там маленький Исус живет.

Они умрут — никто не вспомнит, каким ты был в детстве. Они дали, они и забрали.

«Любовь, подобная падающей звезде» называется книга тюремной переписки Хоцуми Одзаки, соратника Зорге, с женой.

Поезд прибывает вовремя — поезд пробует и даже прободает время.

Со сложными людьми — сложно, с простыми — невозможно. У святой простоты — ни слова в простоте.

Молчание — иногда единственная сила, что у нас есть. И утешительная тишина.

«Семь столпов мудрости» Лоуренса Аравийского напоминают — «Дюну». Такие же космические пустыни и фантастическая логика поступков.

Цветок — из горшка, человек — в урну джинном вспять.

Что бы я поменял, вернувшись в прошлое? Женился бы на той, не отказался бы от работы там? Покончил бы с собой на выходе из детства, когда я был собой, всем и — все были тут, рядом, на даче. Живыми.

Тяжесть полета бабочки под дождем — думаешь о метафоре.

Где-то в этом районе сожгли собаку. Бомжи? Подростки? Хозяин? Никто не знает, конечно, но труп лежал пару дней, стыдливо полуприкрытый какой-то ветошью.

Потом его утащили на чем-то, похожем на простыню, таджики. Может, это и была простыня. Небольшая детская или собачья простыня. Запах остался. Запах всегда остается. Синяк пахнет углом стола. Загар — отпускными фотографиями. Фиолетовые обои — небом перед грозой. Запах — это такая месть. Или метафора воздаяния, адом или раем. Как посмотреть. Вот телефонные звонки тоже пахнут. И музыка в Ютьюбе. Поэтому — район Жареной собаки или, как говорят совсем местные, Корея.

Пару интересных книг подловил, а вот жизнь упустил, как кофе на плите.

(Думая, что большинство настоящих ценностей, если датировать, ценности старомодные, умершие, отмирающие.) Экстраполируя — не смерть ли элитарнее всего? Elite plus black platinum level.

Звезды, этот опять неснятый августовский урожай. Жасмин рисует им ветками указатели на стене дачи, как ребенок на луже.

Меня слишком много для меня. Половины бы хватило. Или даже трети. А вот для жизни, практической «жизни» — меня не хватает.

Наверное, вокзалы, больницы, кладбища более экзотичны, но их не наблюдал так, как парк, в котором офисный особняк. Юноша, который идет на работу, когда я в 9 подхожу к офису. Он же ходит кругами по парку и в 10, когда выхожу курить, и в 11. Прилично одетый, с интеллектом в глазах, явно даже не младший менеджер. Это моцион, он вообще без работы, но скрывает дома, будто уходя, как герой М.Дугласа в «С меня хватит»? Или пожилая женщина и ее 45-примерно-летний сын. Они каждый день приходят на одну и ту же скамейку, курят и читают, совершенно молча, часа два, потом уходят. Он тоже не работает? Они так близки? Но почему тогда не обмолвятся и словом? В парке растут истории людей, они вплетаются в меня, как деревья в ветер.

Взрослые и серьезные офисные люди пишут со смайликами. Так выбегают из офиса в письмах?

Бабушка в бреду старости: «Зачем ты едешь так далеко домой, если вокруг много домов?»

На небе есть тени и румяна. Косметика прикрывает суть, как жизнь — то большое, ясное и пустое, что за ней.

Исчерпанность неба Большой Медведицей.

Банальные вкусы в порно и любви.

С миру по нитке — мертвому рубашечка.

«"Полет валькирий" длится примерно столько же, сколько нужно американской баллистической ракете, чтобы долететь до Европы (с поправкой на темп исполнения — до восточной или западной)», — пишет композитор Борис Филановский в ФБ. А Энди Уорхол говорил именно о 15 минутах славы, потому что тогда часто пугали в прессе, что столько нужно русской ракете, чтобы достигнуть Нью-Йорка. Не зря Бальзак про славу — солнце мертвых.

Дворники играют в керлинг?

Из всех физиологических отправлений человека отвратительнее всего болтовня. Когда примут законы в защиту ноосферы? Созидающее мир божественное Слово и почти физиологическая потребность людей постоянно выделять слова — между этим зажаты, жмутся неуютно, но с маленькой улыбкой. Как зябкие ангелы-дошколята.

Не осознав себя периферией, не стать центром. Лимитрофы создали Рим.

«Мой взгляд провожает меня» (Надаш), а мой — ушедших за пределы взгляда. Ниточкой к детскому зубу взгляд.

Августовский закат на дачных садах, как новогодняя обертка подарков. И Вифлеем елочных звезд потом.

Стук далеких электричек — на горизонте каретка печатной машинки со строки на строку.

Под звездами, этим ослепшим в ожидании пешеходов светофором.

Почему они, всегда делившиеся, отдававшие мне лучшее, не могут поделиться со мной своей смертью?

Паутинка, роса, туман, лучик — утром в саду все в кружевах так же, как и дома в бабушкиной вышивке.

Тело отрывается от души, как осеннее яблоко падает. «В случае, если вас беспокоят прыщи, тот же ученый муж рекомендует подстеречь падающую звезду и в миг ее падения стереть прыщи тряпкой или тем, что попадется под руку. Подобно тому, как звезда покидает небо, прыщи покинут ваше тело». Джеймс Джордж Фрэзер, «Золотая ветвь».

Любовь — даже мастурбировать только на твои фото.

Не стоит недооценивать афоризмы — ими все заканчивается, и большинство эпитафий скучны. «Афоризм или вечность».

Ходящее под себя, не поворачивающееся даже, немое (инсульт) тело умирающего гуманно же. Заставляет ждать смерти — ту, что внутри, и тех, кто вокруг.

Любовь бабушек и дедушек чище, потому что там, в отличие от родительской любви, отступили амбиции, пол и прочее. Приближение.

Когда ее свалил паралич и каждый утренний звонок в больницу ждали конца, в предбаннике у дверей в прохладном подъезде у наших дверей и на них начали зависать бабочки. Чуть ли не гроздьями! Мы даже прогоняли их, чтобы они выбрались на улицу. Но они сидели на и около двери, потом так и засыхали. Продолжая крепко сидеть и потом. Легко было думать, что они вестничают о скорой беде. Но скорее всего, им было просто слишком жарко на улице. Из такой смеси примет и непредсказуемости и ткется медленно смерть, как бабочкино обратное окукливание.

Кто же знал, что мир может быть таким пустым.

Формалин, самый стойкий парфюм мертвых.

Курильщики в окнах кончиками сигарет дирижируют темнотой, постовые ночи.

Видели, как чернеют концы зубных щёток в мокрых стаканах? Уродливее всего гниет пластмасса, разлагается искусственное. Как и человек, самое искусственное в природе.

Отдать человека в чужие руки ритуальных услуг почти так же страшно, как отдать смерти.

Осенний ветер бросает в лицо листья, письма лета возвращает.

Почему при большем, в сравнении с мужчинами, выборе у женщин чаще всего такие вульгарные духи? Как выбрать из всех цветов розовый, а из всех узоров — леопардовый.

«Английский принадлежит всем, кто на нем говорит». В.С.Найпол, «Средний путь. Карибское путешествие».

Черная полоса просто перейдет в траурную ленту.

Тех, кого уже нет, в моей жизни больше, чем тех, кто есть.

Августовские вечерние дачи растут из тумана, как грибы на мху, плывут раскольничьими кораблями. Подожженные чуть раньше закатом тени-головешки.

Человек перед смертью больше спит. А я больше сплю после ее смерти.

Начинать каждый свой день с мысли о самоубийстве — есть в этом чорановский шик. Если бы не было все как есть.

Горшочки «садов Адониса» как дальний родственник бонсая. Все переплетено и связано. Те же матрешки в России из Японии. Пан так же выманивал Деметру из фиглийской пещеры, как Амэ-но-удзимэ-но-микото — Аматэрасу побрякушками. Самурай Киёаки вскрыл живот под сосной, синтоистским символом императора, как фригийский Аттис оскопил себя под сосной же, священным деревом великой богини Кибелы (во время посвященного ему праздника первосвященники архигаллы вскрывают себе вены в храме). Бывал ли Иисус в Индии, но могила его в Японии в дальнем сельском храме есть, да.

На даче косил траву и расчищал дорожки таджик Нур. Посмотрел потом перевод имени — «свет». Очищенная земля зарделась слабым светом благодарности?

Умирающая в траве птица не боится людей, только смотрит. Интимность смерти объединяет.

Дробная мелодия панических атак.

Случайно вычитал, что Малапарте был знаком с Булгаковым. Возможно, и с Юнгером? Это был бы самый глубокий и остроумный разговор аристократов духа! Могу, кстати, представить желающих повоевать после Ремарка и Хемингуэя, после Малапарте — нет.

Утром у входа в метро таджик громко окликает негра. Какие-то бизнес-разборки? «Привет!» — «О, привет!» — «Как дела? На работу?» Болтают, смеются, договариваются об ужине вечером. А я чем дольше живу, тем больше чужой город.

Хорошо, когда выходят посмертные книги.

В старости совершенно как в младости (речь, способность ходить, вставать — все в обратной перспективе, в точности). Кризис среднего возраста, как в подростковье (обида на всех, один полностью, лузер). Вырваться бы из рифм.

Смерть занудна.

Не думал, что когда-нибудь буду еще, после школы (проза) и института (нон-фикшн) читать Генри Миллера. Тут взял случайно доставшуюся книгу на английском

— случайные книги святы действительно, как гости-ангелы. Драйвово, как Трокки! «Life was a perpetual black fuck about a fixed pole of insomnia» — короче и не скажешь. Или «music is the can opener of the soul».

Прямо видишь, как кто-то ценит свои лайки на вес золота.

Культурные парвеню и изгои.

Молящийся перед иконой, как ребенок у окна, за которым длинная дорога с матерью.

Как дача зимой? Как мертвые до встречи?

Все мои кости раздроблены внутренним давлением. Поэтому и сидеть люблю, как Гиппиус у Бакста.

«Мы — разговор, покуда живем» Гельдерлина? Не молчанием, не несказанным, но количеством слов измеряются ушедшие люди, валятся они, как грунт грузовиками в отвал, но утекает, как в песочных часах, и все дальше другой берег.

Ищешь медиократию — поисковик сам исправляет и ищет тебе медиакратию, ищешь дромократию — выдает демократию. «Я живу еще только потому, что есть Другое. Я не выношу равенства» (Эйнштейн). «Призрак посткатастрофической эпохи — разрастание одинокой, сошедшей с ума клетки — рак. <...> Рак — это одиночество, не нуждающееся в другом для того, чтобы расти, развиваться и размножаться» (Т.Горичева).

У нее же в «Священном безумии»: «В одном из папирусов, найденных в пирамиде, написано: “Не найдено ни одной жалобы со стороны быка против Н.”».

Таксист: Какой район! Какой трамвайчик! — Вы тут не были? — Был, я живу рядом, просто стараюсь каждый день чему-то радоваться, чтобы чувство не замылилось. — И получается? — Не всегда. Но мы идем правильным путем!
Вот мороженое привезли! О, «Связной»!

Везде встречаю знакомых. Но чем в курилке на полустанке под Токио или в гонконгском метро — в крематории встретить будет покруче, возможно...

Не увидеть все башни Кремля, как и все камни Рёандзи.

Самолетные следы на небе, как стрелки на колготках.

Осенние костры пахнут облаками.

Бабушку и дедушку привезли на дачу. Которую они строили, так любили, жили, дед превратил весь участок в огород образцовый вплоть до экскурсий из Тимирязевской академии. Не весной, правда, а осенью. Но и осенью сажают же. Высыпали, прах их вместе в земле. Такая нам с мамой по отдельности — Ты не удивишься? Я так же и подумал — пришла в конце мысль. Чем общежитие колумбария или могила в чужой земле. Просто прах. Как зола из печки и после костров, которую мы всегда собирали на удобрение. Я прочел молитву, мама посадила цветы. Мелкая фракция, конец сезона.

Младшие братья узбека Нура по-русски почти не говорят. Но зайдя вечером забрать оставленные инструменты, сказали сразу «добрый вечер» и «спокойной ночи». А до этого маме даже — «приятно познакомиться»! А так, не понимая, всегда кивают, улыбаются и соглашаются. Вообще скромные и хорошие, только Нур, их почти прораб и говорящий по-русски, немного хитрый, о деньгах торгуется. И даже один раз

премию сообразил попросить! Вызываю их уже каждые выходные, придумываю работу, чтобы маму отвлечь после бабушки. Началась выдуманная жизнь.

Когда тебя предают, важно не предать себя самого. Не возненавидеть их, себя, не поменять толщину кожи, не.

На фестивале альтернативной виольной музыки (альты, виолы д'аморе, виолы да гамба и другие). «Есть ива над ручьем» Фрэнка Бриджа отсылает, подумал, не только к образу утонувшей Офелии, но и — см. у Киньяра: «А тем временем их отец-музыкант долгие часы проводил за игрою на виоле, сидя на табурете, обитом старинным, стертым до самой основы, зеленым генуэзским бархатом, в уединении своей хижины. Господин де Сент-Коломб величал ее "vorde". "Vordes" — ныне почти забытое слово, означавшее влажную кромку берега реки, осененного плакучими ивами».

Подсолнух солнца становится семками ночью.

«...Успею догадаться, что не надо искать, кто меня бросил или кинул: брошенность — моя, и более родной собственности у меня никогда не будет. Если у меня хватит выдержки держаться, я догадаюсь, что здесь вся суть моего человеческого дела» (В.Бибихин. Онтологические основания правды).

Сплошность. Сплошная сплошность.

Ненаписанный листок календаря.

«Жабес, подобно немецким романтикам, полагает, что фрагмент — это наш единственный доступ к бесконечному. Я склонна думать, это наш способ постижения чего бы то ни было. Наши инклюзивные картины суть мозаики». Розмари Уолдроп, «Следует размышление о». Так я и пишу, ничего никогда нового.

Каждый раз, когда я куда-нибудь летел, бабушка звонила накануне и желала мне счастливого пути, быстрее возвращаться. Даже в самые последние дни, когда не всегда меня узнавала. Теперь я впервые полечу без этого.

Ты плод моих увечий. Мы — «различия для четырех рук».

Они могут быть поэтами, потому что во всем видят самих себя. Но они не могут быть поэтами, потому что во всем видят самих себя.

Звезды, тайком приносящие цветы на кладбище мертвых самолетов.

Матрешка оказалась пустой (картина ребенка о первом ужасе Карла Виллинка).

В МФЦ среди прочих постпохоронных документов дали — «справку об одиноком мертвом», одинокое проживание подтверждающую. Весь Беккет в одной справке.

Искусство, особенно сейчас, озабочено новым, религия — старым, поэтому и проигрывает. Интересно было бы, поменяйся они целями.

Все чаще чувствую себя всего лишь коконом бабочки Depressio.

Ветер сдувает птиц, сталкивает облака, двигает небом, как экран телефона смахивает. Белые звезды против черного неба, блиц.

Седая Ева танцует в опустевшем осеннем саду. Сад Ирам на зиму.

Фамилия, имя, отчество.
Профессия — одиночество.
П.Зальцман, 1952.

Что ты, баба, что ли, баб бояться?!

Одиночество ест, как ржа.
Горбушка души черствеет.
Мышиная та возня
Стихает, как вечереет.

Читал Гельдерлина. Обычные его стихи почти проглядываешь, написанные в безумии — цепляют и сейчас. Так болезнь разрушила его личность, но сохранила его для времени. «Безумье — сторож, ибо — сторожит» (Рильке).

А через Рильке можно и всего Иоанна Креста — «ночь я, Господи, в ночи Твоей».

«Безысходность — это разум смерти» (Ахмед Хамди Танпынар. «Покой»).

Верблюды, дай им волю, ходят по одним и тем же путям, что и тысячу лет назад.

А заслужил ли я даже эту жизнь?

Золотым октябрем все деревья — успешные алхимики.

Человека, его тетради, посаженные им деревья — все в печку. Правы были, в начале был огонь. Что-то же сейчас в нем новое родится.

Октябрь ночью на даче, когда все разъехались, ни окна, ни огня. Вот он космос, как котенок руку подпускает.

Нет никакого «мы». Пока есть смерть. Ее кавычки-тиски. Человек — заключенный на свидании, отсюда и мысли о рае, освобождении.

Амбивалентно пришел в критику. В самом чистом («максималистском», в переводе с языка взрослого) детстве ненавидел все эти предисловия к книгам, объясняющие автору и мне, что он хотел сказать, а я услышать (возможно, ибо тогда не было Беньямина, а были советские изводы), но — интересовался только и навсегда литературой.

С нами случился Сургут.

Ни у каких вечных любовников нет таких интимных отношений с ночью, как у бессонника обыкновенного. Чоран, святой покровитель бессонницы, знал и черпал, собирая фиалки премудрости на склонах ада.

Вообще самые радикальные философы XX века — самые тихие. Он, перехристианившая Христа и уморившая себя из солидарности с болью мира и из отвращения даже к такой своей привилегии, как возможность еды, Симона Вейль, говоривший о невозможности речи Витгенштейн... А все эти выбегающие на карнавал в костюме сумасшедшего бить в жестяную посуду Камю и Жижеки как раз и канули в тишину. Ницше и Бодрийяр хоть яркими колумнистами журнала Madness Today были.

Это как эволюция японской эстетики. От увидеть весь дзэн в самом невзрачном цветке в канаве у тракта Эдо-Хоккайдо до с соской во рту и в женском платье кончать с собой на биеннале.

Ягоды калины — кроветворение солнца.

«Над белым прудом
Пролетали дикие птицы.
По вечерам с наших звёзд веет ледяной ветер».
Играет Сибелиус (хочется продолжить Тракля).

Обсыпан прахом умерших, как перхотью. И столько должен даже себе.

Красив воздух растворенья!

Сломанные и собранные люди, разбитые, подбитые, разобранные люди.

Загребское кладбище Мирогой — балканский Пер-Лашез, со всей эклектикой, от минимализма надгробий obitelji до греческих скворечников или даже надгробий в духе братков 90-х. Кейдж и Кустурица, только без толп и хайпа. Березки и солнце аллеи. Мое лицо мне тяжело, а тут спускается и поднимает. Скульптура умершей в виде Пьеты, но с распахнутыми настежь коленями — фото в духе того, что сейчас постит Аристакисян, еврей перед Аушвицем, «невыносимая красота».

Человеческие тени
Тихо пляшут на заре
Мы устали, мы искали,
Горевали о земле.

«Перед картиной Рембрандта (из тех, что он писал в конце жизни) наш взгляд тяжелеет, становится немного бычьим». Ж.Жене, «Рембрандт».

Ксения Рогожникова

Клич мой синий

Оэ

влюблена в сочетание гласных:
«оэ»
нет больше таких слов, как
поэзия
поэт
поэма
другие слова
иноязычного происхождения
например, алоэ и каноэ
— не в счёт,
потому как в них ударение
падает на букву «о»
а Сомерсет Моэм — вообще —
имя собственное, как и
японский писатель
Кэндзабуро Оэ,
получивший Нобелевскую премию в 1994 году.
а если произносить через «а»:
паэзия
паэт
паэма,
то на ум приходит Лаэрт.
ну, и всё, что связано с латинским «аэро»
аэропорт
аэробный
и так далее.
Еще одна, неочевидная, связь
поэтического текста с воздухом.
поэзия берёт верх
над фонетической системой
русского языка.
Звучит и звучит
небесное сочетание:
оэ
оэ
оэ

Ксения Рогожникова — поэт, детская писательница. Автор двух сборников стихов: «Разница температур» и «Два письма» (в соавторстве), а также повести для подростков «В ритме сальсы». Преподаватель Открытой литературной школы в Алматы (Казахстан). В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Скажи, как твоё имя, боль,
и почему кричишь без умолку?
У тебя внутри — вода, молоко ль —
морщишься, дуешь — нет толку.

Скажи, как твоё имя, быль,
и когда текст развернётся,
вопросительным знаком Ты ль
мерцаешь, как свет в оконце?

* * *

Это шелест травы или произнесли моё имя?
Сладкий, тягучий звук рождается где-то в груди.
Ответом на зов, ответом на клич мой синий
вечер несётся, поёт, гудит.

Это имя, и я делаю шаг навстречу;
Повторённое тысячу раз за тысячу вёрст пути.
Поле пшеницы — огромный живой кузнечик,
Я лежу в жёлтых стеблях твоих — лети!

* * *

Крепкие корни у лозы,
посмотри, как она вьётся.
У меня на руках был ответ,
а я мучилась с ним, как с вопросом.

Эхо трёх поколений, оно
звучать не перестанет.

Дорогие мои зеркала,
какие храните тайны?

Дедушки, бабушки, мать и отец,
и страх, что свивает вены.
Я думала, это болезнь,
оказалось — спасенье.

* * *

Мои руки становятся крыльями,
когда думаю о Тебе.
Прикоснись ко лбу тыльной
стороной ладони; робеть

перестану. Жду малейшего знака,
что Ты со мной.
Будет утро греметь и звякать,
повторяя вопрос простой —

отчего грустит поварёнок
с пустой тарелкой в руках?
Смотреть влюблённо, слушать влюблённо,
как плещутся три кита

далеко в основании планеты,
и аисты клином летят,
слишком много всего — где Ты?
Мне опять никуда без Тебя.

Леонид Скляднев

«Оазис»

Рассказ

«Лерка, шалава», — выдохнулось горько в самую душу. И Бялик со стены посмотрел на него с задумчивой жалостью. Арье Шнеерзон сидел под его портретом в похожей на маленький школьный класс комнате, милостиво выделенной муниципалитетом Града Авраамова[1] под литстудию выходцев из Союза. Был Арье дородным мужчиной лет этак за пятьдесят, неплохо и совсем по-израильски одетым в светлые шорты чуть ниже колен, мягкие летние туфли из джинсовой ткани и добротную темно-синюю футболку с неброской надписью на английском. Красиво зачесанные назад с высокого лба темные с густой проседью волосы сообщали внешности его что-то творческое. В темных же иудейских глазах — наследство почившей мамы — тлела грусть.

Изымая из горестного забытья, до него донесся задорный старческий голос: «Дорогая Таисия — свет задумчивых глаз. Ночью встану, пописию, вспомню чудную вас. Заметаюсь, забегаю по квартире пустой, обделён вашей негою, навсегда холостой». Он поднял голову, обводя строгим взором хихикающую аудиторию (десятка полтора весьма преклонного возраста людей обоего пола и с ними крупный длинноволосый молодой человек и бледная девица с горящим взором), погрозил пальцем чтецу, полному старичку в светлой рубашке, заправленной в серые выше талии брюки с пряжкой на ремне в виде якоря. Редкие выцветшие от старости и пустынного солнца волосы были аккуратно причесаны, пухлые щеки гладко выбриты, темные глазки шаловливо щурились и смеялись, глядя на маэстро без страха и почтения. Арье нарочито нахмурился: «Опять вы, Михаил... Ну что это, ей-богу, в вашем-то возрасте...» Михаил беспечно махнул короткой пухлой ручкой: «Да не чувствую я его, возраст. “Половодье чувств”, знаете ли». — «Что стар, что млад, — усмехнулся про себя Арье и счел нужным заметить: — К вашему сведению, образованные люди говорят “пописаю”». Михаил покорно склонил прилизанную голову: «Ну, вы известный грамотей». Исподлобья снова шаловливо блеснули темные глазки: «Можно я еще одно?» — «Опять “половодье чувств”?» Аудитория хихикнула. «Нет, что вы! Это на

Леонид Скляднев родился в 1954 году в городе Бузулуке Оренбургской области, в семье врачей. Служил в Советской Армии, учился на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова (1974—1978) и в Куйбышевском плановом институте. Работал экономистом в разных организациях в Самаре и на Севере Западной Сибири. Живет в Израиле. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

[1] Град Авраамов — имеется в виду Беэр Шева, город на юге Израиля.

тему немецкой культуры», — ангельским голоском заверил Михаил. «Ну, валяйте», — рассеянно снизошел Арье. «Феноменология Гегеля дух заключает в плен». — Голос чтеца звучал смиренно и строго. «Ё-моё, ну что за каша у человека в голове», — лениво подумал маэстро, убеждаясь, что речи о «половодье чувств» и вправду нет. Тут голос чтеца окреп: «А упражнения Кегеля...» Очнувшись, Арье в отчаянном протесте воздел правую длань. Но было поздно. «Нам укрепляют член!» — торжествующе закончил Михаил. Аудитория уже не хихикала, а рыдала. Повеяло валерьянкой. Нечего было сказать. «Он, к вашему сведению, не Кегель, а Кёгель. Американец к тому же», — проворчал Арье. «Ну ла-адно, Лев, ради рифмы-то можно подправить», — добродушно отозвался триумфатор, назвав маэстро его прежним — настоящим — именем. И у того кольнуло сердце: «Лерка, шалава».

Да, далеко от Москвы увела его роковая Валерия Петрова и бросила на семи ветрах эмигрантского неустройства. Именно вот эмигрантского! Пусть там безумные советские сионисты лезут из кожи вон, желая быть бо́льшими израильтянами, чем сами израильтяне, и гордо называют это переселение разношерстного люда «алиёй»[1]. Лично он, коренной москвич Лев Сидоров, никуда не восходил, а вышагнул в пустоту, рухнул в глухую пропасть забвения. В пропасть — то есть проп*а*сть. И как он мог так расслабиться под действием безответственных Леркиных чар! О-о...

Да, в прошлой жизни Арье был Львом[2], Лёвой, сыном русского доцента-механика Бауманки Сергея Сидорова и еврейской пианистки Софьи Шнеерзон, аккомпанировавшей юным танцовщицам в столичном Институте культуры. А Арье Шнеерзоном его записала в Израиле Лерка — типа, привычней звучит для еврейского уха. Лёвина мама была женщиной сердобольной, привечала учениц и часто приглашала их в просторную, доставшуюся от сугубо партийного деда квартиру в районе Патриарших прудов. Девицы, угождая хлебосольной хозяйке, ласкали-миловали красивого упитанного Лёвушку, и он рос этаким запущенным в райский огород счастливым козликом. Настолько счастливым, что по окончании школы пришлось его от греха подальше отправить в армию, оплатив аборты двум юным жрицам Терпсихоры. Напуганный Лёва честно оттрубил два года в какой-то закрытой части, затерянной в подмосковных лесах. Служил верой-правдой и с партбилетом и внушительной армейской рекомендацией в кармане, при помощи кое-каких родительских связей, поступил на подготовительное отделение филологического факультета МГУ. Он с детства любил читать про любовь и страшился бездушных формул, коими полны были отцовские фолианты. Филфак предстал Лёвушке совсем уж безбрежным райским огородом, готовым сторицей вознаградить его за два года армейского воздержания. Учебой Лёва себя не утруждал — так, чтобы хвостов не оставалось, — и много времени проводил в огороде. Но, битый, пасся осторожно, а главное, с разбором. К концу учебы не сказать чтобы остепенился, а — определился. Девица с третьего курса — не красавица, но в меру пригожая, да и не в этом дело было, а в папе — заведующем кафедрой филфака. Давно овдовевший папа с единственной дочери глаз не спускал. Чтобы не спугнуть ценную дичь, Лёва начал с осторожного ухаживания. Но папа-профессор навел про самозваного ухажера справки и однозначно заявил дочери, что безвестный полужид-троечник, хоть и с партбилетом, ей не пара, а готовится ей блестящая партия из дипломатической среды. Девица грустно поведала о том кавалеру. Лёва, разыграв безутешного, пробудил в девичьей душе жалость — начало страсти и, не оставив сие без взаимности, овладел девичьим телом, включая и сердце. Их роман оставался тайным недолго. Вскоре девица поняла, что имеет во чреве, и они с Лёвой решили во

---

[1] Али*я* — восхождение; так называют на иврите возвращение евреев в Израиль, на так называемую историческую родину *(ивр.)*.

[2] Арь*е* — лев *(ивр.)*.

всем открыться грозному профессору. Поднялась страшная буря. Громы гремели, и молнии полыхали над несчастными влюбленными, грозя испепелить их дотла. Но... Делать было нечего, и вскоре все утихло.

Спешно сыграли свадьбу — по-домашнему, для своих. Но все же осталась в профессорской душе горечь, и он так и ждал от незваного женишка какого-нибудь подвоха. Ожидания его оправдались — на пятом месяце, сиречь через три месяца после свадьбы, у молодой случился выкидыш. То есть той главной причины, по коей профессор со скрежетом зубовным разрешил неравный брак, более не существовало. А поди теперь его, брак-то, отмени! И хотя бедный Лёва никак в случившемся повинен не был и переживал искренне, и ни на шаг не отходил от убивавшейся супруги, профессор чувствовал себя одураченным. Но мало-помалу зажила и эта рана, хотя и напоминала о себе ноющей болью. Да ведь жить-то надо. И устраивая судьбу любимого чада, замолвил профессор словечко за нелюбимого зятька, и оказался тот, со всеми своими «удами» в дипломе, в аспирантуре. За три года вымучил кандидатскую по Льву Толстому и начал трудиться старшим преподавателем на смежной с профессорской кафедре. Непыльная работа увлекла его, и великий тезка стал близким и почти родным. Тем временем родители Лёвины безвременно отошли в мир иной, оставив сыну квартиру на Патриарших, куда он с женой и переселился из профессорских хором в ГЗ[1], где вовсе не чувствовал себя комфортно. С женой они друг к другу притерлись, жили в довольстве, совете и любви. И на сторону Лёва почти не поглядывал. То есть, ничего не скажешь — жизнь сложилась. Но...

Сначала достал бес в ребро профессора. Вроде, о повторной женитьбе не помышлял, а вот же... Юная аспирантка Валерия Петрова ворвалась в его жизнь все сметающим с привычных мест смерчем. Ух, какая она была! Профессор, как целомудренный юноша, потерял дар речи, впервые увидев ее обнаженной в запертом ею изнутри на ключ университетском кабинете. И увидев ее такой, погиб. Женившись чуть ли не в тайне, сокровище это профессор берег как зеницу ока, никому без особой нужды не показывал. Благо, роскошная домашняя библиотека и занимавшаяся заря интернета позволяли аспирантке готовить ученый труд, не выходя из дома. Так что до поры до времени Лёва только слышал о молодой профессорше, а видеть не видел. И думал, что для него это по-любому к лучшему — старик меньше в их жизнь соваться будет. Супруге же Лёвиной отцовская молодая сразу и радикально не понравилась. Ну, это и понятно — вопрос наследства запутывался.

Как уже сказано выше, непыльная работа Лёву увлекла. Да и грех было назвать унылым словом «работа» пребывание в полных прекрасными студентками уютных классах гуманитарного корпуса. И не это одно. Заметив особое рвение подопечного в изучении творчества «матерого человечища», завкафедрой предложил ему написать — ни много ни мало! — монографию и по этому поводу свел с доцентом-историком по фамилии Донской. Лёва с доцентом как-то сразу сошлись и даже внешне оказались схожи: оба крупные, дородные, с темноволосыми шевелюрами и красными чувственными губами, красивые сытой красотой маменькиных сынков. Донской этот был зело борз во владении пером и руководил литстудией «Озаренье», на заседание коей зазвал как-то Лёву: «Это даже и лучше, что сам не пишешь. У нас качественной критики дефицит. А у тебя нюх на литературу, как я убедился, тонкий».

Польщенный, Лёва обещал приглашением непременно воспользоваться. Как раз супруга его уехала по культурному обмену в Венгрию, и в урочный вечерний час он отправился в студию. Залитый неоновым светом коридор гуманитарного корпуса был почти пуст. Почти... Она двигалась в том же направлении, что и он, походкой балерины, расправив плечи, прямо держа спину и разворачивая ступни длинных сильных ног. Лёва искушенным взглядом (на балеринах же и вырос!) обласкал сзади

[1] ГЗ — главное здание МГУ им. Ломоносова.

ее стройную девичью фигуру с тонкой талией и замечательно крутыми ягодицами, обтянутыми серой короткой юбкой. Пышные рыжие волосы до плеч волновались в такт шагам. Она остановилась у двери с начертанным от руки красным фломастером на стандартном листе призывом: «Написал стихотворенье? Так бегом же в "Озаренье"!» Подоспевший Лёва учтиво раскрыл перед ней дверь. Взгляд ее огромных зеленых глаз был полон приятия. Она выдохнула «благодарю вас» так, что Лёве послышалось «твоя навеки», и сладко заныло сердце.

Донской представил ученого критика и усадил рядом с собой, а рыжеволосую красавицу попросил, как новенькую, прочитать что-нибудь — для знакомства. Она встала спиной к окну, между сидящими студийцами и председательским столом с Донским и Лёвой, в профиль и к тем и к другим, и не осталось в студии ни одного равнодушного мужского ока. Никто не слушал и не слышал того, что она декламировала. Все завороженно впились в нее глазами. А она стояла, как балерина, развернув плечи, с высоко поднятой грудью, рыжее пламя волос полыхало, и туманились зеленые, огромные, устремленные на Лёву очи: она нежилась в теплом потоке скользящих по ней, раздевающих и ласкающих взглядов, принадлежа при этом одному лишь Лёве, ему лишь даруя блаженство. Или ему это только казалось? Но так ли, этак ли, а он, неожиданно для себя, высказал такое убедительно восторженное мнение о ее стихах, что все почти с ним согласились, и даже известный своим критицизмом Донской благосклонно улыбнулся. Остальное Лёва помнит плохо. Очнулся, когда они уже рука об руку в вечерней прохладе позднего сентября медленно шли по аллее от гуманитарного корпуса к ГЗ. Говорили о высоком. «А ведь вы и не знаете, кто я», — вдруг загадочно проворковала она. Он поднял непонимающие глаза. Она улыбнулась насмешливо и виновато: «Я вашего тестя жена». Лёва остолбенел. Она обвила его шею руками, сладко поцеловала в губы и прошептала: «Поехали к тебе. Твоя же в Венгрии, а мой на ученом совете». В темноте такси нашла его руку, сильно сжала горячей ладонью и снова заговорила о высоком. И в лифте — с горящими зелеными очами — тоже все о предначертанном, о вдохновении, о таинстве встреч. Вошли в квартиру. Лёва запер дверь, включил свет, разрываясь между смятеньем и страстью, обернулся. Ух, какая она была! Спросила: «А где телефон?» Прошла туда, куда он молча кивнул. Негромко говорила в трубку: «Ленка, слушай, короче, я у тебя весь вечер. Поняла? Ну, если профессор искать меня будет». Он пошел на ее голос. Она, возвращая трубку на место одной рукой, другую завела назад. Коротко взвизгнула молния, серая юбка упала на пол. В тонком черном обтягивающем свитере под горло и черных колготках, глядя ему в глаза, она ласково промурлыкала: «Ну, что же ты, Лёвушка, стоишь, из штанов не вынимаешь». И-и-и — понеслась его жизнь вскачь прямо в бездну.

То есть внешне все имело вид полного преуспеяния. Гуляющий по России перестроечный беспредел беспокоил Лёву с супругой мало — бабок хватало. Из компартии он удачно и безболезненно выскользнул — то в духе времени было. Работа над монографией близилась к триумфальному завершению, и его завкафедрой, как о чем-то решенном, говорил о месте доцента. Донской ввел в столичный литературный круг и обучил премудрому ремеслу критика, и науку эту Лёва схватил на лету: это дома на диване можно себе в удовольствие смаковать любимого Гумилёва, а на критическом поприще нет места всяким «нравится/не нравится», здесь иные критерии — мода, имя, рынок; ну и священную заповедь безблагодатного светского общения «ты — мне, я — тебе» усвоил во всей ее широте и глубине. И потому непишущего Лёву с его удобными и кому надо угождающими, но вполне академическими мнениями принимали благосклонно, и статьи мелькали аж в «Литературной газете». Но за этими тишью да гладью, в любой момент готовая все к чертовой матери смести, бушевала их с Лерой неукротимая страсть. И как ни таились они по закоулкам гуманитарного корпуса и по углам подружкиных квартир, а шила в мешке не утаишь. Кто-то что-то увидел, услышал, шепотком в волосатое ухо профессорское нашептал. А тот и так уж

ревнивым старческим чутьем чуял, что молодая его на передок слаба, и подключил к делу младшего брата, полковника ФСБ. Тот без труда докопался до правды.

Профессор-филолог изрыгнул на молодую изрядную порцию ненормативной лексики. Валерия виновато пожала плечами и вдохновенно, по обыкновению своему, отвечала: «Ну, что вы хотите? Это выше меня. Когда он во мне, я иные миры созерцаю». Снова было профессор хотел разразиться площадною тирадой, но сдержался и, скрипнув зубами, зловеще провыл: «Иные миры, говоришь?» Зятька же, «Иуду поганого», и вовсе почел за лучшее не лицезреть — от греха подальше. Вечером позвонил брату-полковнику.

На Патриарших прудах Лёва был встречен супругой единственным словом: «Подонок!» Засим и расстались навеки.

И зажили с Лерой они в угаре страсти, говоря о высоком. И прожили так с месяц. Никто их не трогал. Правда, в университете Лера решила какое-то время не появляться — ну, пока буря не утихнет. Лёва же посещал ученую свою службу как ни в чем не бывало. И уж, затаив дыханье, стали думать, что все улеглось...

Первой черной ласточкой прилетело из университета письмо об отчислении из аспирантуры Валерии Петровой — за несоблюдение графика подготовки научной работы. А уж там — как под гору покатилось неудержимо, бред кафкианский: статья маститого профессора в «Вестнике МГУ» о том, что вся монография молодого «ученого» от первой буквы до последней — наглый плагиат. А вывод таков: не место наглым плагиаторам в храме российской науки. И еще вчера ласковый декан уже отводит холодные глаза и пишет приказ об увольнении. И скажите на милость, что делать и как теперь жить? Единственное, чем облегчил им профессор жизнь, так это двумя быстро оформленными разводами — дочери и собственным. Правда, безбрачие Лера тут же устранила заключением брака с Лёвой. Но никаких проблем это не решало. Лера, как всегда, вдохновенно: «Квартиру сдадим за хорошие бабки и поедем в деревню детишек учить». Ну, добро. Отправилась Лера в деревню выяснять насчет места. А на следующее утро, рано-рано, «два барана застучали в ворота — тра-та-та, тра-та-та». Лёва, не видя спросонья, открыл. Двое лысых и крепких грубо впихнули его в комнату, угрожающе загудели о чем-то, не укладывающемся в сознании: «Короче, квартиру пишешь на нас, а сам съезжаешь в Орехово-Борисово, в двушку. Все оформим, уметешься, и чтобы — ни слуху, ни духу». Очнувшись, Лёва встал на дыбы: «Никакого обмена! Вы откуда такие? Вот я вам милицию!..» Двое лысых, слегка ухмыльнувшись, приблизились к Леве... Его отметелили так, что пальцем не мог шевельнуть. Напоследок сказали: «До скорого, Лёва. А в милицию лучше бы не обращаться». И красные корки — под нос. Еще — знай нашу доброту! — бросили на стол тощую пачку зеленых. Типа, за обмен.

Вернулась Лера. Увидела милого — лицо руками закрыла, разрыдалась. А проплакавшись, стала думу думать. И придумала: «Мы, Лёвушка, на Святую Землю подадимся. Ты же по матери еврей — как раз то, что надо. А на Святой Земле для евреев — рай небесный. Ну, и я при тебе. Я все уже продумала и с людьми знающими поговорила».

До сих пор не может Лев-Арье вспоминать без тоскливого ужаса то время. Бред кафкианский: душащий страх, недоумение, обида и ненаучная Леркина фантастика о неведомом счастье на Святой Земле.

И жалко прижавшись друг к другу, обезумевшие от произошедшего, в чужой им толпе Исхода... «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я».

«Израиль, жаркая страна,
Ты Богом мне на то дана,
Чтоб, наконец зажив евреем,
Писал я ямбом и хореем».

Арье вскинул глаза на чтеца — сухонького, с длинными седыми волосами востроносого старца по имени Ипполит, ныне безвестного пенсионера, а в прежней жизни — музыкального критика. Ипполит смотрел на маэстро не дыша, истошно вопрошающе, будто решалась сама его жизнь. Арье усмехнулся в душе — и волнению чтеца, и читанному им бреду сивой кобылы — и поощрил: «Вот это добротно! Это, можно смело сказать, оптимизация Бялика». Аудитория мгновение переваривала услышанное и, переварив, благоговейно выдохнула: «Бя-а-лика». И не слыша этого благоговейного вздоха, прошептал себе горько в самую душу Арье: «Лерка, шалава!»

Поначалу их занесло в Тель-Авив. Главными причинами этого выбора были полутайные напутствия Донского («там очень сильное поэтическое ядро сколотилось») и увещевания вторившей ему Валерии («все московские поэты уже там — в Москве скоро одна шушера коммерческая останется»). У Льва-Арье до сих пор встают дыбом волосы при воспоминании о тех мытарствах. Это нельзя было назвать жизнью — существование в чудовищных трущобах тель-авивского юга, населенных полуголым смуглым вечно орущим что-то людом и огромными летающими тараканами. И этот язык — ни на что не похожая извлеченная безумным Бен Иегудой из тьмы веков и переделанная по-новому тарабарщина, без знания которой все вокруг считают тебя убогим идиотом. Его, без пяти минут доцента филологии МГУ!

Они временно поселились у Шурика Бляса, с которым были знакомы еще в Москве по студии Донского. Шурик снимал двухкомнатную конуру в пятиэтажном муравейнике с вечно открытыми нараспашку дверями квартир, так что шум многих неблагополучных жизней сливался в не стихающий 24 часа в сутки душераздирающий вой. Будь Лёва немного чувствительнее, он бы, наверное, покончил с собой. Чувствительного же Шурика от опрометчивого шага спасали алкоголь и травка. Он работал в муниципалитете — в бригаде по уборке города от задавленных и просто сдохших уличных кошек и собак. В бригаду же устроил и Лёву: «Бабки неплохие, и платят регулярно со всеми делами социальными». Бригада была сформирована целиком из «сильного поэтического ядра» — бывших москвичей и ленинградцев. Выходцами из городов попроще «ядро» брезговало, держась особняком и гордо называя себя «поэты Тель-Авива». Лёва недоумевал, что привело их сюда, в трущобы чужого богатого довольного собой города. ТАМ — их знали, публиковали, платили гонорары. А здесь... Кому и зачем они нужны с этой своей русско-советской графоманией и непреодолимой литинститутской спесью?! Ну, разве что дохлых кошек убирать. Все они были членами местного Союза писателей, то есть его русскоязычной секции, и раз в неделю тусовались в уютном доме в самом центре Тель-Авива. Секцию организовал некто Штейн, прибывший на Святую Землю из Молдавии еще в 70-х, имевший солидные связи в Сохнуте и писавший бесчисленные издававшиеся за казенный счет книги о судьбах советских евреев. Должность Штейна была вполне официальной, с реальной зарплатой, и Лёва с тайной завистью думал, что вот так-то еще можно было бы здесь прожить. Тем более что тусовки посещали и русскоязычные девицы, вполне ничего из себя, увивавшиеся вокруг престарелого Штейна. В точности так же московские литературные девицы увивались вокруг Донского, и Лёва вслед за мудрым Соломоном думал, что нет под солнцем ничегошеньки нового. Так вот текла мутным потоком его жизнь, и некогда было перевести дух и задуматься: с 8 до 17 — дохлые кошки и собаки, мгновенно терявшие свежесть во влажной тропической жаре, потом — студия по изучению иврита и раз в неделю — поэтическая тусовка под крылом маститого Штейна. Потом — возвращение в вибрирующую от завываний восточного транса конуру Бляса, где покуривали травку, усугубляя ее действие дешевым вином, Шурик с его полнотелой подругой поэтессой Ритой, сугубо воспевающей прелести коленно-локтевой позиции, и маявшаяся бездельем Лера. В зависимости от того, в каком направлении действовало волшебное курение, Шурик с Ритой либо предавались

безумным соитиям, либо выясняли отношения, жестоко матерясь и от души колошматя друг друга. Участия в драках Лера избегала. Насчет же соитий Лёва уверен не был. Студию по изучению иврита троица не посещала, а потому вечерами никто за Лерой не надзирал. У Лёвы же не всегда после кошачье-собачьих погребений и иврита сохранялось желание исполнять супружеский долг. Впрочем, как оказалось, Лера не только курила травку и занималась черт-те чем с Шуриком и Ритой.

Как-то вечером занятия в студии иврита отменили, следующий день был выходным, и Лёва поспешил в конуру — вытащить Леру на пляж, а потом посидеть в уютном ресторанчике на берегу. Короче, провести время как люди. Но... Леру он не застал. Нетрезвая Рита с заплывшим глазом (то была фаза скандала), всхлипывая, злорадно сообщила: «Умелась твоя Лерка с каким-то черным на крутой тачке. Сказала не ждать». Он опешил, заныло сердце. Шурик сунул ему в открытый рот дымящуюся самокрутку: «Пошаби — полегчает. Все они бабы... сам знаешь». Лера вернулась через день поздно вечером. Как ни в чем не бывало прильнула горячим телом, заговорила быстро: «Ой, Лёвушка, я место нашла в университете. Обалденно! Короче, он выходец из Йемена, профессор арабского языка здесь в Тель-Авиве. Ну, конечно, надо срочно иврит подтянуть, но пока и с английским можно. Там на кафедре тема на мою кандидатскую похожа. А поживу у него. Ты уж не обижайся». Он смотрел на нее, онемев, вытаращив глаза и не веря своим ушам. Она дернула плечом: «Ну Лёвушка, надо же жить. Я и о тебе думаю — и тебе со временем место найду. А так — пропадем». — «Т-ты понимаешь, что меня п-предаешь?» — дрожащим голосом выдавил он. Лера снова пожала плечами, виновато вздохнула: «Пойми, это выше меня. Когда он во мне — я иные миры созерцаю». Быстро побросала в сумку шмотки, торопливо чмокнула обезумевшего Лёву в щеку и — прочь. Он бросился к окну и увидел, как смуглый господин в светлом открыл перед ней дверь дорогого белого авто, уселся сам, и они укатили.

В тот вечер Лёва в первый и последний раз в жизни накурился и напился до беспамятства. Очнулся голый между голыми Шуриком и Ритой. «Дура, Лерка. Такого мужика классного бросила», — сладко потянулась Рита, умелой рукой настроила его склонный к утреннему отвердению инструмент и, оседлав, плавно закачалась, постанывая.

Лева явился на очередную поэтическую тусовку к Штейну чуть жив. Тот сам подошел, выслушал сбивчивую его исповедь, положил руку на плечо, заговорил мягко-убедительно: «Забудьте про университет. Это мечта несбыточная. Поверьте, здесь не до Льва Толстого. Уезжайте на юг, в Беэр-Шеву. Там дешевле и жизнь проще. У меня там приятель — аудитор в солидной фирме. Курсы закончите бухгалтерские — будет работа приличная, кусок хлеба с маслом. Возьмете ссуду, квартиру купите. И еще, знаете, в Беэр-Шеве литстудия “Оазис” беспризорной осталась. Руководитель в Канаду уезжает, а “Оазис” засыхает, так сказать. Вот вы бы и руководили. Я помогу, разумеется. Вы же не отмороженный московский поэт, в конце концов. Все у вас устроится».

«Столб-б-б-б-б, — вдруг раздалось в студии и продолжалось, как бы вбивая в голову гвозди: — б-б-б-б...» Арье замотал головой, прерывая долбленье: «Ну а дальше-то что, Аркадий? Б-б-б... Ну, так что же?» — «А ничего, — блаженно-хитро улыбаясь, ответил Аркадий, сам столбоподобный, в застиранной майке-балахоне на тучное голое тело и в шортах, обнажавших толстые волосатые ноги. — Это вот как квадрат у Малевича. Квадрат — и всё. И у меня столб — и всё». — «Ну, если так, то конечно... Можно сказать, есть в этом смысл», — боясь обидеть Аркадия, уклончиво резюмировал маэстро. Михаил, чуть пригнувшись, покрутил толстым, как сарделька, пальцем у виска, с трудом сдерживая смех. Арье взглянул на него строго.

Владислава Сионская, бледноланитная дева лет тридцати, мать-одиночка и

завзятая пофигисто-буддистка, худощавая, но с выразительными формами, поднялась и вопросительно взглянула на него — руководителя — упрямыми глазами. Чем-то она напоминала Льву Леру — не внешностью, а этакой устройчивой безалаберностью, способностью балансировать на краю бездны, никогда в нее не срываясь, и еще — подспудным призывом к соитию. Взгляд Владиславы его волновал, но он никогда не отвечал на него, опуская глаза. Уж больно похожа была, и снова в бездну — не хотелось. «Да-да, читайте», — улыбнулся ей Лев-Арье, внутренне подбираясь, — спектакль предстоял не для слабонервных: Сионская писала заумные, паче талмуда еврейского, вирши, пугая почтенных студийцев. Вот и сейчас, тряхнув постриженной в короткое каре русой головой, глуховатым прокуренным голосом она прочла:

Анахата, сахарсрара,
Манипура, свадхистана,
Жжёт мне чрево муладхара.
Не бойся, любимый.
В оргастически дрожащей тьме для тебя одного развожу я
Ночи чужую беду — руками.
Любимый,
Парадоксальность мысли твоей
Пронзает глубины моих гениталий —
Так гениально она структуральна.
Кровью светлою менструальной
Омою мою я
Непричастность к зачатию.
И твою, любимый.

Закончив, нетерпеливо вскинула бледное лицо, как бы гордо-победно вопрошая: «Ну как?!» В студии царила мертвая тишина. Очнувшись, столбоподобный Аркадий прошептал: «Гениально!» Лев кашлянул и поощрил: «“Омою мою я...” Это да, безусловно, удачно. Продолжайте дерзать, Владислава». Сказанное прозвучало так искренне, что темно-алые губы пофигисто-буддистки, чувственно дрогнув, приоткрылись, и большие серые глаза откровенно призвали к соитию. Лев-Арье поспешно опустил очи долу. Вновь воцарилась тишина. Сухоньким кашлем стараясь привлечь внимание, Ипполит, любопытством преодолевая неловкость, проблеял несмело: «А вот, простите, Влада, там в начале у вас... Я не понял... Что-то там “анасрара, мудостана”, это что же такое, простите?» Студия поперхнулась сдержанным смешком. Владислава нетерпеливо дернула по-буддистски коротко стриженной головой. «Анахата, сахарсрара, — строго поправила она Ипполита и презрительно пояснила: — Это чакры». Зрачки Ипполита расширились, он, икнув, опустился на место и потянулся дрожащей рукою в карман — за сердечным. Михаил, чуть пригнувшись, покрутил толстым, как сарделька, пальцем у виска, с трудом сдерживая смех. Арье взглянул на часы. Дверь в студию распахнулась, вошла-ворвалась Аполлинария, Поля — довольно еще молодая толстушка. И сразу у Льва потеплело на сердце. Полная Поля была от него без ума и при этом ни над какой бездной не балансировала, а, подло брошенная ушедшим к престарелой богатой изральтянке мужем, жила себе тихо, сына-солдата растя. Переводя дыхание, она заговорила торопливо и взволнованно: «Ой, Лев, ну, то есть, Арье... На работе задержали... Завтра в офисе гости, ну и попросили помыть этот, как его там, ну, актовый зал. Думала, уж не успею». Ее по-коровьи большие глаза смотрели на Лёву-Арье со спокойным приятьем. И он не опустил очи долу, а ответил ей таким же доверчивым взглядом: «Ну, Поля, ну, что вы, я все понимаю. Мы же с вами рабочие люди. Вы как раз вовремя — у нас еще время осталось. Так что, прошу вас». Поля прошла к свободному столу, по пути сдвинув несколько стульев с телами убогими старцев еврейских, достала из сумочки мелко исписанные листки: «Я... Лев... Ну, я лирику, как всегда». Он ободряюще кивнул. Поля

вздохнула — всколыхнулась большая высокая грудь — и грудной голос зазвучал в резонаторном ящике крупного тела:

О прошлом вспомню, подойду к окну
И в прошлое я память обмакну.
Когда я хрупкой девушкой была,
Венки я из ромашек всё плела
И млела над вечернею рекой
Под ласками твоими, дорогой.

Каре-коровьи глаза смотрели с приятьем, с желаньем в объятия приять — в уютную мягкость объятий, теплых спокойным теплом очага и спальни семейной, далеко-далеко от безумств и от бездны. И Лев-Арье понял, что он ей уступит. Сегодня, наверное, он ей уступит. И бархатным голосом, им он когда-то очаровывал юных сучечек филфака, голосом, полузабытым в беспросветном бреду эмигрантского быта, выразительно проворковал: «Очень, ну очень лирично. Неподдельное чувство — то, без чего невозможна поэзия, — это у вас, Поля, есть. Ну, кое-какие вот блошки... “К окну” — не совсем благозвучно. Но мы над этим поработаем вместе». — «Да, да, конечно, Арье... Поработаем вместе», — обмирая от обожания, низко лепетала Аполлинария. Старушки достали платочки, созерцая живую сцену взаимных признаний, и у Ипполита заблестели глаза. Только бледноланитная Влада и Михаил, переглянувшись, ухмыльнулись цинично.

Заседание закончилось. Люди «Оазиса» потянулись на выход. Вышел и Лев, и студию запер. Его ждала Поля. Рука об руку шли они по коридору культурного центра, мимо библиотеки, вдоль стен, увешанных фотокартинами бурной истории молодого еврейского государства. Были здесь и опаленные огнем боя ликующие солдаты у стен древнего Иерусалима, и рукотворно орошенная зеленеющая пустыня, и нарядные разнообразного цвета кожи детки, умильно внимающие темноволосой высокогрудой красавице-учительнице, и что-то исследующие при посредстве фантастических приборов люди в глухих зеленых комбинезонах, и цветущие города у лазурного моря, и пр., и пр. Каждый раз, созерцая эту оргию созидания, Арье печально думал, как далеки от нее литературно ублажаемые им советские старички. А он-то сам? Да в общем-то тоже далек. А поэты московско-тель-авивские? О-о, те и подавно! Но тоже вот, слышал он, как-то устроились. Только не по поэтической части. Рита, так та и вовсе в Штаты сдернула. Ну, она-то, понятно — Леркиной породы.

Вышли в душную тьму и побрели восвояси люди «Оазиса». Кто куда: Аркадий — в расположенный неподалеку интернат для тихо помешанных; Влада, ощущая вечерний позыв к соитию, малое чадо поручив попечению соседки, направила стопы в собрание пофигисто-буддистов — забыться в дурмане курений, соитий и чакр; словолюбивые старцы возвращались в убогие съемные норы.

«Мы уйдем, и “Оазис” засохнет, умрет вместе с нами, заметенный суховеями бурной израильской жизни. Молодежь говорит на иврите, принадлежит уже здешней жизни. Что ей русская литература? Что ей Лев Николаич Толстой?» Так печально рассуждая, в душной израильской ночи влекся за полною Полей Арье Шнеерзон, он же Лев Сидоров, Лёва. Присутствие Поли умиротворяло, как-то мирило с жестоким миром. И он думал: «Ну да ладно, все же как-то устроилась жизнь. “Покоя сердце просит”. Вот Поля — такая уютная вся. А то с Лерками этими — в бездну прямиком».

Поглядел вслед уходившим студийцам. Под фонарем белым пятном в душной тьме мелькнуло лицо обернувшейся Влады — темно-алые губы пофигисто-буддистки, чувственно дрогнув, приоткрылись, и большие серые глаза откровенно призвали к соитию.

Павел Конюхов

Кот-полиглот и другие

Утренний кошмар

Что за крик с утра в квартире?
Полицейский к нам в мундире
Прибыл, чтобы злой маньяк
Не допил бы весь коньяк?
Иль пожарный к нам явился,
Чтоб пожар остановился?
Иль на «скорой» прибыл врач?
Иль футбольный кончен матч?
Мальчик в школу собирался —
А дневник вдруг потерялся!

Конкурс мод

Кашалот на конкурс мод
Выставляет свой живот,
Щука же, наоборот,
Демонстрирует свой рот.

Но когда на конкурс мод
Притащился бегемот,
Закричал честной народ:
«Что за рот! Что за живот!».

Конюхов Павел Вадимович — протоиерей храма Иконы Божией Матери Знамения на Переяславке в Москве. Родился в Москве в 1956 году, закончил МВТУ им. Баумана (1979) и Московскую Духовную Семинарию (2001). Отец пятерых детей и дедушка 10 внуков. Бард, пишет стихи для детей, автор поэтических переводов Псалтири и пяти книг стихов. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

Кот-полиглот

Кот заснул и видит он
Про себя ужасный сон.
Вот он в Грузии — Котидзе,
Его тянут за хвостидзе.
А в Армении — Котян,
Его тянут за хвостян.
В Украине он — Котюк,
Его тянут за хвостюк.
В Белоруссии — Котевич,
Его тянут за хвостевич.
В Латвии он просто Котис,
Его тянут там за хвостис.
А в Литве — Котовичавичус,
Тянут за хвостовичавичус.
Кот проснулся, крикнул: «Мяу!
Этот сон — не для меня он!»
Но, однако, с этих пор
Прячет хвост, идя во двор.

Две шляпы

Шляпа шляпе говорит:
«У тебя усталый вид!»
Отвечает шляпа шляпе:
«Я на маме — ты на папе!»
Шляпа шляпу вопрошала:
«Отчего же ты устала?» —
«Меня мама потеряла,
Два часа потом искала!»
Папа шляпу не терял,
Тихо маму поджидал.

* * *

Я, проснувшись поутру,
Прыгал, будто кенгуру.
После, в середине дня,
Я изображал коня.
А уж вечер как настал,
Я скакать совсем устал
И лежу при свете звёзд,
Будто кот, откинув хвост.

Игорь Кузнецов

Город без невесты

Генерал из песочницы

Вернулся я в Иваново из Киргизии, куда меня на пять лет увозили сразу после рождения. В новый детский сад я пришел с металлическим игрушечным «газиком» в руках, не зная слова «горбушка». У нас во Фрунзе ее называли «краешек».

После нескольких переездов, путем сложно-родственных обменов, мы с мамой поселились на улице Театральной, в бывшей бабушкиной квартире. Бабушка Наталья Михайловна не умерла, а съехалась со старшей дочерью, таким образом «улучшившей» свои жилищные условия, наивно и жадно не посчитавшись с тем, что характер у бабушки был сложный и непреклонный, отчасти даже тиранического свойства, с выкрутасами, что объяснялось и некоторыми объективными причинами: во время войны бабушка была секретарем парткома крупной швейной фабрики, заработала туберкулез, а методы руководства и общения с людьми в суровое военное время сохранила уже на всю жизнь.

Родом бабушка и дедушка были из поселка Собинка Владимирской губернии, куда до революции входил и безуездный город Иваново-Вознесенск. В Собинку мы однажды во времена моего детства съездили с мамой, пообщались с нашими не слишком гостеприимными родственниками, а запомнилось мне наше «родовое гнездо» исключительно дубовыми рощами по берегам Клязьмы, в которую впадает и река Уводь, пересекающая Иваново с севера на юг.

Деда Михаила Дмитриевича, еще довольно молодым, на излете 30-х годов прошлого века назначили секретарем одного из райкомов города Иванова. Мама вспоминала, что большинство «обкомовских дач» в местечке Ломы стояли пустыми, с забитыми крест-накрест окнами. Деду, похоже, тогда повезло или, скорее, он просто не успел слишком уж вырасти «к раздаче». Мало того, вскоре его даже направили секретарем горкома Белостока — после только что случившегося «добровольного» присоединения к СССР части территории Польши.

В июне 41-го он успел бабушку с моей будущей мамой и теткой отправить последним эшелоном из Минска — так они снова оказались в Иванове. Сам он уже больше никуда не вернулся. После войны бабушка посылала запросы в разные инстанции. Единственное, что удалось более или менее доподлинно узнать: дед должен был возглавить подпольный Могилевский обком партии, но не возглавил, следов в истории больше не оставил и считался пропавшим без вести. Скорее всего, погиб в первые же дни войны. Кажется, бабушка написала даже самому Усатому. Едва ли тот лично письмо читал, но никакой предательской вины деда, видимо, не обнаружилось, потому что, по семейной легенде, именно после этого обращения бабушке выделили комнату в очень хорошем начальственном доме на улице Негорелой и даже прикрепили к какому-то не самому главному распределителю. Так они все выжили, а дочери выучились и продолжили род.

Мама окончила Ленинградский горный институт, попала по распределению в Киргизию, откуда и приезжала рожать меня в Иваново, куда мы снова и окончательно на тот момент вернулись спустя те самые пять лет.

Детский сад располагался в тупике улицы Уводской и запомнился неправдоподобно вкусным желе: его горячим разливали по чашкам и ставили остывать на подоконники.

Напротив моего желтого дома на улице Театральной, за зеленой оградой, пронизанной ветками акации, торжественно стояло красное здание нашей тридцатой школы, считавшейся едва ли не лучшей в городе.

Театральная улица с одной стороны завершалась конструктивистским зданием Банка и театром Музыкальной комедии, с другой — упиралась в улицу Почтовую, прямо напротив психиатрической лечебницы. Спустя много лет в ее бывшем морге снимали офис мои московские коллеги, не обремененные сакральными знаниями о прежнем предназначении аккуратного, отдельно стоящего флигеля. Вторая психиатрическая лечебница, амбулаторного типа, для приходящих больных, прижималась боком к общей с нашей школой тоже краснокирпичной стене.

А самым забавным, наверное, в моей жизни совпадением по времени и пространству стало мое знакомство в детсадовской песочнице с очкастым мальчиком Серёжей — потом мы с ним стали одноклассниками, учились на одном курсе истфака в университете, из которого я ушел, а он, его окончив, выбрал стезю юриспруденции и в конце концов стал генералом милиции, будущей полиции. Из его раннего милицейского опыта лучше всего помню одну историю, а рассказывать он их всегда был мастер. В сферу ответственности их подразделения входило и кладбище Балино, где вокруг и около кладбищенских услуг подвизалось немало асоциальных элементов. Вот их поисками и временным водворением в кутузку и занимался тогда Серёжа. Иногда подопечные успевали разбежаться, но порой их брали сонными — прямо в гробовой мастерской, где они уютно спали на стружках непосредственно в гробах и очень не любили, если некие внешние силы перебивали их сладкий послеобеденный сон. Но когда бравым милиционерам как-то в очередной раз пришлось их покой нарушить, один свежеструганный гроб оказался накрытым крышкой, но гвоздями еще не забит. Серёжу и остальных его товарищей-милиционеров сей факт немало озадачил и сильно заинтересовал. Общими и совсем не малыми усилиями они крышку все же сдвинули и, можно сказать, буквально сорвали с гроба, обнаружив внутри него прежде мирно спящего, а теперь бессовестно и бесповоротно разбуженного, хотя и очень изобретательного элемента: изнутри к крышке гроба он приделал дверную ручку, за нее и держался, чтобы подольше сохранить спокойное и сладостное уединение на мягкой подстилке из свежих пахучих стружек.

А с бабушкой, помню, мы частенько на пару играли в подкидного дурака «с погонами» и очень веселились, когда их удавалось нацепить на проигравшего. И еще, когда меня невозможно было загнать с улицы домой обедать, моя суровая бабушка, покричав мне с балкона, выходила к скамейке перед подъездом и вручала мне бутылку кефира и полбатона. Наверное, не такой уж строгой и непреклонной она была.

Козье болото и египетская мумия

Из нашей лучшей школы меня чуть не выгнали после восьмого класса за сплошные тройки.

Во мне каким-то загадочным образом совмещались интерес к чуду мироздания и тяга к нелучшим отпрыскам тогдашнего ивановского человечества: одно время я активно дружил с хулиганами, которые учились не в нашей, а в соседней школе, тридцать третьей, и поголовно жили в частном секторе, в отличие от большинства моих соучеников, живших в многоквартирных домах, пусть иногда и тесновато, зато со всеми удобствами.

Хулиганы носили соответствующие прозвища, помню Сидора, Поню и Балаку, и не отличались любовью к образованию, зато наводили страх на ближайшие окрестности, регулярно били забредавших на их территорию чужаков и в целом более всего уважали силу и чужой опыт тюремно-лагерных «ходок». Думаю, что большинство из них как раз пошло той самой дорожкой или влилось в число «элементов» с кладбища.

Но мне с ними почему-то очень, хотя и недолго, нравилось. Большой «шоблой» мы ездили купаться на Козье болото, располагавшееся как раз на полпути от нашего центра до кладбища Балино. А вот от воровской романтики у меня, наверное, изначально были какие-то прививки. Да и мои приятели-хулиганы были какие-то все гнилые — я не сразу это понял, но как-то порвалось с ними резче, нежели изначально задружилось.

На самом деле меня, наверное, спасла египетская мумия, очень рано пробудившая во мне интерес к таинственному и прекрасному.

Во времена моего детства художественный музей располагался в чудом сохранившейся боковой галерее циклопического здания театра, «сползавшего» по склону к реке. Построено здание было где-то в тридцатые на месте вполне благополучно стоявшего там прежде храма или даже монастыря. До сих пор не знаю, сколь долго оно функционировало в изначальном качестве, но я уже застал этот многоступенчатый зиккурат совершенно заброшенным. Ходили слухи, что где-то под ним бьют подземные ключи, посему здание и стало разрушаться. То, что монастырю ключи эти как-то не мешали, было предметом тайного злорадства особо продвинутых жителей. (Может, это и неправильно, но я нарочно не лезу в интернет за фактическими подробностями, дабы задним числом не приписывать себе излишнюю осведомленность, а оставаться в пространстве народных мифов.)

В музее была неплохая коллекция русской живописи и довольно обширный для областного уровня древнеегипетский раздел со своей собственной мумией. Она-то меня и заворожила, и я приходил прежде всего ради нее, заодно, конечно, приобщаясь и ко всему остальному. Позже музей переехал в просторное краснокирпичное здание бывшего коммерческого училища — и я туда ходит в школу юного искусствоведа, вполне логично подтолкнувшую меня к поступлению в художественную школу, где на тот момент учились уже две мои одноклассницы.

Рисунок и живопись мне давались неплохо, чуть хуже — композиция, а история искусств так и вовсе хорошо. Но в середине третьего класса (а учились там всего четыре года) к нам пришел мальчик, рисовавший такие тонкие, прозрачно-влажные акварели, что я художественную школу, не доучившись, бросил. И вовсе не по причине зависти. Я просто понял, что лучше него рисовать не смогу, а это меня никак не устраивало. Так и закончилась моя художественная карьера, можно сказать, на этапе несостоявшегося взлета. Зато все больше клонило к сочинительству. Правда, и тут я испытал некий искус. В восьмом классе у меня возникла уже довольно четкая дилемма: стать писателем или журналистом-международником. В последнем меня более всего привлекала возможность повидать мир, иными способами тогда едва ли доступная. И все же внутреннее чутье не подвело — уже тогда я еще смутно, но догадывался, что вольное сочинительство и в этом смысле дает гораздо больше, хотя бы в плане метафизическом.

С хулиганами мне стало совсем неинтересно. И мы уже по-настоящему подружились с некоторыми одноклассниками, в число которых входили и ученики из параллельного класса «Б». Развлечения наши были вполне разнообразными, но одним из самых увлекательных стали исследования того самого сползавшего здания драмтеатра, как раз впавшего в бесконечную реконструкцию. Мы лазили по его таинственным лабиринтам, ходили по стальным узким балкам над пропастью будущего зала и сцены, реально рискуя своими молодыми жизнями. До сих пор радуюсь, что о наших опасных верхолазных похождениях никогда не узнала мама.

В старших классах я учился хорошо, несмотря на все наши юношеские избыточные увлечения, прежде всего алкогольного свойства.

А купаться теперь мы с друзьями ездили в парк Степанова, в походы ходили на речку Страданку — за Ломы, где когда-то, во времена моего деда, стояли заколоченными обкомовские дачи. По дороге однажды видели медведя, на поверку оказавшегося вывернутым сосновым корнем, но страха натерпеться успели.

Справедливости ради надо сказать, что сползающее театральное здание все же, когда меня уже давно не было в городе, укрепили и привели в порядок, и в нем поселились сразу три театра — драматический, музыкальный и кукольный, разбили перед ним просторный сквер и запустили фонтан. Кстати, и теперь пространная площадь, лишь край которой занимает театр, носит имя Пушкина.

Писатель Сердюк и зелёный ликёр

Отцом моего одноклассника Серёжи Сердюка был Виталий Ефимович Сердюк, тогда, наверное, самый известный ивановский писатель. Он печатался не только в местной прессе и Верхне-Волжском издательстве, но и в Москве, в журнале «Наш современник» (там позже выходили его не только повести, но и роман). А статус писателя тогда был высок. И без завидного кожаного пиджака, конечно, не обошлось.

Мы с Серёжей дружили, и я любил приходить в их дом — там был настоящий писательский кабинет с невероятной, чудесной библиотекой.

И однажды, когда мы были одни, еще мелкие восьмиклассники, Серёжа откуда-то из закромов этого самого кабинета выудил бутылку зеленого ликера.

Мы выпили по паре рюмок и разошлись. Но он забыл их, рюмки, помыть. И папа их обнаружил.

— Кто? — строго, наверное, спросил папа.

— Да с Кузнецовым...

— Передай своему Кузнецову, чтоб в нашем доме больше никогда не появлялся.

Правда, потом, когда мы как-то все юношески-пьяные болтались возле дома другого одноклассника и нас повязали, на родительском собрании по этому поводу одна мамаша в 1977 году все причитала: «У стен обкомовского дома! У стен обкомовского дома!» — папа-Сердюк встал и сказал:

— Какая разница, у какого дома! Это же наши дети!

Но Серёжа все передал мне много раньше. И я соблюдал запрет неукоснительно. Всегда. Хотя все другие о нем, наверное, благополучно забыли.

Прошло время, да не так чтоб уж очень много, лет десять с небольшим.

И сижу я однажды в Пёстром зале ЦДЛ за столиком с двумя знаменитыми писателями. Там, естественно, накурено, мест нет. И тут я вижу, как от очереди к буфетной стойке отходит со своим стаканом и бутербродом Виталий Ефимович и обводит зал без наличия мест. Я искренне вскочил:

— Виталий Ефимович, здравствуйте! — и взглядом испросив разрешения у тех, с кем я сидел, нашел стул и пригласил его за наш стол. — Знакомьтесь: Виталий Ефимович Сердюк, писатель из Иванова. Владимир Семёнович Маканин. Владимир Викторович Орлов.

Конечно, это был в своем роде мой триумф, хотя я просто был рад всех познакомить. Может, я тогда про этот дурацкий ликер и неразумное «отлучение» от дома сразу и не подумал. И хорошо сидели, общались. Но ведь вспомнил потом. А скорее всего, сразу — детские обиды, они злопамятные. И еще свербело: я ж его простил, а он этого даже не заметил! До сих пор стыдно.

Нет уже ни Серёжи, ни Владимира Викторовича, ни Владимира Семёновича, ни Виталия Ефимовича. А я все помню. А вдруг не было бы этих двух не помытых вовремя рюмок? Забыл бы?

Школа, цирк, краеведческий музей и прочие достопримечательности

Наша школа №30 на улице Степанова, краснокирпичная бывшая женская гимназия, носила имя местной революционерки, там когда-то тоже учившейся, кажется, даже настоящей террористки, впрочем, не слишком удачливой. А еще одна близлежащая улица, параллельная Степанова и моей Театральной, и вовсе была Нечаева, того самого, главного из бесов, ставших прототипами одноименного романа Достоевского. После конца советской власти ее все же переименовали, уже не помню, в честь кого или чего.

О том, что школа оставила по себе самые лучшие воспоминания, говорит тот факт, что мы с одноклассниками, уже окончательно не разделяясь на «А» и «Б», довольно регулярно, хотя бы раз в несколько лет, в ней, сильно изменившейся внутри и разросшейся в стороны двумя новыми корпусами, уже из белого кирпича, собираемся. До недавнего времени к нам присоединялись, правда, все меньшим числом, и наши учителя. Наш вечный завуч, Галина Александровна, помнила нас всех по именам, что всякий раз возвращало в школьные детство-юность и свидетельствовало о ее к нам любви, с годами становившейся все более взаимной.

Бродя по изрядно отремонтированному школьному зданию, заглядывая в наши бывшие классы и предаваясь ностальгическим воспоминаниям, мы не забыли и о навсегда утраченных деталях: в свои школьные годы, носясь по коридорам, мы иногда запинались за края плиток, выстилавших пол и от времени державшихся уже не слишком прочно, — если одна из плиток, этакого серо-зеленого матового оттенка, невзначай переворачивалась, на ее исподе легко прочитывалась дата изготовления — 1907 год. Не то чтобы нас это сильно волновало, но к реальной истории точно приобщало.

В городе на моей памяти всегда был цирк. Сначала — старый, возведенный, кажется, в тридцатых и, по тогдашней бедности, с уникальным деревянным куполом. Позже здание безжалостно снесли, заменив более прочным, бетонным стал и купол.

Цирк больше помнится запахом мандаринов — нас туда в районе Нового года водили хором, целыми классами и одаривали каждого прозрачным подарочным пакетом, оранжево светившимся бочком знакомого, но все же не каждодневного фрукта. Хотя и в остальные времена года цирк был обязательно-добровольным местом посещения — наверное, из тогдашних маленьких жителей города мало кто пропускал сменявшиеся примерно раз в несколько месяцев представления, — случался и водный цирк, и ледовый, и волшебный с распиливанием девушек, исчезновениями с манежа и феерическими возвращениями симпатичных ассистенток прямо из-под купола. Приезжала как-то группа артистов и мистически-психологического жанра, видимо, последователей Вольфа Мессинга, чье имя я уже позже услышал от дяди, мужа нелюбимой тети, также практиковавшего всякого рода гипнотические опыты на публике. Серьезность его непубличной деятельности в тонких сферах убедительно доказывал тот факт, что одно время в качестве психолога-гипнотизера он работал со сборной страны по фигурному катанию.

А в цирке, много позже, приехав в город из Москвы на каникулы, и я два месяца послужил в роли пожарного, убедительно узнав от цирковых, что в цирке «не воняет, а пахнет» и что выгоднее всего пристроиться служителем в номер с собачками: им полагался вполне разнообразный продуктовый рацион, от щедрот которого всегда перепадет на бесплатный супчик. Пристраиваться я не стал, имея иные жизненные планы, но цирк узнал немного изнутри, особенно полюбив наблюдать за помывкой слонов в специальном слоновьем душе.

По соседству с цирком — лишь чуть в горку подняться — стояло мрачновато-

красивое здание краеведческого музея, до революции построенное местным текстильным фабрикантом Бурылиным напротив собственного особняка, соединявшегося, по слухам, с музеем настоящим подземным ходом. Слух лично для меня подтвердился уже много лет спустя, когда в музее проходила выставка картин и рисунков моей жены Тани, и нас с ней директорша музея по моей просьбе провела через сводчатый подземный коридор в бурылинский дом, где к тому времени обосновался музей ситца. А на выставку сверх обычных посетителей один мой одноклассник, чем-то командовавший в пожарном училище, строями водил курсантов, на что Таня со свойственной ей ядовитой иронией заметила: «Никогда не думала, что буду столь популярна в здешних военных кругах».

Краеведческий же музей я по-прежнему люблю, всякий раз по приезде стараясь заглянуть в него хоть ненадолго, и теперь уж всегда буду сравнивать все иные музеи подобного рода с моим родным, прямо-таки домашним, хотя и одним из самых грандиозных на просторах необъятной Родины, а, признаюсь, посетил я их число немалое: хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию ему из мною виденных могли бы составить лишь краеведческий музей Красноярска, возведенный в египетском стиле на берегу Енисея тоже местным дореволюционным предпринимателем, и краеведческий музей в Южно-Сахалинске, построенный японцами во времена губернаторства Карафуто.

Если же, свернув к музею и его миновав, пройти дальше, то окажешься возле Дворца пионеров, где я некоторое время, последовательно, посещал два кружка — судо- и авиамодельный. Судостроение меня, правда, изначально не привлекало, и туда меня взяли временно, по недостатку мест в более престижной авиации. Но и в столь чаемом авиамодельном я особых похвал не снискал. Я же сразу хотел построить что-то умеющее летать, пусть и не столь фантастическое, как действующая модель радиоуправляемого реактивного истребителя, занимавшего две трети стола руководителя кружка, но хотя бы способного участвовать в шумной забаве под названием «воздушный бой», а меня, как новичка, заставили выпиливать лобзиком две алюминиевые заготовки для нервюр: используя их, предстояло изготовить уже настоящие, из тонкой фанеры, нервюры, которые станут основой скелета крыла. Но сколько я эти несчастные нервюры ни выпиливал, сколько ни «доводил» напильниками, у меня все выходило кривовато, и я раньше руководителя кружка понял, что любая, даже самая примитивная модель самолета, сделанная моими руками, вряд ли когда-нибудь полетит. Что ж, всего лишь подтвердился диагноз нашего школьного учителя труда, доброго и чуть грубоватого, крутившего в руках изготовленную мною с грехом пополам «заданную» нам деревянную лопату для чистки снега: «Да уж, руки у тебя точно не оттуда растут!». Я не обиделся, а после недолгого пребывания в авиамодельном кружке и окончательно убедился в его суровой правоте.

Главным кинотеатром в городе был «КИНОЦЕНТРАЛЬНЫЙ», его так и называли единым слитным словом «киноцентральный», масштабное здание с фасадом-портиком, украшенным монументальными колоннами с не менее чем коринфскими капителями. В глубине, за этим античного масштаба фасадом, внутрь вело несколько высоких двустворчатых дверей, тоже не без обрамления излишествами. Справа и слева было еще некое подобие эркеров, за стеклами которых автоматически, бесконечной лентой показывались фото эпизодов из идущих в большом и малом залах фильмом. Больше я такого нигде и никогда не видел.

В фойе перед сеансом развлекал будущих зрителей настоящий оркестр, и в нем играл на валторне отец еще одного моего друга-одноклассника. Здесь показывали все серии «Фантомаса», породившие недолгую, но по-своему яркую, забавно-подростковую, как и по всей, наверное, стране, «фантомасоманию» со «страшными» письмами соседям от имени менявшего, как перчатки, маски главного злодея и кривыми надписями на заборах и стенах, пугавшими взбудораженную общественность, еще не

знавшую, что все истории про Фантомаса — всего лишь милая французская пародия на недоступную еще даже в мыслях «бондиану».

На фильмы «до 16» мы проникали легко, хотя и замысловато. Скооперировавшись со старшими приятелями, братьями или сестрами друзей, уже обладавшими взрослыми правами, мы просили купить нам билеты, а сами перебирались через забор, обрамлявший прогулочный дворик для зрителей, откуда уже с билетами, то есть, вполне честно, некоторое время пофланировав по фойе в нарочитом отдалении от входа в запрещенный зал, просачивались на сеанс ровно за полминуты до того, как погасят свет. Кажется, первым фильмом «до 16» для меня стало не нечто с проблесками недорезанной цензурой эротики, а примитивный боевик под названием «Гений дзюдо», где дзюдоист побеждал слишком самонадеянного каратиста, хотя именно из-за каратиста мы туда и стремились.

Помню длинные очереди на «Бриллиантовую руку», свой недоверчивый восторг от «Воспоминаний о будущем», очень серьезного фильма о всяческих земных следах то ли инопланетян, то ли протоцивилизаций, как я скучал, а мама едва ли не утирала слезу на «Течёт река Волга» с некрасивой, но и впрямь хорошо поющей Зыкиной. А последнее, что почему-то мелькает в сознании в связи к «киноцентральным», уже вскоре попавшим под бесконечную реконструкцию, это истошный крик швейцара из соседнего ресторана «Иваново»: «Держите его, он у товарища шарф украл!» Несчастному вору кто-то подставил подножку, и его быстро скрутила пара подбежавших милиционеров. А мне, наверное, единственному, было его жалко. В «киноцентральном» же теперь торговый центр.

Известными и заметными фигурами в городе были футболисты команды «Текстильщик», игравшей не в высшей, но все же приличной лиге, и фарцовщики. Лично меня зрелищная сторона футбола ни тогда, ни после не привлекала — на каком-то матче я был единственный раз со старшим двоюродным братом, мечтавшим стать футбольным комментатором, но и я с интересом бросал взгляды в сторону проходившего мимо в окружении свиты долговязого светловолосого парня в невозможно фирменных джинсах — тогдашней звезды местного футбола. Фарцовщики собирались на «пятаке», круглом сквере возле гостиницы «Москва», и тоже отличались от всех остальных недоступным простым смертным «фирменным» стилем одежды и тем, что в демонстративных, как иногда мне казалось, неторопливых прогулках по центру города их сопровождали очень красивые девушки.

Сам же стадион «Текстильщик», где базировалась и футбольная команда, я регулярно посещал с самого детства, в одиночестве, с коньками, отправляясь в длинный путь от дома на троллейбусе. И сначала это были коньки фигурные, чего я немного стеснялся. Дело в том, что моя мама в юности довольно серьезно занималась большим, как тогда говорили, теннисом и фигурным катанием, наверное, одновременно, но, скорее всего, посезонно, ибо ни закрытых катков, ни подобных же кортов тогда и представить-то себе никто не мог. О серьезности ее занятий свидетельствует тот факт, что после школы, твердо решив ехать в Ленинград, она не сразу выбрала между институтами Горным и Физической культуры имени Лесгафта, все-таки спортивной карьере предпочтя геологическую. Но от тех времен осталось несколько очень хороших профессиональных фотографий, где она на льду делает «ласточку», и ее рассказ о том, как она в паре играла против тоже смешанной пары с участием тогда еще не столь уж знаменитого Николая Озерова. Мама же меня и уговорила пойти в секцию фигурного катания. Это тоже продолжалось недолго, потому что я так и не отделался от ощущения, что спорт сей не слишком мужской, и завидовал хоккеистам на «канадках», с загнутыми клюшками для хоккея с мячом, снисходительно ожидавшим на краю ледовой площадки, пока мы закончим с нашими неуклюжими «ласточками» и «пистолетами». Правда, карьера моя на фигурном поприще окончилась вполне феерически: мама для костюмированного спортивного праздника нарядила меня

Котом в сапогах с накрахмаленными ботфортами, и за него я неожиданно получил первый приз — набор для настольного тенниса. Позже я катался на том же стадионе уже только на коньках хоккейных, исключительно для удовольствия, по билету, после секций спортивной гимнастики и, совсем коротко, фехтования, оставив серьезные спортивные надежды навсегда.

Примерно тогда же во мне открылся и тайный, для мамы, конечно, и ненадолго, предпринимательский дар: как-то исподволь я научился спекулировать марками. Поначалу ничто такого поворота не предвещало: как и многие тогдашние школьники, я просто увлекся довольно беспорядочным собиранием этих знаков почтовой оплаты, понемногу сосредоточившись на двух направлениях — искусство и Олимпиады. Мама меня поощряла и выделала некоторые разумные средства. Тогда в городе, рядом с главным книжным на Ленина, располагался одноэтажный деревянный магазинчик, торговавший исключительно марками, марочными блоками и «негашеными» конвертами. Тут же марками иногда и обменивались, раскрывая друг перед другом альбомы-кляссеры. Вскоре я откуда-то выяснил, что по выходным в том самом Дворце пионеров, где вяло началась и стремительно закончилась моя карьера авиастроителя, собираются филателисты. Тут взрослые дядьки вроде как-то тоже обменивались, но и бодро приторговывали отдельными марками и целыми сериями. Самые яркие и красивые на мой тогдашний взгляд марки выпускались какими-то экзотическими, чаще арабскими, маленькими странами: например, у меня была чудесная йеменская, кажется, серия, посвященная живописным воплощениям образов Наполеона. Что-то я выменивал, что-то покупал, в будни продолжая регулярно посещать и филателистический магазин, где некоторые посетители моими новыми приобретениями, демонстрируемыми из форсу, заинтересовались. Однажды попросили продать одну из экзотических серий. Поколебавшись, я согласился.

Вскоре у меня возникло несколько взрослых клиентов, к которым влет уходили самые яркие марочные серии (а надо сказать, что теми же арабами и индо-китайцами выпускались даже «объемные» марки), приобретенные накануне во Дворце пионеров. Так у меня появились «лишние» деньги. Конечно же, маме в своих спекулятивных деяниях я признаться не мог, купить что-то ценное по той же причине себе не позволял, и не нашел ничего лучшего как менять заработанные бумажные деньги на мелочь и хранить их в цветочной вазочке на окне, дабы иметь возможность в случае разоблачения сослаться на то, что все это богатство просто «накопил» (а бывало там единовременно рублей по пятнадцать-двадцать — сумма запредельная для советского восьмиклассника). Копилку мою мама рано или поздно, конечно, обнаружила, имела со мной серьезную беседу, в ходе которой я упорно стоял на версии бережливого накопительства от школьных обедов и завтраков, но подозрения ее в некоем не слишком честном способе их обретения не развеял. И все как-то само собой сошло на нет: увлечение марками кончилось, а вместе с ним истаял и мой спекулятивно-предпринимательский талант, уж слишком преждевременно, по историческим меркам, обнаружившийся. О чем я, впрочем, никогда впоследствии не жалел.

Когда кончится советская власть

На истфак Ивановского университета мы поступили аж вчетвером из нашего класса. Одного из нас уже нет на свете, второй стал генералом, третий майором, закончив службу в местном пожарном училище, а я так и вовсе там не доучился, предпочтя пойти иным путем.

Надо отдать должное, преподавали нам хорошо — и древний мир, и античность, и даже логику, из которой я до сих пор помню несколько несложных силлогизмов. Все было честно — КПСС так КПСС, Египет и Греция — лишь с самым малым, вполне

дежурным марксистко-ленинским уклоном, а про древний Китай и Японию нам рассказывал молодой, глубоко погруженный в свой изысканный предмет выпускник восточного факультета Ленинградского университета, кажется, вообще не подозревавший о существовании марксистско-ленинской классовой теории. Да и весело бывало.

Крупного формата преподавательница истории древнего Востока как-то, чуть загадочно улыбаясь, спросила аудиторию (а лекция была почему-то поздняя, ближе к вечеру, хотя мы и учились на дневном):

— Чем отличаются семиты от антисемитов?

Чуя подвох, ошарашенная аудитория молчала.

— Семиты, — пояснила она, — это те, кто успевает до семи, антисемиты же — те, кто не успевает! (Для юношества поясню: в советское время спиртное продавалось строго с одиннадцати утра до семи вечера.)

После первого курса была двухмесячная археологическая практика: кто-то отправился в Херсонес, другие — к гнездовским курганам, а мы — в Изборск. После второго курса я поехал туда уже вольнонаемным, и это кардинально изменило мою жизнь. Там я встретился с невиданными раньше людьми, откровенно презиравшими советскую власть и увлеченными чем-то настоящим: с фотографами, художниками, искусствоведами из Эрмитажа. Именно от кого-то из них я узнал о только что вышедшем тогда «Метрополе», вместе с ними отправился в Великий Новгород, не говоря о том, что в Псково-Печорский монастырь я впервые попал еще после первого курса, а потом уж туда и зачастил, не то чтобы став сразу очень религиозным, а все же почувствовав таинственную и подлинную монастырскую привлекательность.

А еще накануне второй своей изборской экспедиции, весной 1979 года, когда мы выпивали в квартире одноклассника в том самом обкомовском доме, у «стен» которого как-то и попались на глаза общественности, я заявил вдруг:

— А советская власть при нашей жизни кончится! (Употребил я более народно-беспрекословный глагол, да не суть.)

Мои товарищи посмотрели на меня с испуганным недоумением, возникшим не столько от крамольности моих речей, сколько от опасения — все ли со мной в порядке по части душевного здоровья. Кстати, один из участников тогдашних посиделок, мой друг, много лет спустя вспомнил мои слова:

— А ведь ты оказался прав! — Было ощущение, что он все еще не до конца верил в реальность случившегося.

Правда, советская власть каким-то загадочным образом вернулась, да еще в своем худшем изводе, но ведь на самом деле сначала и вправду кончилась.

После же возвращения из моего «второго Изборска» я принял одно из самых важных решений в своей жизни.

Первого сентября нас, третьекурсников, собрали в аудитории, чтобы вновь заявить о том, что мы опять на месяц едем на «картошку». Наш исторический декан, Валерьян Макарович, бородатый и безусый, вылитый профессор из какой-то другой истории, обвел взглядом студентов и задал дежурный риторический вопрос:

— Кто не может ехать в колхоз?

С заднего ряда поднялась лишь моя одинокая рука.

— Зайдешь сразу ко мне, объяснишь, что у тебя за причина!

В его кабинете я заявил без особых предисловий:

— Я ухожу из университета.

Декан попытался скрыть свое изумление под язвительно-доброжелательной маской:

— Да я тебя еще на первом курсе должен был выгнать, после первой же твоей пьянки на «картошке». Но пожалел. А теперь ты зачем-то... Так в чем причина?

— Я хочу поступить в Литературный институт, а там с высшим образованием не принимают.

— Да ты что! Туда же невозможно поступить, почти как в Институт международных отношений!

— Попробуем.

Освободившись от картошки, я тут же уехал в экспедицию от Института археологии в Курскую губернию, где по реке Сейм мы «снимали» древние городища, несколько месяцев затем поработал в областной молодежной газете курьером, параллельно сочиняя статьи и заметки. Но так как меня обманули и в корреспонденты не перевели, и оттуда я ушел — к маме лаборантом в геологоразведочную контору. Ну а весной отправился в армию, в Прибалтику.

Вернувшись через двадцать шесть месяцев (уж очень армия, где я тоже не раз «отличился», меня отпускать не хотела), я похоронил маму, поступил в Литинститут и приехал ненадолго в родной город.

Пришел я и в университет, к декану Валерьяну Макаровичу, который меня не забыл.

— А я поступил! — заявил я, даже не объясняя, куда.

— Молодец! — сказал он, пожимая мне руку. — Я всегда в тебя верил!

Легкое прощание

Первые литинститутские годы моя однокомнатная квартира на улице Театральной меня неплохо подкармливала: я сдавал ее разным хорошим знакомым, по большей части молодым семейным парам, чьи родители знали о моем не слишком благополучном положении и платили мне по максимальной ставке и регулярно. Только на летние каникулы я возвращался, так как из общежития на Добролюбова всех на лето «выставляли», квартиранты на это время съезжали к родителям или на дачи.

Два лета выдались довольно трудными: квартирный финансовый источник прерывался, а стипендии меня тогда, как назло, лишали за необъяснимые с точки зрения институтской администрации пропуски занятий и несмотря на вполне приличную успеваемость. Как я выкарабкивался в первое лето, уже не помню, а во второе я работал в цирке, остальное время проводя с художниками в их веселых подвальных мастерских.

А третьего лета уже и не случилось. Случилась чудесная любовь, и мы с Таней уже сами снимали квартиру, но только в Москве, так как у нее дома тогда жить нам было негде по причине некоторой перенаселенности. Но чтобы окончательно легализоваться в Первопрестольной, мне нужно было официально «прописаться». Перенаселенность по закону сей процедуре не препятствовала, но для этого надо было «выписаться» из квартиры ивановской, что означало бы ее безвозмездную потерю в пользу нелюбимого государства.

Тогда квартиру у меня снимал брат одного моего друга, имевший микроскопическую комнату в коммуналке «четырехсотквартирного дома» на Рабочем поселке. К слову, дом этот был архитектурно знаменит, являясь плодом советского конструктивизма наряду с еще двумя — домом-подковой и домом-кораблем.

Служа на небольшой бюрократической должности в системе советской власти, мой квартирант и предложил обменять мою квартиру на его комнату с доплатой. Наш довольно лукавый обмен благодаря его связям легко утвердили. В своей комнате я ни разу не побывал, даже из чистого любопытства, и тут же после обмена навсегда из Иванова «выписался». Деньги я получил по моим тогдашним представлениям приличные, по сегодняшним же меркам смешные, мебель за малую компенсацию оставил новым жильцам, а настенные часы подарил художнику Генералову. Они и

сейчас отмеряют время в его мастерской. Об одном жалею: во время всех пертурбаций с моей квартирой, в неизвестный мне период пропали мои многочисленные альбомы с марками, ну да бог с ними.

Всякий раз, когда я приезжаю в город, я останавливаюсь у своего армейского друга Володи. Но однажды, оказавшись в Иванове по работе, я поселился в гостинице неподалеку от цирка, откуда Володе и позвонил. Но вместо радости в его голосе услышал холодное молчание, разрядившееся лишь строгой фразой:

— Тебе что, жить здесь больше негде?

Я покаялся и тем же днем перебрался к Володе.

О любви

Я всегда считал, что этот город не люблю.

Хотя по опыту работы во многих «географических точках» страны и хорошо понимаю многие неоспоримые преимущества навсегда остаться там, где у тебя по праву рождения и первоначальной жизни «все схвачено»: друзья и знакомые есть во всех сферах — от медицины до полиции. Однажды, когда мы загуляли у очередного одноклассника, мне вдруг приспичило позвонить другому нашему товарищу, тому самому, из детсадовской песочницы — он тогда еще не стал генералом, но уже был в чинах и при немалой должности. Как назло, ни у кого не было действующего Сережиного телефона, но я нашел, как мне показалось, гениальный выход и позвонил просто по городскому на «02». Там, конечно, выслушав мою просьбу связать с другом, сначала несколько оторопели, но ненадолго и всячески поспособствовали. Нет, номер его мобильного мне не дали, зато через какую-то свою хитрую внутреннюю связь соединили с ним напрямую. Весь процесс занял каких-то две-три минуты.

Однако в Москве тоже есть свои немалые преимущества, тем более что здесь давно мой дом, где мне хорошо. К друзьям же в Иваново я всегда могу приехать, или они ко мне. И все же.

Я давно не ездил туда поездом, однако до сих пор помню это холодноватое, но трогательное до необъяснимости чувство, когда ранним утренним поездом подъезжаешь к городу: гулкий стук колес по железнодорожному мосту, серо-белая тюрьма за колючкой, где как раз начинается развод, знакомые дома и улицы и вокзал, откуда всегда к троллейбусу или стоянке такси выходишь, враз вдохнув глубоко прозрачно-прохладный воздух. Есть еще и огромная береза в моем дворе, которую я сам сажал на добровольном субботнике деревцем в полтора моих тогдашних роста. К ней я тоже стараюсь всегда сходить и молча, уже давно не стесняясь самого себя, поздороваться.

И будущую жену я встретил в Москве, а не в «городе невест», и дочь наша родилась в Первой градской, правда, в отличие от меня, все же окончила истфак, но МГУ. А вот могилы родные есть уже и там, и там.

Как-то оно так само собой сходится к искомой гармонии.

Смею надеяться, что в этих «памятных записках» я сохранил какие-то чудесные детали мироздания времен моего детства и юности, известные лишь узкому кругу лиц или вовсе одному мне. О чем-то я упомянул не случайно, а нарочно, о многом умолчал — не надо трогать. Может быть, в этом и есть главный смысл изначальной мудрости: все помнить и не обо всем говорить.

А в городе пусть все будет хорошо, хотя я и никогда туда не вернусь.

Валерий Сандлер

Там, на далеком юге

«Сразу видно человека с раньшего времени. Сейчас таких уже нету и скоро совсем не будет...» Именно это изречение неудачливого «сына лейтенанта Шмидта» и незадачливого гусекрада Паниковского я возьму себе в помощь: с ним мне легче будет отправиться в мое «раньшее время» и вас за собой увлечь хотя бы ненадолго. Потому что — «ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок», во времена, «когда мы были молоды, бродили мы по городу», а приходилось — так и по любым городам и весям нашей бывшей необъятной родины, пока еще не разделенной на национальные квартиры, не отбившей у нас привычки ездить друг к другу в гости, не разменявшей хорошую книгу на телевизор, айпод и смартфон, не увязшей в соцсетях, постельных сплетнях и кровавых междоусобицах...

Думайте что хотите, но жизнь в «раньшее время», которую «невозможно повернуть назад», стоила того, чтобы в ней хлопотать, испытывать и преодолевать невзгоды, а сегодня, спустя не одно десятилетие, она заслуживает, чтобы о ней хотя бы помнили.

СГИБАЯСЬ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ «РОДИНЫ»...

В конце 1950 — начале 1960-х, молодой студент-заочник, я работал учителем русского языка в сельских школах Киргизии. Первые два года из четырех пришлись на село Горная Маёвка, что километрах в тридцати от Фрунзе (ныне — Бишкек), вторая учительская двухлетка прошла в Баткенском районе, на крайнем юге республики.

Району не везло в части быта и снабжения, зато повезло с соседями: северной своей оконечностью он умудрился примкнуть сразу к двум — Таджикистану и Узбекистану. В этой близости было спасение для многих его жителей. По выходным дням из райцентра Баткен отправлялись автобусы в таджикскую Исфару — городок чистенький, аккуратно спланированный и, что особенно важно, способный обеспечить всем насущным как своих, местных, так и нас, приезжих. Местный рынок утешал голодный глаз баткенца обилием и относительной дешевизной мяса, фруктов, овощей. Городской универмаг и мелкие торговые «точки» привечали покупателя в основном советским ширпотребом, изредка балуя заветным импортом, когда наряду с суконными ботами «прощай, молодость» и туфлями фабрики «Скороход» на полках появлялась обувь чехословацкой фирмы «Цебо», из готовой одежды — рубашки, платья и костюмы, сшитые аж в Болгарии, Венгрии, Китае или Вьетнаме...

Сандлер Валерий Семенович родился в 1942 году на Украине, вырос и большую часть жизни прожил в Киргизии, где служил учителем в сельских школах, корреспондентом Киргизского радио и телевидения, заведующим отделом публицистики журнала «Литературный Киргизстан». С 1992 года живет в США, где работал редактором отдела новостей нью-йоркской газеты «Новое русское слово» и внештатным корреспондентом еженедельника «В Новом Свете». Предыдущие публикации в «ДН» — 2018, № 6, 9.

Ай, спасибо Исфаре! Баткенский автобус шел в обратный рейс, приседая под тяжестью сумок со снедью и промтоварами, с которыми его пассажиры возвращались домой. Ну а для тех баткенцев, кто жил далеко от райцентра и кому до исфаринского рога изобилия было не дотянуться, существовал узбекский Риштан, но о нем речь позже.

Все только что описанное стало частью моей жизни после того как я сам стал жителем Баткена. А до того год учительствовал в поселке Чонгара и соседнем селе Зарташ, куда меня, явившегося из Фрунзе с бумагой от министерства просвещения Киргизии, направил баткенский районо. Ни один дурень там работать не соглашался ни за какие коврижки. Ни один, кроме меня. За что я и благодарен судьбе. Ведь, сложись все иначе, не попади я в Баткенский район — не было бы в моей жизни ни Заремы, ни дочери Марины и сына Саши. Да мало ли чего бы не было, не направь меня заврайоно к чертям на кулички, то есть в самую что ни на есть Чонгару.

Девушка, секретарь районо, вручила мне копию приказа со словами:

— На улице найдете бортовой ГАЗ, вот его номер. С водителем я договорилась, он довезет вас до места.

Сидевший за рулем ГАЗа молодой киргиз был рад попутчику.

— Ты правда из Фрунзе? О, нормально! Расскажешь, как там жизнь. По прямой нам ехать километров сорок, но всю дорогу грунт, гравий и песок, замучаемся пыль глотать. Поедем через Таджикистан, это шестьдесят кэмэ, зато асфальт от и до.

Почему на таджикской территории асфальт есть, а на киргизской его нет, выяснять мне было некогда, да и неохота, не мое это дело, тем более что за удовольствие не глотать пыль я готов был сделать крюк даже через Владивосток.

Ландшафт, стоило нам выбраться из Баткена, изменился резко, словно в восточной сказке, в которой усталый путник, оставив позади унылую, сухую, выжженную солнцем пустыню, попадает в оазис, где земля плодородна, а воздух, еще не так давно обжигавший лицо и, казалось, проникавший в самое нутро, ласкает свежестью и прохладой. Мы ехали по главной улице села, название которого я спросить не догадался.

— Тут уже таджики, — пояснил водитель. — Очень правильно живут люди! У них в каждом дворе сад-виноград. Умеют на земле работать. Посадят сухую палку всю в сучках — весной на ней почки набухнут.

Он мог бы этого не говорить. Хоть высокие глиняные дувалы и прикрывали дома и дворы таджиков от любопытных глаз, с моего места в кабине было видно, что природа своей щедростью их не обделила. Через каких-нибудь полчаса я в этом убедился. Двое подростков, выбежав на дорогу, машут нам, просят остановиться. Водитель затормозил, подождал, пока один из них вскочит на подножку и заговорит на языке, не похожем ни на киргизский, который я худо-бедно помнил со времени давно минувших школьных лет, ни на узбекский, также относящийся к тюркской группе. Про то что язык — фарси, таджикский, я узнал от водителя позже. А он тем временем, тронув машину с места, повернул с главной улицы налево, вместе с парнем на подножке проехал метров двести, остановился перед каким-то домом, а мне сказал:

— Давай, выходи. Чемодан в кабине оставь, никто не тронет.

Мы прошли в ворота, попали на просторный двор, заполненный народом. Посреди двора стоял сложенный из самана таганок, на нем громоздился невиданных размеров чугунный казан, вокруг которого хлопотали мужчины, а в казане... Нет! Обыкновенное чудо по имени Плов не описать ни словами, ни жестами. Сначала это чудо вы должны обонять, затем увидеть, слегка тронуться умом и лишь потом начать есть. И — никаких ложек-вилок, только пятью пальцами. Об этой премудрости я раньше знал понаслышке, теперь же с восторгом осваивал ее на деле, сидя под резным деревянным навесом, укрывавшим от жаркого солнца, на покрытом дешевыми коврами топчане, бок о бок с незнакомыми людьми, чье внимание и добросердечие к случайному гостю проявлялись в каждом их взгляде, в каждом жесте. Водитель, с которым мне предстояло добираться до места новой работы и жительства, учил меня правильно складывать пальцы, чтобы рис (знайте, что самая вкусная и ароматная часть плова — рис, а вовсе не мясо, как я раньше наивно полагал!) не просыпался мимо. В тот день я был также впервые приобщен к процедуре чаепития, при которой

пиалу горячего зеленого чая следует, сделав небольшой глоток, передать соседу, а он — дальше, и так по кругу. Никем нигде не прописанный знак взаимного уважения — но в селах срединной Азии он един для стариков и молодых.

После плова и чая перед гостями появились большие, расписанные вручную керамические блюда с грушами, персиками и виноградом — все эти ароматные дары природы росли тут же, в просторном дворе. Пока я собирался узнать у водителя, кто нас так обильно потчует, а главное — за что, он сам меня опередил вопросом:

— Ну как, хорошо покушал? Еще хочешь? Нет? Тогда поехали.

Стараясь не привлекать внимания остальных участников пиршества, мы встали со своих мест и направились к воротам, чтобы покинуть гостеприимный двор. Выехали за околицу села, и тут водитель развеял мое недоумение: объяснил, что сыну хозяина дома, в котором нас только что щедро угощали, исполнилось три года, и, по мусульманскому обычаю, мальчику сделали обрезание. Радость от этого, казалось бы, сугубо семейного события родители желают разделить не только с родственниками, друзьями и соседями, но и с каждым, кто в этом селе оказался случайно.

— Этих ребят, которые нас на дороге тормознули, специально послали, чтобы заворачивать к дому всех, кто идет или едет. Народный обычай, надо его уважать...

Действие уважаемого обычая я впоследствии испытал на себе не единожды, всякий раз сценарий бывал одинаков: идешь куда-нибудь по своим делам, вдруг тебя останавливают незнакомые люди, приводят в незнакомый дом, его хозяев не интересует, кто ты, откуда и как тут оказался, — приветят, усадят среди остальных гостей за обильную трапезу, а когда, угостившись, ты соберешься уходить, скажут спасибо, что пришел, пожелают доброго пути.

За первые две недели, проведенные в поселке Чонгара, на левом берегу реки Сох, отделявшей в этих местах Киргизию от Узбекистана, я узнал, что он не всегда являл собой забытое богом захолустье, бывали в его биографии дни и годы недурно устроенной, вполне цивилизованной жизни. Меня вовремя просветил заведующий начальной школой соседнего села Зарташ (где я также проводил ежедневно по два урока) Паиз Абдыраимов, рассказав, что в середине 1930-х годов на киргизской территории были обнаружены запасы природного газа, но для его добычи не было у республики ни сил, ни средств, ни специалистов. Все три составляющие нашлись в Узбекистане, взявшемся на условиях аренды разрабатывать месторождение. Прежде чем приступать к добыче, был построен для рабочих-газовиков городок из уютных кирпичных коттеджей, каждый на две семьи, в каждой половине — по три комнаты; туда подвели электричество и водопровод. К концу 1950-х запасы газа иссякли, оставаться в Чонгаре газовики не видели смысла, поэтому ушли. А поселок остался и был как бы нечаянно подарен Киргизии. Подарок пришелся кстати: требовалось срочно переселять жителей высокогорного села Зардалы, куда вела единственная дорога, связывавшая село с долиной. Шесть месяцев в году она бывала наглухо перекрыта снегом. Зимой 1958 года стояли лютые морозы, и зардалинцы, не имея возможности спуститься в райцентр, чтобы запасти муки, соли, керосина и спичек, умирали целыми семьями, и только эта страшная трагедия заставила выживших сменить обжитое место на чуждую им Чонгару.

Узбекистан, покидая поселок, отрезал его от электро- и водоснабжения, предоставив властям Киргизии заботиться о новоселах. Практически вся забота властей свелась к тому, чтобы раз в неделю доставлять им воду в цистерне. Этих запасов хватало на приготовление пищи и чая, без которого киргизы (а сельские — особенно) своей жизни не мыслят. Если «водовозка» запаздывала, а то и не приезжала вовсе, выручал арык, в котором текла, хоть и коричневого цвета, но все же вода, ее приходилось, выждав, пока осядут на дно ведра взвешенные частички глины, кипятить и пить или готовить на ней шорпо — суп из баранины. Перед каждым коттеджем (половину одного из них я занимал) новые хозяева слепили глиняные печи — тандыры, в них выпекались лепешки; в одной из трех комнат селился домашний скот: овцы, козы; жилье по вечерам освещали коптилки, редко — керосиновые лампы. Справить нужду жители бегали в единственный на весь поселок, еще газовиками построенный кирпичный нужник, дальние подходы к нему были наглухо «заминированы» не успевшими добежать страдальцами животом; эти завалы чистил похожий на мумию

старик, зимой 1958-го потерявший всю семью, а с ней — почти весь разум. За кусок лепешки, пиалу чая и коробок спичек он выполнял любую тяжелую работу: собирал в горах хворост для тандыров, копал арыки, убирал навоз за скотом... Обитал он в сырой землянке. Спал на сбитом в комья тюфяке, укрывшись драным ватным одеялом. Не мылся никогда. Все забыли его имя, звали коротко: чал, то есть старик. Однажды в поселке забили тревогу: кому-то срочно потребовалась вязанка хвороста, хватились старика — а он, оказалось, умер. Войдя в его землянку, люди обнаружили под тюфяком многие десятки высохших, как камень, лепешек и сотни спичечных коробков, ни в одном из которых не была истрачена ни одна спичка! Ситуация — словно из джеклондонской «Любви к жизни», только у Лондона герой после всех скитаний и пережитых несчастий пребывал в здравом уме, он лишь боялся вновь оказаться перед лицом голодной смерти...

...И вот здесь-то мне предстояло учить детей русскому языку, о котором они в своем недоступном высокогорье даже не слыхали, писать с ними диктанты, читать им Пушкина и Тургенева — этого требовали учебные программы и методики минпроса, и я добросовестно старался им следовать, заведомо зная, что результат будет нулевым. Таким он и оказался.

Жизнь в Чонгаре, в отсутствие газа, электричества и водопровода, мне запомнилась еще и тем, что за простейшими продуктами приходилось раз в неделю выбираться в городок узбекских газовиков Риштан. Попасть туда можно было, спустившись из Чонгары в Зарташ, чтобы, перейдя вброд реку Сох, оказаться на узбекской территории. Надев рубаху, брюки и ботинки поплоше, чтобы в случае чего не жалко было выкинуть, я выходил на берег Соха в том месте, где его русло сужалось до нескольких десятков метров, высматривал выступавшие из-под воды каменные островки, бодрым козликом перебирался по ним на узбекский берег и успевал на вахтовый грузовик, который, доставив очередную смену газодобытчиков, отъезжал обратно в Риштан. Место в кузове мне всегда находилось, денег здесь ни с кого не брали. Доехав до места, я шел в городскую баню, смывал с себя недельную грязь и, чистенький, двигал в чайхану, где сам себе устраивал шикарный обед из полудюжины горячих, только что вынутых из тандыра узбекских пирожков «самсы» и кисти винограда весом чуть ли не в кило, купленной на рынке рядом с чайханой; запивалось все это тремя пиалами зеленого чая. Отобедав, я бодро шагал в ближайший продмаг и через полчаса покидал его с запасом продуктов на неделю: два кило картошки, три буханки хлеба, полпалки «Докторской», триста граммов карамелек, пачка вермишели, по пачке сахара и чая да пол-литра хлопкового масла.

В ноябре 1960-го минули мои два месяца учительской маеты в полном отлучении от цивилизации. По этому случаю я субботним утром, перебросив через плечо полосатый мешок-курджун, который мне одолжил Паиз Абдраимов, устроил очередной поход в Риштан с культурными целями: купил батарейный радиоприемник «Родина-52» весом в 12 килограммов. Почти вдвое больше весила батарея к нему. Выручил курджун, вместивший, помимо «Родины» с батареей, еще и недельный запас еды. К вечеру меня, навьюченного не хуже рабочего мула, вахтовый грузовик довез на узбекский берег Соха. В кузове со мной оказался молодой киргиз из Зарташа. Он тоже побывал в Риштане, где отоварился покруче моего: купил на рынке двух баранов и с ними возвращался домой. От места, куда нас довез грузовик, нам предстояло более привычным видом транспорта — на своих двоих — добираться к себе в Киргизию.

Кто же знал, что днем здесь пройдет ливень и уровень воды в Сохе поднимется настолько, что перейти реку вброд было бы под силу только Гулливеру! Мой случайный попутчик, звали его Санджар, превратился в товарища по несчастью. Вдвоем мы стали искать выход из ситуации, в которую нас загнала стихия. Обоим требовалось, кровь из носу, перебраться на ту сторону реки. Пройдя вверх по течению, мы дошли до места, где река распадается на несколько рукавов, оставляя между ними узкие песчаные отмели. Рукавов насчитали шесть, отмелей — пять. Сняли и сунули в мешки обувь, закатали брюки выше колен. Дальше все прошло как в классической головоломке про волка, козу и капусту. Одного барана Санджар взвалил себе на спину и первым ступил в холодную ноябрьскую реку, за ним двинулся я со вторым бараном на спине. Выбравшись на ближайшую отмель, я передал поклажу хозяину, а сам

вернулся на берег, чтобы тут же пуститься в обратный путь — но уже с курджуном. Таких маневров мы совершили пять, прежде чем выбрались на киргизский берег, где смогли обуться и привести в порядок одежду. У обоих зуб на зуб не попадал, но радость благополучного возвращения была сильнее холода. Санджар привел меня к себе домой, в Зарташ, напоил водкой, накормил и уложил спать. Утром он запряг в повозку ишака и отвез меня со всей моей поклажей в Чонгару.

Годы спустя, уйдя из учителей в журналисты — вначале на радио, затем в газете, — я часто и охотно ездил в командировки в сельские районы Киргизии, во многих селах у меня появились знакомые механизаторы, полеводы и чабаны. Общаться мне с ними было легко, потому что за годы работы в Баткенском районе не столько я научил школьников русскому языку, сколько они меня — киргизскому, теперь это знание мне пригодилось. Работали эти люди тяжело, жили скудно. Но и в саманной кибитке, и в чабанской юрте, куда я входил со своим магнитофоном, хозяин первым делом говорил, разламывая лепешку: «Давай садись, супчик с нами покушай, чайку попей, разговаривать успеем».

ВОСПИТАНИЕ ПО-ТАДЖИКСКИ

Последние дни отсчитывал декабрь 1960-го. Впервые за много лет я готовился в гордом одиночестве, без друзей и родных, в пустой, холодной квартире встретить Новый год и провести неделю зимних каникул, хотя и не особо переживал по этому поводу, зная, что есть и другие радости в жизни — та же, в конце концов, «Родина-52». С появлением в моей холостяцкой обители чуда по имени радио вновь для меня открылось окно в мир, которого я долго был лишен: мир оперы и оперетты, устных рассказов всё и всех на свете знавшего Ираклия Андроникова, вечерних концертов «По вашим заявкам», передач «Театр у микрофона»...

В коттедже по соседству с самого лета жили двое из таджикского села Ляккан — отец и взрослый сын Икрамовы, их привела в Киргизию возможность заработать на строительстве оросительного канала для нужд местного колхоза. Строителям, даже приезжим, платили прилично, в отличие от колхозников — тем вместо денег начислялись жалкие трудодни. По вечерам, отработав, отец и сын заглядывали ко мне «на огонек», выкладывали на стол увязанные в платок коричневые кристаллы сахара «нават», я ставил на плиту чайник, споласкивал три пиалы и ждал, когда Икрамов-старший, отпив чая, скажет:

— Ташкент поймай, пожалуйста. Музыку послушать хотим...

Таджики, они предпочитали слушать узбекскую музыку. Почему — я спросить так и не удосужился. Но просьбу всегда выполнял, Ташкент «ловил». Тем более что и мне эта музыка нравилась. Звучала она сутки напролет, прерываясь лишь на новости о трудовых подвигах узбекских хлопкоробов. О том, что на сбор «белого золота» выходят в принудительном порядке школьники и студенты, ИТР и рабочие, а также воспетые Высоцким «товарищи ученые» — одним словом, все, только не сами колхозники, — радио скромно помалкивало. Так себя вело не только узбекское, но и казахское, туркменское, киргизское — одним словом, радио всех «братских республик» в пору уборки хлопка, или созревания сахарной свеклы, или «всенародной» кампании по заготовке кормов для скота на зиму. Всю первую учебную четверть, до самых «белых мух», мы с Паизом Абдыраимовым ежедневно выводили учеников школы села Зарташ — всех поголовно, включая первоклашек — на поля и вместе с ними по три-пять часов отрабатывали хлопковую повинность. Лишь мою школу в Чонгаре не трогали — явно из сострадания к детям и их родителям, еще не успевшим оправиться от ужасов недавней зардалинской зимы.

В самый канун 1961 года и январских каникул Икрамовы в последний раз зашли ко мне — попрощаться, почаевничать, «послушать Ташкент». Икрамов-старший сказал:

— Работы здесь для нас больше нет, домой едем. Слушай, зачем будешь все каникулы один сидеть, скучать? Мы к тебе в гости приходили — теперь ты к нам приезжай, гость будешь...

Объяснил, как доехать: попуткой до Баткена, там сесть в автобус до Исфары, оттуда в Ляккан (он произнес по-таджикски: Лякк*он*).

— А как я вас найду? Улицу назовите, номер дома...

— Зачем? Не надо улицу, номер не надо. Автобус в Лякконе возле магазина остановится, ты выходи, любого ребенка спроси — где Атам-ако Икрамов живет, тебе покажут...

Все произошло как по инструкции. Первый же встреченный мальчишка не просто показал — лично поводил меня к дому Икрамовых, по пути выспросив, откуда я приехал и чем занимаюсь. На это, подозреваю, у него ушел весь небогатый запас русских слов, из чего я мог судить, что учитель-русист местной школы, подобно мне, талантом не блещет и успехом не избалован.

Новый год, как и любой другой праздник, с хмельным русским размахом сельские таджики не отмечают, у них такое не принято. Атам-ако по случаю моего приезда приготовил плов, позвал нескольких соседей-мужчин, меня с ними познакомил. Был среди них учитель истории из местной школы, и нас, двоих коллег, усадили рядышком. В меймонхоне — комнате для гостей — топилась чугунная печка, но по-настоящему грела не она, а сандал — яма метра полтора глубиной, на дне которой тлели угли, сверху прикрытые решеткой. Устроен сандал просто, как все гениальное: над ямой ставится круглый, покрытый махровой скатертью столик на низких ножках; вокруг него, прикрыв колени краями скатерти, ступнями упираясь в нагретую решетку, сидят участники трапезы, чинно беседуют, угощаются хозяйским пловом, передают друг другу пиалы с чаем...

Только вовсе не едой-питьем запомнился мне первый из трех дней гостевания в доме Икрамова. Вот прямо сейчас, словно никогда не исчезала, встает у меня перед глазами картина: дверь меймонхоны открывается, и входит мальчик лет пяти, в стеганом халате, подпоясанном, по таджикскому обычаю, цветным платком; на голове — традиционная тюбетейка, на ногах — сапожки из мягкой кожи. Вся одежда и обувь сшиты «по-взрослому», лишь размером на ребенка.

Поднявшись из-за столика над сандалом, гости дожидались, пока «мужчина в миниатюре» к каждому из них подойдет, протянет для приветствия правую руку, которую они уважительно пожмут, приложив свою левую к правой стороне груди. Следовал краткий, в несколько слов тихим голосом, диалог: вопрос — ответ. Как тихонько объяснил мне коллега-историк, взрослые интересуются у мальчика, здоров ли он, здоровы ли его домашние, а он им отвечает: спасибо, у него все хорошо. По спокойному достоинству, с каким принимались эти знаки почтения, я понимал, что пятилетний малыш осознает важность момента и собственную значимость. На избалованного вниманием барчука он похож не был, скорее, на маленького старичка. Дошла очередь и до меня. Поняв, что присутствую при некоем ритуале, я охотно в него включился, сумев запомнить жесты соседей: правую руку подал для приветствия, левой коснулся груди. Все это — без единого слова: много ли скажешь, не зная языка?

Шепотом, в тихом восторге от только что увиденного, я спросил у рядом сидевшего коллеги: за что мальчику такая честь? Так же шепотом мне было отвечено, что перед нами — младший сын Атама-ако Икрамова, ему при рождении дали имя покойного деда. По таджикским законам, окружающие, включая родителей, оказывают ему такие же почести, каких при жизни удостаивался дед. Обращаться к сыну/внуку следует не по имени, а — «бобо», что означает «дедушка», прибавляя слово «джон» — сердце, душа. Так будет до совершеннолетия, которое бобо-джон встретит в свои 18 лет, и тогда его станут звать именем, данным при рождении — Файзулло.

— Ну и вырастет он к этим годам капризным, заносчивым эгоистом, — неосторожно заметил я.

— Такого не будет, — успокоил меня коллега. — Ребенок видит, с каким уважением люди к нему относятся, и сам учится уважать людей...

ЛЮБОВЬ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ БАТКЕНЕ

Помереть от скуки в Чонгаре с отъездом отца и сына Икрамовых мне не дали: в их бывшую половину коттеджа вселили троих взрывников, работавших на трассе будущего оросительного канала. Старшего звали Михаил Овчаров, его помощника — Виктор Прудников, фамилию Жени моя память не сохранила. А вот прозвище у них имелось одно на троих: Кенты. Вечерами они входили в мою холостяцкую обитель, я включал на полную громкость свою «Родину», и под музыку советских композиторов или песни разных народов, под собственный хвастливый трёп «за жизнь, за баб» компания душевно выпивала. Редко водку, чаще дешевое крепленое вино, им торговал магазин в ближнем селе Ак-Турпак. Кенты, владея разбитой на местных дорогах бортовой «полуторкой», регулярно заглядывали туда на обратном пути с объекта, так что скучать долгими вечерами нам не приходилось.

Иной раз застольного веселья оказывалось недостаточно, тогда Миша произносил как бы в сторону, хитровато блеснув единственным своим глазом (другой он потерял во время неудачно проведенного взрыва): «А чего бы нам, братцы, не смотаться до Баткена и обратно?» Намек бывал понят и немедленно одобрен. После чего Кенты со мной в придачу набивались в кабину. Риск напороться на гаишника исключался: в этих краях даже при большом желании некому и некого было останавливать и штрафовать. Сорок километров по плотно укатанному грунту наша битая «полуторка» покрывала за час. Вскоре мы, заметно поддатые и слегка помятые, въезжали в райцентр, перед тем условившись, кто где останется проводить досуг: в местном доме местной культуры, где «каждый вечер — танцы», или у знакомых девушек. Крепко за полночь мы сходились в условленном месте, грузились в кабину и проделывали обратный путь — в неродную свою Чонгару, к своей неродной работе.

Очередной марш-бросок по маршруту Чонгара — Баткен был совершен 1 мая 1961 года. Ехали мы трезвые, зная, что основные возлияния ждут нас впереди, в теплой компании, собиравшейся отметить День, как известно, международной солидарности трудящихся. Не думал я не гадал, до какой степени буквальный смысл обретет этот день в моей судьбе. Что имею в виду — раскрою в конце рассказа.

Отбыв положенное за праздничным столом, мы двинули в ДК, ведя под ручки своих барышень. Со мной шла Валентина, медсестра районной больницы. Вошли в зал, где парочки отплясывали под «Ландыши, ландыши, светлого мая привет», про которые пела с пластинки Гелена Великанова. Тренированным оком бывалого донжуана я окинул окружающее пространство — нет ли кого посимпатичней моей медсестрички. И увидел: стоит девчонка, притулилась к стеночке, руки за спиной, танцевать явно не спешит. Каким магнитом меня к ней потянуло?!

— Ну, ребята, я пошел, — сказал я Кентам и вправду пошел. — Тебя как зовут? — спросил, подойдя к девчонке.

— Зарема, — и озарила улыбкой, от которой всё во мне замерло-запело-заиграло, и я понял, что пропал бесповоротно.

С того самого дня я использовал любой случай сорваться из Чонгары и попасть в Баткен — с поводом или без повода, только бы слышать волшебное имя Зарема, видеть улыбку, краше которой (а с той поры еще и роднее) я не знал тогда, как не знаю сейчас. Поженились мы в августе того же 1961 года, в сентябре следующего — появилась на свет Марина. Добившись перевода из Чонгары в школу-семилетку села Бужум, что рядом с Баткеном, я ежедневно отмахивал пешком шесть километров туда и шесть обратно. И так — всю рабочую неделю.

Зарема за год до нашей встречи окончила во Фрунзе политехнический техникум и по распределению попала в Баткен, где к тому времени жил ее отец, Рифат Закирович Сунчелеев с тремя детьми от второго брака (его первая жена, Заремина мама Евдокия Васильевна Деркачева, умерла, когда дочери было четыре года), и делила с отцом все заботы о сводных сестрах. Вот в какой большой семье я оказался...

...А день международной солидарности тут вот при чем. Брак еврея с татаркой по отцу и русской по матери может, хоть и с известной натяжкой, сойти за международный, что же до солидарности, так за пятьдесят семь совместно прожитых лет (на осень 2018-

го, когда писались эти строки) мы с Заремой, моей красавицей и умницей, повидали дни хорошие и не очень (последних было больше по моей вине), но все эти полвека плюс семь годочков сверху идем по жизни рука об руку, плечом к плечу, никуда не сворачивая...

КАРА-КУЛЬ: ТУДА И ОБРАТНО

«Я б в строители пошел...»

Из несчетного числа командировок, по которым меня носило за годы работы на Киргизском радио, многие пришлись на поселок (ныне город) Кара-Куль на реке Нарын, где в узком горном ущелье строилась знаменитая в ту пору Токтогульская ГЭС — основная станция Нарынского гидроэнергокаскада, по сей день не завершенного. Первая наша с «Токтогулкой» встреча состоялась, когда Нарын был уже перекрыт и оба его берега соединяло основание бетонной плотины, которой предстояло (забегая несколько вперед, замечу с гордостью: не без моего скромного участия!) подрасти до 215 метров. Проектную мощность станции в 1 миллион 200 тысяч киловатт обеспечивали четыре агрегата по 300 тысяч киловатт каждый.

Возвращаясь из Кара-Куля во Фрунзе с дюжиной магнитофонных кассет, на которых были записаны интервью с руководителями стройки, инженерами и мастерами, разговоры с рабочими, я рассказывал в радиоэфире обо всем, что увидел и услышал. В моих очерках и репортажах звучали голоса начальника Управления строительства НарынГЭС Зосимы Львовича Серого, руководителей других подразделений стройки. Вот почему, отправляясь летом 1970 года в Кара-Куль с заданием взять интервью у Казбека Хуриева, начальника Управления основных сооружений, которое строило плотину «Токтогулки», я ехал туда как свой человек, перед которым все двери открыты. Оказалось — все, да не все. Хуриев передал через секретаршу, что у него «нет времени на пустые разговоры». Дня два я нахально попадался ему на глаза то перед зданием УОС, то на створе плотины — бесполезно. Попросил знакомого мастера участка Сашу Панькова: замолви за меня словечко перед Хуриевым, обидно же возвращаться с пустыми руками. Стою и наблюдаю издали, как Паньков подходит к Хуриеву, что-то ему говорит. Вернувшись, Саша объяснил, за что его шеф не любит журналистов: «Ходят по стройке в белых перчаточках, строчат в блокнотик цифры выполнения плана, имена передовиков, разве ж им понять, что такое труд гидростроителя?»

Вернувшись во Фрунзе, я доложил начальству, что задание не выполнил, тут же написал заявление на честно заработанный отпуск, уложил в свой видавший виды рюкзак магнитофон с запасом кассет, туда же — старые брюки, резиновые сапоги, пару смен белья, поцеловал жену и детей и — вперед, обратно в Кара-Куль!

Замначальника НарынГЭС по кадрам и быту Пётр Фёдорович Шинко — необъятной души человек, книжник, собеседник, пасечник, «папа и мама» журналистов, пишущих о стройке (место в гостинице, машина для поездки на объект, свежая информация «только для своих», помощь в устройстве быта — все это мы получали, не зная отказа, стоило лишь попросить), увидев меня, очень удивился: «Ты ж от нас два дня как уехал!..» Выслушав, улыбнулся: «Ладно, пиши заявление: прошу направить временно на строительство плотины ГЭС. Написал? Дай-ка я свою закорючку поставлю. На, держи. Теперь двигай на створ, к Хуриеву».

Казбек Бексултанович Хуриев, когда я положил перед ним заявление, поднял на меня глаза, узнал, радости по этому поводу не проявил, только спросил, едва разомкнув губы: «Что, потянуло поближе к народу?» Я бормотнул что-то вроде: вот именно, потянуло. Он вынул авторучку, черкнул в уголке: «Разнорабочим, на месяц, в бригаду Феттаева».

С ПОНТОМ СТУДЕНТ

Прославленная в газетах, по радио и телевидению бригада механизаторов Сеяра Феттаева занималась послойной укладкой бетона в тело будущей плотины. Бетон поступал круглые сутки без перерывов, работа шла в три смены, с применением миниатюрных бульдозеров и тракторов на электротяге. Механизм с кабиной объемом с собачью будку подсоединяют кабелем к силовому щиту, человек в такой кабине сидит за рычагами, скрючившись, как бывает при радикулите. Процесс простой и монотонный: малютка-бульдозер своим ножом равномерно распределяет доставленную в самосвале бетонную массу по сектору плотины, затем наступает очередь малютки-трактора с навесным пакетом из четырех глубинных электровибраторов: человек в кабине-«будке» простым нажатием кнопок на рычагах погружает вибраторы в бетон и там их держит несколько минут, «прорабатывая», то есть уплотняя. Новое нажатие кнопок — вибраторы ме-е-едленно (бетон же!) выползают наружу, чтобы быть погруженными в новой точке. И так — восемь часов с перерывами на перекуры и обед.

Мой первый день в бригаде начался с ответов на вопросы, которые обычно задают любому новичку: кто такой, откуда прибыл и зачем, надолго ли. Как было задумано с самого начала, я все наврал: студент, стипендия маленькая, в институте сейчас каникулы, хочу подзаработать. Мне поверили. Выдали совковую лопату, ведро, рукавицы из толстой резины, строительную каску, объявили бетонщиком 3-го разряда и приставили к ответственной операции: черпать совковой лопатой воду, вытекавшую из-под свежего бетона, сливать ее в ведро, оттуда — в огромный металлический бак.

Через несколько дней звеньевой Саша Ильин, убедившись, что перед ним не филон, доверил мне управление электротрактором с пакетом вибраторов. Процесс, с которым после часовой дрессировки справился бы цирковой медведь, во мне вызывал чувства сродни тем, что испытывает летчик за штурвалом МиГа.

Свое истинное лицо перед бригадой я раскрыл, отработав первую неделю. Короткий перерыв, сидим вчетвером на перевернутых пустых ведрах: звеньевой Саша Ильин, бульдозеристы Александр Луценко и Иван Чжан и я, разнорабочий. Собираюсь с мыслями, обращаюсь к Ильину как к старшему по должности: «Саша, никакой я не студент, я журналист, хочу писать про вас, про стройку. Хотел, чтоб вы меня приняли за своего...» Ильин новость переварил и произнес: «Ладно, работай как работал». Неожиданной была реакция Луценко: «Вот это ни х..! А мы при тебе матерились!»

ИНТЕРВЬЮ КАЗБЕКА ХУРИЕВА БЕТОНЩИКУ 3-ГО РАЗРЯДА

Пошла вторая неделя. Я ни на минуту не забывал, что одной из главных целей моего нечаянного трудового порыва было интервью с Казбеком Хуриевым Однажды на створе проводили профилактику, были отключены все компрессоры и прочая техника, стояла непривычная уху тишина. Я присел в закуточке на перевернутом ведре, курил и не заметил, как подошел Хуриев: «У вас, кажется, были ко мне вопросы — они еще остались? — Да, отвечаю, остались, а к ним новые добавились. — Заходите после смены ко мне в кабинет».

Беседовали мы дотемна. Опытнейший гидростроитель, инженер от бога, трудоголик и умница, Хуриев говорил тихо, как свойственно людям, уверенным, что каждое их слово будет услышано. Ответил на все мои вопросы, отвез меня, сидя сам за рулем, в общежитие.

В последующие годы, что я регулярно наезжал в Кара-Куль — в командировку или для работы в очередной бригаде, — Хуриев, встречаясь со мной, узнавал, кивал издалека — и только. Дела и люди, его окружавшие, для него были важнее любого корреспондента, даже такого, который доказал, что «ходить по стройке в белых перчаточках» — не его стиль.

ЯСАК НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Быть разнорабочим мне так понравилось, что весь июнь 1971-го я проработал на строительстве здания ГЭС, в бригаде Ислама Хамдамова. А мой третий «отпуск» прошел в мехколонне №38, которая тянула линию электропередачи на трассе Кара-Куль — Андижан. Меня зачислили в бригаду монтажников высоковольтных опор, командовал нами Михаил Калмыков. Специалист высочайшего класса, объехавший пол-Союза, силач каких поискать, убежденный трезвенник, хотя и матерщинник, он не боялся ни начальства, ни бога, ни черта, и только один человек в мире мог заставить Мишу Калмыкова унять буйный темперамент и понизить голос до шепота — его миниатюрная жена, подарившая ему двух дочурок, которых он боготворил.

В бригаде мне выдали страховочный пояс для работы на высоте — широкий, тяжелый, усыпанный заклепками, усиленный мощной цепью. Поясом монтажник прицеплял себя к секции стальной опоры, которая во время сборки лежала на земле, — это его оберегало от перспективы сверзиться с шестиметровой высоты и покалечить руки-ноги. Не считаясь с тем, что неплохо бы еще и голову сберечь, я перекидывал цепь через шею и, оседлав этаким лихим джигитом свое рабочее место, огромным гаечным ключом подтягивал гайки к шайбам и болтам — и так полную смену, но это лишь в первые две недели...

Потому что в оставшиеся полмесяца меня перебросили от греха подальше на другой участок работы, менее опасный, но, как оказалось, более сытный. Перед первым рабочим днем мастер участка, звали его Сергей, посоветовал мне взять с собой пару пустых стеклянных банок. «Это еще зачем?» — «Бери, бери, там увидишь».

Часть калмыковской бригады в составе: мастер Сергей, трое взрывников, бульдозерист и двое разнорабочих — расширяла проложенную в горах старую грунтовую дорогу, готовила трассу под высоковольтную ЛЭП-500, которой предстояло покрыть расстояние в 118 км от киргизского Кара-Куля до узбекского Андижана. Бригадный бульдозерист Борис Иванович, следуя за взрывниками, подгребал ножом бульдозера груды скальной породы и, подтолкнув к краю, сбрасывал их с обрыва. Нам с напарником Генкой досталось самое легкое: вручную убирать с проезжей части оставшиеся осколки. Дорожное полотно предстояло расширить до 10 метров, чтобы по нему не только прошли новые опоры, но также могли напрямую проезжать автомобили, доставлявшие из ближайшего совхоза в магазины и столовые Кара-Куля свежее молоко, сливки и сметану. Скоропортящийся груз приходилось везти кружным путем, километров за 70, но в будущем, которое неизвестно когда наступит, путь по прямой обещал стать вдвое короче. Совхозные водилы поняли, что с хорошими людьми всегда можно договориться, им не с руки было ждать, пока дорогу достроят.

Время приближалось к полудню, и мастер Сергей спросил меня:

— Банки взял?

— Взял. Хоть так и не понял зачем.

— Сейчас поймешь. Иваныч, глуши мотор: едут.

И правда — со стороны, откуда, по идее, никто ехать не должен (дороги-то нет!), возникли две автоцистерны с надписью на боках: «Молоко». Обе остановились, из кабин вышли водители, а к ним двинулись с банками наперевес мои товарищи. Я не отставал со своей пол-литровой банкой из-под кабачковой икры.

— Кому сливок — к первой цистерне, за сметаной — ко второй.

— А я в обе банки сметану залью. Жинка моя уже не помнит, когда последний раз покупала ее в магазине.

Подставил и я стеклотару под тугую струю сливок: спасибо, на обед хватит.

Расстались, довольные друг другом: водители, выплатив дорожный ясак, повезли свой скоропортящийся груз в Кара-Куль кратчайшим маршрутом; сытые дорожники вернулись к прерванным занятиям.

На другой день все повторилось: автоцистерны — сливки-сметана — «пока, увидимся завтра». Но однажды очередное завтра принесло нежданные перемены. Машины подъехали вовремя, в первой из них рядом с водителем сидел начальственного вида мужичок. Он-то и вышел из кабины, направился к нам, спросил строго:

— Кто здесь у вас старший?

— Ну, я, — выступил вперед Сергей. — Случилось что-нибудь?

— Да вот, случилось! Я главный агроном совхоза. Вы что тут поборами занимаетесь? Меня директор послал с вами разобраться. Немедленно пропустите машины в Кара-Куль!

— Какие машины, в какой такой Кара-Куль? — удивился Сергей. — Вы же видите — здесь дороги нет и не скоро будет. Иваныч, объясни товарищу...

Борис Иванович поднял лежавший на земле металлический штырь со щитом, на котором было выведено красным «Проезд строго воспрещен! Идут взрывные работы», поставил его на землю перед носом главного агронома, аккуратно обложил рваным камнем, чтоб не упал. Залез в кабину бульдозера. Завел двигатель. Развернул машину поперек. Заглушил двигатель. Вышел из кабины. Сел на камень, закурил...

Мне, право, стало жаль бедного главного агронома, когда я представил, как он везет в обратный путь сметану и сливки, а те на ходу медленно, но верно прокисают.

Но вновь был день. И вновь нам была послана вкусная молочная пища. В полдень знакомо проурчали двигатели молоковозов. Водитель первого из них, покинув кабину, направился прямо к Сергею. На вытянутых руках он нес по бутылке «Столичной».

— Мужики, все путем. Это вам наш директор посылает, просит не обижаться за вчерашнее. Берите кому чего надо сколько хотите...

Ни до, ни после не ел я сметаны и сливок вкуснее, чем те, добытые на большой дороге!

БАНДА БОНДО

В одноэтажной, со считанным числом номеров, по-домашнему уютной каракульской гостинице «Турист», моем прибежище на те несколько недель, в которые я изображал из себя монтажника, жилые комнаты располагались по обеим сторонам уютного холла. Постояльцы, народ командированный, в силу малости гостиничного пространства, общались урывками, изредка между ними возникало подобие краткосрочной дружбы, скрепленной парой бутылок «Плодово-ягодного», его в ближайшем магазине было хоть залейся. Для этих целей холл подходил как ничто другое.

Вовсе не дурак выпить, я в стихийно возникавших застольях участия не принимал: тому, кто в 8 утра обязан сидеть верхом на опоре ЛЭП, там с больной головой делать нечего, да его туда и не пустят, выгонят, учуяв душок перегара. Выпивать нашему брату-монтажнику разрешалось с вечера пятницы и всю субботу, начиная же с воскресенья, нормой жизни становилась трезвость.

Возвращаюсь с очередной смены, вхожу в гостиничный холл — и его не узнаю. Вместо привычно и мирно выпивающих соседей — одного из Украины, двоих-троих из России — вижу «лица кавказской национальности», слышу гортанную грузинскую речь, которую давно, с осени 1966-го, привык воспринимать как музыку. Пока шел к двери своего номера, со мной перезнакомились, называя себя по имени, все шестеро грузин. Топографы-геодезисты из Тбилиси, они через Ташкент машиной добирались в Кара-Куль, чтобы в течение месяца проводить расчеты под проект дороги к будущей Курпсайской ГЭС. Когда я сказал, что живу во Фрунзе, один из шестерых, Георгий, встрепенулся: «У меня там друг, Бондо зовут, не слыхал?» Нет, я, к сожалению, не слыхал. Георгий вынул записную книжку, полистал: «Вот! Нашел его номер телефона! Пойду позвоню». Вернувшись через четверть часа, объявил:

— Бондо сказал, чтоб мы никуда не отлучались, он завтра вечером сам приедет.

«Завтра» — означало в пятницу. Которую каждый из нас честно отработал на своем участке...

И наступил вечер. Мы сидели за столом в холле, когда с улицы донесся звук подъехавшего автомобиля, через минуту входная дверь отворилась, впуская того, который «сам приехал». Расхожий тип грузина: смуглый, роста чуть выше среднего, узкая гибкая талия, взгляд умелого покорителя дамских сердец, короткие, аккуратно подстриженные усы... Оглядел наше собрание, отметил мое лицо некавказской национальности и объявил по-русски тоном, сходу отметавшим всякие возражения:

— У кого какие неоконченные дела — заканчивайте их, пока я добрый. Через час двери закроются и откроются не раньше чем все это будет выпито.

Серьезность своих намерений Бондо подкреплял ящиком армянского коньяка «Арарат», двумя ящиками шампанского и двумя — с минералкой «Боржоми», а также плетеной корзиной, в которой навалом лежали палки копченых колбас, банки дефицитных консервов, белые батоны. Все это богатство занес и пристроил к стенке водитель, который нашего гостя сюда доставил, проделав путь в 450 километров.

— Ты не изменился, Бондо, — говорил Георгий, стоя с рюмкой в руке за накрытым в центре холла столом. — Сказал «приеду» — и вот пожалуйста, приехал. Нас когда-то было четверо, — это уже говорилось мне, — мы вот с таких лет дружим. — Он показал, подняв руку над полом, с каких именно лет. — Про банду Бондо слыхал весь Тбилиси...

— «Банда» — это только название громкое, — заметил Бондо. — Зла мы никому не делали, просто жили весело, в свое удовольствие. Молодая кровь играла. Давай, бичо, первый тост за нашу любимую Грузию, чтоб жила и процветала...

После тоста за Грузию пили за родителей, за детей; за друзей, которые с нами, и за друзей, что от нас далеко; за любовь к женщине и за мужскую дружбу; за соседей, которые в трудную минуту придут на помощь...

Тостов и спиртного хватило на полных два дня. Бондо свою «угрозу» выполнил: никто не покинул помещение гостиницы, пока не опустели все ящики. В понедельник я на смену не вышел, а то бригадир Калмыков дал бы мне хорошего пинка под зад. Бондо уехал от нас вечером в воскресенье, его ждала служба, о которой он предпочел не распространяться, да и какое нам дело, что за «банду» он там у себя во Фрунзе возглавляет...

CHEVROLET В ПОДАРОК ОТ БЕЗРАБОТНОГО ПАПЫ

На стройке проходили производственную практику студенты-иностранцы технических вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Омска. Будущие геодезисты, проектировщики, гидроэнергетики, выходцы из стран Азии, Африки, Латинской Америки, они жили в гостиницах Кара-Куля по полгода и дольше, постепенно осваиваясь, как у себя дома, а кое-кто даже комфортней, чем там. Скромней, скудней прочих была жизнь у студентов из Вьетнама: денег на гостиницу они не имели, селились кучно в рабочем общежитии. Вьетнамцев, в отличие от веселых мачо-кубинцев или сынков богатых сирийцев, невозможно было встретить в местном ресторане или даже в дешевой столовой, еду они готовили себе сами, супчики варили из концентратов, кашку перловую; чайную заварку не меняли по три дня, освежая кипятком. Во время практики им платили не очень большие деньги, но и эти малые суммы они старались на себя не тратить, отправляли семьям во Вьетнам, где местный банк их рубли переводил в донги.

В соседнем с моим номере гостиницы жил Мохаммед, студент из Сомали. «Токтогулка» ему давала материал для дипломной работы, которую он готовился защищать в своей альма-матер, Московском инженерно-строительном институте. По-русски сомалиец говорил прилично, хотя и с сильным акцентом, но это лишь добавляло мне удовольствия от бесед с ним.

Стоим на улице у входа в гостиницу. Мохаммед провожает взглядом проезжающий мимо горбатый «запорожец»:

— Эта машина — Volkswagen, да?

— Ну нет, — блеснул я знанием марки автомобиля, — это наш «запорожец».

— А-а! У нас в Сомали похожие бывают, Volkswagen, их покупают всякие бедняки, студенти, у кого деньги мало.

— У тебя, — интересуюсь, — дома есть машина?

— Да, есть. Дорогая. Chevrolet. Папа мне купил, подарок на день рождения.

— А где твой папа работает?

— Нигде не работает. Дома сидит. Мама тоже дома сидит.

— Безработные родители имеют деньги на дорогую машину?

— Папа имеет овци, кози, барани, берблюди. Наверно, десять тысяч штук.

— Но за ними же присмотр, уход нужен! А ты — не работают...

— Там есть специальние люди, они ухаживают, папа им деньги платит...

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

Владимир Смирнов

Вызревание будущего

Модель Нового Просвещения

Сесть за стол и самостоятельно выдумать жизнеспособное мировоззрение вряд ли кому удастся. Я, слава богу, и не пытался. Оно открылось мне на пути изучения истории мировой культуры. Наверное, я долго шел в удачно выбранном направлении...

Загадка триады

Каждому даже не особо прилежному школьнику известно, что в истории европейской культуры прослеживаются три основных этапа, три эпохи: языческая, представленная древним греко-римским миром; христианская, более известная нам под именем Средневековья, и эпоха Нового и Новейшего времени, географически заехавшая еще и в Северную Америку, а хронологически охватившая и лично нас с вами.

По себе знаю, что в этом месте может возникнуть вопрос: а почему начало европейской культуры закреплено за древними греками? Цифрами мы пользуемся в основном арабского, даже древнеиндийского происхождения. Язык у каждого народа свой, как был, так и остается. Да и язычество у каждого свое. За что, с какой стати греко-римскому миру присвоена честь истоков европейской культуры?

Да, разумеется, и Эллада не на пустом месте родилась. Ее духовное содержание созревало благодаря многим влияниям, прямым и косвенным, отчасти известным, но чаще смутным и донным. Всякое явление, когда начинаешь докапываться до его истоков, оказывается уходящим в глубины, недоступные нашему роющему инструменту. Но факт то, что эллинская культура, переработав в себе всевозможные элементы влияний, встает перед нами из лазури Средиземноморья как совершенно самостоятельный одухотворенный организм, удивительно близкий даже и сегодняшнему европейскому сознанию. Древо древней греко-римской культуры, проросшее сквозь тысячелетия, цветет и плодоносит до сих пор. Клятва Гиппократа, римское право, законы Архимеда, математика Эвклида — всё это не столько достояние истории, сколько живые действующие величины. Вся европейская философия училась в академии Платона и доныне пользуется понятийным аппаратом Аристотеля. В художественных школах наши дети овладевают рисунком, глядя на греко-римские образцы. Древнегреческие мифы, эпические полотна Гомера, подобно Библии, неподвластны времени, и на каждом новом этапе европейской истории являются

Смирнов Владимир Петрович — прозаик, публицист. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

источником вдохновения, тем оселком, по выражению Герцена, на котором человечество пробует силу своего возраста. А что касается языка, «хлеба культуры», то филологи хорошо знают, да и каждый интересующийся языком видит — сколько греко-римской муки замешено в славянских, немецких, английских хлебах, не говоря уже о романских. И уж коли «хлеб — всему голова», то и спорить о первородстве не приходится.

Там же, в Древней Греции, была установлена структура идеального мира. Подчеркиваю: не в Библии, не в христианстве она впервые раскрыта и названа, а именно мыслящие эллины впервые распознали в идеальном мире три равноценных, равновеликих царства: Истины, Добра и Красоты. И с тех пор зачатая теми же греками философия училась и до сих пор учится отделять истинное от ошибочного, прекрасное от безобразного, доброе от злого, то есть пытается до тонкостей, до самого донышка определить существо истины, добра и красоты. Это основные, координатные проблемы религии и философии, составляющие душу европейской культуры: они подобно трехосной системе пространственных координат охватывают всю ее ойкумену. Каждое развитое философское построение, претендующее на полноту, не обойдет вниманием ни этику, ни эстетику, ни гносеологию, а они как раз и есть «добро», «красота» и «истина» (вернее, представления философа о них), прикрытые учеными мантиями. Три основные работы Иммануила Канта, например, так прямо и расположены по координатным осям культуры. «Критика чистого разума» посвящена нашим возможностям в деле прояснения истины, «Критика практического разума» трактует вопросы этики, а «Критика способности суждения» излагает учение о красоте и целесообразности. Русский философ Владимир Соловьёв мог бы стать еще более ярким иллюстратором координатной системы культуры, потому что после большой теоретической работы «Оправдание добра» готовил «Оправдание истины» и задумывал «Оправдание красоты». Он же работал над «Философскими началами цельного знания», где, пожалуй, впервые в мире сам смысл координации культуры стал главным объектом рассмотрения. Работа, к сожалению, не получила ни должной критики, ни должного продолжения. К сожалению, потому что если нам и откроется смысл человеческой истории, то не через историю войн или отдельных государств и династий, не через историю политики или права, и тем более не через материальную историю, а через историю чередования духовных культур, историю человеческих представлений об истине, добре и красоте. Чтобы познать человека, надо вызнать историю его души. И разве не то же самое нужно сделать, чтобы познать человечество?

Ну, а теперь вернемся к основному вопросу. Если взглянуть на историю европейской культуры в свете нашей триады, то мы увидим, что каждая из трех основных эпох в пору своего расцвета ярко своеобразна по отношению к истине, добру и красоте.

Для языческой Эллады ведущей культурной осью была Красота, гармония. Вся природа казалась эллину построенной по закону красоты. И верховной красотой виделся ему космос, который так и переводится с древнегреческого: «красота, порядок, гармония». Эту космическую гармонию греки стремились распространить и на государственное устройство, и на каждого гражданина Эллады. Отсюда всепроникающее развитие искусств: музыки, театра, скульптуры, риторики, поэзии. Отсюда культ прекрасного тела и непомерное значение Олимпиад, чье расписание стало даже основой летоисчисления.

Но дело не только и не столько в необычайном разливе искусств, сколько в том, что под власть красоты подпали и добро, и истина. Ими не пренебрегали, нет. *Прекрасные* поступки и *прекрасная* истина тоже входили в объем идеала, но понимались эстетически. Истину и добро искали на путях красоты.

Основная нравственная норма эллина — «ничего сверх меры» — есть по сути эстетическая, а не этическая норма. Она представляет добродетельную жизнь как искусство отыскания «золотой середины», которая, по утверждению Аристотеля, находится между двумя пороками: избытком и недостатком. Быть добродетельным — значит искусно лавировать между скупостью и мотовством, между безрассудной отвагой и трусостью, между распущенностью и бесчувственностью и т.д. Для определения должного поведения применяется принцип гармонизации двух противоположностей, принцип эстетический.

Столь же явственная печать «красоты» лежит и на языческой «истине». Понятие «эксперимент», введенное Аристотелем, хотя и означало наблюдение за вещами, за их свойствами в изменяющихся условиях, однако в древнем мире еще не было важнейшей основы для научного эксперимента. Мир еще представлялся древнему греку насквозь живым и цельным, а человек в нем — не более чем участником великого театрального действия. Язычнику греко-римской древности чуждо было понятие о человеке-естествоиспытателе. Эллин не чувствовал себя вправе испытывать, «пытать» природу. Любоваться, подглядывать — да. Но не расчленять для анализа. Органы чувств и воображение — вот те эстетические по своим возможностям инструменты, с которыми эллин приникал к природе, познавал ее. Эта бедность инструментария вовсе не мешала древним быть внимательными наблюдателями и искусными мастерами. Мы до сих пор наслаждаемся видом древнегреческих статуй, портиков и амфор, пользуемся римскими дорогами и акведуками, но что касается умозрительных построений, скажем, облика Вселенной, то мы разве что улыбнемся прекрасному космосу пифагорейцев, где движение небесных тел представляется танцем светил вокруг мирового огня под музыку сфер.

Такая зацикленность языческой культуры на красоте, смещение всего многообразия духовного содержания человека и общества в сторону эстетической оси координат, позволяет нам (вслед за Алексеем Федоровичем Лосевым, крупнейшим исследователем греко-римской древности) определить ее характер как эстетический.

Но переместившись во времени на тысячу лет и оказавшись в культурном пространстве «темных веков», мы увидим, что тронного положения «красоты» нет и в помине. Трон не пустует, однако. Он занят «добром» — благодатью, благоговением и прочими производными от добра. Именно «добро», «благо» становится ведущей, притягивающей осью культуры. Именно добро, по христианским понятиям, приближает человека к Богу, способствует спасению души и правильному земному жизнеустройству.

Центром культурной жизни вместо театров, стадионов и бань, вместо языческих капищ, где среди немыслимого многобожия Римской империи давно уже витало безразличие к божеству, становится христианская Церковь. Бренный человек идет туда на свидание со Спасителем, чтобы поклониться Ему, возблагодарить Его, вечного и сверхблагого, за дарованную жизнь, покаяться в допущенных грехах и очистить, возобновить свои силы для одоления земной юдоли в надежде на небесное воздаяние. В Средние века мы встречаем непредставимую ранее армаду паломников, годами пробирающихся в Палестину, в этот центр средневекового мира, чтобы побывать в точке возникновения абсолютного Добра, припасть к основным святыням христианства. В Средневековье мы видим огромную армию профессиональных служителей Блага: монашество, отшельничество, духовно-рыцарские ордена, не говоря уже о церковном клире — толкователях Божьей воли.

В обстановке воцарения принципа «добра» по-новому стали относиться к «истине» и «красоте». Конечно, их не отвергли, нет, их никогда не отвергали. Новый Завет — главная книга христианства — говорит о красоте, истине, любви не меньше чем о благе. Но суть в том, что все эти величины в средневековом представлении стали тяготеть к этической оси координат, к «добру». Угодной христианскому сердцу становится не вообще красота, а красота в качестве «благолепия», то есть соединенная с добром, действующая для добра под его руководством. Теперь считается, что красота обретает истинно высокое значение только на службе Богу. Талантливейшие художественные силы обращены к церкви, они религиозны. Искусство глубоко проникнуто христианскими мотивами.

Столь же служебное положение по отношению к «добру» обретает «истина». «Не тот мудр, кто много грамоте умеет; тот мудр, кто много добра творит», — гласят русские азбуки христианской эпохи. Считается, что человеческий разум слаб и греховен по сравнению с Божественным, а потому и не вправе ставить под сомнение Истину, раз и навсегда данную Священным Писанием. Считается, что людскому разуму доступна лишь борьба с заблуждениями на пути к Истине Божественного откровения, то есть рассудку Средневековья отводится роль пособника веры — подобно тому, как во времена просвещенного язычества он выступал в роли пособника чувств, своеобразного локатора, помогающего избегать крайностей и вырабатывать

разумное чувство меры. В средневековом же человеке не мера, а вера стала характернейшей чертой. Охваченность верой и волей к осуществлению «добра» — вот господствующая доблесть Средневековья.

Лучшие умы становятся комментаторами Священного Писания — родника Божественного блага. Естествоиспытательские дарования находят себе место в алхимии, но даже и на ней виден яркий отпечаток «добротолюбия». Даже минералы, химические элементы, вовлеченные в химическую реакцию, делятся на «добрых» и «злых» в зависимости от их поведения в процессе соединения. Печать абсолютного «блага» поставлена и на исторических хрониках той поры: во главе любой из них помещены далекие евангельские события, призванные быть мерилом, своеобразной совестью дальнейшего повествования. А географические карты того времени, пренебрегая масштабами, помещают поближе к центру обязательную землю Господню, дабы она, будучи действительным центром христианского сердца, осеняла своим благим присутствием земли прочие, басурманские.

Этический масштаб жизни становится, таким образом, руководящим, преобладающим масштабом Средневековья, и эту эпоху поистине можно назвать эпохой «добра». Не из-за мягкости тогдашних нравов, разумеется. Средние века были едва ли добрее языческих. Но подобно тому, как эпоха развитого язычества была признана нами эстетической из-за вездесущности эстетической меры, так и развитая эпоха Средневековья из-за главенствования этической меры должна быть признана этической.

Но вот, перешагнув еще через тысячу лет, мы оказываемся уже в близком нам по духу Новом времени и вновь обнаруживаем смену культурообразующих ориентиров. Если христианский богослов Тертуллиан убежденно писал: «После Христа мы не нуждаемся в любознательности, после Евангелия мы не имеем нужды в исследованиях», то в устах человека Нового и Новейшего времени подобные фразы непредставимы. «Мыслю — значит, существую», — вот кредо француза Декарта, идеолога и глашатая новой, рационалистической эпохи. «Знание — сила», — вторит ему англичанин Фрэнсис Бэкон, обоснователь эмпирического метода познания, идеолог эксперимента. По словам известного культуролога Юрия Каграманова, после бесплодного надрыва религиозных войн, надолго скомпрометировавших религию, лучшие умы ищут спасения в науке. От фанатических страстей уходят в мир чистых истин математики и механической физики. Здесь нет обмана, нет произвола; здесь истина одна для всех. И разум, открывший новые миры умопостигаемых и все же реальных объектов, не только находит в их прохладном воздухе временное успокоение своей тоски по абсолютному, но и приходит к убеждению, что абсолютный ключ к тайнам бытия уже находится в пределах видимости.

Весь мир и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их материальных субстратов. Главной жизнестроительной осью становится «истина». Мир предстает перед человеком как объект, который можно и нужно разобрать на части, на элементы, и путем научного опыта изучить устройство природы, чтобы затем поставить ее на службу человеку. Общество XIX века уже до дна проникнуто уверенностью в конечной познаваемости мира: не сегодня, так завтра найдется инструмент, отыщется способ, и тайна обязательно падет перед пытливостью разума.

Именно таким отношением к миру был вызван европейский расцвет экспериментальной науки и связанный с ним напор технической мысли, приведший в свою очередь ко всё нарастающему промышленному подъему, к машинному прогрессу, который нынче в своем усовершенствованном электронном варианте победно шествует по планете, подводя общий знаменатель не только под европейское и американское сообщества, но и под своеобразнейшие культурные конгломераты Востока.

Соответственно меняется в Новое время и отношение к «красоте». Ее теперь рассматривают со стороны «истины», прикладывая к ней меру «истины», понятой как научный метод. С одной стороны, накапливается огромная масса искусствоведческой литературы, стремящейся «поверить гармонию алгеброй», рационализировать тайну творчества. Появляется специальная наука — эстетика, занимающаяся вычленением, определением «прекрасного». С другой стороны, множество экспериментов ставят

сами художники: поэты, живописцы, музыканты, скульпторы, режиссеры... В какой артистический цех ни загляни — всюду поиск, опыты, новации. Это боги Нового времени, вызванные к жизни исследовательской страстью рационализма.

Сходное положение мы видим и в области «добра». С одной стороны, появляется новая и новейшая этика как теоретическая дисциплина, подвергающая философскому, лингвистическому, логическому анализу этические понятия и высказывания мыслителей прошлого. С другой стороны, образуются всевозможные течения психологии: науки регистрирующей, объясняющей человеческое поведение, а теперь уже и влияющей на него через массовую популярную литературу и внушительную когорту психологов-практиков. «Добро» в Новое время перестает быть строго нормативным, перестает быть голосом божественного авторитета, обязывающего человека поступать так и не иначе. Оно становится наукообразной информацией о причинах и следствиях в психической жизни личности и коллектива. «Добро» теперь апеллирует к «истине», опираясь на знания, добытые рационалистическим методом, как и все прочие «легитимные» знания нашей эпохи, духовное состояние которой следует поэтому признать рационалистическим.

Итак, три слоя, три формы бытия европейской культуры: языческая, ярко окрашенная «красотой»; христианская, зацикленная на «добре», и рационалистическая, замешенная (чуть не сказал «помешанная») на «истине». Какова природа такого чередования культур? Или, иначе говоря, есть ли смысл во всей этой истории?

Вопрос это *н а и в а ж н е й ш и й.*

Отгадка триады

На основе всестороннего изучения древних мифов современные ученые составили портрет типичного мифологического сознания, которое хотя и менялось, развивалось по мере приближения к возникновению письменности, но не выходило из ниже очерченных пределов. Это свойственная раннему детству неспособность провести различие между естественным и сверхъестественным, глухота к противоречию, неразработанность абстрактных понятий, чувственно-конкретный характер мышления, метафоричность, эмоциональность. Австралийские, бразильские и прочие аборигены, жившие в отрыве от цивилизации, сохранили этот психологический облик вплоть до XX века.

Но положим руку на сердце: если бы мы с вами попытались составить психологический портрет дошкольника, нам пришлось бы привлечь те же самые или очень похожие характеристики. Эта схожесть детской психики с так называемой «дикарской» подмечена давно, о ней упоминают походя, как о чем-то само собой разумеющемся, но давайте все-таки уточним, откуда берется эта похожесть. Почему взрослый человек давнего доисторического прошлого или абориген недавнего не выходил из рамок младенческой психики? Ведь он был не глупее нас с вами. Случись у нас сейчас возможность взять на воспитание ребенка из неолита — только совсем маленького ребенка, не старше двух лет, пока у него еще не сформировались высшие психические функции, — он ничуть не отстал бы от своих школьных и университетских сверстников.

Подобный эксперимент был проведен в позапрошлом веке. Французский этнограф Ж.Виллар привез в Париж найденную им в джунглях двухлетнюю девочку из парагвайского племени гуакили, ведущего крайне примитивный образ жизни. Ученый поселил найденыша в семье своей матери, где девочка получила воспитание и через двадцать лет стала крупным этнографом, владеющим тремя языками. Европейское воспитание отсекло маленькую индеанку от неолитического существования, и она буквально перелетела из мифологического каменного века в рационалистический девятнадцатый.

Но в том-то и дело, что ни тридцать, ни двадцать тысяч лет тому назад этнографы по земле не бродили. Эпоха была каменной всюду и для всех: для детей и для взрослых. Ребенок мезолита или неолита обрекался на «каменновековое» воспитание, то есть на

консервацию своего чувственно-образного отношения к миру. Мифы и связанные с ними обряды были альфой и омегой духовной пищи. Их соответственно и почитали: в мифе видели не сказку, не выдумку, а самую высокую реальность. В мифе рисовался образ прародителей племени, из мифа слышался их наставительный повелительный голос, передаваемый из поколения в поколение. Этим голосом нельзя было пренебречь — забыть или ослушаться, — иначе, по представлениям доисторических людей, племя распадется и погибнет, словно человек, потерявший душу. В формах мифа и ритуала выступала коллективная душа племени, и первобытный ребенок сызмала впитывал в себя это племенное мироощущение, рос в нем, набирался бытовых, трудовых навыков, и вот уже проходил через обряд совершеннолетия, и воспитывал уже своих детей, но при внешней взрослости оставался ребенком по типу духовной культуры, сохранял в себе «архетип младенца», по терминологии Юнга, то есть такое состояние сознания, когда мышление и воля еще не выделены, не освоены человеком как что-то, лично ему принадлежащее. Доисторический человек даже и в умудренной старости своей не мог утверждать, что он думает сам, своим интеллектуальным усилием. Он считал, что «в нем думается», что мысли приходят к нему извне, и воля в нем возникает помимо его собственной воли. При таком состоянии психики мир воображения, мифический мир первопредков оказывается для человека значимее реального мира: душа самоуправна и может отрицать очевидную действительность ради своего равновесия.

Сходное состояние психики мы можем наблюдать и в наших маленьких детях, пока они еще очарованы миром сказок, пока не окунулись с головой в холодную купель рационализма. В детях же каменного века ничто и никто не разрушал первоначальных мифологических представлений. Наоборот, они наслаивались друг на друга, надстраивались и в конце концов увенчивались культовыми и космогоническими мифами, составляющими священное сокровище племени. И в этой, надо сказать, довольно уютной и прочной колыбели протекала вся психическая жизнь человека каменного века от рождения до смерти. Он не имел права, да и желания выбраться из племенного мифа подобно тому, как наш трех-пятилетний малыш не волен, да и не желает выходить из-под опеки любящих и любимых родителей. Куда ему идти? Он и в восемь, и в десять никуда не захочет уйти, если его не вытолкнет порченая семейная обстановка.

Но мы намеренно ограничим возраст ребенка, сопоставимый с первобытным психическим состоянием человеческого рода, четырьмя, пятью годами. Это именно доисторический период жизни: как индивида, так и рода, когда и тот, и другой еще не умеют ни читать, ни писать; когда ни тот, ни другой еще не могут связно рассказать историю своей жизни; когда и тому, и другому в качестве регулятора поведения еще достаточно родительского табу. Ведь не станем же мы объяснять младенцу, почему нельзя высовываться из окна: он все равно еще не понимает, что такое «убиться насмерть». Не высовывайся и всё, иначе будешь наказан. Такой же запретительной мерой было и повсеместно распространенное в первобытном обществе табу священных и проклятых предметов. Их следовало избегать, потому что они табу. Не прикасайся, и всё. Иначе — кара.

Кстати говоря, прочитав «Золотую ветвь» Д. Фрэзера, я впервые узнал, насколько сильно влияли табу на людей, которые в них по-настоящему верили.

«Одному мальчику-туземцу было в качестве табу запрещено есть бананы и прикасаться к сосудам, в которых они находились. Однажды его товарищи сообщили ему, что он ел рыбу из черепка, в котором находились остатки бананов. И что же? Спустя несколько часов мальчик умер в тяжких мучениях».

Конечно, общество такого типа было крайне консервативным, оно всеми силами старалось сохранить завещанный предками порядок вещей, и жизненный уклад не менялся, почти не менялся целыми тысячелетиями. Но все-таки человек есть существо рисковое, искательное, да и мир ведет себя творчески, испытующе по отношению к человеку: парадоксальным образом даже само человеческое стремление сохранить существующий порядок приводит к зыбкости и опрокидыванию этого порядка. Ведь люди, к примеру, не собирались сводить мамонтов с лица земли — они, наоборот, старались сберечь свой традиционный охотничий образ жизни, а оказались

перед необходимостью искать новый объект питания. И т.д., и т.п. Земля круглая, она лишь кажется беспредельной, и наша недальновидная прямолинейность поведения в конечном счете всегда приводит к появлению новой реальности, требующей небывалого подхода для приспособления к жизни, то есть нашего изменения, изменения нашей духовной культуры.

Надо думать, в такой парадоксальной форме и развивалось первобытное общество на пути к просвещенному язычеству, европейский расцвет которого мы видим в облике древней Эллады. Это тоже детство («прекрасное детство человечества», как вслед за Гегелем выразился Карл Маркс, добавив, что древние греки были нормальными детьми, как будто другие древние были ненормальные), но уже его послемладенческая пора. Впервые в истории европейское человечество открывает для себя школу (как понятие и как учреждение). Мифы еще почитаются и заучиваются, занимая порядочную часть сознания, но уже не имеют прежней безраздельной священной силы: уже Гомер относится к мифам эстетически, как к предмету любования. Мы вступили в эпоху «красоты», в мир подавляющей эстетики. Иначе и быть не могло, потому что, овладев письмом, обнаружив способность к философии, древние греки хотя бы и самого выдающегося ума всё еще оставались укорененными в обостренной чувствительности и чувственности «природного человека» — в древнейшей способности, унаследованной эллинами непосредственно от своих первобытных предков. А что доступнее всего зрению, слуху, чувствительности вообще? Истина? Добро? Да нет же. Конечно, красота, потому что она действует непосредственно на чувства. Красота тела, ландшафтов, звуков, величественная красота звездного неба зачаровывают язычника. Его сознание, руководимое чувствами, ищет в красоте решение не только эстетических задач, но и этических, и задач познания.

Какая школа была учреждена в классической Элладе? Преобладали физические упражнения и так называемые мусические дисциплины. Кроме школы грамматиста, где учили чтению, письму и счету, все мальчики посещали школу педотриба (гимнастическую) и столь же обязательную школу кифариста, где заучивали литературу (мифы, героические сказания), пели, декламировали, играли на музыкальных инструментах. Обязательным было и посещение городских торжеств, праздников и спортивных состязаний.

Что давала подобная школа? По разумению древних, она давала гармоническое всестороннее образование, а на самом-то деле отдавала предпочтение воспитанию тела и чувств, то есть воспроизводила генеральный древнегреческий менталитет.

Но перешагивая в Средневековье и уже понимая, что это шаг взросления культуры человечества, спросим себя: а насколько широк этот шаг? Приводит ли он к взрослости? Ведет, надо полагать, но еще не приводит, не может привести. Не может ребенок, едва прошедший начальную школу, на следующем шагу получить аттестат зрелости.

Прислушаемся к свидетельствам голландского историка и философа Йохана Хёйзинги, признанного специалиста по ментальности Средневековья.

«Когда мир был на пять веков моложе, все жизненные происшествия облекались в формы, очерченные куда более резко, чем в наше время. Страдание и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо; человеческие переживания сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которой и поныне воспринимает горе и радость душа ребенка. Всякое действие, всякий поступок следовал разработанному и выразительному ритуалу, возвышаясь до прочного и неизменного стиля жизни... Состояния и сословия, звания и профессии различались одеждой. Знатные господа передвигались, не иначе как блистая великолепием оружия и нарядов, всем на страх и на зависть. Влюбленные носили цвета своей дамы, члены братства — свою эмблему, сторонники влиятельной персоны — соответствующие знаки и отличия... Чувство справедливости всё еще на три четверти оставалось языческим. Там, где мы нерешительно отмериваем смягченные наказания, лишь наполовину признавая вину подсудимого, средневековое правосудие знает только две крайности: полную меру жестокого наказания — и милосердие.

Словно исполин с детской головой, народ бросается от удушающих адских страхов — к младенческим радостям; от дикой жестокости — к слезливому умилению.

Жизнь его полна крайностей: безусловное отречение от всех мирских радостей — и безумная тяга к наживе и наслаждениям; мрачная ненависть — и смешливость и добродушие».

Не правда ли, с картины, нарисованной Хёйзингой, смотрит на нас психическая физиономия подростка. Легко узнаваемы ее основные черты: неуравновешенность, обостренное чувство справедливости, понимаемой примитивно, желание покрасоваться, выделиться принадлежностью к какой-нибудь привилегированной группе, приверженность обетам и клятвам, всегдашняя готовность «выяснить отношения», «стыкнуться» по малейшему поводу, а то и без повода, лишь бы лишний раз увериться в своих правах и силах, утвердиться, возвыситься в глазах сверстников и в своих собственных. Всё это — повседневное мирочувствование наших пяти-шестиклассников, их настоящая текущая жизнь, которая без труда подчас затмевает и перевешивает официальную школьную (обыкновенно рутинную) и семейную долю их жизни. В средневековом же обществе (по крайней мере, в его классической фазе) и взрослая жизнь протекала в рамках подросткового менталитета. Все эти рыцарские и рыцарско-монашеские ордена, благородные, обыкновенно бескровные сшибки во имя прекрасной дамы; судебные поединки, которые, конечно же, искомой истины не выясняли, ибо побеждал не обязательно самый правый, а скорее самый сильный и ловкий; все эти крестовые походы ради освобождения символов и наказания «неверных» хотя и совершались на полном серьезе, но, по сути, были взрослыми вариантами подростковых разборок, борьбой за справедливость как ее тогда понимали. Результат нередко был далек от подлинной справедливости, но сама идея справедливости обычно торжествовала, за нее ложились костьми, потому что она считалась безусловным добром, а «добро» было непререкаемым принципом и ценностью средневекового существования.

Согласно с ним были устроены и школы — родники общества. Школа теперь, как правило, располагалась под сводами церкви или за стенами монастыря и воспитывала не иначе как в духе христианской религии. Молитвы, церковное пение, счет, латинская грамота (единственная грамота богослужения) — вот и все школьное просвещение Средневековья. Детям дворян, правда, давали повышенное образование, где имели место так называемые «семь свободных искусств» (отголосок античности), но и они приобрели богословскую закваску. Школа открыто объявляла себя «служанкой богословия», «питомником послушания». Типичный человек Средневековья смиренно считал себя работником Господа, вечным отроком Господним. Слово «отрок» по древнерусски так и значило: «слуга, работник». «Жить — Богу служить», — гласила заглавная пословица наших православных предков...

Переступая далее из «подростковой» эры Средневековья в Европу Нового и Новейшего времени, мы уже можем заранее предположить, с каким возрастом человеческой психики соотносится общество XVIII и XIX веков, мировидение «энциклопедистов», эпоха Просвещения и Романтизма, победное движение паровых машин и двигателей внутреннего сгорания. Вне сомнения, мы встречаем раннюю самоуверенную юность — возраст честолюбивых помыслов и стремлений, время утверждения своей личности, индивидуальности, возраст бросков самовыражения, попыток объяснить необъяснимое, объять необъятное. Эта эпоха еще не совсем завершилась, мы сами во многом ее порождение, и нам нелегко пока согласиться, что наше ощущение всесильности научно-технического потенциала сродни эйфории молодого человека, вызванной буйным ростом юношеского организма. Однако это та же самая перекличка между взрослением индивидуума и рода человеческого. Как отдельная личность чувствует свое могущество под напором юных сил, так и род людской при виде успехов молодой экспансивной науки и техники чувствует свою всепобеждающую мощь и заявляет о ней теорией бесконечного прогресса.

Под влиянием новой идеологии, сориентированной на «истину», снова категорически изменилась школа. Под влиянием энциклопедистов, деятелей Просвещения ее отделяют от церкви, потому что для идеологов рационалистической эпохи богом становится Наука, а у нее своя молельня — лаборатория. Под гармоническим всесторонним образованием, в соответствии с эпохой, теперь понимают образование энциклопедическое. Такая педагогическая установка быстро превратила

школу в подобие лектория, где воспитание — как этическое, так и эстетическое — сводится к едва слышной малости, отдается на откуп родителям, а учительство уже в самых младших классах обращается не к чувству ребенка, а сразу к рассудку, хотя этот овощ в первокласснике, едва вышедшем из младенчества, еще зелен, неупотребим. Школа этого типа неплохо решала вмененные ей задачи, пока в придачу к школе работало не совсем еще разрушенное домашнее воспитание, пока в самой школе преподавали люди, истово верящие в силу науки, а советские педагоги верили вдобавок и в построение коммунизма. Но бурями XX века веру эту развеяло. В нынешней школе по решающему преимуществу работают усталые узкие «предметники» и практически исчезает «Учитель с большой буквы», как мы его теперь ностальгически называем, который был для ребенка примером, учил не только математике или языку, но и самой жизни. А без такого Учителя ребенок неизбежно теряет сердечный интерес к школе и, если не бросает ее, то доучивается ради аттестата.

На рубеже третьего тысячелетия мировоззренческий кризис ощущается и на Западе, и на Востоке (там, впрочем, он проявляется по-другому). Сама эпоха рационалистически понятой «истины» оказалась в глубоком кризисе, начавшемся уже давно, в конце XIX века. Постепенно обанкротилась научная вера или суеверие, которое ждало от науки ответа на все проклятые вопросы жизни. Оказалось, что чем дальше развивается наука, тем более она удаляется от той «истины», которая нужна человеку. В решении пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. Ученый, как и последний невежда, беспомощно останавливается перед насущными вечными вопросами: в чем смысл жизни? Как жить? Что добро и что зло? Учреждают какой-нибудь очередной «Институт человека» с целью собрать воедино знания о человеческой сущности — и тут же разбегаются по разным лабораториям. Даже философия, «душа культуры», растеклась по частным интересам.

Член Французской Академии Жан Дютур в книге «Огни Просвещения погасли» пишет, что нынче культурная элита проваливается в массу, как в трясину. И что человечество в целом не только не стало зрелым, о чем мечтали просветители XVIII века, но, скорее, впадает в детство: «Нынешнее человечество, впервые за время своего существования, интересуется только телом, удобствами, благополучием, мощью или скоростью материальных предметов. Инфантильное человечество начала III тысячелетия демонстрирует недостатки и пороки, свойственные детям: легковерие, аморальность, малодушие, невежественность, склонность к насилию, дух стадности».

И Жан Дютур далеко не одинок в своих наблюдениях. Сейчас все чаще слышишь, что обыватель, «разочаровавшийся» в христианстве, а чаще всего просто мало что о нем знающий, «заново околдован». Он не верит больше в Христа, но готов поверить во что угодно. Если он еще ценит «духовность» (слово, которое теперь предпочитают «религиозности»), то ищет ее на рынке, соблазняющем богатством выбора. Свойственно это и российскому рынку так называемой духовности. Здесь можно найти набор старых языческих божеств, многочисленные руководства по различным восточным и архаическим верам. Подлинным же хозяином положения на рынке является оккультизм, то есть всякого рода эзотерика, псевдонаучные и паранормальные верования.

Пора сделать некоторые выводы. Думаю, и вы теперь согласитесь с тем, что перекличка между психическим взрослением ребенка и чередованием основных форм духовной культуры западноевропейского человеческого общества свидетельствует о *естественности* исторического процесса. Подобно тому как юность не может наступить ранее отрочества, а оно не может осуществиться прежде младенчества и раннего детства, так и эпохе рационалистической «истины» не дано опередить эпохи религиозного «добра» и языческой «красоты». Человек и человечество, конечно, величины не одного порядка, но порядок для их взросления — один. Мы видим перед собой культурное взросление, медленное, изобилующее драмами и трагедиями, самовоспитание западноевропейского человечества.

В разное время и в самых далеких друг от друга источниках находил я подтверждение своим мыслям.

В грандиозной гегелевской картине саморазвития абсолютного духа зафиксирован

тот же порядок становления культуры: от искусства — через религию — к науке. То есть, выражаясь символически, от Красоты — через Добро — к Истине.

В «Дневнике» Льва Николаевича Толстого — запись от 24 июля 1889 года: «В древности у греков был один идеал красоты. Христианство же, выставив идею добра, сдвинуло этот идеал и сделало из него условие добра. Истина? Я чувствую, что в сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим вся история эстетики, но как это? Не могу обдумать».

Эта толстовская запись, помню, подхлестнула меня и поднаправила в поисках: в чтении, в раздумьях. И оказалось, что в смене идеалов красоты, добра и истины заключена не только история эстетики, но и человеческой культуры вообще: как западной, так и восточной. Достаточно прочитать хотя бы несколько статей выдающегося востоковеда Николая Иосифовича Конрада, чтобы убедиться: древнейшие восточные культурные общества прошли тот же путь: от просвещенного язычества к догматичному Средневековью и далее, через Ренессанс, к утверждению индивидуалистических ценностей рационализма.

Разумеется, Восток — не Запад: китайский или индийский менталитет коренным образом отличается от европейского. Духовная культура Востока более консервативна. Она всегда старалась сохранить себя неизменной, и сами ее изменения обычно происходили в форме «возвращения к истокам», под флагом восстановления древней мудрости в первозданной чистоте. Но на каждом витке «возвращения» древняя мудрость прочитывалась по-новому, в соответствии с культурным возрастом читающих. Вычленялись и акцентировались те элементы восточной мудрости, которые оказывались наиболее близки «возвращенцам», и старая песня в новой инструментовке получала смысловые оттенки, требуемые возросшей культурой. При всем своеобразии Востока, при всем разнообразии внутри Востока порядок взросления духовной культуры и там равнялся западному, хотя и не равнялся на него. В ряде случаев Восток даже оказывался впереди Запада. Явления, подобные итальянскому Возрождению XIV—XV веков, в Китае обозначились уже в VIII веке, а в IX появились в Средней Азии, Иране и Северо-Западной Индии, так что «нормальность детей» восточного типа должна быть вне подозрений.

Конечно, у каждого народа, даже и внутри одной культурной общности, свой характер: каждый народ чувствует и думает по-своему, и развивается не вровень, не одновременно с другими. Есть народы, чье язычество не успевало достичь философствующего самосознания; таковы и наши славянские народы, не знавшие письменно осмысленного языческого многобожия. Но само-то язычество, само раннее детство духовной культуры как всеобъемлющее влияние чувственности было у всех народов, в этом можно не сомневаться. И преобладающее влияние мировых религий, то есть отрочество культуры, тоже без преувеличения объяло весь земной шар. И рационализм, в свою очередь, стал теперь более или менее всеобщим достоянием, нависнув над людьми такими проблемами, перед пугающим лицом которых человечество — не только европейское, а и мировое — впервые в своей жизни начинает осознавать себя единым существом, уязвимым и даже смертным. Запад и Восток, Юг и Север — все языки, все народы вынуждены будут отныне прислушиваться не только к заветам своих языческих предков и позднейшим религиозным постулатам, но и к сегодняшним реалиям глобального звучания, ставшим поистине гласом Божьим, призывающим к новой жизни, к новому общечеловеческому мировоззрению, основанному не на различии, а на сходстве судеб; не на страхе и ненависти, а на понимании, эмпатии и любви...

Мне представляется следующий путь развития жизни и человека. Приблизительный, конечно, но сквозной, непрерывный.

Жизнь на Земле — явление не случайное, а отсюда, надо думать, и не единичное во Вселенной. Становясь планетой (как именно — судить не берусь, да это и неважно для наших рассуждений) и попадая в условия, близкие к земным, то есть благоприятные для биологической жизни, космическая материя начинает или, вернее, продолжает эволюционировать в сторону возникновения этой жизни, потому что материя (от латинского «матер», мать) не мертва изначально и всегда готова к эволюции. Здесь нам следует согласиться с Тейяром де Шарденом, а еще раньше с принципом Реди: «живое

не может родиться от неживого». Биологическая жизнь не есть что-то аномальное. Она — результат естественного движения от простого к сложному: от элементарных частиц к гармоническому ряду тел, «следующих по нотам атомной гаммы», и далее от простых ко все более сложным молекулам, к аминокислотам, углеводам и макромолекулам, чье взаимодействие приводит к образованию простейших клеточных форм жизни, а там и к проявлению сознания, и к появлению человека. Причем сознание тоже не аномалия природы: оно довольно поздно обнаруживается на шкале эволюции, но это не значит, что его не было и нет на ранних стадиях процесса. Сознание участвует в эволюции всегда. Пусть в распыленном, разжиженном, «предсознательном» состоянии, но оно присутствует в любой космической частице, сколь бы элементарной она ни была. Это универсальное правило: «какой-либо феномен, точно установленный в одном месте, в силу фундаментального единства мира необходимо имеет повсеместные корни и всеобщее значение». Сознание эволюционирует вместе с материей. Усложнение неорганических, а затем органических и биологических форм идет рука об руку с усложнением психическим. Они взаимозависимы, это две ипостаси одного и того же явления — жизни, в какой бы форме она ни существовала. «Материалисты» были правы, сознание действительно определяется бытием, но «идеалисты» были правы не менее, потому что и бытие в свою очередь определяется сознанием. Вопрос о верховенстве, о первородстве бессмыслен уже из-за того, что бытие и сознание неразлучны на любом срезе универсума. И не могут существовать друг без друга.

С появлением Homo sapiens характер эволюции существенно меняется. Она становится историей «человека разумного», историей человеческой культуры во всем ее объеме. Развитие сознания продолжается, но уже не путем усложнения биологических форм жизни, а путем взаимоотношений между человеческим сознанием и бытием, то есть всем тем, что доступно сознанию, что вовлечено в его сферу. Эмбриональная фаза эволюции, таким образом, переходит сначала в фазу младенчества, выраженную родовым первобытно-общинным строем жизни и мифологическим синкретическим сознанием, еще не осознающим себя, не думающим о себе. А затем, на примере наиболее близкого нам по духу европейского, уже думающего, рассуждающего о себе сознания, мы видим три ярко обозначенные стадии дальнейшей эволюции. Они соответствуют трем основным способностям человеческого сознания: чувствовать, верить и рассуждать.

На стадии языческого «детства» развитие сознания в его взаимоотношениях с бытием еще диктуется чувством, чувствами. На стадии христианского «отрочества» сознанием руководит вера (уже не чувства, но еще и не рассудок). А мыслящий рассудок возымел руководящую силу на стадии рационалистической «юности».

На заре третьего тысячелетия от Рождества Христова история духовной культуры дает нам понять: все три односторонних упования — сначала на «красоту», потом на «добро» и, наконец, на «истину» — упования, обусловленные взрослением сознания, естественны были именно для возрастания, самовоспитания человеческого общества. И все они поодиночке исчерпали свой руководящий потенциал единоличных вождей человечества. Сегодня мы находимся в ситуации крушения очередного — и, заметим, последнего члена триады в качестве ведущей оси системы координат в качестве всеобъемлющего идеала культуры. Не случайно на разных академических перекрестках Запада заговорили о необходимости Второго Просвещения, которое придало бы европейской цивилизации новый импульс — подобно тому, как это сделало классическое Просвещение в XVIII веке. Правда, сколько-нибудь значимо определенной сути искомого Просвещения с названных перекрестков пока не просматривается. А ведь сама история, сама логика культурного взросления подвела нас к решению вопроса. Она дает нам понять, что догматизированный идеал, понятый по-детски прямолинейно и безраздельно, начиная осуществляться, вскоре обнаруживает свою недостаточность, а потом и вовсе оборачивается своей ужасной противоположностью.

Так, красота древнегреческого зрелища обернулась кровавыми расправами над людьми в римском аплодирующем Колизее.

Так и христианское «добро» всепрощения обернулось беспощадными

религиозными войнами и кострами инквизиции, зажженными конечно же ради «добра», ради спасения душ заблудших.

Современный поэт Владимир Микушевич подвел под всей этой историей афористическую черту:

Истина без добра и красоты — ложь.
Добро без истины и красоты — зло.
Красота без истины и добра — безобразие.

Практический вывод из вышесказанного таков: для гармонического развития жизни нужен гармонически развитый человек.

Это не сегодняшний вывод. К гармонии люди стремились всегда, восхищались ею, встречая в окружающем мире, и в любую эпоху пытались гармонично, всесторонне воспитать человека. Но понимали гармонию в соответствии с возрастом культуры. Язычники, как мы уже заметили, строили гармоническую личность под водительством «красоты», христиане всецело доверились «добру», а рационалисты — «истине». И каждая из осей в конце концов не выдерживала руководящей тяжести, приводила людей к необходимости категорически менять ориентацию культуры, опираться на новую координатную ось.

Свободных осей больше нет. Но, видит бог, это и к лучшему. Наши метания с оси на ось прекращаются. Детство культуры, как и положено законом взросления, завершается юностью. Заканчивается путь ощупывания координатных осей, освоение приосевых районов. Дальше предстоит осваивать основное межосевое пространство взрослости, воспитывать гармонически развитую личность, опираясь уже не на одну ось, и даже не на две, как это было испробовано на исходе Средневековья, когда европейское человечество ощутило недостаточность односторонней ориентации на религиозное «добро» и попыталось слить его с языческой «красотой», соединить этический и эстетический подходы к миру, обобщить христианские и древние греко-римские богатства. Тогда эта попытка, могущая, конечно, осуществиться только в интеллигентных научно-художественных кругах, дала, тем не менее, множественные, порою великолепные плоды, названные впоследствии Возрождением. Но в XV—XVI веках еще оставалась неосвоенной ось «истины», направление рационализма, и поэтому самих деятелей Возрождения засасывающе влекло на третий путь, ради которого они, как незабвенный Джордано Бруно, могли взойти и на костер.

Теперь положение иное. На закате эпохи безудержного рационализма, наблюдая разрушительную недостаточность его рассудочной «истины», мы понимаем, должны понять необходимость сведения воедино уже всех трех исторически обусловленных упований, всю триаду, причем на совершенно равноправных условиях. Сама история, сама логика культурного взросления подвела нас к новому пониманию гармоничности человеческого развития.

Нынешний Ренессанс, новое Просвещение видится как равноценное воспитание в ребенке, а отсюда и в обществе, всех трех его духовных способностей: эстетических, этических и рационально-познавательных.

История культуры подсказывает нам и порядок, и даже некоторым образом содержание Второго Просвещения. Эстетическим по преимуществу должно стать начальное образование, этическая доминанта обязательна в «подростковых» классах, а рационалистическая отводится старшеклассникам.

Что значит для личности такая гармонизация?

Вспомним слова чеховского доктора Астрова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Ведь из этого идеала светит все та же древнегреческая триада. Внешность составляет «красоту», «прекрасная душа» как сочувствующий и нравственно-волевой центр определенно относится к «добру», а «прекрасные мысли» тяготеют к «истине». Он умный, добрый и красивый, скажут нам про такого человека, и мы готовы авансом симпатизировать ему, несмотря на отсутствие подробностей. Такой человек определенно заслуживает нашей любви.

Простота вывода, помню, в первый момент ошеломила меня. Истина, Добро и Красота, слитые воедино, образуют Любовь. Осуществленная в человеке триада

становится любовью. И дело не столько в том, что гармонически развитый человек притягивает к себе благоволение, становится объектом любовного отношения окружающих. Это меньшая часть результата. В конце концов, для меня не столь уж важно — влюблен ли в меня мир. Для счастья несравнимо важнее самому испытывать влюбленность, быть субъектом любви.

Альбер Камю, лауреат Нобелевской премии по литературе, однажды заметил: «Не быть любимым — это всего лишь неудача; не любить — вот несчастье». А Конфуций еще задолго до Камю высказался так: «Счастье — это когда тебя понимают; большое счастье — это когда тебя любят; настоящее счастье — это когда любишь ты».

И действительно, любовь к миру придает неисчерпаемый смысл нашему существованию. Вот уж она-то по-настоящему судьбоносна, поскольку и вправду проносит нашу частную судьбу, нашу душу неповрежденной через все превратности жизни. И, видит Бог, объемное трехмерное воспитание тем и прекрасно, тем и незаменимо, что, делая человека привлекательным для других, одновременно взращивает любовь в нем самом. Эстетически развивающийся человек проникает в красоту мира, начинает видеть и слышать его символику: звуковую, цветовую, ландшафтную, перекликающуюся с многоуровневой символикой живописи, архитектуры, музыки, поэзии — безмерной сокровищницы, создаваемой тысячелетиями. Развивающийся ум восхищается, не может не восхититься удивительной сложностью, взаимосвязанностью и взаимообусловленностью жизни, но непременно будет и озабочен ее ранимостью, хрупкостью, зависимостью от человека. Вот это набухание смыслов, восхищение, любование и прозрение наряду с растущей озабоченностью, с этической направленностью и выращивают в человеческой душе неувядающий, всё разрастающийся сад, который я не могу назвать иначе как любовью. Красота, добро и истина в форме эстетического, этического и познавательного взросления личности, соединившись, слившись в ней, становятся любовью — первым, важнейшим основанием и содержанием человеческого счастья.

Подзабытый нынче Антон Семенович Макаренко совершенно справедливо отметил: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». Человеком ведь не столько рождаются, сколько становятся. Воспитывая в ребенке стремление к истине, добру и красоте, мы, если перейти на язык христианства, закладываем в детей божественное начало, организуем человека как подобие Божие. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Так сказал апостол Иоанн в своем послании, и это сказано навсегда. Бог живет в любящем, а не в возлюбленном.

А почему Бог есть любовь? — спросим мы себя теперь, после того, что я тут наговорил. Да как раз потому, что в нем слились все три идеальных царства: Истина, Добро и Красота, имеющие общее идеальное основание.

История культуры созрела для взрослости человечества, вплотную подвела людей к вратам взрослости. И если мы сумеем их открыть и войти туда — человечество не только спасется, но и преуспеет. А будем медлить — ворота вполне могут и заржаветь. Ведь как устроена жизнь? Мы ждем, когда к нам придет хорошее, желаемое будущее, а оно ждет, когда же придем к нему мы.

Георгий Кубатьян

Одна из двух ипостасей

Армянская тема в поэзии Бориса Слуцкого

1

Первым долгом оговорю подзаголовок статьи.

Подзаголовок этот условен донельзя, потому что в огромном поэтическом наследии Бориса Слуцкого, составляющем, судя по всему, несколько тысяч стихотворений[1], армянам и Армении посвящено меньше десятка. Конечно, следует иметь в виду до конца не разобранный архив поэта; какие-то находки вовсе не исключены. Не случайно же четыре «армянских» стихотворения душеприказчик Слуцкого Юрий Болдырев обнаружил именно в архиве. Но ситуация в общих чертах очевидна. То, что мы назвали здесь армянской темой, лишено как единого замысла, так и какой-либо целостности. Перед нами разрозненные вещи, находящиеся на обочине творчества поэта. Даже не вещи, но вещицы, коль скоро не вкладывать в слово пренебрежительного смысла. Да, присовокупив к этим оригинальным его стихам немалое количество переводов с армянского (из Геворга Эмина, Сильвы Капутикян, Ашота Граши, Маро Маркарян и др.), а к ним и прозаические страницы, посвященные Геворгу Эмину и Маро Маркарян, мы получим небольшую книжку. Но что ж из этого? Так или иначе, перед нами, скажем образно, боковая веточка раскидистого дерева, дающая о дереве самое приблизительное, далекое от полноты представление. Больше того. Стихи, о которых пойдет речь, отнюдь не принадлежат к высшим образцам поэзии Бориса Слуцкого. Но ведь известно, что пристрастие к творчеству большого художника заставляет с интересом отнестись и к его рядовым, средним произведениям. Ибо *средние* не значит *посредственные*.

Теперь остается лишь убедить читателя, что перед нами большой поэт. Я делать этого не стану. В последние два десятилетия в среде стихотворцев и критиков установилось на этот счет устойчивое мнение, причем его в большей ли, в меньшей ли степени разделяют едва ли не во всех лагерях и поколениях. Ограничусь пунктирной линией, ведущей от Арсения Тарковского, Александра Межирова и, допустим, Юлии Друниной к Евгению Евтушенко, Иосифу Бродскому и только что помянутому Олегу Чухонцеву — и далее к Михаилу Синельникову, Владимиру Бондаренко и Олегу Хлебникову. Даже вполне случайный подбор имен указывает на бесспорное согласие:

---

[1] Вот эпизод из воспоминаний Олега Чухонцева: «“Сколько у вас ненапечатанных стихов?” — спросил он меня однажды, в начале семидесятых. “Не знаю, — замялся я с ответом, — не считал”. “У меня полторы тыщи”. Я тогда подумал, что он имеет в виду полторы тысячи строк. А когда его не стало и хлынул поток публикаций — и каких! — до меня дошло...» // Чухонцев О. В сторону Слуцкого // «Знамя», 2012, № 1 // http://magazines.russ.ru/znamia/2012/1/ch10.html

Слуцкий — крупный, чрезвычайно крупный автор, и даже невыдающиеся его вещи достойны заинтересованного и внимательного прочтения.

Засим и перейдем к армянским стихам поэта.

Что да, то да, поначалу они кажутся довольно-таки проходными. Но странно — медленно перелистывая поэтическое наследие Слуцкого, нельзя не обратить на них внимание. В этом поистине необозримом наследии вдруг обнаруживаешь их уникальность. В самом прямом смысле: армянским стихам в творчестве Слуцкого попросту нет аналога. Возьмите любую его книгу, присмотритесь к извлеченным из архива, не публиковавшимся при жизни стихам; в них отсутствуют инонациональные мотивы. Поэт прошел во время войны несколько стран, в иных, к примеру, в Югославии, надолго задерживался, затем объездил едва ли не все республики Советского Союза, бывал и, как нынче говорят, в дальнем зарубежье. Словом, увидел немало, набрался впечатлений. И, боюсь ошибиться, но, кажется, ни разу ни о чем из увиденного не написал. Нет у него стихов, обычных у других поэтов-путешественников или поэтов-гостей. Вы встретите, конечно, у него иностранные географические названия, равно как упоминания мирового значения памятников (собор св.Петра), представителей чужеземных рас и наций — «Немка», «Судьба Монако», «Негритёнок», варшавянки, «Берёзка в Освенциме», «День Победы в Альпах», — но за ними встают сугубо индивидуальная жизнь или даже рок, историческая коллизия, философское обобщение. Короче, за названиями кроется что угодно, только не национальный характер, не взгляд на страну либо народ, отличные от иных народов и стран. Это во-первых. А во-вторых, эти упоминания почти всегда единичны. Редко-редко вслед за «Казахами под Можайском» появится строка «Ко мне на койку сел сержант-казах», а помимо стихотворения «Бухарест», где румынская столица — только место действия, мелькнет строка «Белый снег валит над Бухарестом», чтобы тотчас увести читателя в сторону от конкретного города, страны, нравов. И на таком вот фоне — Армения, с ее пейзажем, ее памятниками, ее художниками, с одним ее забавным на сторонний взгляд обычаем. И мало того — за разрозненными чертами и приметами сама собой вырастает историческая судьба народа.

В литературной практике Бориса Слуцкого перед нами феномен, в котором надо бы разобраться. Поскольку беспричинно таких явлений не случается.

Причин обычно бывает целый ряд. Но мы назовем одну. Лежит она на поверхности, сам автор ее и сформулировал. Правда, формулировки как таковой не найти, та произносится вроде бы вскользь, убрана в причастный оборот. И тем не менее, здесь объяснено главное. Почему вопреки своему обыкновению Слуцкий пристально вглядывается в Армению, когда никакая другая страна, кроме России, не смогла заинтересовать его настолько, чтобы написать о ней стихи? Почему обращается к армянам — именно народу, не конкретному собеседнику? Да вот же почему:

Я, сызмальства,
с Харькова,
с детства
узнавший
армянский порядок, рассудок и чин...

*Слуцкий не часто прибегает к разбивке строк, а «маяковская» лесенка — редчайшая в его стихах гостья. Здесь же поэту нужно, чтобы каждое слово было выделено, подчеркнуто, прозвучало с ударением. Отчего так? Оттого, что речь о детстве. Все, что усваивается в детстве, помнится человеку всю жизнь. А Слуцкий провел детство и школьные годы в Харькове, где в ту пору (как, впрочем, и ныне) было много армян. К сожалению, деталей, обстоятельств, имен я назвать не могу, но два процитированных стиха дают ясное представление, что будущий поэт имел в близком окружении армян, и не одного, скорее всего, был вхож в армянскую семью либо семьи. Ведь если б он общался в школе даже с тремя-четырьмя сверстниками, этого мало, чтоб утверждать: я, мол, знаю армян настолько, что их «порядок, рассудок и чин» — открытая книга для меня. Ведь речь идет о знании характера, семейных, а может, и общинных отношений, обычаев. Ибо первейшее значение слова*чин*, уже устаревшее, — это «установленный, принятый порядок*

совершения чего-либо, обряд». У Блока, вспомните: «За верность старинному чину!» Приятельствуя с однокашником или соседом своего возраста, такого не усвоишь. А Слуцкий человек обстоятельный, вдумчивый, эрудит, уж если он утверждал: я знаю, стало быть, отбросьте сомнения, на самом деле знает.

Армянские свои стихи Слуцкий начинает с места в карьер. Он сразу с головой погружается в новую страну, контрастную всему, к чему привычен. Это подтверждается, во-первых, образной системой, во-вторых, узловатым, едва ли не корявым стихом, в-третьих, интонацией.

Словно волна окатывает —
так и меня окидывает
от пят и до темени
горящим пламенем
взгляда.
Это — Армения.

Первые впечатления захлестывают героя волной. Сама по себе метафора новизной не блещет. Однако волна внезапно сравнивается с пламенем, которому полагается от соприкосновения с ней погаснуть. Оксюморон? А здесь обоим элементам сравнения только добавляется силы: волна вырастает, пламя разгорается. К тому же волна накрывает, окатывает не с головы до пят (устоявшийся речевой оборот), а с пят до темени, не позволяя стиху войти в накатанную колею. Волна — как пламя, не просто пламя, что было бы ни с чем не сообразно, — пламя взгляда. Плюс ко всему пламя горящее. Горящее пламя взгляда. В сущности, два привычных эпитета — горящий взгляд и пламенный взгляд — соединились. Отдельно взятые, они равноценны и малозаметны. Но здесь удвоенный эпитет удвоил воздействие в силу своей непривычности, которая продиктована вдобавок амбажеманом — переносом части фразы на следующую строку. То есть интонация, словно бы спотыкающаяся, ломаная, что не дает ослабить внимание; такие стихи не могут убаюкать, как убаюкивают иные гладкие вирши. Той же цели служит и рифмовка. Вернее, вместо рифмы в первой строфе стихотворения две пары весьма приблизительных диссонансов: окатывает—окидывает, темени—пламенем. Строфа представляет собой пятистишие, где последний стих, везде разбитый на два полустишия, не зарифмован, остается холостым.

И вопрос: кто окидывает героя пламенем взгляда? В первой строфе ответа нет. Его нет и во второй строфе. Но здесь улавливается намек, пусть и не твердый.

Высшая мера людских дел,
с добром и злом рядом
видимый невооруженным взглядом
Арарат. Он небо задел
своими снегами.
Это — Армения.

Намек, о котором сказано выше, — взгляд. Слово повторено вроде бы без особой нужды; может быть, это стилистический промах, помарка? Но точно так же может быть, что нас призывают присмотреться. Во второй строфе герой озирает снизу громадную гору. В первой же строфе чей-то взгляд окатывает героя, как волной. Окатить можно только сверху. Вероятнее всего подобный волне и разом охватывающий человека взгляд этой громадной горе как раз и принадлежит. Повторенное слово призвано воспроизвести зеркальное действие. Хозяин, чью роль исполняет Арарат, оглядывает испытующе гостя, тот отвечает ему встречным узнаванием. Ибо, не в пример хозяину, гость отменно знает, с кем имеет дело. Перед ним та самая библейская гора — «высшая мера людских дел», определяющая, где зло, где добро.

Композиционно стихотворение по-настоящему крепко сколочено, замысел развивается четко, последовательно. Если в первой строфе сказано, что лирического героя кто-то рассматривает, то во второй проясняется, кто именно. Если во второй строфе Арарат назван «высшей мерой людских дел», то в третьей эти дела наглядно показаны:

Скала. Она совсем гола.
Ни землинки на розовом камне.
Но мужик погорбоносей орла
тянет собственными руками
лозу из скалы.
Это — Армения.

Оторвавшись от удаленной великой горы, глаза замирают на том, что перед ними, — на скале. Следует исчерпывающая, максимально краткая ее характеристика: «Она совсем гола». Далее, чтоб упрочить, поэт характеристику дублирует и слегка расширяет: «Ни землинки на розовом камне». При этом используются не какие-то в таких случаях уместные слова (ни горстки земли, ни комочка, ни тоненького слоя), но выразительный и на редкость естественный неологизм. Обратите также внимание, как внедряется мысль о гористости, каменистости страны — гора, скала, камень, в следующей строфе возникнет горный обвал. Эти детали пейзажа ни в малой степени не выпирают, они не подчеркиваются, не выпячиваются, но мысль исподволь обретает плоть и наглядность. Мужик — земледелец, виноградарь — не возделывает землю, которой ничтожно мало, но буквально руками вытягивает лозу из скалы.

В начальной строфе — сила первого впечатления, во второй — главная примета ландшафта, в третьей — тяжкий труд, без которого здесь не выжить. И все три строфы завершаются поэтом одинаково: это (то, и другое, и прочее) — Армения. Набросав энергичными, крупными, броскими штрихами портрет страны, поэт выводит ударную концовку:

Я был. Я видел. Я слышал речь.
Ни с чем не схожий клёкот, рокот.
Я слышал горных обвалов топот.
И я всегда буду беречь
на дне души
эту Армению.

В первой строке финальной строфы сформулирована неизменная стратегия Слуцкого. Когда бы, как и о чем ни писал, его принципиальный ориентир — достоверность. Понятно, что поэзия без вымысла, без игры фантазии, как и художественная литература в целом, — абсурд. И все-таки вымышленная ситуация должна восприниматься совершенно достоверной. И поэт без экивоков и метафор, отрывисто, напрямик уведомляет об исполнении трех обязательных условий: я самолично был там, я сам все видел и слышал. Информация достоверна, звучит из первых уст. И в том, что виденное и слышанное запало поэту в душу, можно не сомневаться.

Повторимся, в первый и единственный раз знакомство со страной произвело на Слуцкого творческий эффект. Именно творческий — в том смысле, что впечатления побудили зафиксировать их и переданы стихами. Лишь оценив это в полной мере, закончим разговор о том, как искусно выполнено стихотворение. Ни одна деталь не повисает в воздухе, непременно находит опору. Мужика сравнили в третьей строфе с орлом? Тогда понятно, почему — в четвертой строфе — речь этого мужика и его соплеменников схожа не с чем-нибудь, а с клекотом. И еще. Стихотворение написано от первого лица. Но лирический герой, появившись в самом начале, в срединных строфах исчезает, все, что в них сказано, сказалось как бы само собой, без участия повествователя. В финале же герой возвращается в текст и говорит «я». Личное местоимение первого лица единственного числа повторено пять раз. И получается, что стихотворение закольцовано, собрано воедино наподобие четверостишия с охватной рифмой. Картины посреди лирического повествования никем не нарисованы, объективны. Зато начало его и концовка звучат от первого лица. Признание в любви, каковое выражено в заключительных строках, окрашено в индивидуальные тона и сугубо субъективно.

2

Стихотворение «Это — Армения» помечено 1964 годом. Обстоятельство кажется маловажным, однако заслуживает упоминания. Слуцкий практически никогда не датировал своих стихов. Должно быть, считал это бессмысленным, никому не интересным делом и тем самым усложнил работу своих исследователей и биографов. К примеру, мы не знаем и только предполагаем, когда написаны стихи, связанные с армянскими темами.

В нашем распоряжении лишь одна надежная дата — 1964 год. Известно, что тогда Слуцкий посетил Армению. Все прочее лично для меня terra incognita. Была ли у этого посещения конкретная цель? Был это частный визит или командировка, связанная, скажем, с переводческой деятельностью? Приехал поэт один или в составе «писательского десанта»? Сколько времени провел в Армении? Был он в Армении единственный раз или приезжал еще (если приезжал, то когда)? Вероятно, на эти вопросы можно найти ответы (хотя минуло свыше полувека), но не мимоходом. А сейчас ограничимся тем немногим, чем располагаем.

Поскольку разобранное выше стихотворение датировано, несомненно, что написано оно по свежим следам приезда. Остальные стихи не внушают уверенности. Возьмем для примера «Холсты Акопа Коджояна». Кажется, это единственная армянская вещь Слуцкого, напечатанная сперва в периодике (журнал «Юность», 1965, № 2) и только затем в очередном сборнике поэта («Современные истории», М.: «Молодая гвардия», 1969). Судя по первой публикации, оно также написано после приезда в Армению, где поэт, большой любитель живописи, наверняка побывал в картинной галерее; дом-музей А.Коджояна открылся только в 1973-м. С другой стороны, любитель живописи мог обратить внимание на талантливого художника и раньше...

Помимо стихов, посвященных Коджояну, Слуцкому принадлежит также миниатюра «Картины Галенца», появившаяся в его книге «Продленный полдень» (М.: «Советский писатель», 1975). Примечательная деталь. Все вместе армянские стихи стоят у Слуцкого особняком — хотя бы чисто тематически. Про стихи же, связанные с именами Коджояна и Галенца, такого не скажешь. И вот почему. Мы уже заметили вскользь, что Слуцкий был искренним почитателем изобразительного искусства. Призыв Николая Заболоцкого «Любите живопись, поэты» к нему не относился, живопись он любил издавна, без стороннего к тому побуждения. В его стихах упоминаются многие художники: Борисов-Мусатов, Петров-Водкин, Юон, Древин, Малевич. Стихи о мастерах живописи складываются у него в своеобразный цикл. Этот цикл не выделен, не обособлен (у Слуцкого вообще крайне мало циклов). И тем не менее, в «Продленном полдне» такого рода стихи поставлены рядом, один за другим, и, скажем, миниатюра о Галенце стоит между посвящениями Павлу Кузнецову и Фальку. Словом, стихи, в заголовках которых означены Коджоян и Галенц, без сучка и задоринки встраиваются в этот отчасти виртуальный цикл.

И снова поражаешься. Слуцкий отзывался стихами только на творчество русских художников, исключений из этого правила наперечет. Даже в Италии, мировом центре искусств, он выразил изумление, потрясение, вызванное картинами Боттичелли, но и только. Других имен, если не ошибаюсь, не прозвучало. Так вот, помимо русских мастеров, Слуцкий отметил двух армян, и, кажется, никого кроме. Причем отметил не мимоходом, а посвятил каждому целое стихотворение.

Любопытно при этом, что в зачине стихов, обращенных к Акопу Коджояну, значится другая армянская фамилия.

Сарьян — в хрестоматии нашего глаза.
Он ясен для младшего школьного класса
и прост, словно воздух, которым дышу.
И больше я про него не пишу.
Сарьян — это выигранное сражение.

Почему Сарьян? Потому что последние полвека он олицетворяет армянское искусство. Скажешь за границами страны «армянская живопись», услышишь в ответ «А, Сарьян». Стихи лукавы. Это сегодня Сарьян классик, ясный чуть ли не первоклашке, а в начале минувшего века на выставках, где молодой армянин экспонировался бок о бок с теми самыми Петровым-Водкиным и Кузнецовым, газеты наперебой изощрялись: непонятно! мазня! (Кстати, в «школьном классе» как раз и зашифровано непроизнесенное: классик, то есть образцовый, всеми признанный представитель той или иной сферы творчества.) Прост, словно воздух? А воздух не так уж и прост по составу. Выигранное сражение? Значит, надо было сражаться, доказывая свое право и свою правоту. Выиграл, доказал, и нет смысла писать об этом, ибо

...слово — искусственное орошение
пустынь и полупустынь — песков.
Поэтому я приглашу Коджояна:
восстань из могилы!
Ты умер так рано!
Полотна развесь!
Покажись нам, Акоп!

Слово в изобразительном искусстве — критика, мнение публики — призвано прорастить семена и стимулировать жизнь там, где та едва теплится. То есть оросить пустыню. Метафора Слуцкого с виду несложна, но требует истолкования. Акоп Коджоян, известный и признанный в Армении художник, редко выставлялся за ее пределами, знали его неважно. Вот откуда странные призывы поэта, который очарован искусством мастера: хотя бы после смерти приди со своими холстами к широкой публике, покажи, чего стоишь.

Был ли Слуцкий знаком с художником? С одной стороны, крайне маловероятно. С другой — всякое случается. Все-таки обращение по имени к незнакомцу, живому ли, отошедшему ли в лучший мир, удивляет. Обращение запанибрата к Пушкину коробит даже у Есенина, воскликнувшего: «О Александр! Ты был повеса, как я сегодня хулиган». И потом этот горестный выдох: как же рано тебя не стало! Между тем Коджоян прожил 76 лет; не мафусаиловы, конечно, годы, но и не безвременная смерть во цвете молодости. Так оплакивают очень близкого, по-настоящему родного человека... Далее поэт излагает свое восприятие картин, которые он только что призвал выставить на всеобщее обозрение. Нет сомнений, он прекрасно представляет себе не просто творчество армянского мастера, но и его живописную манеру, его способность одушевить флору и фауну.

Пусть медленные заведут разговоры
тобою нагроможденные горы.
Пускай нам окажут почёт и доверье
тобою взращенные легкие звери.
Пусть птицы твои защебечут над нами,
обсудят, осудят мой каждый изъян
и с нами поделятся птичьими снами.
Какими — ты знаешь, Акоп Коджоян!
И ежели ныне не встретишь оленя
и лани, исполненной сладостной лени,
в горах и долинах армянской земли —
они на холсты Коджояна ушли.

А ведь и правда, горы на полотнах Коджояна частенько громоздятся друг на дружку, звери ничуть не страшны, но и не легковесны, сказано точно — легки, на картине «Олени. Весна» названные животные преисполнены ленивой грации. Во всем такое безусловное знание повадок и норова любой живой твари, что такому знатоку наверняка ведомо, что снится птахе на ветке.

Вслед за только что приведенным пассажем идут процитированные ранее строки, мол, герой с детства узнал армян, их обычаи и характер, а посему настаивает

...чтобы на выставках наших
просторные стенки Акоп получил.
О милый цветок каменистой земли,
роскошествуй! Душу мою весели.

По поводу таких стихов не скажешь: автор по достоинству оценил армянского живописца; здесь очевидно — поэт влюбился в его творчество. (В скобках отмечу, как аукается «каменистая земля» с участком, где виноградарь руками тянет из скалы лозу.)

«Картины Галенца» спокойнее по тону. Кстати, вопрос о личном знакомстве поэта с художником здесь уже не возникает; это сугубо частная деталь биографии, несущественная для стихов, их усвоения. Хотя легко с высокой вероятностью предположить, что Слуцкий побывал в мастерской Арутюна Галенца. Холст этого живописца висел у Ильи Эренбурга дома; писатель вполне мог рассказать Слуцкому, с его слабостью к авангарду в живописи, как молодого репатрианта в конце сталинских еще 40-х изгнали за формализм из Союза художников. А в начале 60-х Эренбург написал о Галенце маленькую статью, скорее даже заметку; ту напечатал в переводе на армянский журнал «Советакан арвест» («Советское искусство»). Надо думать, имя московского мэтра должно было послужить охранной грамотой недавно на каждом углу порицавшемуся Галенцу. Кстати сказать, и послужило — вплоть до своей внезапной безвременной смерти живописец уже не сталкивался с уничижительным обращением. Как бы то ни было, стихи недвусмысленно говорят о месте действия; поэт рассматривал картины не в Ереване, а в Москве.

Проломы в московских стенах,
в которых светится солнце
какого-то южного цвета, —
и не толкуйте о ценах:
кто знает цену на солнце,
на солнце в часы рассвета?

Понятно, что проломы в стенах — иллюзия, производимая в чопорном выставочном зале слепящими красками галенцевских картин. Яростными настолько, что не разобраться с цветовой гаммой. Все равно что поднять глаза на рассветное солнце, сетчатка пока еще выдерживает, а какой же цвет — оранжевый? желтый? пунцовый? Ясно, что преобладающий колорит у полотен — южный, прочее второстепенно. Касательно национальной принадлежности художника, то на нее никаких указаний, только фамилия в заглавии стихотворения, даже без имени. Должно быть, имеется в виду, что после персональной выставки Галенца, состоявшейся в столице Союза в 1972 году, всякого рода сноски — кто таков, откуда — ни к чему. Выше сказано, что стихи спокойнее по тону, чем эмоциональные «коджояновские». Да, здесь и вправду преобладает описательность. Однако только в самом начале. Дальше приведена реплика в диалоге с незримым собеседником. Тот интересуется, сколько примерно стоят картины. В ответе слышатся раздраженные нотки: как оценить солнце, да еще «в часы рассвета», в какую сумму? Поэт избегает определенности. Здесь ему помогают окончания строк — от первой до последней только женские клаузулы с их непригодностью к жестким утверждениям. Неопределенность, уход от однозначной четкости передается также и схемой рифмовки — АБВАБВ, — ускользающей неприметной перекличкой концевых созвучий. Поначалу, по ходу чтения кажется, что стихи вовсе не зарифмованы. Впечатление обманчивое, но знаменательное. Во второй строфе миниатюры рифма лишь одна, рифмующиеся строки далеко разведены, три строки — холостые. Вместо шестистишия — пятистишье, будто бы речь оборвана на полуслове.

Цитаты горячего юга,
повешенные на обоях
и на сухой извёстке,
и огненная вьюга,
бушующая среди снежной.

Время действия — зима, вот откуда контраст южных красок и заведомо нейтральных обоев, известки.

Датировать стихотворение с первого взгляда представляется нетрудно. Книга Слуцкого, в которой оно напечатано, вышла в 1975-м, а сдана в набор осенью 74-го. Московская выставка Галенца состоялась двумя годами ранее, даты легко состыковать. И получится, что стихи написаны после посещения выставки, по свежим ее следам. Если бы не каверзное «но». При обилии стихов перед Слуцким неизменно возникала задача, какие включить в очередную книжку, какие отложить до лучших времен. Так что стихотворение могло быть написано когда угодно, скажем, по возвращении из Армении либо прямо в Ереване.

3

То же самое относится к «Двум стихотворениям». Автор объединил под общим заглавием самостоятельные тексты — вариации на заданную тему, по-разному ее развивающие. Перед нами то, что называется прямым откликом, в нашем случае откликом на явление. Слуцкий увидел в Армении памятник национальному алфавиту, который поразил его. Причем отнюдь не выдающимися художественными достоинствами, но самим фактом своего существования. Касательно же достоинств — есть они либо нет, поэт о них умалчивает, искусство как таковое здесь его не занимает, даже не уходит на второй план, а снимается с рассмотрения. Хотя можно было бы порассуждать: если произведение возымело такое действие на зрителя, значит, оно по меньшей мере небесталанно. Правда, пожелай мы, комментируя стихи, опереться на конкретику, стали бы в тупик. Ибо трудно сказать, какой именно памятник имеется в виду. Широко известный сегодня комплекс обособленных скульптурных изображений тридцати шести Месроповых букв на склонах Арагаца близ села Арташаван воздвигнут в 2005 году (проект архитектора Дж.Торосяна). Видимо, речь идет о памятнике Месропу Маштоцу работы Григора Чубара перед входом в Матенадаран. Правой рукой создатель алфавита показывает ученику на поставленную чуть в стороне стелу с высеченными на ней по порядку буквами. Поскольку стела с алфавитом стоит как бы сама по себе, наособицу, она воспринимается как отдельный памятник. И мысль, очевидная, но никому не приходившая в голову, что вечной памяти достоин не только человек, но и творение его рук, — эта мысль поразила поэта.

Первое из двух стихотворений начинается с важной фиксации:

> На склонах диких и отвесных,
> на каменном краю земли
> армяне сохранились в песнях
> и — рукописи сберегли.

Понятно, что слово *песни* здесь употреблено в чуть архаическом значении — поэзия, вообще словесное творчество, литература. Армяне не просто сохранились, они сохранились в песнях, в книгах и манускриптах и — это не сказано, но витает в подсознании — благодаря песням, в частности алфавиту. Недаром у Ованеса Шираза есть стихотворение, где утверждается: армяне не выстояли бы, не будь у них письмен Маштоца; в финале тридцать шесть букв названы тридцатью шестью богами, стоящими на страже народа. Кстати, последняя из процитированных строк подтверждает догадку, что Слуцкому дал импульс именно памятник перед Матенадараном — Институтом древних рукописей, тех самых, которые народ уберег во множестве, видя в них свое достояние, подчас и святыню. С культурой связана и подспудная перекличка с Мандельштамом. Армения в восприятии этого поэта лежит «на окраине мира» — на границе европейской (и — шире — иудеохристианской) цивилизации. У Слуцкого сказано вроде бы куда более привычно — на краю земли. Край земли, край света вообще-то значит — очень далеко, но в контексте стихов (словесность, алфавит, рукописи) обретает специфическое культурно-историческое наполнение.

Далее следует ключевая строфа. Не упустите из виду грамматику — прошедшее время первой строфы сменяется настоящим, вдобавок слово *армяне* трансформируется из третьего лица во второе, переходит в ранг обращения.

Армяне! Вы царей не славите,
кадите книге или лире.
Я видел памятник алфавиту
единственный, быть может, в мире.

Собственно, комментировать здесь нечего, все сказано напрямую, без метафор, разве что глагол *кадить* употреблен в переносном значении — восхвалять. Однако в сугубо литературной речи режет слух ошибочное ударение в существительном *алфавит* — не на третьем, а на втором слоге. Конечно, можно сказать, что перед нами поэтическая вольность, иными словами, традиционно предоставляемое стихотворцам право для вящей художественной выразительности либо в интересах размера, ритма пренебречь нормами литературного языка. Но скорее мы имеем дело с намеренным употреблением малограмотной формы. Для чего? Чтобы выделить слово, подчеркнуть явление, факт, обратить на него внимание. Тем более что поэт, естественно, знает, как надлежит ставить ударение, что и продемонстрирует ниже. Шутка ли, никому и нигде не приходила мысль водрузить монумент изобретению, сыгравшему колоссальную для человечества роль, а вот армяне... Кто, как не писатель, обязан был оценить это. Писатель Слуцкий мало сказать оценил, он восхитился:

На камне были буквы вырублены,
еще не ставшие словами.
Армяне! Ваши души выражены
в той надписи старинной — вами.

О какой надписи толкуют стихи? Должно быть, о первом изречении, запечатленном армянскими письменами. По преданию, завершив свой труд, Месроп Маштоц начертал по-армянски два стиха (второй и третий) из первой главы ветхозаветных Притчей Соломоновых (ибо он был одним из первых переводчиков Священного Писания на армянский язык): «...познать мудрость и наставление, понять изречения разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». Эта надпись и высечена, помимо расположенных по порядку букв, на стеле Г.Чубара. Выражает ли она душу собирательного, так сказать, армянина? Довольно каверзный вопрос. Возможно, мысль выражена не вполне точно (что, заметим, редко у Слуцкого встречается, формулировать он умел) и следовало бы вести речь о духе, не о душах...

Зачин второго из «Двух стихотворений» — по-другому выраженные мотивы, знакомые по первой части этого миниатюрного цикла:

Цари
— кумир на кумире —
плющом подхалимским увиты.
Я видел единственный в мире
памятник алфавиту.

Сменился не только размер (четырехстопный ямб на дольник с трехстопным амфибрахием в основе), но и тон. Нейтрально произнесенные выше *цари* приобрели уничижительный, иронический оттенок, при этом *подхалимский плющ* напомнил, что в переносном смысле *кадить* означает не только восхвалять, но и льстить. Упоминание про то, что памятник — единственный в мире, поменяло модальность, и вероятность обернулась утверждением[1]. Ну и, разумеется, режущее слух ударение вернулось на подобающее место.

[1] Кстати, соответствовало ли утверждение действительному положению вещей? Оказалось, да, тогда соответствовало. Памятников алфавитам и сегодня наперечет. На рубеже 70-х и 80-х годов минувшего века в Хорватии была сооружена шестикилометровая Аллея глаголицы, посвященная древнейшей славянской письменности. В комплекс входит свыше десятка разного рода памятников; один из них, согласно Википедии, «представляет собой каменный монумент в виде книги, на котором высечен алфавит на латинице, кириллице и глаголице». В 2012 г. в Батуми по проекту испанского архитектора Альберто Доминго Кабо воздвигнута громадная «алфавитная башня» — «металлическое строение высотой 130 метров, которое лентами опоясывают буквы грузинского алфавита». Наконец, несколько лет назад в подмосковном Клину поставлено небольшое сооружение — мужчина, условно говоря, средневекового облика с доской в руках, на которой изображены 33 буквы современного русского алфавита.

Далее, говоря о памятнике, поэт окольно, косвенно сравнивает его с привычными монументами.

Армяне его воздвигли
из камня здешних гор,
и кажется: фигли-мигли —
виденные до сих пор
всадники и державцы,
скипетры и мечи...

Наименование народа — армяне — употребляется в небольшом тексте четыре раза. Повторим на конкретном примере сказанное выше: в обыденном по звучанию и трагическом по сути стихотворении «Немка» запечатлена не судьба великого народа, напротив, индивидуальная, сугубо индивидуальная судьба безвестной женщины и лишь эхом, отсветом — судьба, выпавшая всем советским немцам в годы войны. Другой пример. В стихотворении «Поэты малого народа...» сочувственно запечатлено бедствие, выпавшее на долю одного из высланных с Кавказа народов, однако только по посвящению — Кайсыну Кулиеву — мы понимаем, что речь о балкарцах. Отчего так? Оттого, что поэта в данном случае занимает иная тема, балкарцы же — болезненный живой пример, иллюстрирующий ее.

В армянских же стихах именно народ — объект интереса, пристального поэтического изучения, при котором и малая деталь способна показать едва ли не все. И поэту не в тягость еще раз обозначить, о ком он пишет. И напоминая, что памятник сделан «из камня здешних гор», он упирает — эта письменность измышлена здешним человеком для здешних нужд, причем раз и навсегда. В подтекст убрано знание — алфавит идеально соответствует языку, потому за полтора с лишним тысячелетия практически не претерпел изменений. Лишь историко-культурный подтекст объясняет, почему против этого памятника «фиглями-миглями», пустяками кажутся конные статуи воителей и монархов («державцев»). Этот же подтекст, включающий среди прочего знакомство с рукописями и книгами, диктует Слуцкому финал:

Только за этот
держаться
памятник:
научи...

Для простоты чтения выпрямим инверсию: [нужно] держаться только за этот памятник. И просьба к этому памятнику (разумеется, к народу в его лице): научи

...буквам своим, подобным
веточкам и муравьям,
и страницам, подобным
пчелиным роям,
словно рой пчелиный
жужжащим о языке,
переспелой малиной
тающим на языке.

Два попутных замечания. Первое: веточки, муравьи, пчелиный рой, переспелая малина — все то, с чем ассоциируются буквы и сам язык, подспудно внушает образы плодоношения, трудолюбия, пользы и сладости, которую дает кропотливая работа. Второе: перед нами частый у Слуцкого прием, когда в рифменную позицию ставится в том же значении слово, подлежащее рифмовке (подобным — подобным), или омоним (язык как система словесного выражения мыслей и как орган в полости рта).

* * *

Борису Слуцкому принадлежат еще по меньшей мере два стихотворения, связанных с армянской темой. Они представляются менее значительными, чем уже разобранные. Первое — «Гостиница “Ереван”» — отталкивается от известной привязанности армян, обычно не слишком эрудированных, искушенных, условно говоря, в эстетике, нарекать младенцев именами звучными, не всегда родителям понятными:

Армяне называют своих детей
именами великих людей:
именем Карла — в честь Маркса,
именем Гамлета — в честь Шекспира,
именем первооткрывателя Марса,
именем каждого гения мира.

В отличие от «Двух стихотворений», порожденных глубинным осмыслением увиденного, здесь увиденное (точней, услышанное) не столько поразило, сколько позабавило. В итоге же извлечь из казуса сколько-нибудь общезначимый или просто существенный вывод не получилось, и стихи, несмотря на попытку поэта придать им некую философскую подоплеку, остаются бытовой зарисовкой, не более.

То же приходится сказать об «Изучении армянского языка», где ставится вопрос:

Зачем изучает шестой язык —
хватило б с него пяти —
пенсионер, седой старик
с трех каждый день до пяти?

Вопрос трижды поворачивается так и сяк, однако повисает в воздухе. По большому счету из шести строф остается в памяти лишь одна, связанная с приметами страны («...как внедряет корни лоза / в скалу и дробит гранит...») и разом отсылающая к «Это — Армения» и «Двум стихотворениям».

Просмотрев и частично разобрав армянские стихи Бориса Слуцкого, подтвердим заявленный априори тезис о том, что ни об одном народе Слуцкий не писал столько и, главное, так — с желанием «дойти до самой сути», — как об армянах. Он частично пояснил это прозой: «Удивительная, небывалая страна — и по безмерности страданий, выпавших на ее историческую долю, и по безмерности упорства, с которым она отбивалась от врагов <...> Историческая память присуща народу меча и книги, меча, о котором вспоминает еще Ксенофонт, и книги, написанной древнейшими письменами, настолько почитаемыми, что им поставлен памятник — единственный в мире памятник алфавиту»[1].

Поэт назвал армян народом меча и книги, но в его стихах они фигурируют в одной из двух ипостасей — народом книги. Для литератора, человека книжного, выбор естествен. Оттого, должно быть, он и написал о нем как ни о каком другом. Исключая, разумеется, народ, к которому сам принадлежал. О евреях Слуцкий говорил стихами, в общем, не много и редко, но так, что дежурной отсылкой тут не отделаться. Разговор это совсем особый и не короче того, который я завершаю.

[1] Цит. по вступительной заметке Ю.Болдырева к подборке стихов Б.Слуцкого // «Литературная Армения», 1987, № 11, с. 33.

Валерий Айрапетян

Образ Марата

Марат был похож на рано состарившегося мальчика.

Он проповедовал нам — начинающим писателям — учение об образе.

На мой вопрос, какое значение в художественном тексте имеет этот самый образ, Марат ответил: «Вот представь себе молодого красивого человека, который ходит, смеется, плачет, любит. А теперь представь себе этого человека в гробу. Он может быть еще красив, но уже не жив. Это труп красивого человека. Через какое-то время это красивое тело начнет разлагаться, превратится в землю и исчезнет навсегда. Человек был жив и красив, пока в нем жил дух. Так же и с литературой. Если в тексте нет образа, нет частички духа, то это не литературное произведение, а его труп. Он может быть даже красивым, этот текст, но скоро начнет разлагаться, а со временем исчезнет, и никто о нем не вспомнит».

Таких примеров у Марата было великое множество, но врезался в память именно этот.

Или вот еще.

«Рассказ — это танец на пеньке, — говорил Марат, — и исполнить надо красиво, и не оступиться. А роман — это многоэтажный жилой дом, в котором планировка всех помещений и коммуникаций должна быть оправданна, должна служить замыслу дома. Вот представь, что ты проводишь экскурсию по дому потенциальному покупателю квартиры. Открываешь дверь в туалет и говоришь — это спальня, ой, нет, это, наверное, кухня, ой, постойте, возможно, это вообще балкон. Большинство современных романов — такие дома, где кухня находится в туалете. Я думаю, тебе бы не понравилось жить в таком доме. Люди пишут большие плохие рассказы на пятьсот страниц, называют их романами и получают за них литературные премии».

«Человеку следует стыдиться, что он писатель, а не гордиться этим», — заметил однажды Марат. В нем еще были живы рецепторы, так свойственные людям прошлого времени и стремительно отмирающие у людей времени нового; рецепторы, реагирующие на всякого рода манипуляции, направленные на возвеличивание своего, особенно — творческого — «я». Представить Марата, степенно рассуждающего о своем писательстве, о своих литературных удачах было невозможно. Помню, как на премии «Нацбест» сидел он в числе финалистов в первом ряду, напряженный и растерянный, как человек, которого попросили прикинуться другим. Пока шла церемония и ведущий со сцены — больше любовавшийся своим суждением о прочитанных книгах, чем, собственно, книгами финалистов — блистал, острил и заикался, Марат несколько раз, крадучись, пробирался к выходу, чтобы уже за дверями приложиться к фляге с коньяком. Каково же было его счастье, когда победу присудили не ему: ходил по фуршетному залу, поднимал всех встреченных на пути прелестниц, воспевал их

Валерий Айрапетян — прозаик. Родился в Баку в 1980 году. В 1988 году в связи с карабахскими событиями переехал с семьей в Армению. С 1993 года живет в России. Работал пастухом, грузчиком, разнорабочим, озеленителем, сопровождающим тургрупп, маляром, массажистом, гирудотерапевтом. Автор двух книг прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Постоянный автор «ДН». Живет в Санкт-Петербурге.

красоту и признавался в любви. Стать писателем, чтобы, стяжав успех, нежиться под светом софитов, обрести общественную значимость, превратиться, прости господи, в «лидера мнений», популярного блогера или телезвезду, — вот эта вся мотивация, стимулирующая писать многих и многих пробивных и ловких, была совершенно чужда Басырову. Конечно, он хотел признания, хотел, чтобы его читали, чтобы доходы от литературных трудов обеспечивали тот минимум, который бы позволял, не думая о дне завтрашнем, спокойно писать книги. Но не более.

О своих текстах он говорил сухо и по существу, без выпирающего через слово «я», а вот о текстах коллег по писательскому цеху — современников и классиков — он говорил охотно, со страстью, заикаясь, подбирая нужные слова для более точного выражения своего ощущения от прочитанных книг. Особое внимание Басыров уделял текстам друзей (моим в том числе), акцентируя наше внимание на удачах или, наоборот, на нестройностях, шероховатостях, длиннотах и, главное, недоработке по части художественного образа. «Я же люблю вас, вы как дети мне, и хочу одного, чтобы вы писали и писали всё лучше и лучше», — с доброй иронией добавлял он после разбора очередного нашего рассказа.

С ним было интересно говорить на любые темы, кроме политических. Он не понимал, для чего писатели лезут в политику, рвутся на трибуны, вступают в партии; не верил, что кому-нибудь может быть интересно мнение человека, исследующего красоту и гармонию, обо всей этой заведомо известной лжи и сплошном лицемерии. И вообще, был чужд этому времени: не следил за трендами, не понимал разницы между либералами и патриотами, не интересовался политикой, не строил писательскую карьеру, не посещал модные мероприятия и бары, да и одевался — как простой советский гражданин.

«публицистика — это проституция. я статей не люблю. не понимаю их важности. для меня есть одна ценность — художественная. мне важен дух, важна гармония, противостоящая хаосу», — написал мне однажды Марат, как всегда в переписке используя только строчные буквы.

«Но погоди, — парировал я. — А как же Толстой, Достоевский, Бунин, Солженицын? Писали ведь публицистику». «ты не путай, — ответил он. — классики, помимо того, что создавали великие произведения, могли позволить себе высказать мнение на тот или иной предмет, причем мнение их было оригинальное, они задавали тон поколениям. и в вечность они попали из-за своих художественных вещей, публицистика — это лишь незначительный прицеп. а сейчас посмотри на этих: и вещей великих не пишут и копируют друг дружку, ничего нового, одно и то же по кругу гоняют, публицисты, блин, мыслители херовы. искусство настоящее всегда выше политики. кто там кого мочит — полный бред. понимаешь, Валера, все они е...сь на социально-политических делах, а это никогда не относилось никак к искусству, никаким местом. они все политизированы и во всем видят социальные аспекты. хотят видеть. потому что художественность для них — ноль. только политика. это ж не писатели. вот увидишь — Лукошин (тогда о нем говорили, но недолго. — *В.А.*) никогда не станет большим».

Мы виделись с ним не так уж часто, раз в месяц, а то и реже. И не сказать что были близкими друзьями. Я, к слову, не знал даже, как зовут его жену и детей, какие у него отношения с родителями и т.д. Он не говорил, я не спрашивал, да и обсуждали в основном литературу. Близким другом он приходился Кириллу Рябову, а позже — Жене Алёхину. Три страдальца (Марат был меньший по этой части) и три настоящих писателя, они органично сошлись между собой. Мы с ним чаще списывались. Басыров принадлежал к той категории писателей, которые пишут много лучше, чем говорят. И дело не только в заикании (Марат обычно осекался на первой согласной, чаще на «б» и «п»: Б-Б-Б-Б-Басыров, выдал бы он, если б взволнованно или догоняя рвущуюся вперед мысль, произнес свою фамилию). Наверное, каждый четвертый литератор несет в себе тот или иной речевой дефект; я и сам заикаюсь, сколько себя помню. Думаю, у Марата, помимо легкой социофобии и природной скромности, не было базового доверия (которым так напитаны «говоруны») к устной речи: пустые слова, умирающие сразу после рождения; такие не соберешь в нужный строй, не отредактируешь, такими не вплетешь в ткань повествования художественный образ,

не выстроишь толком диалог. Но уже в письменной речи, даже не в художественных текстах, а всего лишь в личной переписке (которую недавно перечитывал четыре часа, но так и не дошел до середины), он выдавал по полной: бойко шутил, метко подкалывал, блестяще выстраивал аргументацию по интересующему его вопросу, который в восьми из десяти случаев был — литература, смеялся и плакал, да так, что и я, сидя перед экраном в другом конце города, то хватался за живот, то утирал слезу.

Хулиган и трагик, он даже когда писал о своих горестях и переживаниях, добавлял в конце сообщения «хаха» — смешок человека, страшащегося ненароком впасть в пошлость. Это «хаха», призванное как бы умалить значение сказанного, не только не умаляло его, но, напротив, придавало словам вес и какую-то особую драматургию. Вот Марат болеет, сидит дома и пишет мне: «погода стоит пи...тая, сейчас бы по питеру погулять с бутылкой в кармане, слезы пьяные пролить над невой, а я дома сижу, хехе», — и сразу хочется поскорее одеться и пойти гулять вдоль Невы, прикладываясь к бутылке, печалясь и радуясь жизни.

Или вот, когда писал свой «Жэ-Зэ-эЛ»:«убежал от семьи к родителям, пишу тут потихоньку, и так же сердце болит по х... знает чему-то несбыточному. как у человека, которому перед смертью предлагают выкурить лишь сигарету, когда ему не хочется умирать, хаха», — всего две строки и целое море тоски уже плещется у ног, и думаешь — как бы самому не пропасть в пучине.

Попадая в малознакомые компании, Марат поддерживал общие темы, и даже когда речь заходила о литературе (круг общения узкий, большинство общих знакомых — литераторы), старался больше слушать, закинув ногу на ногу, подперев подбородок кулаком и выражая всем видом крайнюю заинтересованность. Он держался напряженно, и я чувствовал, что в эти самые моменты, когда приходилось слушать «умные разговоры» и строить сосредоточенное лицо, ему нестерпимо хотелось оказаться где-нибудь в уютном тихом месте в компании хорошей книжки и кружки пенного.

Память не придерживается строгой хронологии. Вспоминая человека, память выдает короткие видео или застывшие картинки, и только если потребуют того обстоятельства или вдруг возникший интерес, пытается приладить их к шкале времени, выстроить в ряд, связать друг с другом.

В самом начале нашего знакомства, это был, наверное, год 2005 или 2006, Марат мне не понравился. Он показался мне обозленным, желчным говнюком, похожим на ящерицу. Я только начинал писать, плохо разбирался в людях и судил — как рубил с плеча. Его иронию, замечания по текстам я принимал в штыки, не сумев тогда разглядеть стоящие за ними желание помочь, стеснительность, огромную любовь к литературе и непростую жизнь. Ко всему прочему, у него не выгорел один задуманный проект, связанный с выходом к чемпионату по футболу книги «Чемпионат», на который Марат много ставил и который не оправдал его ожиданий. Я тогда еще не знал его как человека, принимая то, что лежит на поверхности, за ядро личности.

Сдружились мы позже, уже после того как я познакомил его с Женей Алёхиным, на тексты которого совершенно случайно набрел в интернете, а встретился с автором уже в Москве. Алёхин тоже был похож на ящерицу — на ершистую и неприкаянную. Первое, что он сказал, встретив нас — меня и писателя Диму Орехова — туманным осенним утром у метро ВДНХ, было: «Писатели, что ли?» Мы с Ореховым кивнули. «А, понятно,− ответил Женя. — А похожи на барыг с рынка». Алёхин взял водки и сосисок и провел нас к себе в общежитие. Через двадцать минут нашего с ним выпивона (Орехов не пил) Алёхин предложил нам ознакомиться с его любимой порнухой, в которой негр конским своим удом долбил жопастую брюнетку на разный манер. Православный писатель Орехов пришел в такой ужас, что повесил голову на грудь и не поднимал ее добрых полчаса. Я сразу тогда подумал, что надо бы свести Женю с Маратом, вот уж два сапога пара. И не прогадал. Они, как два маркшейдера, прокладывали одну и ту же штольню, только с разных концов. Будто искали друг друга всю жизнь и вот нашлись. Марат, ознакомившись с текстами Жени, был настолько впечатлен как текстами, так и юностью автора, что в переписке с Алёхиным сдуру скостил себе целых семь лет, чтобы хотя бы календарно быть ближе к молодому поколению (кстати, Марат выглядел на свой придуманный возраст, а не на паспортный).

А потом сильно страдал, что ввел в заблуждение друзей (наверное, только Кирилл Рябов и был в курсе, но он тот еще великий конспиратор: я последний из нашего круга узнал, что Сжигатель трупов и Кирилл — это один и тот же человек). Женя, очередной раз бросивший ВГИК, перебрался в Питер. Марат был старше Алёхина на 19 лет — вполне себе разница между отцом и сыном. И отношения у них сложились тоже сыновье-отеческие. Вскоре и работать стали вместе. Господи, чем только они не занимались! Рыли какие-то ямы, строили дачи, рубили и обтесывали лес, устанавливали двери, малярили и плотничали. Даже двери в квартире моей первой жены переустановили. Помню, как ввалились они в квартиру. У Марата была огромная сумка, почти как у хоккеистов, и у Жени не меньше. От чая отказались, сразу приступили к делу. Алёхин, как всегда, был чрезвычайно сосредоточен на работе, даже не на работе, а на движениях. Он всегда такой — будто пожизненно сдает экзамен, который боится провалить. Марат, напротив, как опытный работник, то пошутит, то засмеется, то начнет браниться на не подошедший по размеру чопик. Ребята разложили в коридоре инструменты. Запомнилась невиданная прежде пила с горизонтальным диском и пластиковой крышкой над ним. Предыдущий мастер был общего профиля, то есть умел все, но понемногу. Он здорово помог, когда нас кинули с ремонтом. Я был ему подмастерьем, и вдвоем мы начали и закончили капитальный ремонт. Все бы ничего, но двери стояли в рамах косо, как возвратившиеся домой пьяные гуляки. И Марат вызвался помочь. Как художник перед мольбертом, он пару раз то отходил от двери, то подходил к ней, щурил глаз и кивал головой. Потом быстро приставлял отвес, делал пометки, что-то подбивал, в конце заливал проемы монтажной пеной — и дверь стояла ровно, как швейцарский гвардеец на карауле. Пока Марат выправлял одну дверь, Алёхин занимался другой. Так все двери и выставили по уровню.

Одна из наших последних встреч тоже была связана с оказанной мне Маратом услугой. Я уже жил к тому времени в коммуналке, и чертов смеситель в душевой приказал долго жить. Позвонил Басырову проконсультироваться относительно покупки нового, на что он ответил, что не надо ничего покупать, есть у него в наличии новый немецкий смеситель, и вообще — долго не виделись, вот заодно и увидимся, и смеситель установим. Приехал и сходу приступил к починке. Рано состарившийся мальчик, он сидел на детском деревянном стульчике и ковырялся в смесителе. Мы говорили тогда о трудностях, возникающих в работе над рассказом, которые при этом никак не отягощают работу над повестью. Марат что-то откручивал, прикручивал, дул в трубки, я стоял рядом на подхвате у мастера; говорили мы оба, но работал и говорил он один. И вдруг Марат поднял голову. Лицо его было бледно-зеленым, на лбу выступила испарина. «Что-то мне нехорошо, Валер», — выдохнул он. Я побежал за водой, кликнул сестру Наташу, у нее, помнится, были капли валокордина. Марат выпил лекарство, немного посидел, отдышался. Я предложил ему прилечь, но он наотрез отказался. «Так часто, ерунда. Старость, х...е, хаха». Через десять минут он был уже в тонусе. Прикрутил смеситель, мы отобедали и пошли гулять.

Разок и мне пришлось помочь Марату с ремонтом, но не дверей и не смесителя, а его самого. Летом 12-го (я жил тогда с девушкой в Девяткино в новом панельном доме на 11 этаже) Марат позвонил и пожаловался на боль в ребрах. Договорились о встрече. Стояла какая-то чудовищная жара при полном штиле, и даже за городом — а Девяткино это уже Ленобласть — было не продохнуть. Все окна и балконные двери были распахнуты, я бесцельно бродил по квартире в одних шортах, вздыхал и потел, как бодибилдер на просушке. В таком виде и встретил Марата.

— Здорово, Кабанелло! — воскликнул он. — Можно, я буду так тебя называть за неистребимое здоровье и такой же оптимизм?

Господи, я выглядел, как заморенный зверь, как грустный цирковой бегемот, какой уж тут оптимизм. Марат, напротив, был бодр и весел, в очередной завязке и не курил, и если не считать прострелы в ребрах, чувствовал себя превосходно. Каково же было мое изумление, когда Марат снял футболку, на которой не проступало ни единого потного пятнышка, и залег на массажный стол, предоставив мне абсолютно сухую спину — бронзовую мальчишескую спину легкоатлета с хорошо очерченной мускулатурой.

— Слушай, ты совсем не вспотел! Ты и вправду ящерица!

— Да нет, — Марат засмеялся. — Просто я уже умер, хаха.

Марата беспокоила межреберная невралгия. Одного сеанса оказалось достаточно, чтобы все прошло. После массажа мы сидели на кухне, пили зеленый чай и любовались видом из широченного распахнутого окна (точно такого же окна, как на последней больничной фотографии, сделанной Маратом): звенящее синее небо, частные домишки в окружении деревьев и кустов, словно разбросанные по траве сухари, смешанный, переходящий в огромное поле с вышками электропередач лесок, и уже на горизонте — уродливый бастион жилого комплекса на Гражданке. Сейчас там понастроили какие-то огромные муравейники на тысячи квартир в каждом, а тогда вид был вполне себе пасторальный.

Не могу вспомнить последнюю встречу с Маратом. Возможно, это было в «Столовой №1» у метро «Маяковская», в компании Алёхина, Рябова, Сперанского. Не помню — пил тогда Марат алкоголь или нет. Помню, что он периодически трепал меня по плечу и тянул: «Валееерка!» — а после смеялся хулиганистым озорным смехом.

А потом Марат умер.

Выпрыгнул из мира, в котором, сидя на периферии Вселенной с комком глины в руках, точно гончар, ваял свои впечатления: впечатления с толикой горечи, впечатления одинокого человека, вопрошающего Господа о своем предназначении и смысле всего сущего. Сырой мякиш жизни, который он разминал и исследовал тонкими приноровленными к любой работе — от рытья канав до набора своих стихотворений на компьютере — пальцами. Маленький человек, вооруженный образом красоты и гармонии, постигающий большой и странный мир, красивый и уродливый одновременно, гармоничный и распадающийся на части, жестокий и милосердный, дарящий любимых женщин и слабое сердце, цветущую весну и жуткое похмелье.

Когда взглянул на лежащего в гробу в больничном морге Марата, то не узнал. Желтая скуластая маска в морщинах, белый выпуклый рот, нереальные, огромные, чужие уши. Тело без духа-образа, как в том его сравнении. Не настоящее тело, другое, не его. Это был не Марат Басыров, большой русский писатель в теле рано состарившегося мальчика, а какая-то фикция и подмена. От этого понимания стало немного не по себе, но и легче. На кладбище, пока могильщики выправляли могилу, отец Марата подошел к гробу, склонился над ним и поцеловал сына в лоб. «Мальчик мой», — произнес он глухим голосом, и я, тоже отец сына, не сумев сдержать себя, заплакал. Могильщики (на их спецовках красовался логотип похоронного бюро «Виолин») работали в три силы, будто боролись с могилой. В яме было много воды, пласты глинозема то и дело отваливались с боков и плюхались на дно. Они едва успевали вычерпывать воду и ровнять края. Женя Алёхин — который был Марату учеником и учителем, другом и сыном, напарником и подмастерьем, издателем и редактором; Женя, который взял на себя организацию похорон и поминок; Женя, который, пока не вострубит труба, ноет и путается в своих соплях, а в час икс быстро собирается и решительно действует, стоял все это время с огромным снопом цветов в побелевших от напряжения руках и отрешенно глядел в могилу. Я подошел помочь, протянул руки, и Алёхин передал мне цветы, бережно и неспешно, как передают отцам новорожденных при выписке из роддома.

Когда стали опускать на полотенцах гроб — простенький, обитый красной тканью ящик — послышался треск ткани, и уж совсем невыносимым был звук от падающих на хрупкую крышку тяжелых пластов напитанной влагой глины. Работники быстро засыпали могилу, утрамбовали, оформили холмик, притащили и установили на нем бетонную плиту. Разложили цветы. Мы немного постояли и пошли к выходу.

По дороге вспомнилось сообщение, отправленное мне Маратом незадолго до смерти:

«не переживай, ничего не наладится в этой жизни.

все кончится только вместе с нами.

так что крепись, дружище, и не падай духом».

Он не приписал в конце свое фирменное «хаха». Видимо, не успел.

Евгений Абдуллаев

О фестивалях и библиотеках

Литературные фестивали — свежее веянье «нулевых» — успели стать рутиной. И даже поблекнуть слегка.

Нет, все еще проходят Биеннале поэтов в Москве, «Петербургские мосты», «Киевские лавры», Волошинский фестиваль в Коктебеле, чебоксарские «ГолосА»... Но большинство других крупных фестивалей успело закрыться. Калиниградское «СЛОWWWO», екатеринбургский «Литературрентген», минский «Порядок слов», Ташкентский открытый фестиваль... Новые фестивали, возникшие в 2010-е, существуют, как правило, года два-три. Пока есть финансирование. После чего, не успев толком разгореться, гаснут.

Фестивали затронул общий процесс «затягивания поясов». Было бы даже удивительно, если бы на фоне закрытия премий и журналов, сокращения тиражей и числа книжных магазинов — цвели и пахли фестивали.

«И все-таки орешник зеленеет». Вот уже третий год в Нижнем Новгороде проходит Горьковский фестиваль. Полное название: «Международный литературный фестиваль имени Максима Горького». Проводится благотворительной организацией «Дороги добра» при поддержке Правительства Нижегородской области. По сути — проект писателя и общественного деятеля Дмитрия Бирмана. Не просто писателя и не просто общественного деятеля — а человека, к состоянию современной литературы неравнодушного.

В этом году фестиваль проходил с 25 по 30 марта и собрал на берега Волги писателей и поэтов из Армении, Белоруссии, Италии, США, Узбекистана, Франции. И самой России, разумеется. Виктора Ерофеева, Рене Герра, Илью Фаликова, Марину Москвину, Вадима Месяца, Максима Гуреева, Валерия Бочкова...

Впрочем, все это есть на фестивальном сайте gorkyifest.ru.

Меня, как обычно в этой рубрике, интересует не внутрилитературная составляющая, а те выходящие за пределы литературы тенденции, которые этот фестиваль отразил.

Фестивали «нулевых» были, в основном, фестивалями для самих литераторов. Как, например, на одном из Русско-грузинских фестивалей, когда участники просто жили дней десять у Черного моря, наслаждаясь общением и читая стихи друг другу. Это тоже было важно, учитывая исчезновение в предыдущее десятилетие общего литературного поля и усыхание коммуникации между авторами, особенно из бывших республик.

Нет, бывали, конечно, в фестивальной программе и встречи с читателями, которыми зачастую оказывались или местные самодеятельные поэты (жаждавшие тоже пробиться к микрофону), или нагнанные для заполнения рядов свежемороженые студенты... Или просто случайная публика кафе, увлеченно поедавшая шницель, пока

некто на импровизированной сцене пытался перекричать общий гул и грохот кофемашины.

И это было тоже неплохо. Лучше хоть какая-то аудитория, чем никакая.

В десятые фестивальная волна, как уже было сказано, пошла на убыль. Но вместе с тем наметился и новый формат — с активным участием местных библиотек. Не только центральных, предоставлявших площадку, что случалось и раньше. Но и районных, сельских.

Впервые с этим форматом я столкнулся три года назад, в ноябре 2016-го, на новосибирском фестивале «Белое пятно», который проводит Областная научная библиотека. Из трех дней фестиваля один был выделен под встречи с читателями в библиотеках небольших городов и сел Новосибирской области. Мне выпало съездить в деревню Машково; впечатлениями и размышлениями после этой поездки я тогда же поделился в «Барометре» (2017, № 2).

В Нижнем Новгороде у каждого из участников было как минимум по три встречи в библиотеках. В одной из городских библиотек Нижнего, остальные — с выездом в область. Называлось это «литературным десантом». В моем случае это была Нижегородская областная библиотека, библиотеки города Бор (город-спутник Нижнего) и села Вад. Намечено было еще «десантироваться» в Володарск, но сошлось по времени с другим фестивальным действом, в котором должен был участвовать.

Впечатления в целом совпали с прошлыми, новосибирскими. Совпали и уточнили. Прежде всего, значительный и неподдельный интерес к современной литературе в, условно говоря, глубинке. Полные залы, внимательное вслушивание, живые вопросы. В селе Вад желавших встретиться с литераторами было столько, что их не вместила главная библиотека, пришлось подключать еще детскую.

В крупных городах, особенно миллионниках, читатель избалованный. И писатели у него под боком ходят, и книжные магазины, опять же, какие-никакие. Не говоря о массе прочих развлечений и средств культурно провести досуг. Да и в целом: больше суеты вокруг, не слишком способствующей вдумчивому чтению. Да, чем крупнее город — тем плотнее литературная среда; но читатель внимательный, неторопливый чаще встречается все же за пределами городских муравейников. Там где, почти по Рильке, после чтения «люди собираются в кружок,/ и тихо рассуждают, каждый слог/ дороже золота ценя при этом».

Я, разумеется, несколько преувеличиваю; читательской идиллии — как и любой другой идиллии — нет нигде. Кроме того, читательское сознание в небольших населенных пунктах более консервативно. Оно, насколько можно судить по вопросам «из зала», застыло где-то в конце прошлого века. Все, что после — не в резкости, за вычетом нескольких имен, регулярно всплывающих в телеящике. Но интерес к современной серьезной литературе значительный. «Что порекомендуете? Что почитать? Какие назовете имена?»

И второе впечатление — в российском литпроцессе все более заметную роль начинают играть библиотеки. Библиотеки стали финансироваться чуть лучше, и это уже дало заметный результат. Библиотеки помолодели. Читаем в одном из блогов: «...Устаревший образ сухой строгой старушки в очках и с пучком на голове не имеет ничего общего с теми, кто действительно работает в библиотеках. Средний возраст библиотекарей — от 20 до 40 лет»[1]. Самый креативный, кстати сказать.

Меняется не только возрастной, но и гендерный состав библиотекарей — все чаще встречаются библиотекари-мужчины, и тоже не пенсионного возраста. Уточняю свое наблюдение в разговоре за чашкой чая в одной из нижегородских библиотек: верно ли? «Да, молодые парни идут. Особенно в селах. С библиотечной зарплатой на селе прожить можно...»

[1] Как я работала в библиотеке (http://cosmoblog.ru/kak-ya-rabotala-v-biblioteke-chast-1.html)

Появление в любой «женской» профессии мужчин — признак роста ее востребованности. В отношении библиотек, правда, стоит говорить не о появлении, а о «возвращении». До революции, да и в первые десятилетия советской власти, большая часть библиотекарей была «мужской». Да и многие литераторы тогда не считали для себя зазорным библиотечный труд. Крылов, Одоевский, Стасов, Бунин... Даже Блок одно время собирался устроиться библиотекарем в Академию наук.

Сегодня наблюдаем что-то близкое. Могу назвать имена как минимум трех литераторов из младшего поколения, работавших или работающих в библиотеках. Антон Метельков, Ростислав Амелин, Дарья Серенко. Имен наверняка больше.

В отличие от филфаков и книжных — других важных звеньев в распространении современной литературы — библиотеки имеют более широкий территориальный охват. Их сеть присутствует там, где никогда не откроются ни вузовские филиалы, ни книготорговые точки. И сеть эта, насколько могу судить, пусть даже по очень поверхностным впечатлениям, работает неплохо.

И еще. Библиотечная система, в отличие от книготорговой, лишена коммерческой составляющей. Что для читателей серьезной литературы — а публика эта, как правило, не слишком богатая — тоже немаловажно.

Возвращаясь к фестивальной теме, подытожу. Формат литературного фестиваля с активным подключением местных библиотек кажется сейчас наиболее удачным. Проблема коммуникации между литераторами сегодня уже не стоит так остро, как она стояла пятнадцать-двадцать лет назад, в пору зарождения первых известных фестивалей. Теперь эту функцию вполне (и даже с избытком) выполняют социальные сети. Сложнее обстоит с коммуникацией с *читателем.* Которого, как показывают соцопросы и цифры тиражей, у нас все меньше. Некоторые литераторы, впрочем, пытаются решать и эту проблему через социальные сети, усердно «френдя» и «комментя» своих потенциальных читателей... Но на этом поле серьезный литератор заранее проигрывает более активным и резвым блогерам. Писательство все-таки дело одинокое, требующее изрядного количества тишины, неторопливости и несуетливости мысли. Далеко не всякому дано быть и «писалой», и «зазывалой»; если вообще эти два таланта в серьезной литературе могут быть совместимы. Нужен посредник — посредник между автором и читателем. Редактор, издатель, критик, школьный или вузовский преподаватель словесности, книготорговец... И, разумеется, библиотекарь.

Такие вот впечатления после фестиваля. Есть, разумеется, и другие. Волга с проплывающими по ней льдинами. Слегка одутловатая, купеческая роскошь нижегородской архитектуры. Уникальное озеро в Ваде, с карстовыми пещерами на дне, в которые еще никому не удалось проникнуть... Но все это — уже для другого, не «барометровского», материала.

Пока же... «Итоги Третьего международного подведены, — сообщается на фестивальном сайте. — Начинается подготовка к фестивалю Четвертому». Дай Бог.

Ольга Брейнингер

Хроники одной войны в комментариях

«Мне вообще не интересны мнения других людей о книгах, я просто ищу что почитать!»

Комментарий в блоге «Хлеб наш»

По Стюарту Холлу, декодинг, или интерпретация сообщения аудиторией — это процесс ко-создания послания этого сообщения. Аудитории сообщения в этом действии принадлежит активная роль. Если проследить за рецепцией проекта «Блог-пост» в блогерском сообществе (сегодня снова говорим в основном об инстаграме), то можно четко разглядеть характер этой активной роли: утверждение права читать и право быть прочитанными определенным образом — как частный читатель, не связанный рамками профессиональных соображений и читающий для себя, в рамках своего личного пространства. В этом кроется любопытный парадокс пересмотра дихотомии частного/публичного в блогерской действительности: несмотря на то что чтение происходит в открытом пространстве, эта практика тем не менее рассматривается как приватное действие, противопоставленное публичному — профессионализированному.

Развитие дискуссии о блогерах на протяжении последних месяцев и вклад собственно блогеров в этот разговор представляют собой интересный случай позитивной модели коллективного действия. Практики декодирования сообщения напрямую зависят от социокультурного бэкграунда реципиента. И это четко прослеживается в наборе вопросов, в который выливается дискуссия о блогерах в отдельных сообществах. Толстожурнальная аудитория озабочена качеством профессиональной подготовки разных групп читателей и цеховой этикой. Работающие с книжными инфлюэнсерами представители издательств в разговоре о блогерах неизменно упоминают медийность, качество контента, активность аудитории и форматы взаимодействий с читателями.

Но главный вопрос: а что думают сами блогеры?

На то, чтобы преодолеть пространственный зазор между толстым журналом и книжными блогами, у проекта «Блог-пост» ушло больше двух месяцев. Пилотная январская колонка «Блог-поста» попала в фокус внимания инста-блогеров где-то в середине марта — вызвав, назовем это так, «смешанную реакцию» книжных инфлюэнсеров. Обсуждения в инстаграме подчеркнули (что неудивительно) идею своеобразного противостояния на литературной сцене, где «мир блогеров столкнулся с миром литературным» (цитата из блога «Хлеб наш»). Также дискуссия в инстаграме реакцентировала тезис о сложных отношениях между профессиональным литературно-критическим сообществом и читателями-любителями и пересмотре

литературоцентричной картины мира, вызванном появлением на книжной сцене блогеров как нового, набирающего силу актора.

Дискуссия в блоге «Хлеб наш» — довольно репрезентативный сампл мнений о позиционировании и роли блогеров в литературном пространстве. Больше 200 комментариев под тезисным пересказом первой колонки проекта «Блог-пост» затрагивают темы в диапазоне от кофейных предпочтений блогеров (ну как еще намекнуть на некий вид рафа, не называя его вслух в очередной раз) и комментариев об авторе статьи (ох) до профессиональных проблем блогеров (нехватка филологического бэкграунда, отсутствие оригинальности, сложности взаимоотношений с издательствами — «массовая рассылка, причем с установленными сроками для прочтения и написания отзыва») и роли блогеров в современном культурном процессе:

«Благодаря блогерам «страны бывшего СССР снова становятся пространством, где книга была ценностью не только в материальном плане, но и в морально-психологическом».

Впрочем, основными векторами в дискуссии, как и в самом посте Ани @hleb_nash, оказались две темы.

Во-первых — определение демаркационной линии между профессиональными и любительскими практиками чтения.

«Критик — это больше терминологии и профессионализма? Блогер — эмоций».

«Блогер и критик — вещи различные. Первому больше присуща субъективность, второму объективность (по крайней мере, стремление к ней)».

И во-вторых — защита блогерами своего права на частное читательское мнение.

«Блогер — человек, ведущий личный блог, где он делится своим мнением».

«Обычный читатель вещает для обычного читателя».

Я пишу о векторах блогерской дискуссии столь подробно потому, что реакция сообщества на попытку создания аналитического портрета этого сообщества — это много больше, чем просто война в комментариях. Это виток обсуждения, который запустил цепную реакцию переосмысления блогерами самих себя как социокультурного феномена. И следующими этапами этой дискуссии становятся ответные посты-размышления от блогеров, обсуждения в подкастах и даже тематическая дискуссия, организованная издательством Лимбус Пресс в Санкт-Петербурге (подробнее о ней можно почитать в аналитической статье Полины Бояркиной на сайте «Прочтение»).

В «Encoding, Decoding in the Television Discourse» Холл писал о способности аудитории изменять через процесс интерпретации само послание и репродуцировать его. Вектор и интенция интерпретации блогерами дискуссии о блогерах поняты и приняты. И поэтому следующие три выпуска «Блог-поста» будут посвящены интервью с литературными блогерами — частными читателями с разным подходом к литературе. Ведь в конце концов «Блог-пост» задумывался не как «колонка, в которой ругают блогеров». А как лаборатория, где пытаются разобраться в новых механизмах литературного мира. Ну а так — мы, конечно, продолжим делать вид, что всех ругаем.

Надежда Ажгихина

Лестница в небо

Мария Рыбакова не участвовала в первых сборниках «новой женской прозы», вызвавших бурную дискуссию на рубеже 1980—1990-х. Ее литературный дебют (роман «Анна Гром и ее призрак»[1]) состоялся десять лет спустя, когда горячие споры давние уже порядком подзабылись, а сами «новые амазонки» (именно так называлась группа молодых писательниц) больше не выступали с общими манифестами, продолжая творческий поиск в одиночку, разбрелись по собственным квартирам и даже по разным странам. В то же время проза Рыбаковой — несомненное продолжение и развитие того направления, о котором впервые заявили Светлана Василенко, Лариса Ванеева, Валерия Нарбикова, Нина Садур, Ирина Полянская и их единомышленницы. Новый роман писательницы, «Если есть рай», принадлежащей перу уже опытного и зрелого автора многих книг в разных жанрах, находится во внутренней полемике с дебютным и в то же время убедительно подтверждает глубинное родство Рыбаковой с «новой женской прозой» как направлением.

Сегодня очевидно, что женская проза стала знаком времени. Даже те авторы, кто категорически против самого определения, не могут отрицать того факта, что женский опыт и женский взгляд привлекают неизменное внимание читателя, открывают новые перспективы. Женская проза (как женская документалистика, женские дневники и публицистика) — непременный знак того всеобщего процесса «расширения литературы», акцептирования новых форм и смыслов, о котором полвека назад писала Лидия Гинзбург.

Мария Рыбакова, на мой взгляд, представительница «второй волны» новой женской прозы, и область ее творческого поиска шире, чем у предшественниц, хотя бы в силу поколенческого фактора. Язвы и травмы советского опыта, которые открывали миру старшие, для нее — исторический факт, равно как и сама борьба за право о них рассказать. «Телесность» переживаний героини — не вызов канону, но необходимое условие повествования. Рыбакова — дитя эпохи постфеминизма, для нее сама возможность исследования собственного опыта и ценность его несомненны. Так же, как возможность свободно перемещаться по миру, некогда разделенному «железным занавесом».

Этот опыт заслуживает особого внимания. Для поколений советских людей, «заграница» была особой темой, вожделенной и мифологизированной, знакомой в основном по переводным текстам, запискам редких путешественников и счастливчиков-писателей, посетивших в рамках разрешенных поездок другие страны. Даже самые именитые авторы старшего поколения приезжали на Запад (или Восток) как диковинные гости. После распада СССР и формального открытия границ некоторые русские писатели подолгу жили за рубежом или даже переехали в Европу или Америку, но так и не вписались полностью в чужую жизнь. Мария Рыбакова — представительница первого поколения русских интеллектуалов, которое полноценно живет вне России, как дома. Ее Анна Гром — одна из тысяч молодых людей, переехавших в Европу из бывшего СССР, описанный в романе быт характерен для многих студентов, мигрирующих из страны в страну, ее реакции кардинально отличаются от ощущений тех, кто вырос и возмужал за «железным занавесом». Но в то же время зависимость от русской культуры роднит ее с предшественниками

Мария Рыбакова. Если есть рай: Роман // «Знамя», 2018, № 9—10.

[1] См.: «Дружба народов», 1999, № 8—9. — *Прим. ред.*

и является едва ли не главным двигателем романа. «Анна Гром и ее призрак» — интеллектуальная шарада, в которой зашифрованы мифологемы русской культуры и философии из числа основных, включая «мечты о Европе» и интерпретации античных сюжетов, в которую вкраплены жесткие и жестокие наблюдения и детали современного европейского быта. Взгляд писателя цепок и безжалостен к деталям «европейского рая» и к самой героине. Обыденность пустоты — в университетской аудитории, в необязательных сексуальных связях, в попытках добиться ответного чувства, — лейтмотив повествования и одновременно деконструкция как советского «мифа о загранице», так и бердяевской мечты о «европейском женихе» «вечно невестящейся» России. Выбор героини — смерть — и обретение голоса и продолжение любви через смерть — вызов пустоте и вызов традиции одновременно.

Совсем иная героиня нового романа «Если есть рай» — выбирающая не смерть, но именно жизнь и вполне тактильно осязаемое счастье— также совершает побег, и физический, и метафорический. Но ее побег — или странствие, если хотите — это преодоление не столько географических границ, капкана цепких условностей и культурных установок, сколько бегство от собственного комплекса исторической вины и трагедии личного предательства. А также — от всевидящего рока и «ангела истории».

Если Анна Гром подробно рассказывает о своих корнях, о том, как складывался ее путь из России в Европу (Германия — квинтэссенция Европы, так же как холодный возлюбленный, племянник нациста — квинтэссенция мифотипа европейского мужчины), то о прошлом героини последнего романа известно немного, оно намечено пунктирно. Автор как будто подчеркивает: это могла быть любая современница, оказавшаяся в центре Европы по тому или другому поводу. Во втором десятилетии XXI века таких уже десятки тысяч. У каждой свой опыт удач и ошибок и свои воспоминания, которые не отступают. И накатывают в самый неожиданный момент, как и вполне судьбоносные встречи, которые случаются обыденно — как просьба индийского туриста в Будапеште сделать снимок на смотровой площадке в Старом городе.

Фабула романа — цитата из цитат. Неожиданная встреча двух иностранцев в европейской столице, возникшие в общежитии имени Рауля Валленберга отношения, которые трудно назвать чувством с первого взгляда, крепнущая любовь героини, которая следует за героем на край света, выходит замуж за другого, чтобы быть поближе к любимому, и в конце концов обретает покой в ожидании редких свиданий в тайной съемной квартире в старом квартале Дели. Роман-путешествие, традиционнее не бывает. Роман-расследование, поиск смысла всеобщего и частного существования, поиск формулы гармонии, поиск внутренней свободы. Такая женская Одиссея, исповедь дочери начала XXI века, пытающейся нащупать ориентиры во времени и пространстве.

Самая знаменитая «женская Одиссея» последних десятилетий — «Похождения скверной девчонки» Марио Варгаса Льосы, переведенный у нас роман. Но его героиня — перуанская девушка из бедной семьи, ищущая лучшей жизни и, вероятно, личного счастья, преодолевает страны, континенты и спальни самых разных мужчин во имя самых разных вполне практических и осязаемых целей, она не отягощена рефлексией о глобальных смыслах происходящего. Рыбакова пишет о молодой интеллектуалке, для которой эротическое переживание невозможно без переживания эстетического и этического, выросшей на русской и европейской литературной традиции, на «вечных проклятых вопросах», помноженных на советский опыт. В этом принципиальная разница. Роман, который могла написать только женщина. Только русская писательница, родившаяся в последние годы СССР, только живущая долгое время на Западе.

В Будапешт героиню привел интерес к судьбе венгерского писателя-эмигранта Александра Гроссшмида, покинувшего родину после входа советских войск в 1956 году, острого критика СССР, покончившего с собой незадолго перед распадом «Восточного блока». Он — постоянный собеседник героини, диалог с его книгами и высказываниями звучит на протяжении всего романа. «Но неужели, — спрашивала я себя, я приехала в этот город только из-за любви к книжкам Гроссшмида — или же из-за того, что изначально пытаюсь изгнать прошлое из своей жизни, сделать бывшее небывшим, отмыться добела, покрыть себя новой невинностью, как этим снегом, покрывающим город?» Так в первых главах определяется важнейший мотив романа, который одновременно обозначает нерв многих современных дискуссий и текстов: роль истории и исторической памяти в коллективной и общей судьбе. И напоминает также о трагическом смысле античного рока,

дыхание которого присутствует в первой, «европейской», части романа и преображается в мысль об индийской карме во второй, «азиатской».

Плакат с фотографией убитого в ходе подавления восстания 1956 года мальчика, воспоминания о пионерском детстве «социалистического рая», судьба дочери Сталина Светланы Аллилуевой и судьба несуществующего писателя, видевшего в советских солдатах — «других, не европейцах» — посланников ада, мучительные размышления об ответственности детей за дела родителей — от детей Маркса до детей советских солдат — это тот фон, на котором развивается основная линия повествования, — романтическая история, начавшаяся на смотровой площадке, где героиню просит сделать снимок исследователь из Индии, бывший христианский монах и марксист Варгиз. Варгиз разочаровался в христианстве и коммунизме, как в свое время героиня — в советском рае, в том прошлом, от которого она стремится «отмыться добела», и это важно: Рыбакова безжалостно и точно фиксирует важнейший мотив современного мироощущения многих интеллектуалов как на Западе, так и на Востоке, отраженный в сотнях актуальных дискуссий. Разочарование в прежних смыслах и формулах, теориях «конца истории» и разумного сосуществования, растерянность перед неожиданными вызовами и пугающими обстоятельствами — знак времени. Это очень современный роман.

Тема памяти — сквозная в романе, неотступная, как почти навязчивое стремление героини понять, где коренится природа жестокости и где грань, отделяющая жестокость от любви. Она возвращается к судьбе Светланы Аллилуевой и ее любви к отцу, к судьбе сожительницы и подельницы садиста Иэна Брэйди — Майры Хиндли, убивавшей детей ради любви к Иэну (не упоминая Достоевского, Рыбакова и не забывает о нем ни на секунду). Но чаще всего героиня возвращается к мысли о вошедшем в кровь и поры каждого советского ребенка опыте, отзывающемся в биении пульса ежесекундно, сколько бы времени ни прошло после распада СССР.

«Я проходила мимо кинотеатра, где горели свечи и лежали венки в память о тех, кто погиб здесь в пятьдесят шестом году. Я видела памятник — до сих пор возвышающийся в центре города — советским воинам, которые пали, освобождая город от немецкой армии или же расширяя границы советской империи, в зависимости от интерпретации. Я видела надгробия советских солдат, которые погибли, подавляя восстание пятьдесят шестого года. Даже перед ними я чувствовала вину... Даже памятник тем, кого депортировали и убили фашисты, — одинокие туфли из металла на берегу широкой реки — заставляли меня подумать, что, родись я на полвека раньше, с гораздо большей вероятностью я была бы среди палачей, а не среди жертв...»

Ангелы и демоны — поочередно — страсти, возмездия, любви и света — неотступно возникают в разговорах героини с Варгизом и с новым знакомым в Дели, бывшим стукачом из Вильнюса Антоном Антоновичем по кличке «Агент Болеслав», за которого ради возможности быть поближе к Варгизу она выходит замуж. Самый зловещий из них — «слепой ангел истории». Она видела его во сне. «Мне снилось, что рядом со мной, в комнате, находилось огромное полупрозрачное существо. И я знала, что каждое мое движение, каждый мой вздох зависит от этого существа, что без его согласия я не могла бы встать с постели, не смогла бы ступить ни шага... Варгиз и Юлик, мавзолей Хумаюна и сердце Антона Антоновича — все это тоже находилось во власти прозрачного существа, оно было всевластно и, может быть, даже бессмертно, но оно было совершенно слепо. И я, вглядываясь в огромную, полупрозрачную, колышущуюся массу этого ангела, сознавала мое над ним превосходство — потому что я была зряча — и сострадание к его слепоте».

Зрение, по Рыбаковой, и освобождение от власти слепого ангела истории и рока, это и «память сердца», и любовь.

«Память сердца», ощущений — пионерские линейки, радость единения с другими пионерами, радость от исполнении детской мечты — поездки в Венгрию и барахтанья в вонючих будапештских купальнях (крещение Европой?), горечь потери школьного друга Юлика и стыд за предательство друга и возможное повторное предательство, трусость, которая, быть может, стоила ему жизни... Исторические события, съезды КПСС, Чернобыльская авария проходят в памяти фоном, смазанно, совсем не судьбоносно. Героиня приводит Варгиза в знаменитый будапештский бассейн (теплые воды, пахнущие сероводородом), рассказывает ему о детстве, о Юлике — и стесняющийся своего оплывшего тела Варгиз хочет ее поцеловать, а она понимает, что хочет и любит его.

Это их первое совместное эротическое переживание. «Телесность» в романе лишена пафоса и классической эстетики — как будто

подчеркивая это, автор отправляет героев в музей изобразительных искусств, к мраморной скульптуре любовников.-Описание первой совместной ночи еще более «снижено»: на кровати в общежитии тесно двоим, и героиня после любви с восхищением наблюдает сон Варгиза, далеко не Аполлона, грузного, сопящего, — его внешность не имеет никакого значения.

Понимает ли ее Варгиз? Понимает ли она Варгиза, его рассказы о такой далекой жизни в нищей индийской деревне, христианском монастыре и марксистском кружке, о его поиске смыслов? Возможно ли вообще сегодня понимание между людьми — не только разных культур, но людьми вообще? Может ли любовь растопить лед одиночества, которым пронизан современный мир? На этот вопрос роман Рыбаковой не дает окончательного ответа. Но говорит о возможности расширить пространство любви, заручиться ее поддержкой, выстраивая свой собственный путь к счастью — как виртуальную лестницу в высшему блаженству.

«Если Ганди был: свести себя к нулю, а желание Гроссшмида — сохранить автономию личности несмотря ни на что — то такие, как я, оказывались где-то посредине. Не в силах отказаться от себя, но и не в состоянии быть самими собою. С маленьким пространством любви: я и Юлик,я и Варгиз. Но может быть, это маленькое пространство любви можно было расширить, если любить то, что к ним относилось, — то, что напоминало о них. Книжки Юлика. Его лоб, прикрытый веснушками. Запах Варгиза. Его город. Имена обоих. Голубей, собак».

Героиня обретает счастье в хрупком и аскетичном рукотворном храме — съемной комнате в Старом Дели («из мебели там только железная койка и деревянная тумба с двумя кружками, а на потолке, покрытом трещинами, — круглые часы... По стенам я развесила черно-белые виды того города в Центральной, Восточной Европе, где мы встретились в один холодный день». Здесь герои изредка встречаются втайне от своих семей. Это — рай. Тут нет места отчаянию и смерти.

Расширение пространства любви — утверждает Мария Рыбакова — это спасение от разорванности и безумия современного мира и одновременно от «слепого ангела истории», преследующего выходцев из тоталитарных систем, и от темных глубин человеческой сущности, от всемирного зла. Ее лестница в небо, выстроенная из безграничного сочувствия, радости прикосновений, из отрешения от эгоизма и из любви.

Владимир Шпаков

Битва за историю

С советским наследием давно пора разобраться непредвзято, вдумчиво и взвешенно. По счастью, время безудержного негативизма и злобного попрания былых святынь кануло в Лету; кажется, и эпоха ностальгии по СССР, когда всячески выпячиваются плюсы и упорно замалчиваются минусы, проходит. А значит, самое время оценить то, что свершалось (или не свершалось) в советский период, с фактами и архивными сведениями в руках. Большое видится на расстоянье, каковое теперь вполне достаточно, чтобы сфокусировать нашу оптику должным образом.

Этим, собственно, и занимается известный питерский прозаик и кинодраматург Михаил Кураев в своей новой книге «Отец и другие плюс электрификация». Уже по одному названию (помните знаменитое ленинское определение коммунизма?) понятно, что речь пойдет об индустриальных свершениях

Михаил Кураев. ОТЕЦ и ДРУГИЕ плюс ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ: Исторические свидетельства. — С.-Пб.: ИД «Петрополис», 2018.

советского периода, когда электрификация виделась палочкой-выручалочкой для аграрной страны, панацеей, призванной вытащить лапотную Россию из вековой отсталости.

Однако — не торопитесь делать выводы, об электрификации речь пойдет, но не сразу. В пространном прологе осуществляется глубокое погружение в историю России, поскольку эта история очень по-разному трактуется представителями различных общественных течений. В ней до сих пор присутствуют белые пятна, подтасовки, а иногда встречается и откровенная ложь, причем узаконенная и вошедшая в сознание на уровне «всем известных» стереотипов. С подобными стереотипами автор счел своим долгом разобраться по существу, невзирая на общепризнанные авторитеты. «Браконьерство в исторических дебрях — занятие вовсе не любительское, это промысел, работа на "заказчика", если и не прямого, то все равно, как правило, достаточно легко вычисляемого — политического, идеологического, кланового, конфессионального и т.д.» С такими вот «браконьерами», «заказчиками», а также плодами их деятельности Михаил Кураев и разбирается в прологе, названном весьма красноречиво: «Битва за историю».

Биться за нее есть резон, причем не только нам, российским гражданам, проживающим в стране с «непредсказуемым прошлым». Прошлое любой страны в той или иной степени непредсказуемо и может быть в любой момент перевернуто с ног на голову, что и доказывается целым рядом примеров. Везде есть свои «шулера» от исторической науки, а также поп-историки, готовые предъявлять невзыскательной публике захватывающие и полные интригующих поворотов варианты прошлого. По вине таких деятелей очень многое в нашей истории искажено, переврано, ложные версии событий даже в школьные и вузовские учебники вошли. Например, версия покушения на царя-освободителя в общественном сознании — сплошное темное пятно, которое еще более затемняют недобросовестные интерпретаторы. А Борис Годунов, якобы закабаливший русского крестьянина на века, да и вообще совершивший (опять же, якобы) множество непростительных мерзопакостей? А Пётр Третий, который выглядит в общественном сознании как полная карикатура на монарха и человека? Да и Павлу Первому не весьма повезло — сделался той же карикатурой, хотя в его коротком послужном списке немало толковых дел и полезных начинаний.

Пролог выглядит почти самостоятельной книгой, где в сжатом виде проанализирован целый ряд спорных моментов российской истории. Далее следует сама книга «Отец и другие, плюс электрификация», тут автор позволяет себе более подробный и вдумчивый разговор о событиях менее отдаленных, нежели эпоха Годунова. Как ни странно, мифологизированы эти события, отстоящие от нас меньше, чем на столетие, гораздо серьезнее, нежели времена воцарения Рюрика. Именно советский период отечественной истории более всего нуждается в объективации, в очищении от лжи как либерального, так и прокоммунистического толка. А в таком случае лучше всего обратиться к конкретным историческим фактам, уйдя от милых сердцу идеологических доктрин.

Ближе всего человеку факты его собственной биографии, а также события семейной истории. На этой основе автор и строит свое документальное повествование, где один из главных героев — его отец, Николай Кураев, строитель Нивского энергетического каскада, впоследствии четверть века возглавлявший Ленинградское отделение Оргэнергостроя. Трудовой путь отца автор прослеживает подробно, начиная с момента его встречи с легендарным строителем ДнепроГЭСа Александром Васильевичем Винтером. Двадцативосьми-летний инженер Кураев с минимальным опытом работы по решению Наркомата был назначен главным механиком НиваГЭСстроя, что для нашего инфантильного времени — нонсенс, а для той эпохи, считай, норма. Совсем молодые люди назначались на самые ответственные посты и должности и, как правило, блестяще справлялись со своими обязанностями!

А если, спросите вы, не справлялись? Тогда статья за вредительство и — секир башка? Верно, случалось и такое, что в книге иллюстрирует история начальника цеха на 310-м заводе в Кандалакше С.М.Верещака. За чужую халатность — арест, допрос с пристрастием, избиение в НКВД, само собой, исключение из партии. Все это могло кончиться ГУЛАГом (или того хуже — расстрелом), однако честное заключение Николая Кураева спасло и жизнь, и честь обвиняемого, и такое тоже, надо отметить, случалось.

Автор отходит от общепринятой концепции истории, предстающей по преимуществу как смена властителей и череда военных побед-тире-поражений. «В конечном счете, человеческая история — это история труда», — утверждает писатель, и с ним трудно

не согласиться. Собственно, этот труд, высокопрофессиональный, самоотверженный, обеспечивающий невероятные результаты, и показан в книге. Чего стоит деятельность одного лишь Генриха Осиповича Графтио, по сути — основателя советской энергетики, воплощавшего в жизнь план ГОЭЛРО. Энергичный, эксцентричный, гениальный Графтио и в царской России пытался продвигать свои проекты, понимая как никто: двадцатое столетие — это век энергии. Увы, косная и неповоротливая система не шла навстречу техническому гению, а вот Советы пошли навстречу, и это следует учитывать при сравнении разных эпох.

Михаил Кураев не идеализирует советское время, отнюдь, он просто пытается всмотреться в него внимательно и объективно. Чтобы показать: эпоха была наполнена беззаветным, подвижническим, упорным трудом миллионов людей, что за полтора десятилетия вытащили страну из разрухи и по некоторым позициям приблизили СССР к ведущим мировым державам (в части энергетики — уж точно приблизили). Всех их не перечислишь, но многие отмечены: начальник Братскгэсстроя Иван Наймушин, нарком электростанций СССР Дмитрий Жимерин, начальник электроотдела ВСНХ Петр Смидович и еще множество других людей, причем вовсе не обязательно работавших в области энергетики.

«Что же отличало этих удивительных людей? Бескорыстие? Да, конечно. И страсть!» Не удовлетворяясь изложением фактов, автор пытается нащупать мотивы их деятельности, в частности, утверждает: «Самым характерным, по моему убеждению, для советских людей была *сближенность исторического и личного*. Без этого не понять, как можно было за считанные годы создать страну, какой еще не было на планете». И с этим утверждением тоже хочется согласиться. «Энергия заблуждения» (выражение Л.Н.Толстого) у тех поколений была колоссальная, именно она дала возможность реализовать немыслимые по масштабам проекты. Да, автомат и кованый сапог вертухая тоже подвигали к «трудовым победам», но рабский труд в двадцатом веке никого и никогда не приводил к успеху. Во всяком случае, Минэнерго, как утверждал с полным на то основанием министр Дмитрий Георгиевич Жимерин, при реализации своих проектов не использовало труд «спецконтингента», этим занималось Министерство внутренних дел.

Причем одной лишь истории становления советской энергетики автору явно мало. По ходу книги мы узнаем, к примеру, о феноменальном по темпам и результатам восстановлении разбомбленных стратегических производств в Ярославле и Горьком. И о «бомбежках» мирного времени здесь тоже рассказано — как иначе оценить циничное разбазаривание Военно-морского флота СССР, когда в эпоху перемен советские авианосцы перепродавались, как мешки с картошкой, *неустановленным лицам*? В итоге создается обширная и панорамная картина, где достижения советского периода истории существуют рука об руку с утратами периода современного. Речь вовсе не о реабилитации и идеализации «совка» (этого слова, замечу, автор не употребляет), баланс достижений-потерь очевиден из приводимых показателей. И становится предельно ясно, что нынешний класс собственников, все эти участники списков Forbes и обладатели многомиллиардных состояний, по сути, присвоили труд именно советских поколений, разделили на новорусском междусобойчике итоги напряженной, упорной работы миллионов, а сами — практически ничего не создали.

Особо следует отметить стилистику книги. Если кто-то представляет ее занудным трактатом с реестрами фактов и колонками цифр, то он глубоко заблуждается. Цифр и фактов действительно хватает (куда без них?), однако манера изложения тут зачастую страстная, изобилующая сценами из жизни. Целый ряд фигурантов предстает не безликими именами-фамилиями вкупе со списком их трудовых деяний, а живыми характерами, со своими противоречиями и человеческими особенностями. Сугубо личные воспоминания, связанные с детством и юностью автора, переплетаются тут со сценами, почерпнутыми из рассказов отца или иных очевидцев, так что текст можно с полным правом назвать *прозой*, пусть и документальной.

Стоит отметить и неугасающий на протяжении всего повествования пафос историка, пытающегося разобраться в том, что в отечественной истории справедливо, что — чудовищно, что — гуманно, а что — бесчеловечно. Непростая, скажем честно, задача, многие профессионалы ломали и продолжают ломать копья на этом ухабистом поле. И все же автор по возможности старается выпрямить те искривленные (зачастую — сознательно) представления об историческом процессе, что формировались с незапамятных времен и продолжают формироваться лукавыми «бенефициарами», обращающими ложь в те или иные дивиденды.

Понятно, что «Битва за историю» далеко еще не окончена. И эта книга не является эпохальным сражением по типу Сталинградской или Курской битвы, что раз и навсегда переламывает ход событий. Тем не менее, это важное позиционное сражение, которое писатель Михаил Кураев, без сомнения, выиграл. Хочется надеяться, что найдется множество других компетентных и честных авторов, которые тоже скажут свое слово, тоже поучаствуют в «битве» (ведь один, как известно, в поле не воин). Мы просто обязаны создать вменяемую и убедительную картину собственной истории, очистив ее от мифологической шелухи. ЧТО случается с народом, живущим с искаженной, изуродованной и в изрядной степени вымышленной версией собственной истории, мы видим на примере ближайшей страны-соседки Украины. Миф и ложь в этой области, иначе говоря, небезопасны, зачастую чреваты развалом государства и угасанием полноценной народной жизни. А этого нам не надо.

Зульфия Алькаева

Падеж дарительный

Будучи не только поэтом, но и незаурядным художником, Надежда Ярыгина любила раздаривать знакомым рукодельные сувениры: плетеные из ниток и бисера сердечки, рыбки, звездочки. Чаще всего — листики. А выставка ее крупных фантастических панно в родном Иркутске носила поэтическое название «Уловители снов». Кажется, Надежда туда и ушла, в свои яркие сновидения... Но к счастью, оставила друзьям и читателям трилистник. Неувядающий, нерукотворный. Состоящий из книг стихотворений: «Есть ощущение» (2012), «Случилось нечто» (2015), «Если память не изменяет» (2017). «Тихие» названия, если вдуматься, презентуют еще и авторский триптих жизненных циклов: чувство — чудесное рождение — опыт и память.

В обширной подборке из 182 стихотворений нет разделов — сюжет книги крепок за счет переклички отдельных произведений и тем. Заключительная авторская «картина». Третью книгу поэтесса успела составить сама, но подержать в руках не довелось. Спокойная разговорная фраза «Если память не изменяет» звучит как последнее «прости» иркутской знаменитости, ставшей с легкой руки Алексея Алёхина постоянным автором московского «Ариона», а потом и автором журналов «Новый мир», «Дружба народов». Название сборника фиксирует сомнение, сигналит: не обессудьте, мол, дорогие читатели, если что неточно помню или записала; особенно простите, коли попадется вам какая жалоба.

И все же Надежда Ярыгина во многих стихах остается неунывающей и дерзкой, каким-то разухабистым своим парнем. Мария Галина вспоминает, как, «услышав ее невозмутимо-ироничное — и сдержанно-артистичное — чтение раскованных и даже в какой-то мере хулиганских текстов, всегда с неожиданным вывертом, с куншtюком в последних строках на поэтическом фестивале в Иркутске», Михаил Айзенберг воскликнул: «Да это же Виктор Коваль в юбке!» В скоморошьих проделках поэта — детская непосредственность и взрослая печаль. Смерть не посмела такое перечеркнуть. Всей своей книгой поэтесса говорит: не верьте, я не умерла — просто хитро от вас схоронилась, спряталась. Вон, под той сосной да под елкой. А ну-ка, поищи!..

Открывающее книгу стихотворение «На фарфоровых часах» с одной стороны — считалочка, где время тоже играет в прятки, катится по льду, припевая: «Тебя найду», с другой — отсылка к Заповедям блаженства

Надежда Ярыгина. Если память не изменяет: Книга стихотворений. — Иркутск: Тип. «Форвард», 2017.

и Христову наказу быть как дети. Воспринявший подтекст считывает основное: что рукотворные часы (фарфоровые, бронзовые, пластмассовые — смотря какой век на дворе) суть часы суетные; лишь солнечные показывают время божественное, осторожно скользящее, но везде поспевающее.

...А на солнечных часах
высоко на небесах
время вовсе не стучит,
не хохочет и не мчит,
не гневится, не бузит –
острожненько скользит,
как на саночках по льду,
и поёт: «Тебя найду»...

Итак, время задано солнечное, событие — сказочное. Поэтому у второго стихотворения книги — ритмичный зачин, но вместо «жили-были дед и баба» слышим другой мотив-«качели»: «Случилось нечто, пришёл некто...».

По законам жанра у сказочницы должно быть волшебное происхождение. Только не капустное. Кто ж про капусту не слыхал? «В брокколи» — эка невидаль! — отыскали друга Колю, «в брюссельской» — приятеля Брюса, в «свойской-савойской» — свояка Савву. Героиня же — другое дерево, то есть овощ другой. «На гороховой грядке» нашли ее родители.

...Гуляла, гуляла красавица-мама с папочкой
в огороде,
сорвали они интересный стручок, раскрыли,
а там сижу я — свернулась клубочком.
Почему-то не съели меня, а решили
воспитывать.
до сих пор расту-подрастаю, то расцветаю,
то увядаю,
то зеленею, то белею, то розовею.
Может и повезёт — стану принцессою
из горошины...

Градация цвета — от зеленого к белому и к принцессово-розовому — не что иное, как видоизмененный процесс превращения гусеницы-стручка в бабочку-принцессу. Новое здесь — в приращении смысла. Речь идет о повторе перерождения, о возможных нескольких попытках прорваться к Истине по личному тоннелю судьбы. То есть христианское понимание духовного роста человека.

Распеленывать эту «капусту» интересно и дальше, снова обратившись к ее первым листьям. Акцент сделан на цельности и переменчивости. Цвет волос не важен, героиня вся — хамелеон: «то зеленею, то белею, то розовею». А главное, у нее есть свойство свитка — свернутость, что указывает на священное назначение Слова примирять людей, разных по крови и внешности. Если же смотреть на образ в целом, мы заметим некий гибрид «принцессы на горошине» и «Дюймовочки» Андерсена. Принцесса в гороховом стручке. Чудо огородное!

Ярыгина, вообще, относится к миру по-свойски. Смотрит на него, как на личные грядки. И чего только поэту не сходит с рук! Непостижимая природа в ярыгинских координатах понятна и даже управляема.

Думала листья,
а это рыжие бабочки
не налетались.

Кажется, крикни она заигравшимся бабочкам: «Домой!» — они послушаются и залетят в окошко. Обыденность чуда, свойственная сказкам, оттеняет почти каждое наблюдение поэта.

Наив, пусть и сознательный, отрефлексированный, — все равно не теряет в стихах Ярыгиной присущую ему унцию храбрости. Это свобода — быть по-детски уверенным в своих догадках о мироустройстве. Очевидно одно — робкий искатель ничего не найдет в этом мире, ничему не присвоит имя... Автор книги иронизирует: «Если память не изменяет... изменяет она тебе, изменяет!» Но в контексте стихотворения речь идет о памяти всеобщей, академичной, возлежащей «на библиотечных столах, как Постумия на античных пирах». В личном памятихранилище Ярыгиной — полный порядок. Живо каждое острое ощущение, поэтому известно, допустим, откуда берутся перистые облака: это «стрижи» «кромсают небо», «Из облаков разлетаются перья». Глядя на милые «анютины глазки», многие подумают о праздничном содружестве белых, синих и желтых лепестков. Один поэт прозревает: да это же глазки Анюты, которую мальчишки нечаянно обидели! — «Двор школы. Потные мальчишки, // пыльный футбольный мяч... // Хочется подойти к клумбе и погладить синяки // под перепуганными глазками анютиных глазок».

Лаконичные, обманчиво простые стихи Ярыгиной будто сами вырастают на пыльных городских площадках и клумбах. То ли в книгу заглядываешь, то ли в старый дворик... Кого здесь только не встретишь! Сидит на скамеечке эдакая бабуся-ягуся, куколку Барби теребит да старую песню на новый лад распевает: «... барбиня, барбиня, // сударыня барбиня». Дедушка машет руками: «Ангелят отгоняю», как будто мухи вокруг него кружат.

А настоящее жужжащее насекомое в одном из стихотворений поэта обретает ласковое имя Катенька. Стереотип надоедливой мухи перечеркнут. Муха Катенька почему так любима? Да потому что первая. Вестница скорой весны. Ничем не хуже грачей с картины Алексея Саврасова. Беречь надо Катеньку, подкармливать: «Приходили на кухню завтракать, // говорили: "Здравствуйте, Катенька!" В окна к такому веселому поэту залетает не какая-нибудь птичка-синичка, а «чужой попугай». Впору новую примету сочинять — к чему пернатый гость кричит: «О, Святая мадонна!» и «Я — Челентано»?

Вообще, множество стихов Надежды построено на парадоксе. Зима — априори белая, но не в контексте ярыгинского «месяцеслова». Присваивая каждому месяцу свой цвет: марту и апрелю — голубой, маю и июню — зеленый, на зиме поэт спотыкается... «Читатель ждет уж рифмы розы», пушистой белизны. В ответ — нежданное ворчанье на погоду: «А все эти зимние (их называть не буду) // Они от холода синие, длинные, не переносимые, // Уязвимые и сопливые». Автор уклоняется не только от белоснежности, он игнорирует и названия месяцев («все эти зимние»). От спокойных сравнений резко переходит к смелому олицетворению («от холода синие»), идет от визуального к чувственному восприятию. У читателя возникает эффект присутствия: точно одним рывком открыли дверь, впустили в теплый дом морозный воздух. Такие вещи пробирают... Не зря дети обожают пересматривать старый мультик про «подушку душную, одеяло кусачее» («Как Маша поссорилась с подушкой»; режиссер Лев Мильчин).

Этот текст, насыщенный определениями, сродни детской загадке. Уместна и капризная реплика в скобках: «(их называть не буду)». Кстати, тот же прием маркировки детского поведения мы встречаем у другого Коваля, Юрия, сумевшего в шутливой форме выразить отношение к библейским героям: «Иуда, Каин и Авель // Однажды кушали щавель. // Авель, ушами шевеля, // Ел сотый кустик щавеля, // А про Каина и Иуду // Я говорить больше не буду».

Ироничный, изобретательный стиль Ярыгиной местами похож на слог «красной девицы» Нины Красновой, московской поэтессы родом из Рязани, сочетающей в своих стихах фольклорные мотивы с авангардными традициями «шестидесятников», или поэтические каламбуры философа Вадима Рабиновича. Та же словесная эквилибристика, аналогии, лежащие буквально под ногами... Но есть чисто ярыгинская черта — настойчивое стремление нивелировать дистанцию между собой и своими героями. Не умничать, не поучать, не ставить себя выше обычных работяг. И быть деликатной. По мнению Алексея Алёхина, Надежда Ярыгина привнесла в отечественную поэзию «линию воплощенного женского, простодушно-мудрого приятия мира». Она «пишет все время о тех, кто "дерется на лестнице", ... о живых людях», — отметила в рецензии на первую книгу Ярыгиной «Есть ощущение» Мария Галина».

Банальная ситуация — распадается чья-то семья. Но Надежде не все равно, и буквально через бунт вещей ей удается передать переживания супругов, сказать, что любой «легкий» развод — трагедия и слом: «...А разводились они легко, // ругались всего-то раз — // делили библиотеку. // Все потому что их книги // стали сплочённой командой, // романы крутили романы, // дружили шкафами...». Эхо последней строки — «дружили шкафами», как некогда, вероятно, дружили семьями, — подчеркивает контраст перемен и делает ее метафорой безлюдья.

Чтобы быть услышанной в этом слишком серьезном мире, поэтесса готова даже примерить на себя роль блаженной: «Выдайте мне справочку, что я не косая...» В игровой своей манере Надежда Ярыгина заходит так далеко, как только может зайти дерзкий поэт, «покушаясь» и на падежи, и на азбуку. С Творцом поэтесса связывает «падеж творительный», с родителями — родительный, с братом-балбесом — винительный. Лишь дательный падеж в его классическом виде стихотворицу не устраивает: «А я вам не дательный! И не продательный! // В крайнем случае просто дарительный». В самом деле, давать и продавать — одно, дарить — совсем другое. Подарок преподносится с настроением, с солнцем внутри...

Если, создавая сборник воспоминаний о Юрии Ковале, друзья обыграли его фамилию, и получилась «Ковалиная книга», то в случае с Надеждой Ярыгиной в ход пошло бы её отчество. Дарить себя Кирилловне — все равно что проливать из чернильницы «кириллицу». Созвучие отчества с призванием поэт понимает как благословение свыше и обыгрывает в начале книги. Говорить о рождении приятнее и легче...

А прошлое проявляется само, как цвета на водных раскрасках: достаточно лишь намочить картинки водой. Обыденность вдруг перестает быть скучным серым фоном. Усилием поэта

она перемещается в центр внимания и начинает рассыпать пучки радужного света. Ожившие буквы, предметы, очеловеченные растения, насекомые, птицы... В мире Надежды Ярыгиной обитает жизнь в квадрате, а то и в кубе. К плодам своего труда — отношение как к проказливым детям, которых порой следует если не в угол поставить, так подержать под домашним арестом (вспоминается «невоспитанный стих» Анны Ахматовой, пусть то и была любовная лирика):

написались стихи
но в редакцию их не отправлю
пусть полежат подумают

Этот миниатюрный верлибр наталкивает на мысль о скрытой «этимологии» Ярыгинской принцессы «из горошины».

На Руси в старину провинившихся ребят ставили на горох, чтобы физическая боль усиливала нравственную. Для поэтессы, обращенной к фольклору, факт значительный, возможно, и Андерсена перебивающий. Горох — тот единственный овощ, чья твердая субстанция похожа на дробинку. Ею выстрелить можно. А поэт есть совесть народная, человек, на горохе стоящий, за всех внутренне отвечающий.

Мария Закрученко

Практическое руководство к бегству

Роман польской писательницы Ольги Токарчук «Бегуны», написанный в 2007 году (в России вышел в издательстве НЛО в 2010-м), вернули читателю спустя десятилетие с отметкой международного «Букера» не напрасно. Актуальность этого текста в нашем 2019-м переводит его (с небольшими оговорками) во вневременное состояние — подвешенное время и пространство, куда Токарчук помещает и истории своих героев, и себя саму.

Документальная проза или художественная? Сборник новелл? Дневник путешественника? Практическое руководство к бегству?..

Под «бегунами» автор понимает не членов старообрядческой секты (хотя они в книге есть), бегущих от лукавого, а всех, кто перемещается по миру с целью самого движения. Людей с особым видением мира как чемодана. Движение для них и есть жизнь, и героиня-автор приобретает эту оптику с самого детства, рассуждает: «...движение всегда предпочтительнее покоя; перемены благороднее постоянства; обездвиженное неминуемо подвергнется распаду, выродится и обратится в прах, тогда как подвижное, возможно, пребудет вечно». Ни в коем случае не идти к цели, не искать достопримечательностей и впечатлений — это путь варваров. Цель сама найдет путешественника, в образе попутчика в самолете или бомжа в метро, в виде истории, записанной на клочке бумаги в ожидании трансфера.

При беглом прочтении кажется, что новеллы в романе фрагментированы, словно сделанные наспех, на бегу. Так и есть, героиня-автор признается, что научилась писать в самолете за откидными столиками, на музейных лестницах, на ладонях, салфетках, полях книг. Должно быть, этот роман рождался из замусоленных ежедневников с выпадающими бумажками и закладками — ни один смартфон не вместит в себе столько опыта, сколько успеет запечатлеть карандаш на бумаге.

Но фрагментарность прозы Ольги Токарчук — прием. Сквозные линии и сюжеты проходят через весь текст наборами точно подогнанных друг к другу предложений. Все истории в книге собраны наподобие

Ольга Токарчук. Бегуны: Роман. — М.: Эксмо, 2018.

матрешки: начатые, они могут сразу закончиться, в одном абзаце, а могут оборваться, включить в себя еще несколько новелл, и замкнуться, чтобы дать начало следующему круговороту. Некоторые истории автор словно подслушала с начала в очереди или в метро, но не успела узнать, чем все кончилось — пришлось придумать самой. Это и не истории «маленьких людей» в классическом смысле понимания литературы, хотя «маленьким людям» и их проблемам уделено внимание. Автор пытается словами запечатлеть меняющийся портрет мира, каждый ее герой — штрих этого портрета.

Условно книгу можно разделить на три части, рассыпанные новеллами-нарративами.

Одна — это собственно опыт путешествий и впечатлений героини-автора и рассказы ее случайных попутчиков: симпатичной мусульманки с мечтой убедить всех людей стать писателями; миссионерки Александры, составляющей «книгу злодеяний», — свидетельства издевательств над животными. Вторая часть — додуманные или выдуманные целиком рассказы о паромщике, сорвавшемся с наезженного маршрута в открытое море вместе с пассажирами; или история мужчины, потерявшего на отдыхе жену и сына, а с их обретением потерявшего покой в поисках загадки их исчезновения; история Аннушки, убегающей в московское метро от домашних проблем и обязанностей. И третья, исторические зарисовки: про Филиппа Ферейена — блестящего анатома, пишущего письма собственной ампутированной ноге, про сестру Шопена Людвику, перевозившую на родину банку с сердцем брата.

Все эти части объединяет тема осмысления себя во времени и пространстве, и, тем самым, попытка обретения себя. В своем паломническом опыте героиня-автор смешивает методы антропологии, психологии и литературы. «Жизнь вечно ускользала от меня. Я обнаруживала только ее следы, жалкие личиночные шкурки. Стоило мне засечь ее координаты, как она меняла местоположение... На листе бумаги жизнь оборачивалась незаконченными историями, сновидческими новеллами, туманными сюжетами, зависала на горизонте вверх ногами или в поперечном сечении, не позволяя охватить целое».

Одновременно героиня-автор рассматривает теорию о том, что движение вперед — иллюзия, и единственным направлением движения, куда бы ни направлялся человек, будет движение вглубь. «Разглядеть можно лишь фрагменты мира, и так будет всегда. Моменты, крошки, мимолетные конфигурации, рассыпающиеся, едва успев возникнуть. Жизнь? Ее не существует; я вижу линии, плоскости и тела, а также их эволюцию во времени. Время же — нехитрый инструмент для измерения мелких изменений, школьная линейка с упрощенной градуировкой: всего три деления — было, есть и будет». Мир слишком огромен, чтобы его объять, и лучше сосредоточиться на себе как на его части, но и здесь движение вперед, в том числе физическое, становится инструментом познания.

Одно из важнейших антропологических наблюдений Ольги Токарчук — человек перемещающийся. В дороге путешественник теряет свои очертания («Отправляясь в путь, я исчезаю с карт») и обретает их снова только получив физическое свидетельство — штамп в паспорте, ключ от номера. Автора интересует телесность как ориентир, единственная точка во времени и пространстве, на которую можно рассчитывать в опыте перемещений. «Не важно, где я. Все равно, где я. Я — есть». Как во внутреннем мире человека писатель ищет надломы и тени, так в теле ее привлекают нарушения, исключения, уродства. Остановившееся тело для нее священно, оно требует уважения не менее чем при жизни владельца: для изучения, выставки в кунсткамере, где продолжение его существования будет нести практический смысл. Никто не будет забыт, ни одна часть не отделима от своего носителя — этот гуманистический посыл романа соединяет телесное и духовное, как идея полного воскрешения на Страшном Суде.

Для героев Ольги Токарчук продумывание-проговаривание опыта путешествий важно так же, как и его проживание. Движение есть жизнь, а ее осознание происходит через письмо. В новелле «Говорить! Говорить!» автор настаивает на том, чтобы проговаривать любую ситуацию, ничего не оставлять за скобками, неразрешенным. Она призывает путешественников заполнять дневники, описывать друг друга, памятные случаи из поездок, мелочи вроде сборов и подготовки. Так опыт останется с тобой навсегда, это — метод консервации души, как тела в формальдегиде.

Еще одна тема, которая за десять лет существования «Бегунов» стала еще более актуальной — границы. Атмосфера ускользающей свободы проходит через весь роман. Но если десять лет назад границы на картах при их пересечении оставляли у путешественников философское удивление и беспокойство, то в

наше время государства ощерились мощными инструментами, призванными ограничивать и сдерживать свободу индивида. Идею мультикультурности и глобализма как новой открытости для человека Токарчук прочувствовала уже в 2007 году: «... мы видим, как на наших глазах растет человеческое "я", как оно становится все более выраженным и все более осознанным. В прошлом едва очерченное, постоянно размываемое, подчиненное коллективному, в корсете ролей и условностей, под спудом традиций и правил — теперь оно разбухает, подчиняя себе мир». В будущем, казалось бы, эта идея должна получить свое продолжение, но на практике мы видим, как она столкнулась с движениями нового национализма, с парадоксами двойного мышления. И это ставит роман «Бегуны» на повестку дня. Из 2007 года роман говорит о том, что картину нового мышления невозможно повернуть вспять. Сопротивление идее мира как открытого пространства для всех показывает нахождение общества в острой фазе кризиса гуманизма. Тексты, подобные роману «Бегуны» помогают их осознавать, но разрешить каждый должен лично.

Оптика гуманитарного взгляда Ольги Токарчук — в соединении всех во времени и пространстве, вписывание в ту самую сетку координат на метафизической карте. Так, человек, пролетающий в самолете над Сибирью, на этой карте соединен незримой, но прочной нитью с тем, кто смотрит на самолет с земли. В таком смысле одиночества не бывает вовсе, все со всеми связаны, едины.

Этот посыл уловлен и современной русскоязычной прозой. Например, роман Александры Петровой «Аппендикс», в прошлом 2017 подучивший премию Андрея Белого, перекликается идеями с «Бегунами», говорит о размытии границ и попытки преодоления кризиса идентичности. Еще ближе к польской писательнице Ольга Балла с ее книгой философских эссе «Время сновидений», в которой тема одной из новелл — движение как проживание. Переклички с романом Ольги Токарчук почти десятилетней давности подтверждает теорию о том, что самые главные идеи писателями схватываются одновременно и проговариваются повсеместно. Токарчук свое время опередила.

Я представляю эту книгу как независимое тело с собственной судьбой. Вот она лежит в вендиговом аппарате с книгами НЛО в аэропорте Внуково, в газетных киосках авто- и железнодорожных станций, рядом с кроссвордами, журналами и картами. Непременно в мягкой обложке, чтобы легче таскать в кармане вместе с ручкой и блокнотом, делать заметки на полях или писать свой палимпсест поверх текста. Практическое руководство к бегству, важнее карт, чтобы кроме ответа «куда», путешественник имел под рукой повод подумать «зачем».

Гуманитарный транспорт XIX—XXI веков

Международный Комитет Красного Креста (МККК) — старейшая гуманитарная организация, которая с 1863 года предоставляет помощь людям, терпящим бедствие в войнах, вооруженных конфликтах и ситуациях насилия. Первоочередная задача МККК — своевременно доставить помощь пострадавшим и нуждающимся. В этом не обойтись без надежного и безопасного транспорта. Когда свистят пули и рвутся снаряды, когда ситуация нестабильна, очень важно защитить гуманитарный транспорт и его ценные грузы. С 1864 года для такой защиты используется эмблема — красный крест на белом фоне. Позже стали применять и знак красного полумесяца. Эти обозначения легко узнаваемы и известны во всем мире. Со дня своего образования МККК старается, чтобы эти эмблемы уважали все противоборствующие стороны.

Гуманитарный транспорт в зонах конфликтов и бедствий применяется для выполнения самых разных задач: для эвакуации раненых, помощи пострадавшим, восстановления поврежденной инфраструктуры, поддержки нуждающихся в пище, воде, медикаментах, предметах гигиены. На вклейке журнала представлены уникальные фотографии, которые не только рассказывают об истории развития гуманитарного транспорта, но и показывают, насколько он важен в ежедневной работе МККК и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Повозки и поезда XIX века, машины и грузовики XX века, корабли и самолеты XXI века — именно с их помощью МККК доставлял и продолжает доставлять гуманитарные грузы, несмотря на экстремальные условия. На снимках — разгрузка кораблей с гуманитарной помощью в разных частях мира, работа передвижных медицинских бригад, раздача продуктов в лагере беженцев, а также транспортировка раненых и военнопленных. На помощь во все времена приходят и «меньшие братья» человека — лошади, ослы, верблюды, доставляющие помощь туда, где не проедет ни один автомобиль и не приземлится вертолет. В степях Средней Азии, каменистых пустынях Афганистана, на песчаных просторах Мали в разные периоды можно было встретить верховых, вьючных, тягловых животных, незаменимых в условиях сурового климата и ландшафта.

Благодаря разнообразию средств гуманитарного транспорта миллионы семей во всем мире смогли воссоединиться со своими родными, еще больше людей вовремя получили необходимую медицинскую и продовольственную помощь. Однако бывает и так, что гуманитарные конвои сами становятся объектами атаки или подвергаются насильственному захвату, что препятствует выполнению миссии МККК. Но даже несмотря на это, МККК не оставляет нуждающихся без поддержки. Уважение защитной эмблемы — красного креста или красного полумесяца — является неотъемлемой частью Женевских конвенций 1949 года, которые подписали практически все страны мира. Таким образом государства взяли на себя обязательство не чинить препятствия гуманитарной деятельности, противодействовать и не прибегать к неправомерному использованию эмблем Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. А транспортные средства с красными отличительными знаками продолжают дарить надежду на выживание миллионам людей, чью жизнь перевернула война.

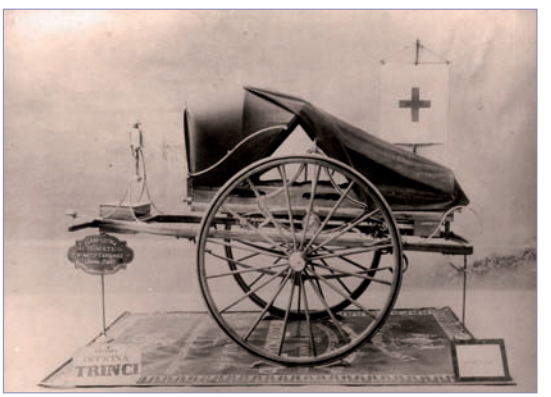
Фотоматериалы предоставлены Региональной делегацией Международного Комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове

ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ XIX — XXI ВЕКОВ

Фотоархив МККК

Австро-прусско-итальянская война, 1866 г. Скорая помощь использовалась для раненых во время конфликта в Тироле. Генерала Гарибальди передал эту карету в дар своим раненым. Собственность А.Локати.
© МККК

Италия, музей в г. Кастильоне. Повозка скорой помощи Итальянского Красного Креста 1860-х гг.
© МККК

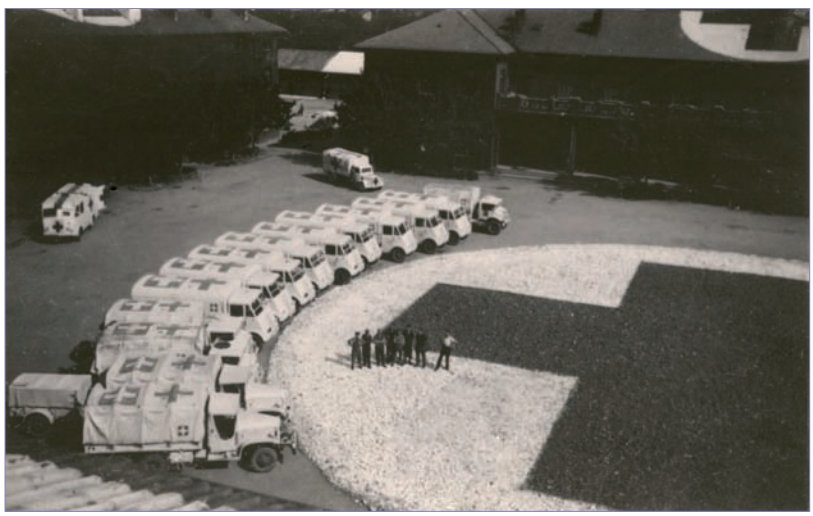


Италия, музей в г. Кастильоне. Повозка скорой помощи Итальянского Красного Креста 1860-х гг.
© Национальная библиотека, Вена

Первая мировая война, 1914-1918 гг. Австрия. Гёрц.
Санитарный транспорт для перевозки раненых.
© Национальная библиотека, Вена

Первая мировая война, 1914-1918 гг. Франция.
Скорая помощь Американского Красного Креста.
© США

СССР, 1934-1938 гг. Самолет воздушной медицинской службы Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. © МККК



Вторая мировая война, Швейцария, 1945 г. Грузовики во дворе склада МККК. © МККК

Греция, 1944 г. Афины. Грузовик Греческого Красного Креста, пострадавший от взрыва мины. © МККК

Ливия, 1939-1945 гг. Обозначение госпиталя Британского Красного Креста. © МККК

Корея, 1950-1953. Корабль-госпиталь США. Фотограф: Жак де РЕНЬЕ © МККК

Вьетнам. 1960-е гг. Эвакуация раненых вертолетом. Фотограф Шарль ЛАВЕЛЬ. © DAVA

Афганистан, 1989 г. Сотрудники МККК пересекают реку, чтобы продолжить оценку потребностей мирного населения в провинции Бадахшан. Фотограф: Седрик ПИРАЛЛА. © МККК

Сомали, март 1991 г. Бербера. Водоснабжение в деревнях на окраине города. Фотограф: Катрин ПЕЛЛИСЬЕ. © МККК

Заир, июль 1994 г. Гома. Выгрузка гуманитарной помощи для Руанды, предоставляемой МККК, в аэропорту Гомы. Фотограф: Патрик ФУЛЛЕР. © МККК

Россия, Чечня, июль 1995 г. Грозный. Пункт раздачи питьевой воды, организованный МККК. Фотограф: Шарль ПАЖ. © МККК

Таджикистан, октябрь 1996 г. Между Душанбе и Тавидара. Конвой МККК доставляет помощь на линию фронта.
Фотограф: Олег КЛИМОВ. © МККК

Мали, 1997 г. К северо-востоку от Таркинха. Продолжение программы «Вода – источник жизни». Фотограф: Поль ГРАБХОРН. © МККК

Порт Монтевидео, июнь 1982 г. Британский корабль-госпиталь, перевозит заключенных из Аргентины. Фотограф: Люк ШЕССЕ. © МККК

Колумбия, 2003 г. регион Атрато-Медио, возле Напипи. Мобильное подразделение медицинской помощи МККК. Мобильные клиники предоставляют первую помощь населению, пострадавшему от конфликтов: общую медицинскую помощь, услуги зубного врача, медицинские курсы, профилактические осмотры и вакцинацию. Фотограф: Карлос РИОС. © МККК

Конго, 2005 г. Автоколонна МККК пересекает лес Бангоу. Фотограф: Александр ГАНЦ. © МККК

Пакистан, октябрь 2005 г. Музаффарабад, спортивный стадион. Эвакуация жертв землетрясения в Исламабад на вертолете МККК. Фотограф: Бйоргвиссон ЙОН.
© МККК

Пакистан, октябрь 2005 г. Долина Джелум, на дороге между Музаффарабадом и Субри. Конвой МККК перевозит одеяла и еду для 300 семей. Фотограф: Фредрик БАКЕНХАММАР.
© Красный Крест Германии

Ливан, июль 2006 г. Около Тира. Корабль МККК «Георгиос К», перевозящий помощь населению Ливана. Фотограф: Жоли ФРЕДЕРИК.
© МККК

Summary

Igor KORNIENKO. Homeless rooms. The novel

The circle novel – that is the author's definition of this text. The protagonist artist settles himself in an abandoned dorm, peoples it with imaginary tenants with their individual fates and fears and transforms his fantasies into the characters of the multi-colored pictures. As a matter of fact the void can never be complete, it is incessantly filling itself, thus gradually becoming crowded with nightmares, so that it is finally hard to say whether people live in the rooms or are lived by them. The rooms dream their own dreams while human beings turn them into the ghosts of their own consciousness. And who knows what will rooms dream of tomorrow.

Poetry

Written in a popular genre of a lyrical ballad, Subkhat AFLATUNI's new verses are about motherland and a war which never happened, about sweet lies, Humpty-Dumpty etc. Reflecting in her poems on a "kinship of poetry and the air" Xenia ROGOZNIKOVA joins Natalya POLYAKOVA with her verses about hardships and joys of maternity as well as Herman VLASOV's cycle of love songs.

Pavel KONYUKHOV, the archpriest of Pereyaslavka Church of the Icon of Divine Mother presents his debut fun rhymes for children under the heading "Friendship For Growth"

Vladimir SMIRNOV. Future coming of age

Three historical facets of European culture: first - the Pagan, with its glamorous "beauty", second, the Christian, focused on the concept of "Good", and third, the Rationale, fixated on "truth". What lies in the ground of this sequence of cultural paradigms? How will they crisscross in this century – this are the issues discussed in this philosophic essay.

Valerij SANDLER. Far, in the South

"It sometimes makes sense to look backward and cast a glance on the major country which doesn't exist any longer but which once existed in our lives. Within this huge space there somehow got along together "minor countries". In my own life they were for many years Kirgizstan, Uzbekistan, Kazakhstan and Tadzikistan with their clusters of nations and nationalities".

In this third essay of his memoir cycle Valery SANDLER tells humorous, brightly colored and invariably emphatic stories about the people of these "nations and nationalities, whom he happened to meet in his life time.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**

в любом городе страны.

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

«Дружбе народов» — 80!

Нас поздравляют:

Дорогие друзья!

«Дружба народов» в нашей многонациональной «империи» по определению журнал на все времена. Так что ваш юбилей отнюдь не означает, что он — журнал — преклонных лет. И хотя кому-то бы и хотелось, судя по нынешним временам, разодрать ризы наших плодотворных культурных связей, — в долгосрочной перспективе вряд ли это получится. Ваш журнал не только феномен, но и символ единства и солидарности.

Юрий Кублановский
24.05.2019
Поленово

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2019 • №6 • 1—272